

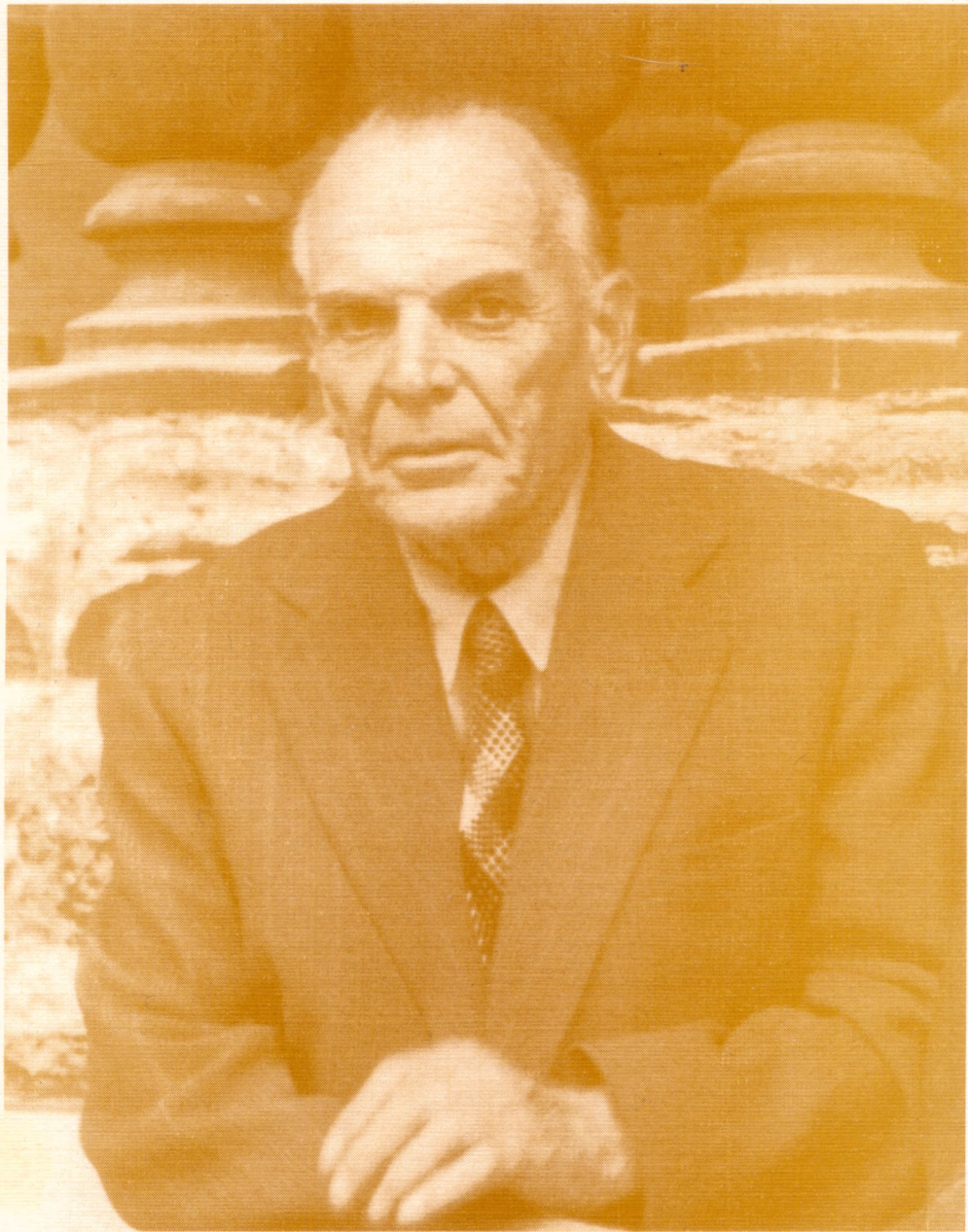
МИР ПАУСТОВСКОГО

К. Паустовский

№ 22

2005

МИР ПАУСТОВСКОГО № 22 2005



ЕВРОПЕЙСКИЙ
ДНЕВНИК

ВЕЧНЫЙ
ГОРОД

РАЗОРВАННОЕ
КОЛЬЦО

СОДЕРЖАНИЕ:



Михаил ХОЛМОГОРОВ Поток 3

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАУСТОВСКИЙ

Константин ПАУСТОВСКИЙ Золотая нить. *Фрагмент повести* 4
 Как учат писателей в России. *Интервью английской газете*
«The Observer Weekend Review» /Пер. А.Мороз 6

ВСТРЕЧИ С ЗАПАДОМ

Константин ПАУСТОВСКИЙ Европейский дневник
 /Предисл. Г.Арбузовой 9
 Константин ПАУСТОВСКИЙ Я много где мечтал побывать... *Из писем и*
произведений писателя 19

ВОСПОМИНАНИЯ

Жан БЛО (*Франция*) Вечер на Котельнической
 /Пер. И.Солодовщиковой 23
 Александр БОРЩАГОВСКИЙ Встреча, которая могла
 не состояться... 25
 Галина АРБУЗОВА Анри Матисс и его модель 29
 ИЗ ПЕРЕПИСКИ Л.Н.ДЕЛЕКТОРСКОЙ С К.Г.ПАУСТОВСКИМ 35
 Франклин РИВ (*США*) Роберт Фрост в Москве 45
 Серафима ХАВРОНИНА Это было настоящим открытием... 46
 Вениамин КАВЕРИН Созопол 49
 Марлен ДИТРИХ Я не могла его забыть... *Фрагмент из книги*
 /Пер. М.Кристалинской 53
 Владимир ЛАЗАРЕВ В Тарусу 54

ВЕЧНЫЙ ГОРОД

СТЕНДАЛЬ Прогулки по Риму 57
 Константин ПАУСТОВСКИЙ Географические записи 61
 Елена ХОЛМОГОРОВА Похвала верхоглядству 65

РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО

Иван ЕЛАГИН Под Созвездием Топола 69
 Борис ЗАЙЦЕВ Письмо Константину Паустовскому 76
 Зинаида ШАХОВСКАЯ Б.К.Зайцев 76
 Наталья КУДЕЛЬКО Собиратели прекрасных мгновений 78
 Ирина КУРАМЖИНА Свет Голубой звезды 82
 Константин ШИЛОВ Восстановление родства 85

ДОРОГА В МИР

Питер ГЕНРИ «Повесть о жизни» в восприятии англичан 89
 Дунь СЯО Почему в Китае так любят Паустовского? 95
 Константин ПАУСТОВСКИЙ Я искренне рад... *Из переписки с*
зарубежными друзьями и издателями 97

В МОЕЙ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ...

Лидия ЧЕШКОВА Нас сблизила «муза дальних странствий» 101
 Галина ЛЫСЕНКО Он выступал в Сорбонне 103
 Пенчо ДОКСАНИЕВ (*Болгария*) Осень без Паустовского
 /Пер. Н.Глен 105
 Маргарета ШИПОШ (*Румыния*) Мы вновь обратимся к мастеру
 /Пер. К.Ковальджи 108
 Унелма КОНККА «Он вселял в меня чувство вдохновения...» 109
 Леннарт МАГНУССОН (*Швеция*) Его можно читать всю жизнь... 109
 Лев ШИЛОВ Звучит голос Паустовского 111

Культурно-просветительский и
 литературно-художественный
 журнал

МИР ПАУСТОВСКОГО
К.Г. Паустовский

Издаётся с 1992 года
 Издание периодическое

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Галина КОРНИЛОВА

Редакторы:

Илья КОМАРОВ
 Эльвина МОРОЗ
 Николай СТЕПАНИЩЕВ
 Михаил ХОЛМОГОРОВ
 Лидия ЧЕШКОВА
 (ответственный за выпуск)

Компьютерный набор:

Вадим ПОДОБЕДОВ
 Сергей КИРИЛЕНКО
 (рабочее макетирование)

Бюро писем и распространения
 Моника САЗОНОВА

Корректор

Ольга ПОДОБЕДОВА

Оригинал-макет

Леонид РЫЛЁНЫШЕВ

Перевод «SUMMARY»

Наталья ПЕШКОВА

Общественный совет:

А.М.БОРЩАГОВСКИЙ
 К.А.КЕДРОВ
 Л.П.КРЕМЕНЦОВ
 О.И.ЛАРИН
 Л.А.ЛЕВИЦКИЙ
 А.М.ТУРКОВ
 Д.Г.ШЕВАРОВ
 К.В.ШИЛОВ

Адрес редакции:

109472, Москва,
 ул. Кузьминская, 8,
 Московский литературный
 музей-центр К.Г.Паустовского,
 тел. (факс): (095) 172-7791
 e-mail: m385@mail.museum.ru
<http://www.city-kgp.nm.ru>



Подписано в печать 26.02.2004 г.
 Формат 60×90^{1/8}. Печать офсетная.
 Усл. печ. л. 21.

Тираж 1200 экз. Заказ № 89
 Отпечатано в ООО «Вариант»
 117420, Москва, ул. Вучетича, 1-а

На 1-й стр. обложки:
 К.Г.Паустовский в Париже. 1956 г.
 Фотография Елены Адант

На 4-й стр. обложки:
 Мраморная маска
 «Уста Истины». Рим

Журнал издается за счет средств
 Комитета по культуре Москвы

ММР ПАУКТОБСКОТО

К. Нанчинов

№ 22

2005

В НОМЕРЕ:

*Неизвестная рукопись
Паустовского (4)*

Ещё о Нобелевской премии (23)

Судьба Лидии Дельт (29)

*«...любая страница из
„Писем из Рима” Стендаля
вызывает желание писать» (57)*

*Голос издалика —
поэт Иван Елагин (69)*

*Из антологии мастера:
Бернс, Беранже, По, Цедлиц (113)*

*«И напишите ещё что-нибудь очень
хорошее». Борис Зайцев (76)*

*Литературная провинция:
Елец (122)*

*Станет ли Таруса городом
Золотой Розы? (188)*

*Писателя помнят
(Франция, Китай, Англия, Румыния, Швеция,
Болгария, США, Финляндия, Германия)*

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ ПАУСТОВСКОГО

Роберт БЕРНС, Пьер Жан БЕРАНЖЕ, Эдгар ПО, Иосиф ЦЕДЛИЦ
/Сост. И.Комаров 113

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Сергей ОХРЕМЧИК Елец Бунина и Паустовского 122

ИССЛЕДОВАНИЯ

Софи ОЛЛИВЬЕ Жан Жак Руссо и Константин Паустовский —
певцы природы и свободы 129

ОБРАЩАЯСЬ К МИРОВОМУ НАСЛЕДИЮ

Константин ПАУСТОВСКИЙ ... Они наши истинные современники
/Из писем и произведений писателя 134

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Амброс БИРС Случай на мосту через Совиный ручей. Рассказ 141

Филипп БЕРМАН (США) Косынка в белый горошек. Рассказ 146

Людмила АГЕЕВА (Германия) Мы жили в Самарканде. Рассказ 149

Денис ГУЦКО Тинто Ретто. Лю... Рассказы 151

Юлия ВИНЕР (Израиль) Жожо и Божий промысл. Сосед. Рассказы 155

Константин ПОПОВ (Болгария) Свечка. Молитва. Крест. Новеллы 158

СТРАНСТВИЯ

Лидия ЧЕШКОВА Вернусь, когда зацветёт черешня 162

Анна МУРАДОВА Пирамида в океане 167

ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ

Наталья ГЕНИНА (Германия) Покуда в поднебесье тянет... 171

ЮБИЛЕЙ

Владимир КОКОНИН На холме троллей 174

Михаил ХОЛМОГОРОВ Семейная легенда 178

ЗАПИСКИ ПОЛЕНОВСКОГО ДОМА

Фёдор ПОЛЕНОВ Ворота в Вёле. Квашка-экваториаль.
Голуби в бойницах. Таковский крест. Новеллы 181

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Алексей ЗУЕВ Город Золотой розы 188

Людмила ФИЛАТОВА Чёрным углем рисую по просини. Стихи 191

Виктория ГУБАРЕВА История Истоминской усадьбы 193

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ – 2 197

«СЛУЧИЛОСЬ ПРИОБЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ...»

Никита ДАНИЛОВ Далеко от дома 198

Сергей ИЖЕВСКИЙ Перепелиная история. Подарок из Колумбии.
Пропавшие яблоки 199

Марк КОСТРОВ Странный метеорит 203

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Лидия ЧЕШКОВА «Липовый цвет»–2 205

Евгений ПОТУПОВ На тёплой земле 206

Ирина МИХОВИЧ, Алла СОКОЛОВА Молодёжный пленэр 207

ЮБИЛЕЙ В ОДЕССЕ 208

НАМ ПИШУТ 210

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 216

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ 217

ХРОНИКА-ИНФОРМАЦИЯ 218

SUMMARY 228



В номере использовано 464
архивных материалов из фондов
Музея-центра К.Г.Паустовского

ОСНОВАТЕЛИ

*Ромул и Рем взошли на гору,
Холм перед ними был дик и нем.
Ромул сказал: „Здесь будет город”.
„Город, как солнце”, — ответил Рем.*

*Ромул сказал: „Волей созвездий
Мы обрели наш древний почёт”.
Рем отвечал: „Что было прежде,
Надо забыть, глянем вперед”.*

*„Здесь будет цирк, — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем”.
„Но надо поставить ближе к дому
Могильные склепы”, — ответил Рем.*

Николай ГУМИЛЁВ



Рим.
Форум Романум

ПОТОК

В прихожей Дома А.П.Чехова на Садовой-Кудринской стоит маленький столик, на нём — жестяной поднос для визитных карточек, которые гости оставляли, не застав дома хозяина. Первым бросился в глаза прямоугольничек:

Архитектор
Франц Осипович
ШЕХТЕЛЬ

Я и задуматься не успел, а меня хлынул поток зрительных и слуховых образов, недавно виденных и полузабытых, тут были творения Шехтеля и Кекушева, Борисова-Мусатова, Врубеля, Серова, французских импрессионистов «от Мане до Лотрека», звуки Рахманинова, Сен-Санса, Скрябина, Равеля, вспыхивали строки из Чехова, Леонида Андреева, Блока, Белого. Весь модерн перелома XIX–XX веков.

Когда я вышел из ошеломления, понял одну очень важную вещь: несмотря на обилие имён, течений, направлений, стилистических манер, жанров и даже родов искусства — это всё единый поток мировой культуры, в котором теряется тщеславное значение конкретных имен, а ценны лишь собственно творения, неважно в каком виде: изящной бронзовой ручки на оконном переплёте, как в шехтелевском МХАТе, яйце Фаберже, рассказе «Ванька» или мозаичном панно Врубеля «Царица Савская» над Валькотовым «Метрополем». Дома, листая иллюстрированный каталог выставки «Москва–Париж», я проверил точность этой мысли и пожалел, что она не посетила меня тогда в зале Музея изобразительных искусств.

Когда, с какого ручейка начался этот поток, без которого немислим океан человечества? Видимо, от того бездельника, который вместо того чтобы, как все нормальные неандертальцы, разделять своим каменным топором только что добытого мамонта, вздумал изобразить мощного зверя и охоту на него на скальной стене пещеры. И того никчёмного старика, что сумел словом залечить душевную рану вождю племени.

Племена разбрелись, единый язык рассыпался на тысячи наречий, а тяга отметить своё присутствие в мире рисунком на скале, красивой бусинкой из расплавленного на костре песка, узором на глиняном горшке осталась, породив при этом и новую — истреблять. Чтоб от умелого врага и крошечного следа не осталось. Римляне, погибая от варваров, нарекли эту страсть вандализмом. Если б они были чуть честнее перед самими собой, определили б эту страсть всемогущих завистников раньше, обнаружив ее среди собственных императоров.

Царствующие вандалы не только истребляли памятники, они всеми средствами преследовали художников, и в число невосполнимых утрат вошли тысячи несозданных шедевров, и порою брало отчаяние, когда художники, собравшись тесной подпольной компанией, произносили горький тост: «За успех нашего безнадёжного дела!» Авторство тоста принадлежит Науму Коржавину, участнику знаменитых «Гарусских страниц» — чуда советской издательской жизни, обаянного своим появлением Паустовскому. Но дело вандалов ещё безнадёжнее — мировая культура живёт, блистая всеми гранями, отполированными в борьбе с её гонителями.

Константин Паустовский начал свой путь в мощный потоке мирового модерна, чему яркое свидетельство — его ранняя проза с явным налётом бунтарства: рассказы 20-х годов, повесть «Пыль земли Фарсистанской», романы «Романтики», «Блещающие облака»... Вещи все как одна крайне несвоевременные. Времена настали другие. Победившая революция

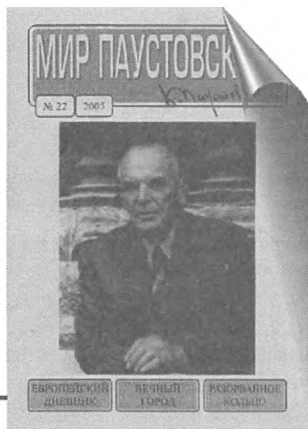
всячески изживала бунтарский дух в искусстве. Тонко чувствующий атмосферу тех лет Юрий Олеся записал в 1931 году: «Происходит странная вещь: массы консервативны в своих художественных вкусах. Казалось бы, массы должны тяготеть к так называемому левому искусству, — в действительности требования их простираются не дальше «передвижничества». Может быть, потому, что так называемое левое искусство является порождением упадочности дореволюционной интеллигенции? А между тем в «передвижничестве» таится яд застывания, успокоенности, оппортунизма». Вкусы тёмных масс надолго, на целые десятилетия определили государственную политику в области литературы и искусства — политику жесточайшего вандализма.

Одним из самых пагубных грехов писателя была объявлена — смешно вспомнить! — литературность, в сущности — эрудиция, причастность к мировой культуре. В «Романтиках» К.Паустовского, пробежав текст цепким взглядом, я насчитал 83 имени творцов культуры: писателей, композиторов, артистов, художников. Удивительна история этой вещи: законченная в 1923 году, она 13 лет дождалась публикации и проникла в печать на плечах успешных «Кара-Бугаза» и «Колхиды». И тут же — окрик: «далёкая для сегодняшнего дня». Еще бы! В тот «сегодняшний день» уже не вмещались Уайльд, Рембо, Кнут Гамсун, Гоген, Метерлинк, Розанов, Волошин, Пикассо, Северянин, Борис Зайцев, имена которых то и дело всплывают на страницах книги, которая вновь увидит свет лишь 21 год спустя.

А тогда, с начала 30-х годов, Паустовский пережил жесточайший творческий кризис. Он преодолел его в конце десятилетия, выпустив книгу рассказов «Мещёрская сторона». С этой маленькой книжки писатель вошёл в историю русской литературы XX века. И началось его шествие в литературу мировую. Пройдёт время, и Паустовский станет самым переводимым советским писателем, его признает лауреат Нобелевской премии Иван Бунин: «Ваш рассказ принадлежит к лучшим рассказам русской литературы».

Расцвет таланта Паустовского пришёлся на послевоенные 40-е, никак не способствующие развитию художественной мысли. С августа 1946 года с грохотом погромных ждановских речей захлопнулся «железный занавес». Рухнули надежды победителей на благодарность власти. Те имена, что блистали когда-то в «Романтиках», оказались под жесточайшим цензурным запретом. Народу, победившему фашизм германский, стали навязывать фашизм русский. Но именно в эти годы упрямый Паустовский пишет «Корзину с еловыми шишками» о великом норвежце Эдварде Григе. «Равнину под снегом» о полностью запрещённом «мистике и пессимисте» Эдгаре По, протягивая тонкие живые нити к мировой культуре. И в дальнейшем Константин Георгиевич не упускал ни малейшей возможности помянуть добрым словом имена западных деятелей искусства, находившиеся под запретом.

С Оттепелью «железный занавес» заметно проржал. В 1956 году Паустовский, страстный путешественник, наконец-то впервые выехал за границу. И связи эфемерные обрели прочную реальность. К писателю пришло международное признание. Начались встречи с писателями и переводчиками Франции, Великобритании, Голландии, Польши, Болгарии. Тому, как это происходило, и посвящён номер журнала, который вы, читатель, держите в руках.



НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАУСТОВСКИЙ

Константин ПАУСТОВСКИЙ

*Зной. Синие, мрачные горы.
Воспалённые малярные закаты.
Читаю, пишу «Золотую нить»...*

*Из дневника
Лето 1922 года. Сухум*

ЗОЛОТАЯ НИТЬ

Я, кажется, много пережил. До сих пор мне памятен запах сигарного дыма, фиалок и пыли на бульварах Парижа.

Я ещё молод, но годы войны и бесчисленных переворотов, которые я пережил в своей стране, измучили меня, как старика. Мышцы обвяли, тусклая пустота всё чаще заливают мозги, и неизмеримая, сонливая усталость приковывает меня к походной койке в сырой, прокуренной комнате.

Часами я лежу и, глядя на покрытый розовым отсветом потолок, вспоминаю блестящие после дождей асфальты Парижа, где древние мансарды озлащены холодным пламенем версальского заката. Я вспоминаю Париж лилово-серый от туманов, пахнущий дождями и небрежно рассыпающийся в синюю ночь золотое конфетти огней... Там долго и трудно я воспитывал свою душу, как нечто редкое, как цветок «виктория регия», расцветающий раз в столетие.

Изошрённость моего ума давала мне много радости. Как старинный фарфор, я долго разглядывал каждый день во всей сложности его идей, звуков, запахов, взглядов, печалей и смеха. Изучал эти мяг-

кие, слегка напудренные туманами дни, когда горят витражи старинных соборов, переживших великую Революцию, слышавших бешеный крик Дантона, и доносится издали влажный шелест обрызганных росой бульваров, где бродили Беранже и мидинетка Мими.

Я изучал сен-симонизм, архитектуру, живопись Ван Гога, историю Коммуны, романы Бальзака, толстые лоции южных и северных морей, политические системы различных стран, исторические мемуары восемнадцатого века с их непередаваемой прелестью пожелтевшего от времени стиля. Я изучал нервность во всех её проявлениях, — звенящую нервность надломленных женщин и сплин до оторжки пресыщенных культурой мужчин.

Когда над Парижем ложился тёплый туман с лёгким запахом дыма и овощей, я уезжал к берегам Бретани и подолгу бедно и голодно жил в Гонфлере, писал письма друзьям в Россию, слушал стук сабо, хлопанье заплатанных парусов, шум крутого, солёного прибоя и любил глядеть по ночам на огни маяков и далёких океанских пакетботов.

И в душе у меня напряжённо, едва слышно звенела струна. Временами в сутолоке rue Rivoli или в вагоне метро я вздрагивал и слушал этот звук, мучительный и загадочный, неизъяснимо сплетённый в душе с запахом фиалок и дымом весенних вечеров. Словно всё, что я впитывал от жизни, рождало в душе какой-то хрусталь, звенящий, надтреснутый и прозрачный. И вся жизнь казалась мне прозрачной и овечьей непередаваемой мягкостью.

МП: В этом номере мы представляем фрагмент неизвестной ранее повести Константина Паустовского «Золотая нить» (Неоконченная повесть), написанной в 20-х годах прошлого века, а также его интервью английской газете (1964 г.). Годы и годы разделяют эти материалы, но как многое может сказать о судьбе писателя эта отдалённость во времени!

В Паустовском всегда жила мечта увидеть другие страны. С молодости он был готов к встрече с ними, с их

культурой, если смог написать в «Золотой нити» о Париже и Северном море так, словно побывал там. Страшные годы войны и революции лишь обострили его мечту. Но... Прошло не одно десятилетие, прежде чем Паустовский смог посетить страны зарубежной Европы. Сколько прекрасных произведений мастера, к сожалению, не написанных, мы потеряли из-за «железного занавеса»!

Редакция надеется, что со временем сможет познакомить читателей с полным вариантом повести.

В эти минуты с особым чувством ласковости я вспоминал Москву, Мёртвый переулочек, московский говор и смех, окна замоскворецких домов, запотевшие от самоваров, Кремль в синем морозе, бархат девичьих шубок и всю прелесть отрочества и наивной, ещё детской любви.

Как-то в жаркий июльский день весь Париж вздрогнул от крика газетчиков. Началась война. Синие волны пехоты шли к Северному вокзалу, качая на штыках измятые, пыльные хризантемы. Где-то горела как в тифу, вся в смертном огне Бельгия, «la petite Belge», гремели пыльные форты, и рассыпалось белой извёсткой кружево средневековых магистратур.

Париж не спал по ночам и мерно дышал в синеватом мраке, вскидывая в небо сонные руки проекторов.

Я уехал на родину через закопчённый, гладко выбритый Лондон, заполненный кардиффским мокрым дымом, зелёными шинелями и стеками.

В каких-то сумрачных доках, ночью, под дождём, медленно бороздившим каналы, я поднялся на мокрую палубу норвежского угольщика и до скользкого и угрюмого рассвета просидел на корме, слушая неумолчный рокот чужого и странного города.

Это был Гулль, откуда уходили, крадучись, последние пароходы в Норвегию.

В пути упали лёгкие туманы, перепалили холодные дожди, пароход тяжело переваливался на свинцовых волнах, и только один раз море до бесконечных далей загорелось солнечным молоком, и тёплый ветер высушил дубовую палубу. Позади нас неотступно шёл, роя воду, длинный, грязно-серый миноносец, пыхтя широкогорлыми трубами.

В Норвегии нас долго не спускали на берег, и я провёл три томительных дня на спардеке, глядя на зелёные жалюзи и флаги над белыми домами и слушая громкий крик пролетающих над фиордом птиц.

На пароходе я читал Киплинга, и мне казалось, что книги его написаны ровным, жирным почерком банкира, почерком человека, остро знающего и ощущавшего жизнь.

Книги его увеличили во мне жажду к жизни, ставшую более мучительной по мере приближения к рубежам России.

Помню вечер, когда мы отошли на север вдоль берегов Норвегии, и далёкие хмурые горы, вдруг сверкнувшие под солнцем, как только что расколотый сахар.

Потом были дни в зеленоватой мгле и шуме уходящих из-под кормы волн, от рассвета до сумерек визжали чайки, ныряя около лага, пенявшего воду, взмывали над палубой, поджигая красные лапки, и тянулись, как призраки, безлюдные, затянутые серыми снегами мысы.

Острым холодом тянуло от непрозрачной полярной волны.

Я простудился и лежал в каюте, думая о Москве, о своём одиночестве, о расколотой над-

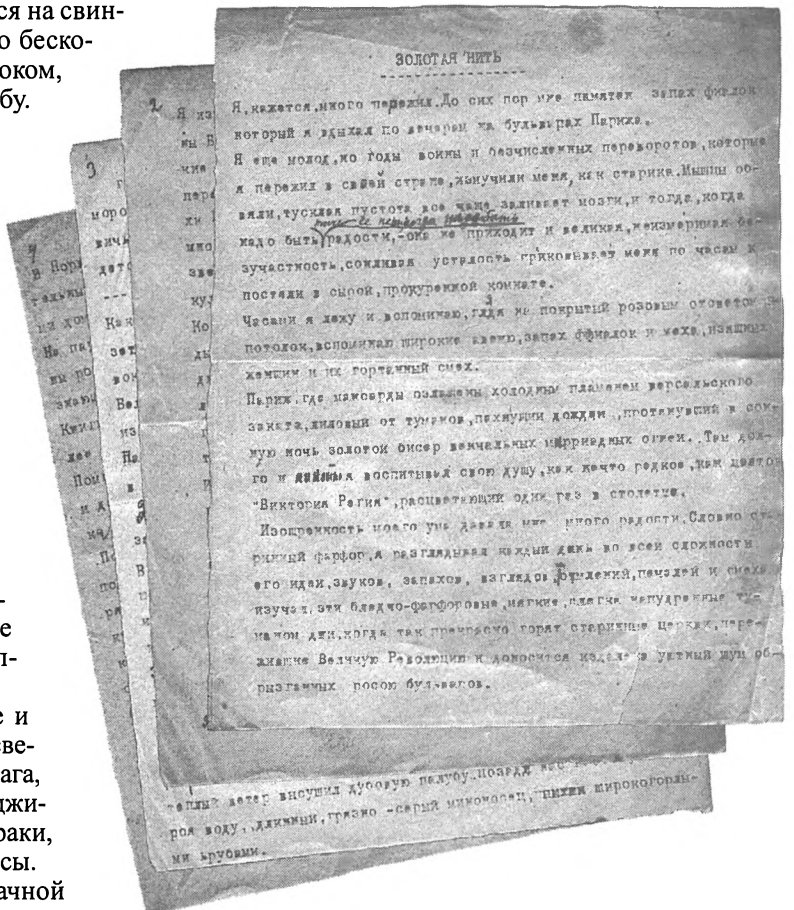
вое жизни. В эти дни меня впервые стало тяготить смутное чувство неисчислимого горя, разлитого вокруг, острая жалость к людям, печаль о каждом потерянном взгляде, о каждой едва намеченной мысли, похороненной в глубине души.

Потом, спустя годы, это чувство сжало в комок всю мою душу. <...> грязный, небритый, бездомный, скитаясь по загаженным и истощённым городам России, я часто плакал от тоски по всему человеческому, от тяжкой жалости к себе, ко всем убитым и замученным последними годами.

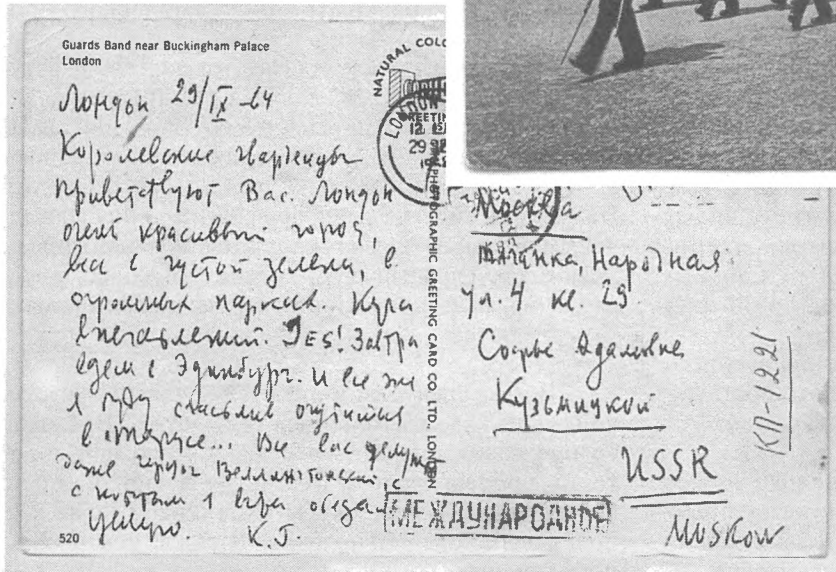
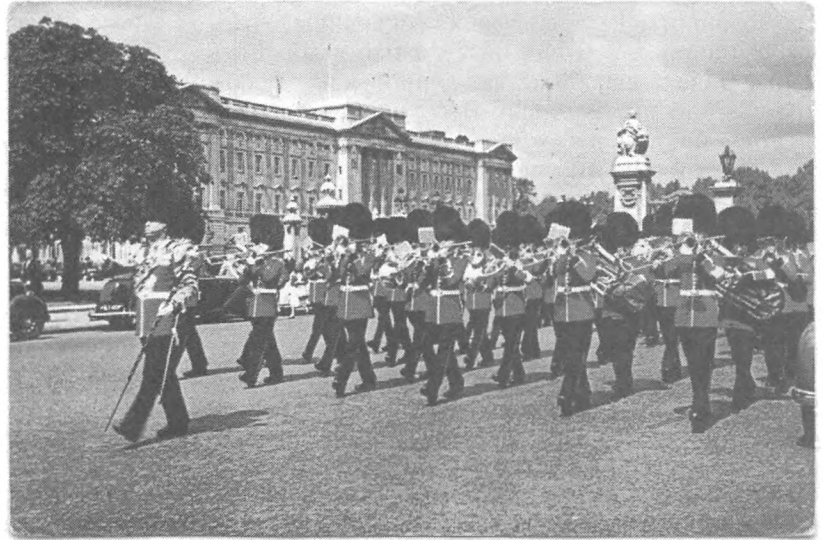
За Варде мы шли в сплошных сумерках, моряки надели меховые куртки, и на палубе хрустел под ногами зернистый лёд.

Ехал со мной художник, молчаливый, зябнувший, давно уже отвыкший от России. Двенадцать лет он не был дома, забыл язык, но что-то гнало его на родину, в Одессу, где на Большой Арнаутской, в грязном еврейском доме жила его старуха-мать. Был он сухощав, и в серых зрачках жила серая, вогнанная внутрь тоска.

Я много говорил с ним по вечерам в тесной каюте, слушая, как гудит за иллюминаторами монотонный шторм. Мы говорили о Пикассо, Сезанне, Боннаре, о тонких красках и тончайших фантазиях надолго отодвинутого от нас мира...



Машинописный вариант рукописи.
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского.
Публикуется впервые



Открытка К.Г.Паустовского из Лондона (29.09.1964) в Москву С.А.Кузьмицкой, близкому другу семьи Паустовских:

Королевские гвардейцы приветствуют Вас. Лондон очень красивый город, весь в густой зелени, в огромных парках. Куча впечатлений. Yes! Завтра едем в Эдинбург. И всё же я буду счастлив очутиться в Тарусе... Все Вас целуют, даже герцоги Веллингтонский, с которым я вчера обедал. Целую. К.Г.

Я много путешествовал, когда был молодым, для того, чтобы набраться жизненного опыта. Именно потому, что когда я начал писать, когда написал свои первые рассказы, я понял, что очень плохо знаю жизнь».

Паустовского спросили, можно ли было в такие тяжёлые времена учить молодых литераторов писать только правду. Он ответил: «Как показывает собственный опыт, говорить правду тогда было не сложнее, чем сейчас. Меня нелегко запугать... Прочтите мою последнюю книгу, факты в ней правдивы до горечи». Паустовский повторил заданный ему вопрос: «Как мы учим писателей быть честными?» и продолжил: «Если вы хоть раз прочтёте неправдивый рассказ, вы сразу почувствуете, что в нём не так. То же и в наше время, сейчас. Но если вы общаетесь с людьми честными, достойными доверия, вам не о чем беспокоиться...»

У многих молодых писателей моего семинара уже был военный опыт. Они пришли в институт сразу после войны, и им не хватало опыта мирной жизни. Они должны были его получить, и для этого лучше всего было уехать из Москвы, где-нибудь поработать, только, разумеется, не корреспондентами газеты. Тогда знания и опыт придут сами собой. Я против записей, против того, чтобы книга рождалась из записей...»

Потом Паустовский подробно рассказал, как на семинаре обсуждают произведения: «Мы разбираем предложение за предложением, слово за словом. Ибо первое, что нужно сделать, — это отбросить словесный мусор, его всегда много. Второе — образы: правдивы ли они, принадлежат ли самому писателю или же позаимствованы из какой-то книги?»

Или возьмём прилагательные. Молодые писатели часто злоупотребляют ими. У меня было одно правило, — если быть точным, не совсем правило, потому что в литературе правил не существует, — я просто прошу студентов не использовать больше одного прилагательного, во всяком случае, поначалу. Я говорил: четыре прилагательных — это безнадежно, три — плохо, два — приемлемо, но лучше всего — одно. Из четырёх вы должны выбрать самое выразительное и неизбитое. Только гений может позволить себе употребить больше, чем одно прилагательное. Толстой, например, мог написать: «тихий, серый, тёплый день». Но это надо уметь делать. И быть беспощадными, избавляясь от ненужных слов. Я говорил, что к отрывкам, которые им самим нравятся больше всего, надо относиться особенно строго.

Теперь о языке. На первый взгляд это может показаться странным, однако для писателя слова-

ри профессиональной лексики очень полезны. В них можно отыскать настоящие сокровища. У моряков, например, очень интересный язык. Есть книги, подсказывающие капитанам, как плавать по тому или иному морю. Это лоции. Обычный читатель никогда в них не заглядывает, а я всегда показывал их своим ученикам. Например, текст, из которого можно узнать, что, когда дует северо-восточный ветер, берега заволакиваются плотным мраком. В наше время слово «мрак» — это состояние ума, но для писателя оно может означать и густой тёмный туман. Я учил студентов обыгрывать в своих текстах такие слова. Я послал студентов в пивные, но не для того, чтобы они пили! В разных частях города есть пивнушки, где собираются люди различных профессий — сапожники, водители автобусов, шофёры. Когда я был молодым, я сам ходил по таким местам и теперь передаю свой опыт ученикам.

Также я обычно просил их попробовать что-то «отмочить» в жизни, чтобы посмотреть на реакцию окружающих. Так мы, ещё школьниками, в Брянске пускали какой-нибудь слух — и он возвращался к нам ровно через две недели. Конечно, мы были детьми.

Я убеждал студентов заниматься рисованием, архитектурой, музыкой, театром. Всё это обогащает писателя, и, в целом, я доволен результатом».

Паустовский рассказал о своём ученике Борисе Балтере, одном из самых серьёзных и целеустремлённых представителей послевоенного поколения советских писателей. «Балтер вернулся с войны серьёзно раненным. Война для него была психологически и даже политически тяжёлым испытанием. Он был передовым человеком в самом хорошем смысле этого слова. Его нельзя было сломать».

Когда Паустовскому задали вопрос о том, как такой человек мог жить в сталинские времена после войны и оставаться писателем, в разговор вступила жена Паустовского: «Вы должны прочитать его повесть «До свидания, мальчики». Она написана с большой горечью, на неё Борис потратил большую часть жизни, массу сил и времени. В жизни Балтера

было много разочарований, ему пришлось искать новую почву взамен выбитой из-под ног».

На вопрос о том, как эти молодые писатели принимали официальные литературные указания, Паустовский ответил: «На самом деле они их не принимали. Больше всего они писали о собственном военном опыте. Я понимал, что это не продлится долго, но в то время они писали о войне, и, соответственно, эти вещи не могли быть опубликованы».

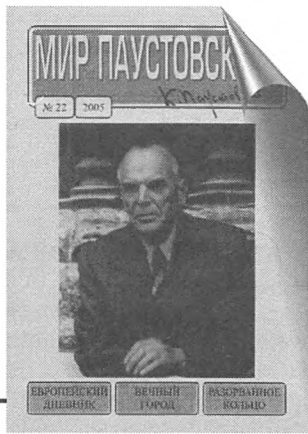
Звучит вопрос: как повлиял на Балтера-писателя его военный опыт? «Ну, — отвечает Паустовский, — это касается психологии творчества. А никому не дано раскрыть тайну творческого процесса».

В этот момент госпожа Паустовская вновь вступила в беседу: «Балтер вернулся с войны искушённым человеком, со многим не соглашавшимся. В юности он надеялся жить так, как его учили в школе, в реальности же столкнулся совсем с другим. Поэтому он ушёл из своей профессии — он был кадровым военным — и стал писателем, талантливым писателем. Главный его результат — повесть «До свидания, мальчики». Повторяю: вы должны прочитать эту повесть...»

«Всегда следует помнить, — говорит Паустовский, — из какой материи состоит жизнь. Восходит солнце, начинается день, наступает вечер, ночь, приходит любовь, счастье. Всё это — жизнь. Смешно спрашивать, как мы живём? Мы живём не только политикой. Конечно, политика очень важна, но есть и другие вещи помимо неё...»

Я думаю, мы живём именно так, да и вы, наверное, тоже. Как может быть иначе? Каждый хочет чем-то заниматься — один бежит к речке с удочкой, другой играет в футбол, третий делает ещё что-то. Кто-то сходит с ума по музыке... Вам трудно представить нашу молодёжь (а наши молодые люди очень хорошие) сидящей, схватившись за голову, и размышляющей о Сталине и о будущем. То, что будет потом, — тайна, будущее полно сюрпризов».

Перевод с английского Александры МОРОЗ



ВСТРЕЧИ С ЗАПАДОМ

Галина АРБУЗОВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО ХУДОЖНИКА

Осенью 1956 года К.Г.Паустовский совершил путешествие вокруг Европы на теплоходе «Победа». Это была его первая поездка на Запад.

Во время плавания Константин Георгиевич делал дневниковые записи. А вернувшись, вскоре написал небольшую статью-эссе «Муза дальних странствий» (1957). Впечатления от этой же поездки легли в основу очерков-рассказов «Толпа на набережной» (1958) и «Мимолётный Париж» (1959). Между дневниковыми записями в путешествии и перечисленными вещами существует принципиальное различие. Именно в этом различии заключён основной интерес дневников писателя.

Паустовский часто говорил, что, по его глубокому убеждению, писатель не должен никому рассказывать то, что он собирается написать или пишет в этот момент, так как ни в коем случае нельзя «выбалтывать» свои ощущения, идеи и находки. Любопытно, что сам Константин Георгиевич не «выбалтывался» даже перед самим собой, в своих дневниках, которые, кстати, вёл на протяжении всей жизни. Отсюда их основная черта — предельная лаконичность, последовательная запись фактов и крайне скупые эмоциональные оценки этих фактов.

Дневники Паустовского — это скорее всего свидетельство художника, строгая фиксация того, что видит точный глаз не просто литератора в узком смысле, но глаз живописца, ибо мир в его дневниках предстаёт перед нами прежде всего в цвете.

И вторая сторона художественного своеобразия дневниковых записей — их построение напоминает принцип документального кино, где тот же зоркий глаз (на этот раз его можно сравнить с глазом оператора) выбирает из хаоса увиденного наиболее точные и яркие детали и выстраивает их в определённый ряд, создавая непрерывно движущуюся картину, где одни события спешат уступить место другим.

Несмотря на краткость, лапидарность изложения, на его почти телеграфный стиль, дневники всё же несут печать общей писательской манеры Паустовского. «Мне кажется,

— говорил он о себе, — что одной из характерных черт моей прозы является её романтическая настроенность. Это, конечно, свойство характера». Приподнятый, несколько романтический строй определяет основную тональность и этих дневниковых записей.

Паустовский с ранних лет мечтал о путешествиях, о чём он писал и говорил неоднократно. Одним из его любимых занятий на протяжении всей жизни было изучение географических карт, лоций разных морей, морских энциклопедий. Множество раз он совершал путешествия в своём воображении и, казалось, знал, ну, если не весь мир, то Европу так, как будто жил там долгие годы.

Поняв и реально ощутив «поэзию чужих стран», Паустовский в то же время с новой силой почувствовал в этой поездке, как «прав был Тургенев, когда писал, что Россия может обойтись без каждого из нас, но никто из нас без неё обойтись не может» (об этом он написал в «Мимолётном Париже»).

Уже незадолго до смерти, поправляя и дополняя предисловие к собранию своих сочинений, Паустовский вновь вспоминает путешествие на теплоходе «Победа», которое казалось ему «нереальным и напоминало вымыслы юности». Но эти же воспоминания заставили его написать слова, ставшие теперь хорошо известными: «Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара... Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на её скромных берегах я теперь часто и подолгу живу».

Эти дневниковые записи Константин Георгиевич не готовил для печати, но нам кажется, что они представляют интерес и для широкого читателя, который совершит на этих страницах короткое путешествие, где «поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью», даст возможность ещё раз увидеть мир светлыми и острыми глазами писателя.

МП: В предыдущем номере нашего журнала был напечатан очерк Даниила Гранина «Чужой дневник», где речь шла о «Европейском дневнике» К.Паустовского. Мы предлагаем познакомиться с самим дневником писателя, малоизвестным широкому читателю.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДНЕВНИК

Отъезд в Одессу. Провожала Танюша. Галка. Дим.

4 сентября. В дороге. Синезёрки. Детство. Сияющие, все в росе Брянские леса. Рыжие папоротники. Первые приметы осени. Киев.

Одесса. Канны, солнце, порт. Океанская белая «Победа», порт завален товарами. Сорная вода, иностранные флаги.

В город на такси. Аркадия, Дюк. Снова в порт. Долго не пускали старые сторожа. Бестолочь, заграничные паспорта.

Одиночество, уже скучаю.

Каюта II класса. Теснота. Койка, как шкаф.

Отвал в полночь. Шум волн, уходящие огни Одессы. Красный огонь Воронцовского маяка. Город, — «казалось, он в дали шумящей утопал».

5 сентября. Утро. В море. Хмурый цвет.

Днём открылись берега Болгарии — из охры и красной слоистой глины. Обрывы, леса, пустынность. Дикий мыс Калиакра с маяком. Курорты — уже Европа. Синева, горы в дубовых низкорослых лесах.

Варна. Барельеф Димитрова на молу. Уютный порт. Маленький город вроде Феодосии.

В город — ряды цветов, оживлённые улицы, извозчики и автобусы с колоколами, похоронные афиши на стенах, чудесные дети. С Граниным, Катерли, Рахмановым и ленинградским театральным критиком Цымбалом. Много чудных лавчонок. Кафе на тротуарах. Возвращались вечером. Глухота и булыжник незнакомых улиц. Сон на палубе.

6 сентября. Проснулся в море. Качает. Ветер, серые облака, берегов не видно. Идём к Босфору. Шторм в шесть баллов.

(Пишу это всё в Эгейском море — сказочном, с лиловой, мягкой, прозрачной водой. Голубой небесный дым и тихое золото облаков. Древние страны человеческой мечты. По левому борту — остров Лесбос, в белом пару, желтеющий нагими каменными обрывами. Серая земля масличных рощ. Волнение до слез.)

В конце дня открылся среди гор вход в Босфор. Два маяка на коричневых обрывах, а потом — нечто неопишное по множеству живописных скал, маяков, руин, волн, лесов, собранных каким-то чудом в одном месте. Фелюги (как у Ван Гога), — кинноварь, зелень, лазурь. Форты.

Остановились в Каваках. Зурбаган. Соты домов, крыши из листьев винограда. Уют. Корабли. Закоулки. Турецкие девушки.

Карантинный врач на катере. Полицейские. Стали до утра на якорь. На спардеке с Граниным, Катерли, поэтом Орловым.

7 сентября. Пошли к Стамбулу. Причал у гостиницы. Гроздь домов, полицейские в белых касках.

Я — с ленинградцами. Турецкие журналисты (девушки), все в тёмных очках. Водопады солнца. Интервью, снимали. Переводил Гранин.

По улицам — джип с полицейскими (по просьбе посла, так как годовщина армянской резни). Всё завалено товарами, теснота, тысячи чувяк. Медники, овощные лавки. Ткани.

Галатский мост. Путаница и теснота рей, труб, лодок, вывесок, людей, закоулков. Пакетботы по Босфору, увешанные спасательными кругами.

Ипподром. Египетские обелиски. Змеи (медные). Голубая мечеть. Старый турок с водой. Низкие светильники.

(Скутари — Искутар — лес кипарисов.)

Айя-София. Вход с переулка, запах сухого навоза. Сдавали аппараты. Зной.

Величие, прохлада, тишина. Гигантский невестомый купол, на арках десятков окон. Капище. 1400 лет. Архангелы, щиты с арабскими письменами (зелёные). Мальчик-журналист. По-французски.

Мозаика, кажется, византийская в проходе между стен.

Голос имама в мечети Сулеймание. Базары. Жандармы в пробковых шлемах и белых гетрах. Трамвай — первый и второй классы.

Приветствия. Студенты в кафе. Золотой рог. Омовение на улицах. Кладбища среди города.

Дворец Долма-Бахче. Канны. Вычурность. Прохладный, золотисто-пышный. Дымные зеркала, за окнами — пышные сады, розы, виден Босфор. Гарем. Потолок с хрустальными слезами. Наш гид — турок простой и весёлый. «Суайе бьенвеню а Истамбул».

Усталость. Сераль. Сидел у входа в тени. Улочка около Археологического музея. Акимов.

Пера — улица Истеклял. Бешеное движение. Бешеные машины — шевроле. Писцы на улицах (на старых пишущих машинках). Турчанки в чёрном. Девочка в розовом. Воздушный поцелуй.

(До этого — где-то на окраине, у старых византийских стен. Работницы с табачной фабрики.)

Американский отель на столбах. Веера воды, газоны. Всё это пересечено пустырями. Торговцы водой. Графины вместо пробок заткнуты лимонами. Кафе над Босфором. Оранжад. Кальян, Гранин и турчанка — «нязи!»

8 сентября. Проснулся в Мраморном море. Пароход втягивался в Дарданеллы. Сухие древние горы, ущелья, розовато-жёлтая каменистая земля. Галиполи. Цвет палёной бумаги. Ни одного деревца. Горячие бухты, фелюги.

Вышли в Эгейское море. Лиловая шёлковая вода. Шествие великих и древних островов. Лемнос. Лесбос. Колыбель человечества. Ветер с островов. Весь день в ослепительной синеве. (Собрание ленинградцев.)

9 сентября. Встал в 4 часа ночи, до рассвета. Входили в Саронический залив. Ночь, потом сумрачный сумрак. Пронзительные створные огни Пирейского порта (зелёный и красный).

Огни Пирея. Причалили. Корабли. Греческие полицейские — вполне интеллигентные красавцы. Автобусы разных расцветок с гербами. Гид из России. Чудовищная жара — 39 градусов в тени.

Заливы около Пирея. Входят в ансамбль города. Олеандры — деревья. Слова Гранина о чужой красоте. Коттеджи.

Афины. Теснота. Могила неизвестного солдата. Акрополь над городом. Сжалось сердце. Памятник Байрону.

В Акрополь по стёртым тысячелетним ступеням. Тон мрамора — топлёное молоко. Мутная прозрачность, отблески (слоновая кость). Мрамор всегда холодный. Афины внизу, в сухой мгле. На холмах



Греция. Афины. У стен Акрополя.
Из архива Гослитмузея

среди города — какие-то руины, огромные ионические колонны.

Зной. Подобрал несколько кусочков мрамора. Родион Щедрин снимал меня. Храм Ники — Победы. Жёлтый сухой цветок. Туристы — французы и немцы. «Но сувенир!»

В национальный музей. Много нового, только что найденного, поднятого со дна заливов. Посейдон из бронзы.

На улице, на парапете, где растёт какое-то сочное зелёное растение с большими волнистыми лапками, как у портулака. Оранжед. Жара. Значки рабочим и мороженщику. «Иса крем!» Полицейский выпрашивал у мороженщика значок.

Часовые-сулиоты у дворца королевы Фредерики. Предместье Афин — фешенебельное. Отель «Паллас». Виллы Корбюзье, новые дома палевой раскраски. Большие жалюзи. Олеандры. Сухая земля.

Отель. Экипажи, автобусы (автопульманы). Мальчик весь в пуговках. Обед на террасе. Макароны с томатом, любопытные официанты, дети на перилах. Сувениры. Белое вино.

Приехал посол. Концерт. Тарапунька и Штепсель. Джаз. Речь посла.

В город на площадь Плебисцита. Старики, обвешанные губками. Почти все говорят по-русски. Мальчишка с конвертами. Письмо Тане (почтамт).

Человек из России — больной, с крестиком на шее. Площадь, тысячи реклам, крики продавцов. С Катерли и Граниным пили оранжад на площади. Матросы. Старушка из Ростова-на-Дону. «Комиксы». Гирлянды тёмных очков — «консервов». Всех форм. Усталость.

В Пирей. В таверне в порту с Катерли. Пусто, старик. Лимонад. (До этого — заливы около Пирея изумительные. Гранин понял поэзию чужих стран.)

Ночью отошли. Провожал посол.

В Ионическом море. Берега Греции — как багровый дым. Качает.

Качало весь следующий день, пока не показали берега Калабрии и Сицилии. Этна. Мыс Спартивенто. Изумительная вода — ляпис-лазурь. Обрывистый берег Калабрии. Лава, маяки, посёлки. Всё выжжено до корней. Высохшие реки с цементными руслами падают с гор. Сказочный разворот Мессинского пролива. Этна — огромный поднебесный вулкан. Синева.

Новый вулкан. Извержение. Объявили с капитанского мостика. Сернистый дым, видно, как горят от потоков лавы по склонам гор смолистые сухие леса.

Чудесный город Реджо ди Калабрия. Рыбаки. Жестокая желтизна. Солнце.

Мессина. Памятник на колонне. Квадратная средневековая башня в море. Электролиния через пролив. Красный маяк (цвета киновари).

По склонам Этны бьют фонтаны дымков. Апельсиновые сады. Невероятная голубизна, отвесный берег в плюще, крепости — ноздреватые, старинные. Губки в воде. Дельфины.

Остров Стромболи. Дымит. Лазурная нереальная страна.

(Тирренское море.) Юбилей Гамзатова. Добряк. Проснулся до рассвета. Думы о своих, о Танюше, о Галке. Сырое утро, дали во мгле, силуэт Везувия. Огни Неаполя. Маяки. «Карго» (лихтера) на якорях. Лоцманский катер. Пожилой лёгкий лоцман взбежал по верёвочному трапу, как пёрышко.

(До этого было в Пирее — итальянский пароход линии «Адриатика». Рядом с нами. Красавцы — офицеры и матросы. Патеры в круглых шляпах. Изящные женщины на крышке трюма — ужинали. Девушки все как Джина Лоллобриджида. Очень трогательные. Романтический пароход. Дружное общение пассажиров. Когда пароход отваливал (кажется, в Яффу), патер благословлял (крестил) его.)

В неаполитанском порту. Замок Каstell Нуово. Пароход «Сицилия». Долго не спускали на берег (спутники — Рахманов, Катерли, Акимов, Цымбал, Женя — жена Рыбака, бородатый молодой поэт из Ленинграда Орлов, добродушный Расул Гамзатов — «представитель маленького горского народа»).

Нарядность и уют улиц, которые как будто видел во сне. Гид — бывшая русская, старуха в перчатках, всем недовольная.

В Помпею. Весёлые и просторные окраины Неаполя. Везувий не дымит. Чистота, зной, зеленющие сады и склоны. Дорога выбита в толстых слоях жёлтой лавы. Помпея. Чудесный город. Оландры, масличные сады. Запах мазута, рекламы, белые мотороллеры. Внизу в перистой листве — Каstellаммаре.

В Помпее — зной. Извозчики (веттурино) на разукрашенных гнедых поджарых лошадаках. Бичи, фонари. Полицейские с белыми перевязями.

Помпея — величественно и уютно. Плющ. Колеи, выбитые в камне веками. Много снимал. Иностранцы — старые англичане, индусы. Фигуры погибших (мальчик и собака). Собиратели сувениров (полицейские).

В Сорренто по фантастически прекрасной дороге. Снова Грин. Ущелья, в них прорезаны дома, увитые цветами, тенью, солнцем, шум источников. Перекидные мостики и лесенки. Солнце лежит на стенах, как полосы золотого полотна.

Ресторан в Сорренто (гид отказалась везти нас к дому Горького, — «далеко и неинтересно»). Внутренний дворик — патио. Ветер дует по скатертям. Каприйское вино.

На катер. Крутой поворот среди головокружительных стен, где в окнах решётки, а за ними — красивые женщины. Пристань. Мальчишки и девушки купаются прямо с мола. Акваланги. Водолазные маски.

Берег отражается в море, как в чистейшем оливковом масле.

Катер. Всё очень просто. Отошли на Капри. Бесмертные берега (Родион Щедрин).

Тоска по Тане, Галке, по моему чуду — маленькому мальчику. Завещаю Галке и Алёшке обязательно увидеть все это.

«Кока-кола» в пароходном буфете. Горьковато. Опереточный юнга. Очень вежливые детективы.

Игрушечный остров Капри. Горький, Бунин (жил в Анакапри, задумал там не только «Господина из Сан-Франциско», но написал лучшие свои рассказы о русском крестьянине — «Илья-Пророк», «Худая трава» и другие. В силу контраста).

Капри — как сон, где спутано всё живописное, чем блещет юг. Кафе на пристани, белые пароходы, веттурино, широкие и разноцветные машины (бесшумные), столики в цветных скатертях, лотки с кьянти и фруктами, монахи, рыбаки, дети, американки в узких брюках и лёгких кофточках навыпуск, тёмные очки, как бабочки, индусы, собаки, оранжад, городок на скалах, как один большой дом с переходами, францисканцы, подвязанные белыми верёвками с узлами, монахини. Шум, говор, смех, толчея, зелень со скал свешивается прямо в воду с огромной высоты, лиловая и совершенно прозрачная волна.

На моторке к Лазурному гроту (Гротта Лазуре). Моторист — пожилой босой итальянец вертел рулевое колесо ногой. Катерли, Рахманов и я. Вприставку к отвесным скалам. Статуя Мадонны в скале. Толчея лодок. Крики. Усталость. В грот. Фантастический лазурный сумрак и горение воды.

Сидели за столиком на площади у воды. Маленькие бутылочки с кьянти. Ослы, машины, дети. Немного отдохнул.

Пароход в Неаполь. Опоздали. Быстрый ход, маслянистая вода, ныряющие огни Неаполя в ночи на горизонте. Ветер. Акимов у окна.



Италия. Капри. В кафе на пристани. За ближним столиком: К.Г.Паустовский (слева) с писателями Л.Н.Рахмановым и Е.И.Катерли. Из архива Гослитмузея

Автобусы отвезли на ночную площадь перед собором. Карнавал «В честь святого Петра» (?). Пошли по улицам. Огромные щиты-картины из неоновых ламп — рыцарь целует у дамы, приподняв платье, круглое высокое колено, мчатся веттурино с любовниками и тут же распятия, где горят, как кровь, вишнёвые лампочки.

Огненные итальянки в национальных костюмах.

Такси. Содрал доллар. Ехали куда-то за город, в сторону Санта-Лючии, по запруженной толпами иллюминированной набережной. Подъём по узким улицам. Отчаянный крик полицейского: «Ла виа фермата!!!» Огромнейший, стандартно-европейский ресторан на площадке (площади) под открытым ночным небом над Неаполем. Джаз. Внизу — весь Неаполь в туманных огнях. Усталость. Вода со льдом. На «Победу».

Утром — в Рим. Поезд подали на пристань. Маленькие вагоны, красный бархат, купе и в них — чудесные репродукции в красках (Рафаэль, Боттичелли, вплоть до современных — Сегантини). Виногорад в пакетах («уво»).

Окраины Неаполя. Жёлтый дым. Вокзал. Жандармы с длинными саблями. Ходят по двое. Электровоз — сразу рванул. Бешеная скорость — 120–140 километров в час. Грохот, лязг, визг. Туннель за туннелем.

Апеннины. Живописно и сурово. Селенья и замки в лощинах. Сухая красная земля, каналы (бетонные), виноград, подвешенный между тополями, буйволы, маслиновые роши, сохи и мотыги.

Станция Форли. Кофе. Видно море. Города на вершинах гор. Соборы. Уснул. Разбудили около самого Рима. Акведуки в пыли.

Пустынный маленький вокзал. Город, на улице — пинии. Пирамида (около неё похоронен Шелли). Потрясающая красота города, слияние веков, непрерывное волнение.

Призрак Колизея. Бешеное движение блестящих машин.

Гостиница «Юниверсо». Чистота и мраморная прохлада. В номере вместе с Рахмановым. Всё — вверх дном. Уборщицы (сувениры), смех, хохот, притворные драки. Жара. Жалюзи.

Первая прогулка по Риму. Рыжий гид. Замок святого Ангела. Мосты, ансамбли. Удивительный Тибр — зелёный и мутный. Шествие статуй. Вдали собор святого Петра. Испортился аппарат.

Площадь Навона. Как на картине Каналетто. Фонтан, сухость, пустынность каменных плит.

Пантеон. Загадочное здание. Единственный источник света — отверстие в куполе. Таинственное освещение, свет, прошедший сквозь века. Глубочайшая древность. Могилы королей, вдруг — могила Рафаэля. Саркофаг в нише, вырубленный в древнем плоском кирпиче, и на нём — две сухие почерневшие гвоздики. Печаль.

Поездка на Яникул. (Мимо виллы Боргезе — прекрасного парка из пиний среди города, памятник Гёте.) Одинокий фонтан. Свежесть каскадов.купаются мальчишки. На Яникуле — памятник Гарибальди. «Рома а морте» — «Рим или смерть».

С холма виден весь Рим, — вечный город во мгле. Он кажется не очень большим. Продавец кораллов. Прелесть листвы.

Район выставки (начат при Муссолини). Новые дома, как невесомые корабли — все палевые: сиреневые, золотистые, голубоватые, слабозеленые. Большие и тонкие жалюзи. Очень нарядные и простые. Дом со статуями.

«Новый Рим». Несколько лет всё это пустует, ждёт открытия. Образцовый порядок.

Собор (базилика) святого Павла за городом. Святые двери. Патио. Монах в современных очках продает книги. Внутри — величественный вкус, тишина. Обдуманность каждого завитка. Сумрак. Двадцать патеров на коленях. Аминь! Прошли чёрной шеренгой. Солнце.

Конец дня — у фонтана Треви. Узкие улочки. Каскады, шум воды, её морской вид. Серебряные монеты. Катерли дала мне несколько гривенников. Бросил в фонтан. «Вернётся в Рим». Вечером с Рахмановым в кафе на панели. Лимонад. Оживление. Бродили по Риму. Ужин в гостинице. Корреспондент «Правды» Ермаков. Пили кьянти. Все самые левые художники в Риме — коммунисты.

Второй день в Риме. Густое солнце. Шофёр Романи Марчелло. Разговор о Пиноккио. На мостовой с Акимовым.

В Ватикан. Седой гид в чёрных очках и коротеньких брючках. По берегу мутного Тибра. Стены Ватикана. Много монахинь, некоторые на мотороллерах.

Вход. Герб папы — тиара и ключи. Гвардеец в форме, придуманной Микеланджело. Жёлто-красный, в берете. Жандарм (сбир) в синем, в треуголке с блестящей саблей. Лестница — два спуска без ступенек. Скаты. Восхищение Акимова.

Музей Ватикана. Скульптура. Дискбол. Лаокоон. Мраморы в удивительной сохранности. Цвет старого воска. Из окон веет свежестью и пустыньностью ватиканских садов. Египет. Гобелены. Несметные богатства.

Сикстинская капелла. Ремонт. Люди сидят чадами. «Страшный суд». Боттичелли. Сумрак. Золотистость фресок. От них, как от старой ткани, тянет вечерним светом (закатным) и теплотой тысячелетних стен.

Жилище папы — строгость крепостных зданий и переходов. Занавеси, написанные на стенах капеллы художниками. Стада туристов.

Библиотека Ватикана — все сокровища мира. Карты Колумба и Магеллана, глобусы. Золотая роза — папский орден, выковывается для подарка лучшей из женщин. Огромные анфилады гобеленов.

Папская почта. Монеты. Зной. Какие-то кусты в трещинах стен. Сорвал.

Здесь — ясность мысли и цели, всё родилось из вымысла (Христос) и превратилось в почти фантастическое, но вполне реальное государство (здания, эстетика, несметные богатства, философия, живопись, свои законы, мораль, казни, давление на сознание всего человечества). Пастернак. «Рождественская звезда».

Монах-словак. Миссионер. Эрудиция.

К собору святого Петра. Непостижимо, грандиозно. Великолепное описание у Стендаля — ничуть не устарело.

Исполинский внутренний алтарь в соборе Петра. Витые колонны.

«Пиета» — Микеланджело. Человек противопоставил себя богу. Величавость. Купол.

Девочки на конфирмации — белые кружева. Крестины. Семья и кормилица-итальянка, как у Брюллова. Синий корсаж, белые чулки.

На площади святого Петра. Сломался аппарат. Иностранцы, гиды, полицейские. Могучая колоннада. Всё кипит от голубей.

Граница Ватикана — белая мраморная полоса.

Стадион. Пустынность. Мощная скульптура. Лавры.

Колизей — суровый, молчаливый, тяжкий, будто сцементированный кровью. В нём живут.

В город с Катерли и Рахмановым. Студентки-итальянки в магазине. Попросили автограф.

Тихий сквер над туннелем. Пустынные тёплые улицы. Памятник Карлу-Альберту. Бронзовая треуголка. Фонтан. Дети. Платаны. Вечереющая тишина Рима. Все — с газетами. Усталость и отдых.

Вокзал Термини — удивительное здание. Ужин. Тележки. Сотрудник «Правды» и итальянский репортёр. Прощание с Римом. Поезд. Глубокий сон. Сельский полицейский в купе. Ночные окраины Неаполя.

На «Победе». Тотчас ушли. Синий, лиловеющий, волшебный дым Средиземного моря. Маяки Сардинии. Акимов рисовал мой портрет (шарж). Зной.

Проходим Алжир. Выступал в команде.

Ночь перед Гибралтаром. Уснул на шлюпочной палубе. Разбудил капитан. Тропическая сырость и жар, горячий воздух. Всё мокрое насквозь, как от дождя. Много кораблей (военных) идут к Суэцу. Сигналы, маяки — Тарифа и Гибралтар.

Вошли ночью в Атлантику. Океан спокоен.

Люди — Гамзатов, банкет в его честь. Гранин с аквалангом, пробовал его на рассвете в пароходном бассейне, чуть не утонул, поэт Орлов, его теория о старой культуре. Елена Осиповна Катерли, нежный и обидчивый Рахманов, Цымбал (его тосты), молодой композитор Родион Щедрин, сухой и чуть высокомерный Акимов, розыгрыш Гранина, радио мне от Симонова: «Прошу телеграфировать мнение французской общественности о последних стихах Грибачева», мои соседи по каюте — журналист Волков, был в Египте, судья из Минска. Женя Рыбак.

Прошли мыс Санта Мария — половину пути. Открылись берега Португалии, страны, всю жизнь привлекавшей меня и чем-то очень таинственной. Сухие горы, каменистые скаты, разрушенные замки и крепости, безлюдье, монастыри и маяки, похожие на крепости (на мысе Сан-Висенте). Базальт и гранит.

Ночью — огни Лиссабона. Старые дымные пароходы с высокими тонкими трубами.

Впереди Бискайя. Беседа в салоне с капитаном. Очень откровенный человек. Пароход довольно неважный, тихоход, горелые шпангоуты.

Вошли в Бискайю, оторвались от берегов Испании. Свинцовая хмурая вода. Мёртвая зыбь. Холодно. Заболел. Жар. Широкая и отлогая волна. Авианосец, как призрак. Долго запрашивал нас фиолетовыми огнями.

Утром — Гавр. Зелёный мыс, предместья. Радиолокационная станция вся во флагах. Отлив. Тинистые молы. Пустынность. На берегу — ажаны в синем. Белые португеи и кобуры. Дети, встречающие. Огромный порт. Пустые пути, тишина, рыболовы на велосипедах. Забастовка грузчиков.

Грохот поезда. В купе. Видно — нищий, бахрома на рукавах.

За окнами — Нормандия, сказочная страна. Сочная, тучная. Папоротник. Изгороди — барражи. Прелесть дорог и ферм. Вереск. Снимал с Акимовым на ходу. Ход бешеный. Гром, грохот, туннели.

Руан — среди высоких холмов, неожиданный. Туманная Сена. Вокзал, стиснутый между двух туннелей. Родина Флобера и Мопассана.

Круассе — выше Руана, ближе к морю. Мост через Сену. Мгла. Круговращение огней.

Париж! Вокзал Сен-Лазар. Толпы молодёжи. Смех, оживление. «Дружба!» Усталость.

Ночной Париж. Вихрь огненных реклам. Опера, церковь Мадлен, как видение детства. Всё знакомо до последней прожилки, и всё незнакомо.

Ажаны, разноцветные машины, гостиница на набережной Орсей. Темноватый вестибюль. Лепной зал. Вино. Ужин. В другую гостиницу на такси.

На Монмартр. Путаница бульваров. Отель «Сентраль Манти». Против «Фоли Бержер». Домашняя маленькая гостиница. Красивая пожилая хозяйка-парижанка. Портье-малаец.

Комната. Гладиолусы. Валики вместо подушек. Очень старый дом. Крохотные ванны и уборные. За окнами — ряды мансард.

Вечером на бульвары с Катерли и Рахмановым. Бульвар Нувель Монд. Бульвар Пуассоньер, ворота Сан-Дени. Усталость. Сюрреалистические картины на асфальте. Спящие машины стоят вдоль тротуаров в два ряда. Целующиеся парочки, спящие на скамейках старики.

Подобрал бархатный пыльный лист платана. Около кафе — девушка, которую мы только что видели на афише, — «ню». Кого-то ждала.

Ночь в гостинице. Валики вместо подушек.

Рано утром с Граниным и Рахмановым в «Чрево Парижа», на центральный рынок — халль. Целые кварталы стружек, пустых ящиков, теснота, банановые корки, кокосовые орехи. Кафе «Куращая собака». Рыбный ряд. Вода и лёд. Лужи. Омары и кальмары. Запахи моря. Крики. Мясной ряд. Свиные головы от куафера. Кокетливые монахини. Гранин расцвёл. Цветы и солнце. Русская женщина, забывшая язык.

Пон Нэв (Новый мост). Снимал его. Сена в серебряном утреннем тумане. Вдали — Нотр-Дам. Статуя Карла IV на мосту.

Остров. Суд. Латинский квартал. Чудесные улочки.

Издательство во дворе на мансарде. Секретарша Жоржетта, молодые редактора. Писатель Пьер Гамарра. Рисунки Пикассо на стенах. Вино, книги. Разговор по телефону с Эльзой Триоле. Нас провожал Пьер Гамарра.

Дом, где живёт Пикассо. Двор Академии. Плющ. Букинисты. Всё в листьях. Ветки над Сенной. Открытки, эстампы. Книжный магазин. Книги импрессионистов. Дом, где родился Анатолий Франс. Свежесть реки. Консьержеры с круглыми башнями. Домой. Икра (подарили Пьеру Гамарра).

После обеда в Лувр. В вестибюле гостиницы — знакомство с двумя русскими женщинами. Лидия Николаевна Делекторская и её двоюродная сестра. Работницы издательства. Автографы. Наши новые гиды (гид — студент Сорбонны в рваном пиджаке, русский, очень милый).

В Лувр. Зной. Великолепие, солнце, простота. Смотрел только две вещи — Венеру Милосскую и Джоконду. Сознательно. Сумрак. Теплота веков.

В сквере около Лувра. Снимались с Делекторской и её сестрой. Дети и бабушка. «Пти-Жан».

Объезд Парижа. Эйфелева башня, мосты, площадь Конкорд, сад Тюльери, Монмартр, Сакре-Кёр. Около Триумфальной арки. Поток машин. Кафе с Лидией Николаевной и Рахмановым. Бистро.

Обед. Портъе-малаец и весёлый старик-коридорный — циркач. Толстый шотландец. Новая комната.

Версаль. Окраины Парижа, валы, Булонский лес. Кавалькады. Тень, вековые деревья. Спокойствие и уют Сены. Пароходики — «мухи». На стенах надписи времён Наполеона о том, что здесь не разрешается клеить афиши. Дворы Версаля, камень. Статуи. Сенегальцы. Дворец запущен. Залы, зеркала, парки. Горы зелени. Стол, на котором был подписан Версальский мир.

Обратно — Нотр-Дам. Контрфорсы. Босой художник. Плющ над Сенной. Внутри — сумрак. Собор в соборе (от туристов). Монахини.

Латинский квартал. Сорбонна. Пантеон.

До этого — могила Наполеона. К Лидии Николаевне на такси.

(Катерли, Рахманов, Гранин и я.) Бульвар Пале-Рояль. Окна в Люксембургский сад. Чудесная квартира. Секретарша Матисса. Его полотна и рисунки. Книги. Два кота. Воздух осени из сада.

Такси. Русский шофёр из Одессы. Прощальный ужин. Аперитивы. Сувениры. Хозяйка гостиницы.

На вокзал Сан-Лазар. Проводы. Ящик с холодными фрукта-

ми. Прощание с Лидией Николаевной.

Грохот, лязг, огни Руана. Тихий Гавр в полночь. Отвал. Далёкие маяки Джерсея и Гернсея. Вообще — много маяков.

Вошли в Ла-Манш.

Утром в тумане — меловые берега Англии (Альбиона), покрытые ярко-зелёным ковром свежей травы. Мачты радиостанций и пустыннось. Паромы, белый парусник, древний зеленовато-тусклый цвет воды. Ветер. Мягкая качка.

К вечеру — плавучие маяки и бакены с колоколами. Вошли в устье Рейна и Мааса.

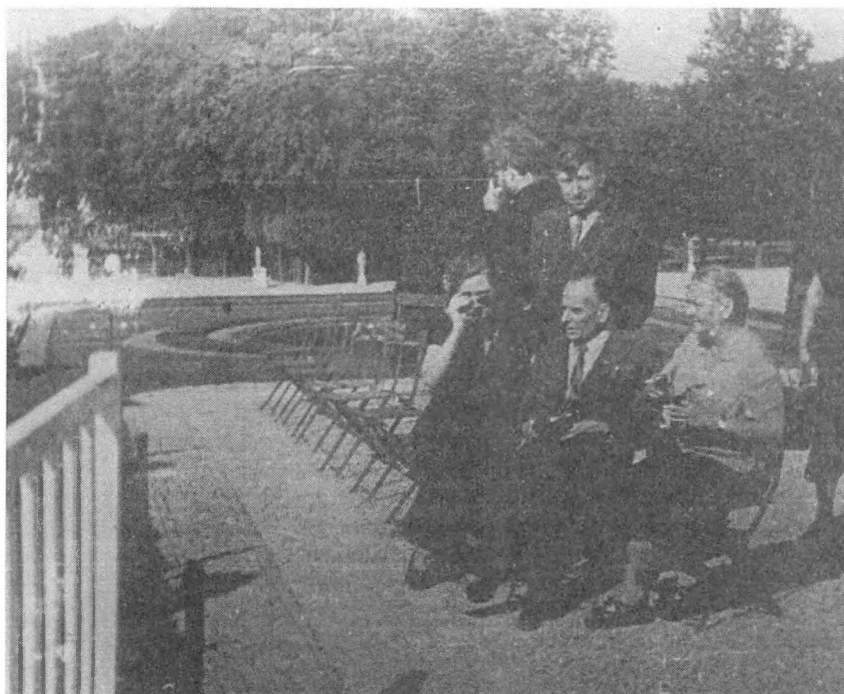
Роттердам — самый большой порт Европы. Вечер. На километры тянутся причалы, корабли, верфи, гигантские краны, уходящие огнями в небо. Всё расплавлено от неона.

Тёмный парк, кафе, драка парней с девушками в красных юбках. Наши бегали к полицейским, кричали, пока не оказалось, что эти парни и девушки танцуют рок-н-ролл по заказу владельца кафе. Для рекламы. Ровно в 12 часов они мирно сели на мотолеры и уехали в город.

Отшли к середине реки. Утром на катере на берег. Автопульманы.

Роттердам — бордовые кирпичи, цветы на балконе. Простор. Памятник из рваного от бомбёжек железа — «Вырванное сердце».

Музей Рембрандта. Чудесные дети. Мальчик. Архитектура музея, потолок с жалюзи, круглые проходы. Строгость, стройность, простота. «Урок анатомии». Пейзажи фламандцев. Неофламандцы. Роден, Ван Гог, Вламинк и Утрилло. За узкими открытыми окнами — чистый пустынный канал и девственные лужайки.



Франция. В Версале. На фотографии (слева направо): Л.Н.Делекторская, К.Г.Паустовский, Е.И.Катерли (сидят), Сергей Орлов и Расул Гамзатов. Из фондов Гослитмузея



Приютские девочки и монахиня.
Бумага, акварель, тушь, перо



Девочка в шляпке.
Бумага, карандаш



Парижское кафе.
Бумага, цветные карандаши



Бретонки с детьми.
Бумага, тушь, перо, кисть.

Рисунки Ариадны ЭФРОН
из книги: «Ариадна Эфрон. Рисунок, акварель, гравюра»
(Изд-во «Возвращение»; Музей Марины Цветаевой в Болшеве, 2003)

Покупал открытки. Флаги всех стран. Першероны и велосипеды.

В Амстердам. Переводчица — простая русская девушка, освобождённая из концлагеря, вышла замуж за голландца. Рыболовы, мельницы (из 2000 работает только 200).

Вдали Дельфт — родина Вермеера.

Гаага. Блоки над квартирами, поднимают все покупки (лестницы очень узкие).

Бешеный ход. Поля, плоскости.

Амстердам. Чистота, уют, сквер над каналом. Хрустальные катера. Каналы, шлюзы. Сотни машин с колёсами, почти свисающими над водой. Нет гаражей. Барки с квартирами, занавески, уют, кошки, смех детей. Листва в воде. По всем городским каналам плавают утки.

Порт в устье Амстера, — громады парусных и грузовых кораблей, дым, волна, ветер. Дом, где родился Рембрандт.

Стремительный завтрак в ресторане. Магазины. Весёлая продавщица. Кассирши всегда благодарят. С Катерли, — сувениры. Сабо, гербы городов для Алёшки.

Отъезд в Гаагу. По пути снимал мельницу и поля левкоев.

Гаага. Дворец мира. Одинаковые домики, букеты цветов, колючий кустарник. С Акимовым по сумрачной улице. Велосипедисты с собаками в корзинах. Собаки лают на встречных.

В Шевенинген, — рыбачий маленький порт около Гааги. Дамбы. Серый ветер. Женщины и девочки в чёрном и в сабо. Баркасы, множество бочек с рыбой, теснота, потом — серое море. Шум волн. Старый маяк на дамбе швырял два луча над головами во мглу.

Вереницы нарядных машин. Золотой ресторан. Из Хемингуэя. Лакеи во фраках, красивые, как Оскар Уайльд. Ужин без хлеба. Просьба хлеба вызвала смятение. Джаз за матовой стеклянной стеной.

На дамбе. Девушки, негры. Тьма. Усталость. В автобусе до Роттердама дремал.

Отошли. Северное море. Бакены с мрачными колоколами. Выступал в музыкальном салоне. Гранин купил фарфоровую мельницу, она играет «Ах майн либер Августин!». Он обескуражен...

К вечеру на второй день вошли в устье Эльбы. Сумрак, дым, пароходы из Гамбурга.

Утром канал. Шлюзы, неоновые неуютные вывески какого-то города.

Канал очень узкий. Голштиния. Берёзовые перелески, песни. Уютные домики. Встречные корабли. Маленькие лихтеры с лесом идут в Гамбург — множество. Мосты на огромной высоте. Вдали в тумане и огнях — Киль. Яхты.

Вышли в Балтику. Ночью прошли Борнхольм. Серая вода. Бледное солнце, осень.



В Амстердаме. У витрины магазина.
Фотография Л.Н.Рахманова

На рассвете вошли в стокгольмские шхеры. Серый ветренный рассвет. Сурово и прекрасно. Фермы, леса, протоки, маяки, коттеджи со своими пристанями, всё уже заколочено на зиму. Десятки гранитных шхер, затем внезапно открылся за поворотом Стокгольм.

Город, вырубленный в скалах. Пакгаузы. Полицейские с короткими саблями. Гид — русский. Старик.

Старый город. Деревянные цветные дома, теснота. Узкие улочки. Готика (северная). Дети на скверах. Обширные сады. Пробег по городу. Кафе на сваях, над площадями и заливами.

Высокие и тонкие золотоволосые шведки. Спешка. Дождь, ветер, бешеное левое движение.

На «Победу». Ужин. Переоделся. В ратушу.

Гениальное здание архитектора Эсберга (?). Кирпичный зал. Северный ренессанс. Зал совета. Статуя Эрика — покровителя Стокгольма. Золотой зал. Капелла — сумрак, свет сверху, тишина, могучие колонны. Золотые рыцари на часах. Концерт. Девочки и девушки — стройность, нежность и сила. Народные танцы. Речь Акимова.

Дикий ветер. Ушли на рассвете. Снова шхеры, ветер, барашки, — впереди шторм.

Штормовали весь день — 9 баллов. Бортовая качка. Утром — шторм на солнце, волна просвечивает зеленью, радуги от бризг.

30 октября. Хмурое утро. Ветер. Открылся берег вблизи Выборга. Толбухин маяк. Серое, ветренное море.

Родина. Кронштадт — чёрный, осенний. Вешки. Насыпь камней, на них растут берёзы. Купол Исаакя.

Порт. Ледяной ураган. Танюша на пристани. Швартовались два часа. Встреча.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Я МНОГО ГДЕ МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ...

* * *

Есть во мне дух флибустьеров, поэтов, безвестных бродяг. Жить так хорошо, так узорно прошлое, так осветозарено будущее.

*Из письма Е. С. Загорской
4 ноября 1915 г.
г. Смоленск*

* * *

Экзотика придаёт жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае я не проклинаю детское своё увлечение экзотикой.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамён в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

*Золотая роза
1955*

* * *

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своём воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Ещё в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по несколько часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моём воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Золотая роза

* * *

Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне — почти всё, что мог найти в Ленинской библиотеке.

МП: Предлагаем вниманию читателей своеобразное продолжение «Европейского дневника» — фрагменты из писем и произведений К. Паустовского — о сущности странствий и о странах, в которых он побывал.

Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржимайло, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары, докладные записки лейтенанта Бутаква, труды путешественника Карелина, геологические изыскания и стихи арабских поэтов.

Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной.

Золотая роза

* * *

Всем! Всем! Всем!

Чехия — очень уютная, разнообразная и милая страна. От границы до Карловых Вар — всё время мягкие горы и буковые и еловые леса.

Маленькие поезда несутся, как сумасшедшие, — ходить по вагону почти невозможно. За окнами — крошечные городки, всюду колокольни церквей, и каждый клочок земли обработан, как будто это не земля, а золото. Железнодорожные пути чинят юноши в фетровых шляпах и девушки, похожие на кинозвезд.

*Из письма Г.А. Арбузовой
6 января 1956 г.*



Портрет с гравюры неизвестного художника. Дар К.Г. Паустовскому от Зденки Пжуктовой, чешской переводчицы книг писателя. Пересъемка из тарусского кабинета К.Г. Паустовского, 2004 г.

* * *

Когда мы впервые спускались из своего отеля «Империал» в город по пустынным улицам (вернее, улочкам) в вековых каштанах, нам встретился маленький старичок в железных очках, поздоровался («наздар!») и сказал по-чешки, что Карловы Вары — самый красивый город в Чехии. «Такие города, должно быть, бывают только в сказках Андерсена», — ответил я по-русски. Старик понял, долго и ласково трепал меня по плечу и смеялся. Потом сказал: «Помогай вам бог в этой жизни», — и ушёл, — сгорбленный и кроткий. Открыл калитку, густо заросшую плющом, и исчез в каком-то уютном саду. Был туман, с деревьев капали крупные капли, внизу, в городе, звонили серебряные колокола в соборе Марии Магдалины.

Это — самое первое впечатление от Карловых Вар.

Здесь очень живописные дома с перекидными мостиками, наружными каменными лестницами, узорчатыми балконами, башнями и разноцветными черепичными кровлями. И что ни дом, то воспоминание.

Множество мемориальных досок: «Здесь жил Шопен», «Здесь жил Гоголь», «Здесь жили Паганини и Гейне». Совершенно блестящий список имён, начиная от Петра Первого и Суворова и кончая Эйштейном, Рузвельтом и Стефаном Цвейгом.

Главная улица — в ущелье. По ней мчит в каменных берегах река Тэпла. Узкий проезд — только по одной стороне реки, а на другой — дома стоят в воде, как в Венеции...

*Из письма Г.А. Арбузовой
12 января 1956 г.
Karlovy Vary*



Рисунки Владимира Тесара (Vladimír Tesar) к роману К.Паустовского «Романтики» в переводе Зденки Пжутковой (Прага, 1961)

ПИСАТЕЛЯМ БОЛГАРИИ

18 ноября 1959 г.
Москва

Осенью 1959 года я видел в пловдивском музее золотой аттический клад. Его нашли десять лет назад три брата-землекопа Дейковы.

Они копали глину для кирпичного завода и наткнулись на редчайшую по красоте и ценности золотую скульптуру — работу эллинских мастеров.

Древние сосуды светились в сумрачном музейном зале, как груды больших осенних листьев. Червонный блеск падал от них на всё окружающее.

Вот так же, подобно этому кладу, впервые предстала передо мной и осенняя Болгария — страна, как бы выкованная народными мастерами из светлого золота и красной меди.

Несмотря на сожаление моих болгарских друзей по поводу того, что я приехал поздней осенью, я считаю, что мне замечательно повезло. Я увидел Болгарию в полном блеске осенних красок и неба и такую богатую и спокойную от только что собранного урожая, что никогда бы не смог увидеть её такой в разгар лета.

Мне повезло ещё и потому, что у меня были влюблённые в свою страну первоклассные проводники — писатели Ангел Каралийчев, Станислав Сивриев, Славчо Чернишев, Серафим Северняк, Лада Галина, Веселин Андреев и другие писатели и поэты, а кроме того — десятки простых и приветливых людей — крестьян, рабочих, рыбаков, шофёров.

Пожалуй, никто не мог бы показать с таким искренним пафосом руины римского города Никополиса около Дуная, как это сделал единственный сторож этих руин — старый крестьянский дед Йордан. Он заслуживает отдельного рассказа.

Я видел многое. Но, конечно, это только отдельные части замечательной страны. Я видел совершенно ржавые от дубовой листвы («Шума») теснины Рилского монастыря, нарядную вершину Витоша, откуда слетает на раскинутую у её подножья Софию горьковатый осенний воздух. Видел Тырново — город, живописный, как сон, как причудливый рисунок великого художника. Если бы у городов было сердце, то, мне кажется, Тырново был бы городом с самым ласковым сердцем.

Я видел грозную Шипку, засыпанную тонким снегом, будто посеребрённые сединой виски ветерана, долину Роз, мощные кряжи Старой Планины, новые заводы, прекрасные дороги и курорты, построенные как бы из твёрдой морской пены, — такими они были лёгкими и белоснежными.

Видел маленькие рыбацьи порты Несебр и Созопол с их племенем смелых рыбаков-капитанов, с их древними византийскими базиликами и домами, похожими на птичьи гнёзда, с их романтичностью, оставшейся от прошлых времён и напоминающей нам о необходимости наполнить и наше время счастливыми и жизнерадостными чертами молодого романтизма...

Но — и это главное — я видел самое большое богатство страны — болгарский народ, приветливый и расположенный к людям, талантливый, умеющий работать во всю силу, но без спешки и шума, — героический народ, который пронёс свою независимость через тяжкие испытания и уверенно идёт к новым свободным временам.

Этим первым знанием страны, которое не могло не вызвать любви к ней, я обязан своим товарищам — болгарским писателям.

Они дали возможность узнать свою страну наилучшим образом и проявили широкое и дружеское гостеприимство...

К.Паустовский

* * *

Я совершенно не собираюсь передать в этих беглых заметках облик Парижа. Я был в нём мимоходом. Самое главное, что я вывез из этого изумительного города, — любовь к нему и желание изучать его всё больше и больше.

Для этого нужно много времени, а его никогда не хватает. Времени всегда остаётся в обрез именно тогда, когда мы встречаемся с интереснейшими местами, людьми или явлениями.

Для познания Парижа, равно как и всего мира, человеку нужно свободное сердце, ясный разум, доброжелательство к другим народам и, конечно, отсутствие бахвальства и самомнения.



К.Г.Паустовский в Болгарии, беседа с рыбаками, 1956 г.
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Т.А.Паустовской)



Парижский вокзал. К.Г.Паустовский перед возвращением в Москву. На снимке слева Лили Дени, помощница Лидии Делекторской. Фотография Елены Адант, ноябрь 1962 г. Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Л.Н.Делекторской)

Нужно сердце, не отягчённое недоверием и страхом, и разум, не знающий пристрастия и скептицизма. Люди, ищущие поводов для недовольства, никогда не узнают простой истины, что в конечном счёте жизнь хороша.

Я был в Париже так недолго, что не имею права говорить о нём больше, чем сказано здесь. Но я оставил в нём частицу своего сердца. Это обстоятельство в какой-то мере может оправдать мои короткие заметки.

Париж существует как нечто цельное, огромное, залитое дымным солнечным светом, сверкающее блеском окон, витрин, листвы, головокружительно высокой голубизной неба и зеленью тех парков, где всегда пахнет весной — сначала подлинной, а потом той, что сочится с запахом фиалок из теплиц, цветочных киосков и кафе.

Говорят, этот запах можно услышать в Париже даже в сырые зимние дни.

*Мимолётный Париж
1959*

Знакомство с Парижем придавало любви к своим русским местам особое очарование. Я знал, что вернусь к себе обогащённый знакомством не только с Парижем, но и с другими странами. И вот тогда-то, вернувшись, я и почувствую самую сильную и самую нежную любовь к каждой прожилке на сыром листочке ольхи, тогда-то и узнаю окончательную неразменную прелесть России, туманной, машущей в лицо тысячами километровых столбов.

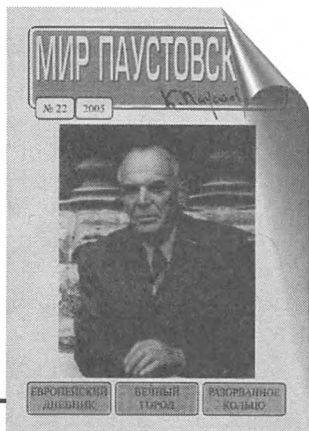
Мимолётный Париж

Удивительная страна, тёмно-розовый мраморный Рим, акведуки, мгла тысячелетий и вилла Боргезе, любовь к которой мне внушил Бажан. Передайте ему большой привет. Потом чудовищно грязный и красивый Неаполь, Сорренто и Капри — сплошная ослепительная лазурь Средиземья, реки алой бугенвиллии, падающие, как водопады, с гор до самого моря, добрые ослы, красивые итальянки, лазурные гроты и неслышанный крик и ажиотаж совершенно мирных итальянцев. По пути останавливались в Вене — стандартно-элегантном, скучном городе. И в Венеции, где гондолы подходят к перрону вокзала и всё кажется нереальным, нарочным.

*Из письма Е.Г. и Ю.К.Смоличам
18 января 1966 г.
г.Москва*



Капри, у trattoria "Monticello". На снимке (слева направо): возница, Л.Н.Делекторская, К.Г.Паустовский, Н.В.Кодрянская, Т.А.Паустовская (стоит). Фотография И.В.Кодрянского, 1965 г. Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Л.Н.Делекторской)



ВОСПОМИНАНИЯ

Жан БЛО

Президент Французского ПЕН-клуба

ВЕЧЕР НА КОТЕЛЬНИЧЕСКОЙ

Я познакомился с Паустовским в Париже, в издательстве Галлимар. Только что вышла его книга, которой я восхищался. Он не знал французского, и я, молодой писатель, опубликовавший недавно свой первый роман, был рад хотя бы в чём-то быть ему полезным.

В его улыбке, красивой, прекрасной лепки голове, чёрных волосах и бронзовой коже было что-то тёплое, южное. Это удивляло и противоречило тому образу русских, который создавался у нас. Особенно впечатлял его живой ироничный взгляд.

Сейчас не существует более той пропасти, которая разделяла тогда людей. Плохое забывается так же быстро, как и хорошее, и пережившие холодную войну не вспоминают о ней. Сегодня очень трудно представить, что означало тогда *советский* и ту стену умолчания, которая разделяла нас. Конечно, это было в Париже. Разумеется, нечего было бояться, и тем не менее на Западе с советскими писателями и интеллектуалами зачастую обращались как с детьми или как с людьми не совсем нормальными.

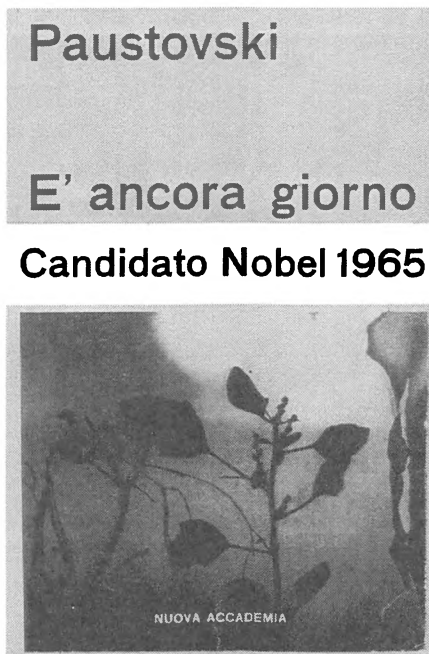
Некоторые темы ни в коем случае не должны были затрагиваться и необходимо было их избегать, как только к ним приближались. Не следовало смущать своего собеседника, вынуждая его говорить неправду или высказывать то, что заставило бы его тайно краснеть. Какой бы ни была степень доверия у советского человека к иностранцу, он не мог позволить себе рисковать, выражая собственное мнение.

Находясь в офисе издательства Галлимар, Паустовский не

нарушал этих правил, но он играл ими с удивительной виртуозностью. Ни слова, которое не было бы одобрено всеми службами СССР, но и ни одного, которое не было бы наполнено тайным смыслом и подано таким образом, что фактически он говорил противоположное: выделял что-то, чтобы подчеркнуть фальшь, вырывал из контекста что-либо особо абсурдное или ставил это в кавычки, которыми изобиловала его беседа, применял иногда и официальный дубовый язык. В результате — это был настоящий коллаж, пёстрая живая ткань увлекательного разговора. Даже тот факт, что я, рождённый в Москве, был сыном белоэмигранта, ничуть не умерил его словоохотливости — похоже, его ничто не стесняло, а многое и забавляло.

Особенно ему понравилось то, что я имел сомнительное удовольствие носить имя Александр Блок и должен был прибегнуть к псевдониму, чтобы иметь возможность писать и публиковаться.

Вот почему, когда на следующий, 1963, год я приехал в Москву по делам ЮНЕСКО, то набрался храбрости и позвонил Константину Георгиевичу. Он ответил мне очень весело, сразу вспомнив: «Как же забыть Александра Блока?!», и пригласил меня назавтра поужинать. У него дома! Конечно, уже наступило хрущёвское время, и террор постепенно исчезал за горизонтом. Однако быть приглашённым в советский дом, к советскому человеку, даже если он и был кандидатом на Нобелевскую премию, было неслыханной удачей для меня, а от него, помимо



Итальянское издание сборника рассказов К. Паустовского «Ещё один день» (Милан: Академия, 1965) с вензелем кандидата на Нобелевскую премию



Квартира К.Г.Паустовского в доме на Котельнической набережной. Интерьер библиотеки. Фотография В.С.Молчанова, 1969 г. Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд В.С.Молчанова)

огромного доверия к иностранцу, требовало большой уверенности в себе и даже мужества.

И вот на сумрачную Москву опустился вечер, и я, волнуясь, отыскал большое здание на Котельнической набережной, где он жил, как и многие знаменитости того времени. Мрамор, чистота, комфорт этого дома резко контрастировали с теми трущобами, где я безуспешно искал оставшихся в живых членов моей семьи.

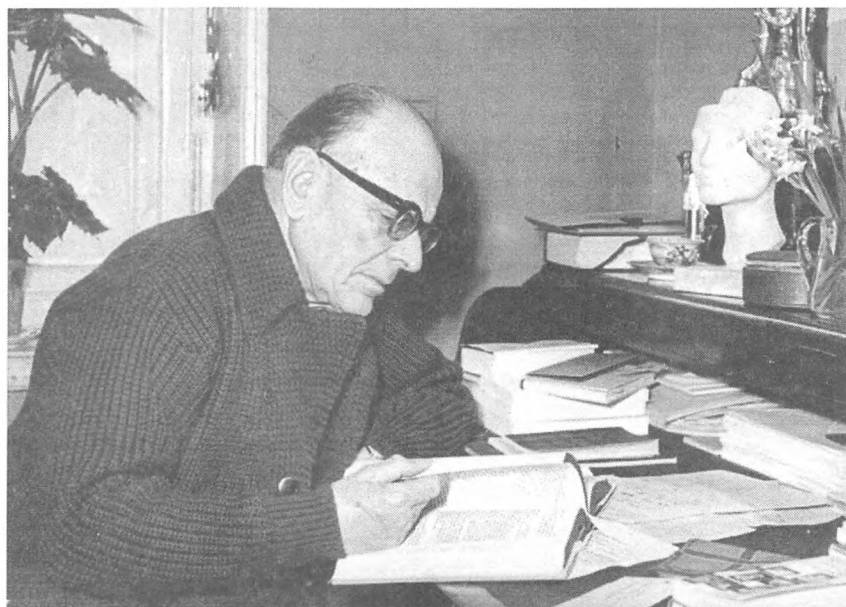
Дверь открылась, и мне показалось, что я вернулся к себе... Но не к себе домой, а в ту Россию, которую носил в своём сердце, которая преодолевала режимы, эпохи и пережила их. Я сразу же почувствовал себя совершенно свободно, дружески принятый этим великим человеком, которого я так мало знал и в основном только по его творчеству. Я восхищался им и стал для него как бы вернувшимся издалека сыном...

Смеясь, Паустовский провозгласил подобно дворецкому: «А вот и сам Александр Блок!». Его жена улыбалась и спрашивала, можно ли меня обнять. Какой роскошный стол с переливающимися графинчиками водки, с корншончиками, икрой, осётром, сёмгой!

Беседа была неожиданно лёгкой, так как не было ни микрофона, ни стукачей — ни внутри, ни снаружи. Меня расспрашивали о моей жизни, о моей семье, об эмиграции. Они мило подшучивали над моим русским, заметив, что Пушкин находил русский язык без грамматических ошибок слишком пресным...

Паустовский вёл разговор, ходил по комнате, подливал вина и говорил: «У нас не всегда очень весело». Лукаво улыбаясь, он произнёс: «Мои книги написаны так, что будущие читатели поймут, что автор хотел сказать и что он был обязан сказать, без труда угадают, что полагалось убирать. Приблизительно одну строчку из десяти сокращали...». Несмотря ни на что его смех был весёлым, наверное, этому способствовала и водка. «Представьте, однажды один из «этих господ» сидел здесь и продержал меня несколько часов. Это было очень тяжело». Уже тогда у Паустовского было больное сердце. «Меня спасает мой народ! Я пью за его здоровье. А вот «эти господа» не осмеливаются меня тронуть из опасения причинить горе моим читателям... но не забывайте: одна строчка из десяти сокращалась!»

Мы так много смеялись, что совсем забыли о голосовании по Нобелевской премии, которое проходило именно в этот вечер. Возможным кандидатом был Паустовский. Зазвонил телефон, и хо-



К.Г.Паустовский в своём кабинете. Фотография Александра Лесса, декабрь 1965 г. Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского

зяин взял трубку. Нам стало ясно, что премию получил не он, а кто-то со странным именем, грек. Действительно, избран был Сеферис. «В Греции всё есть, — говорит Паустовский собеседнику, цитируя Чехова, — а вот за моим столом сейчас сидит Александр Блок. Как это невозможно?! Как это я слишком много выпил?! Он сидит напротив меня. Это действительно стоит Нобелевской премии. Вы мне не верите? Я передаю ему трубку». И вот я вынужден объяснять Первому секретарю правления Союза советских писателей, что да, я действительно Александр Блок, но не тот, который умер, а другой, который плохо говорит по-русски и тоже пишет, но под псевдонимом Жан Бло. Мои друзья, смеясь над моим смущением из-за того, что мне трудно было объясниться, пьют за моё здоровье...

Вот таким был мой вечер у Паустовского, вечер, когда он не получил Нобелевскую премию, но

Александр БОРЩАГОВСКИЙ

ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ МОГЛА НЕ СОСТОЯТЬСЯ...

Летом 1962 года в Москву приехал известный шведский писатель Артур Лундквист. Он уже бывал в России и всякий раз, по его словам, искал встречи с Паустовским, но неизменно терпел неудачу — Константин Георгиевич оказывался где-то в пути, в постоянных своих скитаниях, а то и в далёком приморском санатории, против воли загнанный туда недугом...

И тем знойным летом 1962 года Паустовский после больницы находился в санатории, но в близком, подмосковном — в Барвихе, — и Лундквист настойчиво добивался встречи: откладывать было невозможно. В Стокгольме готовились к печати автобиографические повести Паустовского, Артур Лундквист писал предисловие к книге. Представлялось противоестественным быть рядом с тем, чьи книги ты полюбил, о ком решил написать, и не повидать его, не увидеть глаз, не вслушаться в звучание его речи.

Казалось бы, что связывает шведа, исколесившего весь мир, «глобтреттера» в прямом смысле этого слова, автора умных и трезвых книг о далёких континентах и экзотических странах, и русского, впервые посетившего Париж на шестьдесят пятом году жизни? Что связывает творца современной, модернистской даже, прозы, экспериментатора в области формы — и в прозе и в поэзии, — и «архаичного», на первый взгляд, Паустовского, традиционалиста, которого недалёковидные критики попрекали... Чеховым и Буниным?

А между тем Лундквист с увлечением читал Паустовского, испытывал к нему живой и почтитель-

приобрёл друга — Александра Блока и был этому очень рад.

Через несколько лет я познакомился с Сеферисом. Это было на острове Спарадес. Мы отдыхали, пили замечательное местное вино. Мой греческий был ещё хуже, чем мой русский, но Сеферис хорошо говорил по-английски. Я рассказал ему о вечере у Паустовского, и мы долго смеялись. Так были сотканы невидимые нити, снова соединившие мир, который разъединила политика.

В нашем смехе, нашей дружбе, нашем доверии уже чувствовались заря Перестройки... Свободой, которой мы наслаждаемся сегодня, мы обязаны и таким людям, как Паустовский, который присоединил к своему огромному таланту такое же мужество. Никогда не надо забывать ни этого человека, ни его творчество.

Перевод с французского Ирины СОЛОДОВЩИКОВОЙ

ный интерес, ценил в нём первоклассного мастера, хотя читал его в переводах (шведском, французском, английском), теряющих, увы, немало драгоценных крупниц истины и красоты оригинала. Чем полюбились ему рассказы и повести Паустовского? Какие миры, до которых не доплывают современные теплоходы и не долетают сверхзвуковые самолеты, открыл он для себя на страницах книг Паустовского?

Какая новизна века пленила в повествованиях о пережитом, словно бы уже отгремевшем и отшумевшем, его, дерзко заглядывавшего в конец XX и начало будущего века?

Для тех, кто любит книги Паустовского, — а это едва ли не вся читающая Россия и не только Россия, — тут нет особой загадки. На все эти вопросы я бы ответил проникновенными словами Вениамина Каверина, сказанными им на писательском вечере памяти Паустовского в 1976 году: «Почему так любят Паустовского? Почему его книги неизменно вызывают чувство нежности и глубокой симпатии? Почему радостное оживление вспыхивает в любой аудитории, едва упоминается его имя? Можно по-разному ответить на этот вопрос: его любят потому, что он — художник с головы до ног, потому, что он артистичен, изыщен. Его любят потому, что его интересно читать. Его любят потому, что ему самому дьявольски интересно писать, — и этот заразительный интерес, сверкающий в каждой строке, передаётся читателю, переплёскивается, вспыхивает, заражает.

Но дело ещё и в другом: для того, чтобы заслужить такую естественную, никем не подсказанную,

захватывающую любовь, надо обладать редкой способностью открыть в человеческом сердце то, что, может быть, давно потеряно, забыто, потонуло в нарастающем шуме времени, в сутолоке ежедневных забот. Паустовский заставляет людей вспомнить, какими они были в детстве, вспомнить и заново оценить всю прямоту и неподкупность детского зрения. Точность этого зрения — одна из самых сильных сторон его творчества.

Проза Паустовского поэтична, потому что точна, а точна она потому, что с железной настойчивостью стремится заставить человека прислушаться к голосу собственной совести».

Может быть, я нерасчётливо начал с этих прекрасных слов В.Каверина — их трудно превзойти даже и в долгих, многостраничных размышлениях, — но критика десятилетиями бывала так сурова к Паустовскому, так скупа и недальновидна, а жажда читателя услышать о нём слово доброе и справедливое так велика и не утолена, что читатель примет и возвращение мысли к весомым посылам Каверина.

На все эти таинства прозы Паустовского, несомненно, откликнулся и неустанный искатель Лундквист. Но внял он ещё одной, особой страсти русского писателя, ещё одному неизменному состоянию его души, столь ощутимо выраженному в его прозе. Я понял это, наблюдая их встречу в Барвихе.

Кажется, Лундквист — рослый, рыжелицый, уже немолодой, но сохранивший какую-то детскость, что-то от неуёмного, гордого на проделки подростка, сошедшего со старых иллюстраций к романам Диккенса, — кажется, что громогласный и в шёпоте Лундквист при своём появлении в Барвихе озадачил Константина Георгиевича. Что-то в Паустовском появилось вдруг обороняющееся — присогнутый в ту пору болезнью, он ссутулился и опустил голову, шурясь, легонько покашливая, опасаясь, не обернётся ли эта их встреча докучливым интервью, *протоколом*. К этой поре я уже хорошо знал эту *позицию* Константина Георгиевича: сокрытое, умное наблюдение, готовность уйти в себя, отрешиться, даже раздражиться до собранных на лбу морщин и поигрывающих желваков; и равную готовность расцвести в кривой, застенчивой, многомудрой обаятельной улыбке, увлечься разговором, шутить, импровизировать и жадно наблюдать.

Шли секунды замешательства, взаимной приглядки столь

непохожих людей; секунды, когда задаются стереотипные вопросы и неловкость столь велика, что оказывается необходимым переводчик, чтобы, пока говорит он, перевести дух, подготовиться к ответу.

Но длилось такое недолго; Лундквист улыбнулся... и через несколько секунд собеседников было не узнать. Казалось, в руках у них если не земной шар, то глобус, но не из папье-маше, а какой-то живой, жаркий, красочный, с криками птиц и грохотом морской волны, и глобус этот они, как двое мальчишек, перекидывали друг другу, успевая выкрикнуть названия далеких островов, гаваней, городов, имена первых смельчаков, покорявших планету, и имена наших современников, не изменивших вечной романтике путешествий. Уже им не нужен был переводчик, да он и не поспел бы за ними; обрывки немецких и французских фраз, движения рук, которые умели изобразить всё что угодно: от подсечки мелкой окской рыбёшки до описанной в «Старике и море» борьбы с океанским хищником, названия книг и названия рек, имена литературных героев — всего этого оказалось совершенно достаточно для пылкого, беспорядочного, детского, *простого* их разговора. Обнаружилась общность интересов, привязанностей, пристрастий и даже общность иных заблуждений. Оба они одаряли и без того неслыханную красоту мира, живой природы ещё и богатством и красотой собственного воображения.

Наблюдая их взволнованный диалог, никто не сказал бы, что один из них исколесил и исходил весь белый свет, побывал в отдалённых его закоулках, а другой — великий путешественник по... географическим картам, путеводителям, книгам, побывавший везде, но только силой своего воображения, и только под конец жизни он съездил накоротке в несколько стран Европы. Больше того, рыжее, простодушно-доброе лицо Лундквиста то и дело загоралось завистливой улыбкой — он с неподдельной завистью вслушивался в звучание хриповатого голоса Паустовского, смотрел в его азартные глаза, завидовал *его* Таити, *его* острову Пасхи, *его* Италии...

Впечатление складывалось такое, что из них двоих истинно бывалый путешественник всё-таки Константин Георгиевич — такова была сила владевшей им страсти и воображения. Таков был и удивительный магнетизм его слова и жеста.

Проштудировав прозу Паустовского из цикла «Повесть о



Шведские издания «Повести о жизни» К.Паустовского с предисловиями Артура Лундквиста. «Далёкие годы» (Стокгольм, 1963). Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Леннарта Магнуссона, Карлштадт)

жизни» («Книга скитаний» ещё только возникала) и готовясь писать предисловие, Лундквист хорошо знал его биографию, но колдовство воображения Паустовского было сильнее этого знания. А я, счастливый добрым, дружелюбным торжеством писательского воображения, невольно вспомнил и главу из «Золотой розы» — «Изучение географических карт», — и важное признание, сделанное в «Броске на юг»: «Это была захватывающая и вместе с тем трудная игра — путешествия по путеводителям. Она вся была построена на воображении».

Лёгкое слово — *игра* — не должно нас обманывать, игра, по Паустовскому, входила в сокровенный состав жизни, без неё нет достойного существования, устремлённой, осмысленной, дерзающей мечтать жизни.

А теперь я вернусь к тому, что предшествовало этой долгожданной встрече.

Летом 1962 года я отдыхал на Оке, в Кузьминском. Там меня и разыскал настойчивый телефонный звонок. Искал меня Королёв, секретарь правления Общества дружбы СССР — Швеция, в котором я на общественных началах был председателем секции литературы, искусства и культуры. Королёв сообщил мне, что на сессии Всемирного Совета Мира, которая съездов начинается в Кремле в здании Дворца съездов, примет участие вице-президент и член президиума Совета шведский писатель Артур Лундквист. Он, так деятельно помогающий нашему Обществу, приедет в Москву с супругой, известной шведской поэтессой Марией Вине, и мои коллеги, наши общие друзья, среди них и директор Библиотеки иностранной литературы Маргарита Рудомино, просят меня встретить гостей и помочь им в непременно в таких случаях суете.

Из аэропорта мы ехали с Лундквистами и с активисткой нашего Общества Тamarой Тумаркиной, прекрасной переводчицей шведской и английской прозы и устной, трибунной речи. Первый же вопрос прилетевших гостей неожиданно обнаружил их главный, трепетный интерес.

Паустовский!

В Москве ли он? Звонки накануне из Стокгольма ничего не прояснили. «Смогу ли я наконец познакомиться с ним? — тревожился Лундквист. — Смогу ли расспросить о крайне важных для меня вещах?»

Он давно искал случая познакомиться с Константином Паустовским, но всё ему не везло. Делу мог бы помочь Союз писателей, но обнаружилось, что и писатели не всеильны.

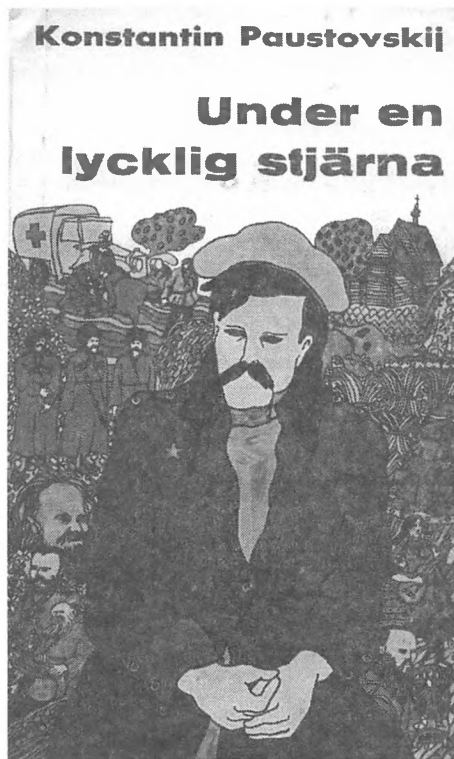
Паустовский где-то рядом, вчера его видели в писательском клубе, но никто не мог деятельно помочь Лундквисту. Всякий раз — уклончивые ответы, иронические ухмылки, обещания помочь, но настоящей помощи никто не оказывал. Уже около полугода как Союз писателей, якобы всеильный в Москве, всё-таки не мог организовать такую нужную именитому шведу встречу. Казалось, гости уймутся, перестанут печалиться, что и на этот раз Паустовский ускользнёт от них. Поиски были настойчивее, чем в прошлые приезды Лундквиста, однако делу это не помогло. Зачем-то биография русского писателя, самое маленькое подробностями его жизни и литературной деятельности были нужны как никогда прежде. Уже приближался отъезд супругов, скорое их возвращение в Скандинавию, огорчённый и раздосадованный Лундквист не скрывал своего недовольства и, против обыкновения, позволил себе высказать свою обескураженность.

«Знаете ли вы господ Суркова и Ажаева? Действительно ли они причастны к руководству Союзом писателей или это миф?» — обратился он к чиновникам писательского Союза. «Странно, — вспоминал Лундквист, — но когда я резко заговорил наконец с ними о господине Паустовском, они совсем неприветливо, впервые так холодно и неприветливо, объявили мне, что поражены такими настойчивыми розысками «одного» из писателей-москвичей, разумеется, человека благородного и всячески достойного, хотя и достаточно *устаревшего* и потому как-то выпавшего из поля зрения Союза. Сегодня, заметили они, Паустовского в Рос-

сии не читают, это, разумеется, никому не запрещено, но, как ни прискорбно, Паустовский позавчерашний день российской словесности. Не зря ведь так расположенное к критике, допытливое наше литературоведение, да и всё наше литературное начальство вот уже который год не находят подходящего достойного случая отметить Паустовского высокой литературной премией».

Так литературное начальство, почему-то на этот раз откровенно недовольное гостем, решилось выразить свои эмоции обескураживающе, почти грубо.

Я был не просто потрясён ложью. Можно расходиться во вкусах, не любить чужие книги, это священное право пишущих людей. Но объявлять забытым, «позавчерашним» писателя, которым зачитывается страна, за подпиской на собрание сочинений которого люди неделями



«Беспокойная юность» (Стокгольм, 1968)



Писатель Александр Борщоговский
на Тарусском празднике К.Г.Паустовского.
31 мая 1997 г.

простаивают в очередях, только бы заполучить вожделенный шеститомник, — нужны какие-то зловещие мотивы, чтобы решиться на такую кощунственную ложь.

Подписку на собрание сочинений пришлось прекратить, для очередных подписчиков не хватило тиража, не достало бумаги, даже и достойные прозаики не могли мечтать о подобном читательском интересе.

В это время Паустовский долечивался после инфаркта в правительственной санатории в Барвихе под Москвой. Я созвонился с Татьяной Алексеевной, женой писателя, с которой, как и с ним самим, был хорошо знаком. Обратился к Королёву, потребовал быстрого делового решения вопроса с машиной и допуском в санаторий, который находился в режимной зоне. Так я получил возможность понаблюдать за той уклончивостью, с которой столкнулся Лундквист.

В конце концов растерявшийся Королёв вынужден был открыть природу затянувшегося обмана. «Вы должны знать, — сказал он, потребовав не выдавать его, — что шведы решили в этом году отдать Нобелевскую премию Паустовскому, но у него там крепкий конкурент: Шолохов! У Лундквиста в Нобелевском комитете большой авторитет, а сам он желает видеть в лауреатах Паустовского. Ни Союз

писателей, ни инстанция, то есть «Старая площадь», в таком исходе не заинтересованы. Отсюда и все препятствия; ведь в Нобелевском комитете дело поставлено несправедливо, если за кого проголосуют большинством голосов, то после этого никаких протестов не принимают».

За два дня до окончания сессии Совета Мира Лундквист, могучий рослый мужчина, едва ли не заикаясь от смущения, сказал мне, что если и сегодня вопрос о поездке к Паустовскому в санаторий не будет решён положительно, то он прерывает свой визит и возвращается в Швецию.

«Ультиматум удался вполне», — засвидетельствовал Лундквист. Уже в три часа пополудни мы подкатили на двух чёрных блестящих машинах из правительственного гаража к корпусу, где ждали нас супруги Паустовские. Вот несколько абзацев из предисловия Лундквиста к тому прозы Паустовского, над которым трудился талантливый шведский писатель, преодолевая сопротивление тех, кто хотел по-своему, несправедливо распорядиться Нобелевской премией:

«Сегодня Константин Паустовский занимает выдающееся место среди советских писателей старшего поколения. Он из тех, кто обладает непохожим на других голосом, проникновенным стилистическим мастерством, и потому так близок своим читателям. Имя его нередко упоминается наравне с Чеховым и Горьким.

Но Паустовский не всегда был столь популярен. Когда, прочитав избранные повести писателя в английском переводе, я впервые заинтересовался его литературным творчеством, никто не мог подробно рассказать о нём, а сам он отказывался от личных встреч. Его жизнь тогда во многом напоминала судьбу Пастернака: его вынуждены были признавать, но старались оттеснить в тень. Ему повезло лишь в том, что он избежал присуждения Нобелевской премии, а вместе с ней и столь мучительной на родине мировой известности.

Вспоминая встречу с Паустовским в 1962 году в Барвихе, Лундквист пишет:

«Прекрасно одетый и по-светски учтивый, он встретил нас на веранде дома отдыха. Его искренность была поразительна, он был открыт и в то же время на редкость тактичен, так не похож на типичного советского человека. У Паустовского были резко выраженные черты много пережившего, но лишённого жёсткости человека. У него были глаза мечтателя и поэта, и при этом взгляд оставался ясным. Несмотря на сердечный недуг, он выглядел полным сил и молодым для своих лет, его легче было представить на лесной прогулке или в гуще событий, чем за писательским столом... Константин Паустовский имеет все основания оказаться в числе тех русских писателей, которые заслужили любовь и восхищение шведских читателей».

Галина АРБУЗОВА

АНРИ МАТИСС И ЕГО МОДЕЛЬ

В начале сорок третьего года моя семья вернулась в свой московский дом. Он был недавно отремонтирован после бомбежки. В большой пустынной комнате не было почти ничего. Тускло горело электричество, дымила буржуйка. Но уже через несколько дней мама принесла Бог весть какими путями добытую репродукцию из старого дореволюционного журнала и как-то особенно торжественно приколола её к обшарпанной стене. «Матисс, — сказала она, — «Красные рыбы». Это было чудо — яркий живой свет, такие же яркие краски. Радость, жизнь, счастье... Я полюбила этот квадрат бумаги и долго ещё была убеждена, что это и есть — «картина».

Могла ли я тогда, глядя каждый день на «моих рыбок», хотя бы на мгновение вообразить, что где-то далеко, но всё же на нашей земле, в залитой солнцем Ницце, старый художник также каждый день работает над своими, всё такими же «радостными» полотнами. И тем более не могла даже подумать, что через 20 лет (вечность для ребёнка) я увижу эти полотна в тесной парижской квартире среди цветов, книг, тропических раковин, причудливых ваз, увижу «живьём», совсем не так, как в музее, наконец, увижу женщину — всё ещё красивую в свои пятьдесят лет. Увижу, преклонюсь, навсегда полюблю, но никогда не смогу подойти слишком близко. Потому что между ней и мною, между ней и всяким другим всегда будет незримая преграда. Эта преграда — тень Матисса, величественная тень.

Лидия Николаевна Делекторская родилась в России, в Томске, в семье врача. Родители умерли в эпидемии тяжёлых лет гражданской войны, и в 24-м году тётка увезла 14-летнюю девочку в Харбин. Там она успела закончить гимназию (у меня хранится Евангелие, подаренное выпускнице) и вскоре попала с семьёй во Францию.

«Тут, — как всегда скупно пишет сама Лидия Николаевна, — я оказалась на положении эмигрантки и, к тому же, никогда не учившей французского языка...»

В 19 лет я вышла замуж в Париже за русского же эмигранта, но уже в 20 лет покинула его.

Спустя два года, перебравшись в Ниццу, в октябре 1932 года, в материально трудный для меня момент, я чисто случайно нашла временную работу у Анри Матисса. Он в это время писал своё огром-

ное панно «Танец»... и ему была нужна помощница в мастерской. Когда через полгода панно было закончено и он вернулся к станковой живописи, помощь моя ему стала не нужна. Но четыре месяца спустя его жене, уже много лет недомагавшей, понадобилось заменить полу-сиделку, полу-«компаньонку». Вспомнили обо мне, разыскали меня, и я заняла эту должность... Так я оказалась на 22 года возле Анри Матисса».

Ничто в этих словах не выдаёт ни бурных страстей, ни драм. За многие годы Матисс, человек предельной выдержки, научил Лидию Николаевну быть сдержанной. Эта черта стала одной из сторон её сущности.

Лидию Николаевну трудно было прямо и открыто расспрашивать о её жизни. В этом она до конца оставалась наглухо закрытой. Но всё же, как всякий человек, иногда и она сдавалась. В 80-е годы, когда умерла моя мать и Лидия Николаевна во многом заменила её, я подолгу жила у неё в Париже. Часто бессонными ночами я пила кофе на крохотной кухне, и почти всегда появлялась она. (Матисс, как известно, работал ночами, так что за долгие годы у Лидии Николаевны выработалось стойкое отношение к недостатку сна.) Она появлялась, как будто и не спала вовсе, наливала себе кофе в маленькую «русскую» чашечку и, стоя, опершись на косяк двери, пила. Как будто пытаясь растормошить меня, она начинала рассказывать забавные истории из своей жизни. В какой-то момент пружина, вечно сдерживающая её изнутри, давала сбой. Тогда я урывками узнавала о прошлом, о её молодости.

За первые месяцы её работы в мастерской Матисса художник сделал всего 3–4 рисунка с Лидией Николаевны. «Мне и в голову не приходило, что я когда-то снова буду позировать ему». Сама Лидия Николаевна считала, что не была «его типом» модели. Блондинка с прямыми, очень «правильными» чертами лица. — «Его модели были скорее южанки». Потом художник часто видел молодую женщину рядом с мадам Матисс. «Однажды он пришёл в перерыве на отдых с альбомом под мышкой, и пока я рассеянно слушала их с женой разговор, он вдруг скомандовал мне вполголоса: «Не шевелитесь!» И, раскрыв альбом, сделал с меня зарисовку в очень привычной для меня позе: голова, опущенная на

МП: Некоторое время назад в Москве, в Музее личных коллекций (отдел ГМИИ им. А.С.Пушкина) прошла выставка, посвящённая Лидии Делекторской и Анри Матиссу. Судьба этой женщины-подвижницы необычна и сама по себе заслуживает внимания: 22 года она была сек-

ретарём, натурщицей, помощницей знаменитого французского художника. И после смерти Матисса заботилась о продолжении жизни его картин...

В середине 50-х годов Лидия Николаевна познакомилась в Париже с К.Г.Паустовским и стала переводчиком его произведений, издаваемых во Фран-

ции. Настоящая многолетняя дружба связала писателя и переводчицу.

Материалы, предлагаемые читателю, взяты из книги, подготовленной к выставке: «Лидия Делекторская. Анри Матисс. Взгляд из Москвы», а также из 9-го тома собрания сочинений писателя (3-е издание).

скрещенные на спинке стула руки. Этот набросок лёг в основу холста «Синие глаза», первой картины, исполненной Матиссом с меня». С этого момента Матисс стал работать с Лидией Николаевной много и регулярно. «Синие глаза», «Сон», «Розовая обнажённая» — всё с марта по апрель 1935 года. Это шедевры Матисса. Но кроме высочайшей художественной стороны, есть в них ещё и сторона мирская. На этих портретах, сделанных в реалистической манере, перед нами предстаёт прекрасная молодая женщина. В это же самое время как будто прорвало плотину — художником исполнены десятки портретных рисунков, отдельный альбом зарисовок Лидии, впоследствии подаренный ей Матиссом, и много обнажённой натуры. И среди них один — особенный. «Стоящая обнажённая». «Он являет собой тщательную студию натуры» — точные слова в одном из каталогов, в котором Лидия Николаевна приписала любопытную подробность. «В 1935 году Матисс послал меня из Ниццы в Париж по делам и среди прочего — заказать ему бумагу «Arches». Чтобы показать точный образец бумаги, которая требовалась, он доверил мне этот рисунок». И как будто никто ничего не сказал, ни Матисс тогда, ни Лидия Николаевна много лет спустя. Но достаточно посмотреть на рисунок...

Думаю, мадам Матисс тоже смотрела весь год на этот и другие рисунки и наконец сказала фразу, тысячи раз уже произнесённую до нее: «Или я, или она».

Лидии было отказано от места. Но работа художника неожиданно стала давать сбои. Мадам Матисс слишком высоко ценила талант своего мужа. Оберегая память ушедших, не хочется сейчас вторгаться в подробности их частной жизни, но всё же надо сказать, что...

Мадам Матисс уехала, уехала навсегда. Осталась мадам Лидия (как называл её сам Матисс при посторонних и в письмах даже хорошим знакомым). Осталась молодая, красивая, полная жизни женщина до самых последних дней, минут Матисса. Осталась рядом со старостью, болезнями, тяжёлыми операциями, бессонными ночами по месяцам, осталась рядом с великим художником, «гордостью Франции», рядом с тем, кому она была предана до конца своих дней.

Лидия Николаевна стала для Матисса не только любимой моделью — он сделал с неё около трёхсот работ! — она стала его помощником сначала в организации работы мастера, а потом и непосредственным участником его трудов.

В день 20-летия жизни Лидии Николаевны в доме Матисса он подарил ей одну из самых любимых своих картин — «Раковина на чёрном мраморе» (1940). «По-моему, эта картина — самая выразительная с точки зрения колористического решения из того, что я сделал», — из письма Матисса его другу. Так вот, эта картина и была подарена Лидии Николаевне. В тексте дарственной (на обороте фотографии картины) Матисс написал: «Фотография картины «Раковина», которую я дарю Лидии Делекторской в благодарность и в связи с двадцатилетием службы,

внесшей такой вклад в моё творчество и так дополнившей его. А.Матисс 13 октября 1952 года».

Матисс в последние годы жизни нередко мог работать только в постели. Лидия Николаевна стала его помощником, подмастерьем, часто — его руками. Когда он занимался огромными декупажами (наклеенные на цветном фоне цветные же бумажные вырезки), она раскрашивала фон, прикрепляла сама вырезки. Недаром уже после смерти Матисса разные музеи мира обращались именно к Лидии Николаевне за реставрацией хрупких деталей. Она знала всё. Как составлялись краски для фона, как варился клей, помнила всю расстановку деталей. Более того, однажды внук Матисса — Клод — нашёл в архивах непонятно к чему относившиеся вырезки. Лидия Николаевна сделала из них два больших панно, полных необыкновенного изящества и красоты, украшающих теперь Музей современного искусства в Центре им. Жоржа Помпиду.

Не моя задача (да я и не смогла бы) подробно рассказать здесь о жизни Лидии Николаевны рядом с Матиссом, об этой удивительной женщине, этом «повседневном свидетеле последних восемнадцати лет жизни художника» (Луи Арагон). Скажу лишь о конце Матисса. Ницца — ноябрь 1954 года. Стало ясно, что Матисс умирает. Лидия Николаевна вызвала старшую дочь художника — Маргарет, которая и раньше навещала отца. Лидия Николаевна была рядом до последних минут. Матисс умер. Лидия вышла из комнаты и пошла к себе. Ночью она собрала свои вещи — картины, подаренные ей Матиссом, рисунки с пометками *L.D.* рукой художника, альбомы фотографий его работ — всё только с надписью ей, ещё какие-то дорогие ей предметы, раковины, которые так любил Матисс, несколько его вещей на память, конечно, все письма и записки к ней, которые она бережно хранила многие годы, какие-то мелочи... И — ушла. Навсегда покинула этот дом. Швейцар внизу, помогая ей сесть в такси, грустно сказал: «Мадам Лидия, это — ваш дом». Но такси тронулось и...

Приехала мадам Матисс. Приехали дети и внуки. Были пышные церковные похороны, которых Матисс вовсе не хотел. На его могиле поставили огромный монолит тёмного мрамора. Лидия Николаевна возила меня и моего мужа в Ниццу. Были мы и на могиле. Она не принесла ни одного цветка. Стояла спокойная и отрешённая. Как будто это место не имело к ней никакого отношения. А в общем так оно и было. Она прожила свою жизнь после Матисса — с Матиссом. Он для неё не умер. Достаточно было хоть немного узнать её, чтобы в это поверить.

Я познакомилась с Л.Н.Делекторской потому, что она стала переводчицей на французский язык произведений К.Г.Паустовского, мужа моей матери. Встреча Паустовского с Лидией Николаевной была довольно романтической и описана им в очерке 1956 года — «Мимолётный Париж».

К этому времени прошло всего два года после смерти Матисса. Лидия Николаевна была бесконечно одинока. Времени теперь у неё было много, она

стала больше читать, в том числе и русские книги. Ей попался томик Паустовского. Она проглотила его залпом. Прочитанное так сильно затронуло что-то в глубине её души, что, когда она узнала, что Паустовский в Париже, сама, без приглашения, решительно, — впрочем, она всегда была решительной, — пришла в гостиницу. Они познакомились, он был у неё в гостях. После его отъезда она стала читать Паустовского — всё, что находила. А через какое-то время Константин Георгиевич получил письмо — Делекторская переводила «Золотую розу». Потом она много раз была у нас дома, жила в Тарусе. Ездил с нами в Англию, сопровождала К.Г. в Италии и переводила, переводила. Всего в знаменитом издательстве Галлимара вышло 13 томов Паустовского. Почти полное собрание сочинений. Лидия Николаевна с гордостью говорила, что, кроме Горького, собрание сочинений из современных русских писателей есть только у К.Г. Она стала близким человеком нашего дома. Я любила приезжать к ней в Париж. Лидия Николаевна жила в районе Port Royal, рядом с бульваром Монпарнас, где раньше была квартира Матисса. Её квартира казалась тесной и заставленной, но очень уютной. В небольшой гостиной половину комнаты захватила огромная монстера, цветок, выращенный от любимого цветка Матисса, листья которого сотни раз валяются на его полотнах и рисунках. Между ног всегда пугалась серая кошка — внучка кошки Матисса. На полках стояли бесконечные ряды книг о

Матиссе, толстые каталоги выставок со всего мира. Издатели, организаторы выставок все эти годы присылали книги «мадам Лидии». На большом блюде всегда лежала гора приглашений на все вернисажи, какие только случались в Париже. Лидия Николаевна почти никуда не ходила, но приглашений никогда не убывало. Вот уж мы насладились этим пиром живописи!

Иногда перед нашим приездом она звонила: «Приезжайте, но жить негде». Мы приезжали. Большая комната была заставлена сколоченным из толстой фанеры столом. На огромной площадке клеились куски очередного панно-декупажа. Лидия Николаевна была неразговорчива, даже как бы сердита, нами не занималась, не готовила себе еду, быстро заваривала какое-то пюре, ела стоя и работала. Это было замечательно. На наших глазах возрождался Матисс.

Вообще жила она очень скромно, даже бедно, по парижским понятиям. Но всё, что у неё было от Матисса, никогда не продавалось. С конца 50-х годов она стала дарить картины и рисунки Эрмитажу и Музею им. А.С.Пушкина в Москве. Лидия Николаевна рассказывала, что ещё в давние времена спросила у Матисса разрешения передать в Россию то, что она имела. Матисс согласился. (Ведь русские меценаты были первыми коллекционерами художника. И первый большой гонорар тоже был из России. На те деньги Матисс купил свой первый дом

на окраине Парижа. Теперь улица, ведущая к этому дому, засажена японской вишней. Видел бы её Матисс цветущей в апреле, как видели её мы!..) Матисс согласился, наверняка не предполагая, что Лидия Николаевна в конце концов отдаст — всё. Но и этого ей покажется мало. Она продаст за полцены свою квартиру (с правом жить в ней до своей смерти). И на эти деньги купит для Московского музея ученическую скульптуру Матисса, на которую, кстати, посетители и не очень-то обращают внимание. А между тем, Лидии Николаевне однажды предложили переселиться в «более удобную», но маленькую квартиру, в том же доме. На новом месте она скоро и умерла. Ещё бы, дерево было вырвано с корнями. Но одно живописное полотно Лидия Николаевна держала у себя почти до самого конца. Она рассказывала, что когда Матисс считал работу над вещью законченной, он вешал её прямо в спальне, напротив своей кровати, «чтобы, проснувшись, воспринять её вдруг, ещё не осознанно и таким образом оценить непроизвольно первые от неё



Париж. У Лувра.

На снимке (слева направо): Даниил Гранин, Л.Н.Делекторская, К.Г.Паустовский, Е.И.Катерли.

Фотография Елены Адант, 1956 г.

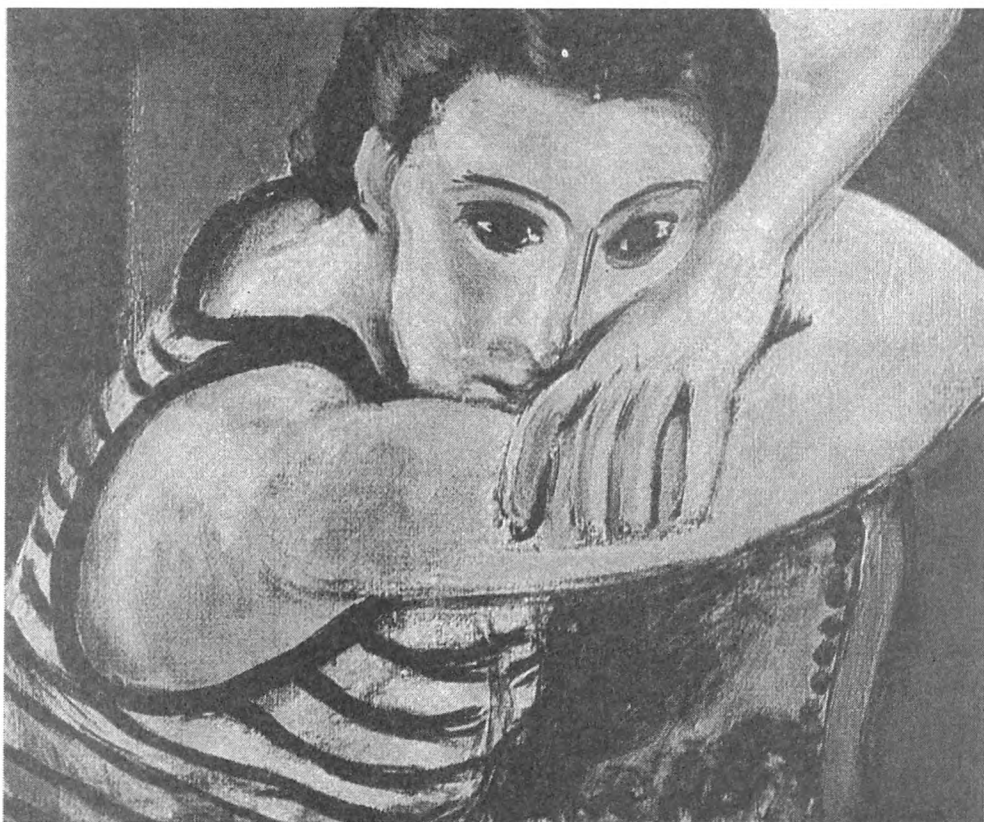
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Л.Н.Делекторской)

Н. МАТИССЕ



◀ Анри Матисс. Автопортрет, июль 1947 г.

▼ Анри Матисс. Голубые глаза (портрет Л.Н.Делекторской), 1935.
Из коллекции Художественного музея в Балтиморе





▲ Анри Матисс. Портрет Л.Д., зелёный, жёлтый, голубой, 1942.
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж



Анри Матисс. Женский портрет (Лидия Делекторская), 1945. ►
Графитный карандаш, 528x405.
Москва, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина

впечатления и её убедительность». Вот и у Лидии Николаевны в спальне напротив кровати висела картина Матисса, должно быть, особенно дорогая для неё. Как-то я спросила её, а не опасно ли держать такую вещь дома, где двери и окна легко открываются. «Да что вы, Галушка, — никакие воры даже не подумают, что здесь такая ценность, — и лукаво улыбнулась, — и потом, когда я уезжаю в деревню, я прячу её под кровать». Да уж, действительно, кому бы со стороны пришло в голову искать ценности в этом более чем скромном доме, у хозяйки, которая одевалась по дешёвым каталогам.

Воспоминания теснят друг друга. Поездки с Лидией Николаевной по местам Матисса. То мы поехали с ней в городок Сен-Кантен, где до сих пор существует гимназия, в которой учился Матисс. То — недалеко отсюда — на родину художника в тихий городок Като-Камбрези, где в небольшом особняке открыт музей Матисса и куда Лидия Николаевна тоже делала свои щедрые дары. И как там её встречали!.. «мадам Лидию». Я уже говорила, были мы и в Ницце, куда ей, вероятно, труднее всего было каждый раз возвращаться. Лидия Николаевна — прекрасный гид. Скупые слова, ёмкие объяснения. Подымаемся в гору. «Это место называется Симиез, а это отель «Режина», вон на третьем этаже (французский третий) окна — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь — квартира Матисса. А эти окна — его мастерская». Боже мой! Как коротко и просто. Там прошли почти 20 лет её жизни, лучшие 20 лет. Вокруг — пальмы, заходит солнце. Смотрим на море — пейзаж с картины Матисса. Не сговариваясь, спешим вниз. Лидия Николаевна на ходу спокойно рассказывает, что в квартире всегда было много цветов, а в одной из комнат стояли вольеры для птиц. Матисс заходил сюда в перерывах между работой. Вдруг она улыбается: «Когда мы ездили в Париж, приходилось брать лишнее купе для клеток, — улыбается ещё шире, — а голубей Пикассо подарила я. Он называл меня — голубая Лидия». Мы спускаемся ещё ниже. Парк. «Зайдём сюда, здесь развалины римского цирка». Мы не задаём вопросов. Видно, и это место связано для неё с чем-то очень дорогим. В парке проводится фестиваль джаза. Билеты дорогие, а мы — бедные. Неожиданно Лидия молодеет на глазах, снова появляется милое насмешливое выражение, она тянет меня в сторону: «Я здесь все тропинки знаю». И через узкую калитку мы совершенно бесплатно попадаем в парк. Доходим до цирка, садимся в верхнем ряду на уже начинающие остывать каменные ступени. Играет Диззи Гиллеспи. Кумир моей молодости. Прямо здесь, среди античных развалин. Лидия Николаевна явно не слушает музыки. Вернее, слушает, но только что-то глубокое — внутри себя. Грустнеет. В перерыве я решаюсь спросить её: «А вы часто расставались с Матиссом?» — «О, это были считанные дни, — она снова ожила, — иногда надо было ездить по делам в Париж...» — «А как же Матисс оставался один?» Лидия Николаевна улыбается: «Он был нетерпелив, всегда торопил меня. В деловых письмах, поручениях вечно делал приписки вроде: „наша кошка очень

без Вас скучает”». Нам уже не хочется слушать джаз. Да и холодно. Всех охватывает не то озноб, не то какое-то странное волнение. Мы выходим на набережную. Пьем в кафе «Перье».

Был на нашем пути и небольшой городок Ване, знаменитый теперь на весь мир своей капеллой — «Капеллой Матисса». Сначала Лидия показала дом, где они жили, — вилла «Мечта». Потом подробно рассказала о работе Матисса над Капеллой. Она готовила нас, как к встрече с чудом, как к выходу в космос. Вошли. Капелла потрясала. Яркое солнце двигалось за яркими витражами. Сияющие пятна густого синего и жёлтого цвета непрерывно перемещались по белому каменному полу. Не знаю, можно ли там молиться Богу, но ощущение чуда было непреложным.

По прошествии времени всё это воспринимается как подарки судьбы. Сама Лидия Николаевна. Её к нам отношение. И, что интересно, чем больше Лидия Николаевна привязывалась к человеку, тем больше разрешала ему приблизиться к Матиссу. Нечасто я видела её откровенно взволнованной. Один из таких моментов — она дарила мне старый (не замечая этого) розовой шарфик — подарок Матисса. Делала она это как-то застенчиво и даже робко, как будто боялась, что я не смогу оценить такого дара. В другой раз — она протянула моему мужу свёрток, там была шёлковая рубашка Матисса с его вышитыми инициалами.

Лидия Николаевна говорила, что никогда не собиралась писать книгу о Матиссе. Опять же её сдержанность, почти фанатичная. Но когда Луи Арагон решил к 100-летию Матисса в 1969 году издать свою книгу «Анри Матисс. Роман», то позвал «Мадам Лидию», с которой познакомился у Матисса в Ницце еще в 43 году (кстати, большие куски книги были известны самому художнику и нравились ему). Лидия Николаевна, конечно, согласилась. Жила на его знаменитой вилле, переделанной из старой мельницы, и работала с автором. Она привезла свои записи, ничего не жалея и не пряча «для себя». Арагон вставил несколько подлинных её страниц за её же подписью. Но самая главная её работа — это бесчисленные поправки и комментарии с пометками — 68 г., 69 г. Всё это — Лидия Николаевна. Такие подробности могла знать только она.

Лидия Николаевна была бескорыстно щедрым человеком каждый раз, когда речь шла о Матиссе. Когда одна из сотрудниц Московского музея писала книгу о великом художнике, Лидия Николаевна подгадала свой приезд к её отпуску и целиком отдалась работе.

Чувствуя, что время и силы истекают, она стала, как на работу, ходить в контору Клода и писать свои комментарии к дневникам художника последних двадцати лет. Это был огромный труд. Но без него никто бы никогда не смог понять отрывочные записи, имена неизвестных людей, обрывки замечаний, которые почти каждый день делал художник о своей работе. Я была с ней, когда она в последний раз пошла к Клоду. «Будете нести мои вещи, там у меня много скопилось». Буднично пришла, попро-

щалась и, не задерживаясь, ушла. Я тащила тяжёлые сумки с книгами, рукописями и прочим скарбом — там был даже выдавший виды старый кофейник, — и на ум приходило только одно слово — подвижничество.

К концу жизни что-то прорвало, исчезла старая преграда. Лидия Николаевна выпустила две книги о работе Матисса — только о работе. Первая — 1935–1939, вторая 1939–1943 годы. Третья была написана, но осталась ненапечатанной. Невосполнимая утрата. Прекрасно выполненные, книги имели большой успех и восторженную прессу в Париже. Лидия Николаевна решилась на это неспроста. Она обладала драгоценным материалом, который позволял изнутри посмотреть на работу художника. «Матисс, — пишет она, — редко накладывал один красочный слой на другой. Он соскребал краску, которую хотел заменить (или поручал это мне с того времени, когда у него разболелось правое плечо, и он оберегал его для творческой работы)». И дальше: «Мне была подарена Анри Матиссом пачка снимков с картин и рисунков». Фотографировали каждый раз, когда Матисс считал свою работу завершённой. Правда, на следующий день или позже он находил в ней изъяны, и работа продолжалась. Надо видеть страницы книг, изданных Лидией Николаевной, — и становится понятно, как день за днём

шла упорная переработка всей картины и длительные поиски новой уравнищенности всех её элементов — красочных и композиционных. И не надо быть знатоком, чтобы восхититься мыслью художника, тайны которой открываются вот здесь, перед вами. К тому же, иллюстрации прокомментированы размышлениями Матисса о живописи, продиктованными Лидией в своё время.

Я же могу восхищаться и самой Лидией Николаевной — уже больной и старой женщиной, проделавшей эту работу. Ей было тяжело, но думаю, что она была абсолютно удовлетворена. Она снова была с Матиссом, с его работой.

Смотришь со стороны на долгий путь этой женщины и понимаешь, что можно написать или очень беглые заметки, или — целый роман.

Делекторская умерла в 1998 году. Тело её сожгли в Париже. Урну с прахом похоронили в Петербурге. Другая могила — пустая — осталась на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем. Там на плите выбита надпись «Лидия Делекторская. 1910 — ...».

Разорванная жизнь. Но сама Лидия Николаевна была счастливым человеком. Однажды я спросила её: «Почему вы потом не вышли замуж?» Она посмотрела на меня, как бы не понимая вопроса: «А кто бы мог стать рядом с Матиссом?».

ИЗ ПЕРЕПИСКИ А.Н.ДЕЛЕКТОРСКОЙ С К.Г.ПАУСТОВСКИМ

**А.ДЕЛЕКТОРСКАЯ —
К.ПАУСТОВСКОМУ**

Февраль 1958 года

...Я очень тронута тем, что вы все помните обо мне и чуть смущена тем, что К.Г. писал, думая обо мне. Я надеюсь, что если он что-то написал относящееся ко мне, то это о человеке, которого он встретил, а не о пресловутой «Лидии», сотруднице Матисса. Мне страшно, когда пишут обо мне. Меня здесь журналисты и художественные критики иной раз «нервируют» своими баснями обо мне. Ну, работала всю свою сознательную жизнь до сих пор, с 22-х лет до 44-х действительно посвятила её исключительно тому, чтобы изгнать из жизни Матисса все помехи его работе, будь то житейско-материальные, будь то эмоциональные. Действительно, дала ему возможность работать последние 15 лет «вовсю», насколько позволяли ему его силы.

Но ведь и мне повезло — жить около такого исключительно умного, мудрого и широко развитого человека. Вот и всё. Венчик же ангела-хранителя, как и семейная драма, всё это ни при чём, второстепенно.

У меня оказалась потребность отдаться с остревением чему-то стоящему, для него. Искания его творчества — «привести в порядок свой собствен-

ный ум, чтоб суметь изъясниться ясно» — стояли всю жизнь много выше всего житейского, хотя и неизбежного. Наши пути встретились. Мы на редкость подошли друг другу. Через 5–6 лет драма действительно последовала — драма абсурдная, но с ультиматумом. После долгих, тяжёлых колебаний он предпочёл семье мою помощь в его работе: в 70 лет поздно искать и начинать натаскивать нового помощника, да и наткнёшься ли снова на подходящего. Результат вышел стоящий: несмотря на тяжёлое состояние его здоровья, последние 10 лет его творчества оказались новым расцветом, объединившим пыл его исканий молодости с выкованной мудростью чистотой и ясностью (это не я говорю, а критики).

Значит, он дошёл туда, куда стремился. Вот и хорошо.

А «ля петит истуар», т. е. побочное, житейское — пустяк, это неважно.

Вот потому, что я нахожу мой венчик слишком позолоченным, преувеличенным, я и живу дикарём: людям непонятно, что моя жизнь не была «самоотверженностью», как она не была и гонкой за славой, — она мне просто-напросто подходила.

И теперь избранная мной почти всегда отшельническая жизнь мне по душе — многолетняя привычка. И в ней увлеченную работу около Матисса я

заменяла переводами К.Г.Паустовского. Нельзя же жить без кипения!

Февраль 1958 года

...Знаете ли Вы, что во всех астмах — сердечная ли, аллергическая ли или ещё какая — очень важный фактор — нервы? Может то, что я Вам расскажу, поможет Вам иногда.

У Матисса тоже в течение нескольких лет периодически бывала астма. Иногда на много недель. И я нашла способ облегчать её.

У него всю жизнь были бессонницы. Он спал за ночь максимум 5 часов, да и то с перерывами (поэтому всегда ложился спать на час после обеда, перед послеобеденным сеансом). Но иногда он спал всего час-два за ночь (а раз не спал вообще 3 недели подряд). Кроме того, что он легко простужался (его насморк переходил в бронхит, и всё затягивалось на месяц нездоровья), очень тяжёлая операция заставила его много жить в постели. Поэтому с 1942 года у него почти всегда была ночная сиделка. Но когда ему было слишком тяжело переносить ночь без сна, он посылал её за мной. Я к этому была очень привычна, ничуть от этого не страдала, а 10–20 минут моего присутствия, оживлённой болтовни или слов сострадания было достаточно, чтобы остаток ночи казался ему потом менее нескончаемым.

Так вот, когда у него бывал период приступов астмы, когда приступ длился утомительно долго, звали меня. Если лекарства не помогали, я садилась у его кровати, брала успокоительно его руку и просто, но настойчиво спрашивала, какая «задняя мысль» его беспокоит. Он обычно отнекивался, но кончалось тем, что находил действительно какую-нибудь беспокойную, неотступную думу. Мы её «раскусывали», и я, изощрившись, моментально доказывала ему, что в ней нет абсолютно ничего беспокойного, стоящего особого внимания, и... приступ астмы утихал.

Матиссу было около 80 лет, когда недостаток физических сил требует поддержки моральной. Вы же в Вашем возрасте, наверно, можете обходиться без внешней помощи. Попробуйте, когда у Вас приступ, вместо того чтобы безнадежно следить за его развитием, сосредоточить всё внимание на том, что происходит — копошится — в Вашей голове и разобраться — стоящее ли. Может быть, и Вам поможет.

[1959–1960?]

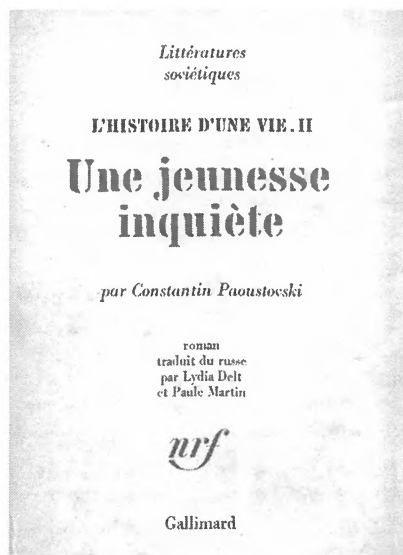
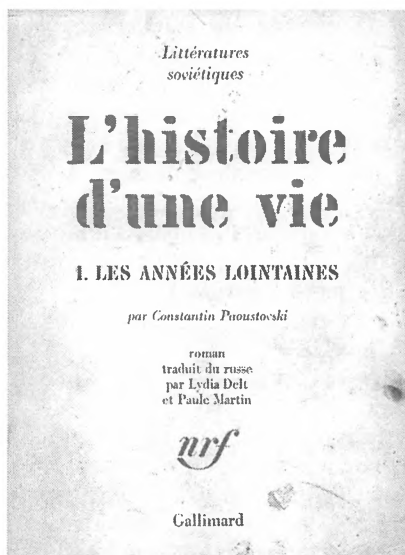
...Я Вам уже писала, что чуть не каждая глава «Золотой розы» воскрешает в моей памяти Матисса. Вот Вы пишете, что чем дольше стоишь перед картиной мастера, тем труднее от неё оторваться. Матисс говорил: «Хорошая картина открывается вам постепенно. В этом и разница между хорошим и плохим художником. Плохая картина наскучивает или её перестаёшь замечать. В хорошей же не перестаёт открываться всё что-то новое».

...Мне очень помогло до начала перевода прочесть целиком «Золотую розу». Не говоря о том, как во мне лично, в моём понимании, отзывалась каждая глава (и часто словами Матисса), я в ней нашла предостережения чисто практические о том, чего я не должна позволять себе в переводе. Если Вы, например, так точно выбираете нужное Вам слово, так уж мне-то никак нельзя удовольствоваться первопопавшимся из синонимов. И т.п. ...

...Я во французском языке, как плавают утка — легко, почти безошибочно, но и инстинктивно. Научилась я ему в жизни (я во Францию приехала, языка не зная), причём моим, если и не учителем, то источником в этом обучении был Матисс, человек глубоко культурный, умный, начитанный и, может быть, главное, стремившийся во всём, даже в «пустяках», к совершенству. Около него я из «девчонки» выросла в «человека».

Но, конечно, для личной культуры у меня не оставалось ни минуты времени. Все мои минутки, кроме тех, которых требовал для себя мой выносливый и нетребовательный организм, я давала Матиссу, его работе, с трезвым сознанием того, что часы и годы моей жизни, отданные ему, избавляя его от очень многого житейского, в какой-то мере удлиняют уделённый ему срок жизни, сберегая его минуты на то, что сделать мог только он сам — на его творчество...

...Я знаю, что я оптимистка и во всём неудачном, в конце концов, нахожу или счастливое окончание или пользу. И верю в нечто, вроде «ангела-хранителя». Конечно, не с крылышками, а нечто ведущее меня по правильной или нужной дороге. Кажется, я эту волю приписываю чему-то оставшемуся от Матисса.



«Далёкие годы» (1963) и «Беспокойная юность» (1964) К.Паустовского в переводе на французский Лидии Дельт (Lydia Delt) и Поль Мартин (Paule Martin) — первые из 22-х книг писателя в переводе Лидии Делекторской.
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Т.А.Паустовской)

Тоже, конечно, не витающего надо мной, а скорее присутствующего в том, что он выработал во мне (что-то вроде внутренней честности в отношении к очередной задаче и стремлении «все сделать» по мере моих сил), своего рода камертон.

8 января 1962 года

...Пока я писала фразу о моём знакомстве с Эренбургом, мне вспомнилась история, можно сказать, забавная.

Поскольку я помню, И.Э. пришёл просто познакомиться с Матиссом. Его лицо очень заинтересовало Матисса, и он попросил Эренбурга позировать для него 3–4 сеанса.

Матисс любил так делать с людьми, заинтересовавшими его умственно. 3–4 сеанса рисования портрета давали ему возможность быть в продолжение довольно многих часов в ненапрянутом обмене мыслями с интересующим его умом. И за это же время зрительное изучение черт лица и выражений позволяло ему проникнуть как можно глубже в сущность человека.

В продолжение первых двух-трёх сеансов он обычно работал над одним и тем же рисунком углём или карандашом, непрерывно стирая и перерисовывая составные части изучаемого лица. За этой работой он как бы насыщался чертами и выразительностью, характерными для данного лица. Дойдя до предела насыщенности, он брал чистые листы бумаги и — тогда уже как бы с одного размаха — рисовал «однолинейные» (без светотеней) портреты, тратя на каждый не более 5–10 минут.

В них он вкладывал всё почувствованное за часы работы над долгим этюдом. Построение лица было уж заучено почти наизусть и не требовало нарочитого внимания. Скажем, как пианист, разучив мелодию, может после этого свободно вкладывать в своё исполнение чувство и выразительность. И делал он тогда 5–6–10 рисунков за час, пока в этой серии рисунков что-то из прочувствованного им оставалось невысказанным. Фактически, вопреки инстинктивному предположению зрителя, портретом в рисунке Матисса является, с одной стороны, проработанный этюд, с другой — сумма последовавших штриховых рисунков.

Пока тянулись 2–3 трёхчасовых сеанса этюда углём, между ним и его моделью шёл неумолчный разговор. Со стороны Матисса чуть-чуть поверхностный. Т.е., задавая вопросы, он заставлял собеседника оставаться непрестанно оживлённым, но у него самого за это время оставался уголок сознания, абсолютно отрезанный от действительности, целиком поглощённый работой. Если собеседник задавал очень точный вопрос, требовавший полного внимания, ему приходилось «опомниться» и он как бы всплывал к действительности.

Но когда он брался за быстрые рисунки, разговоры прекращались. Вооружившись пером или карандашом, несколько листов чистой бумаги под рукой, он наклонялся к позирующему, вглядываясь в его лицо на расстоянии 50–60 сантиметров, часто

при этом сняв свои очки близорукости (шутя он говорил, что видеть сюжет через очки всё равно, что видеть пирожные за стеклом кондитерской: они не имеют ничего общего с теми же пирожными, лежащими на прилавке у тебя под носом, от которых «текут слюнки»). И выжидал.

Под его пронизательным, выжидающим взглядом становилось немного не по себе. Позирующий начинал более или менее ёрзать. И вот тут-то, в какой-то миг, уловив подходящее ему выражение лица или ракурс, Матисс чуть слышно говорил: «Стоп. Не шевелитесь» — и бросался на бумагу.

Глаза его каждую секунду возвращались к лицу модели, строгие, пронизывающие. Стоило модели еле двинуть глаза, как он ронял: «Не шевелитесь, продолжайте смотреть на меня, продолжайте думать о чём думали, не меняйте выражения лица».

Но в то же время, как глаза его перебегали с бумаги на сюжет и обратно, взгляд его уходил куда-то в глубину его самого, как будто он, главным образом, прислушивался к чему-то происходившему внутри его самого. Его молниеносный взгляд, казалось, искал лишь вехи для запомненного.

Присутствующие в комнате не имели права шелохнуться. Этим «присутствующим» большей частью бывала я. Держала чернильницу наготове — он перо в неё макал, иногда не отрывая глаз от рисунка, меняла на его доске листы. Достаточно было



Портрет И.Г.Эренбурга, 8 окт. 1946 г.
Уголь, 417х318.
Дар автора Эренбургу

повернуть голову, проверяя что-то взглядом в стороне, как уже слышалось: «Перестаньте».

Всё это я так длинно рассказываю, чтоб дать Вам понять, что однолинейные (мне хочется сказать «арабесковые» — не знаю, можно ли) рисунки Матисса не наброски мимоходом, а наоборот, результат длинной изумительной работы, выявленный в момент некоего транс. Он считал целью их.

Так вот, в своём изучении лица Эренбурга, после, кажется, двух сеансов, Матисс остановил этюд на изображении выразительного лица чуть улыбающегося, многопонимающего человека. Эренбург должен был вернуться ещё на сеанс через день или два, не помню.

За этот перерыв Матисс присутствовал на просмотре советского фильма, называвшегося здесь «Наша молодёжь» (первая шедшая здесь засъёмка в красках парада 1-го мая, Юткевич). Он был поражён красотой советской молодёжи, их статностью и спокойной уверенностью их движений. Возвращаясь, он всё не переставал повторять: «Какие красавцы!»

На следующий день он решил кончить рисовать Эренбурга и, чтоб разгорячить себя, как он говорил, для быстрых рисунков, начал новый рисунок углём.

Поработав минут 20, он даже сам вскрикнул: «... Да что это со мной?».

Рисунок изображал голову юноши изумительной красоты, построенную лишь на основных чертах лица Эренбурга.

Отложив его, он начал другой набросок. Результат — почти то же. Ещё и ещё... Обескураженный, он бросил свои попытки с совершенно ошарашенным видом. Как замороженный виденным накануне, он вливал в черты Эренбурга то, что стало для него свойственным родине Эренбурга, представителем чего стал для него Эренбург. И он этим был настолько сам выбит из колеи, что, посвящая один из рисунков Эренбургу, он совершенно запутался в начертании его имени. Эренбург ушёл, мне показалось, в некоторой степени недовольный.

Оставшись один, Матисс стал рассматривать остальные рисунки и сам с собой рассуждать: «А ведь черты-то его. Я его только здорово омолодил. А каким он должен был быть красавцем в молодости». Так это или не так, но в конце концов Матисс не усомнился в себе.

6 февраля [1960-е]

Дорогой Константин Георгиевич!

Тётя Шура мне пишет:

«Твой отец был прекрасный работник, человек большого ума и большой совести»¹.

Я ведь так это и знала!

Только не было никого, кто мог бы мне это подтвердить.

Спасибо, дорогой Константин Георгиевич.

Крепко Вас целую
Л. Делекторская

Наши первые письма к ней разошлись. Она называет меня «Лидосей», как меня называли дома.

28 декабря 1965 года

Знаете, Константин Георгиевич, я не совсем с Вами согласна насчёт сборника рассказов для перевода. И если Вы не запротестуете уж очень энергично, я включу в него 2–3 рассказа рода: «Колотый сахар», «Репортёр Крыс», «Жара» или «Тост». В общем, из таких, где зубы скрежещут при чтении.

Перечитываю все Ваши короткие рассказы, чтобы выбрать по такому в разных эпохах. Хотелось бы, не нарушая хронологию Вашего творчества, пересыпать данный Вами список вещами такого рода. Вы выбирали душу захватывающие, но все мягкие. А ведь у Вас есть и такие, как «Этикетки для колониальных товаров». Вот его-то я и хотела бы вставить. Первым или вторым в книге, этого решить ещё не могу. Скорее всё-таки вторым; боюсь, что им озаглавить (в переносном смысле) сборник, опасно. По нескольким причинам. Главное, хотя и полагается ставить на первые страницы что-нибудь очень сильное (для оценки книги с первых строчек, вероятно, «иначе не купят!»), всё же начинать с такого удара в цимбалы... И хотя бы ещё то, что дело идёт о еврее: нельзя, чтобы создалось впечатление какой-то «окраски».

Да и вообще, что касается «Этикеток», это всё пока «разговорчики». Думаю о нём, как об омуте, в который собираюсь нырнуть. Как перевести такую вещь! Я уже говорила Вам, что по-французски нет специального еврейского жаргона. Нет и интонаций. Есть только плохой выговор. Но испещрить рассказ заменой буквы «в» и «ж» (на «ф» и «ш») невозможно, стало бы нечитаемо.

Ну, об этом не стоит. Когда решусь нырнуть, тогда и увижу. В принципе я рассуждаю так: люди во всём мире чувствуют одинаково; более или менее осознанно, но для всех горькое — горькое. Значит, на всех языках есть способ это высказать. Даже если что-то не в привычках высказывать, возможность не может не существовать. Возможно, что я ошибаюсь, но в работе я исхожу из этого принципа.

Так вот, Константин Георгиевич, возвращаясь к сборнику, если Вы за собой знаете несколько таких рассказов (скажем, бьющих читателя в зубы), дайте мне их названия. Я хотела бы, всё же, чтобы сборник состоял исключительно из избранного Вами. Я с Вашим выбором совершенно согласна в смысле качества избранного. Но если бы составляла я, вероятно, взяла бы совершенно иное направление. Ваш подбор космополитичен, он (с передышками) о высоком духе. Я бы подобрала, конечно, Ваше «русское», о русской народной душе, о русской природе, о русском смехе, горе или остроумии, о всём том, чего за границей не знают, о существовании чего не подозревают, как жители тропиков о существовании снега; то, в чём Ваш голос иной, становится действительно задушевым, исключительным.

Но ничего. Я хочу Вас «уважить». «Свой» сборник я составлю когда-нибудь позже.

¹ См. письмо К. Паустовского Л. Делекторской от 8 января 1961 года.

Помощницу себе, чтоб заменить Польшу, я нашла. И была она у меня под рукой, оказывается. Девушка, мечтавшая годами о таком роде работы! Договорились. И в конце января начнём работать вместе для пробы. Француженка... выучившая русский алфавит! Пока я на деле не убедилась, что она подходит мне, большего о ней рассказывать не хочу.

Всё моё окружение благополучно и в добром здоровье. Лёля работает по разным музеям. Анлис на юге, вероятно, ушла целиком в живопись, навёрстывает потерянное время. Польша вдруг немножко изменилась, ведёт себя немного «дамочкой», в ней наконец чувствуется какая-то оседлость, благоустроенность в жизни, спокойная уверенность в себе. Я предполагаю, что это последствие сравнительно пустяка. Она доучилась на роль секретарши, и таким образом у неё пропал страх перед завтрашним днём. Если это так, то я очень за неё рада. Этот страх был её ненормальностью. К весне ей обещали хорошее место. Если она с ним сживётся, я за неё стану совершенно спокойна и рада, что она, кажется, в живой среде.

Я ещё ни словом не упомянула о «нашей» Италии¹. Но сама-то часто думаю о ней. Хотя в Тарусе было лучше!

[1960-е]

Дорогой Константин Георгиевич.

Наконец-то я могу послать Вам свои наилучшие пожелания. Я только вчера нашла человека, едущего в Москву, которому я смогла вручить лекарство для Вас. А не находя способа переслать его вам, как я могла поздравлять Вас с Новым Годом и желать чего-то, когда основа Вашего благополучия оставалась безнадежно за тридевять земель от Вас.

Я получила Ваше письмо через 2 дня после отъезда отсюда профессора Алпатова. И я страшно раздосадовалась против самой себя за то, что не подумала сама послать Вам с ним новый запас лекарства.

А сезон сейчас нетуристический, трудно попасть на едуших. Говорю я это вовсе не для того, чтобы показать, что я для Вас «старалась», а чтобы извиниться за задержку. Я единственно надеюсь, что Вы напомнили мне достаточно рано, пока у Вас предыдущее не совсем иссякло.

Я не хотела посылать что-то спешное через какие бы то ни было официальные учреждения. Боялась, что завалается, как это уже случилось.

В начале недели к Вам едет один из секретарей общества France—URSS. Я хорошо знакома с главным редактором их журнала. Через него и устроилось.

Единственно, что досадно, это то, что пришлось дать в журналистический круг Ваш адрес. Я, как Вам обещала, его никому не давала, кроме проф. Алпатова.

Так что теперь Вы сами поберегите от непрошенных гостей. Телефона Вашего не дала, чтобы Вам не докучали.

Думаю, что числу к 15-му лекарство дойдёт до Вас.

О его цене не беспокойтесь. Я уж Вам писала, что стоит оно пустяки. Сочтёмся, когда приеду. <...> Мне почему-то сейчас страшно хочется приехать. В самые что ни на есть снега. Но всё убеждаю себя, что это ребячество. Т.к. пока ещё некогда. Обещаю себе ледоход и цветущую черёмуху. (Почему-то черёмухи здесь нет, а ледоход — понятие отвлечённое: я даже перестала рассказывать о прямоугольных глыбах льда, во все розвальни, чистейшего, прозрачнейшего и чуть зеленоватого, который привозили с Оби во двор для набивки погреба. В Барнауле.)

Мих. Вл. Алпатов смеется надо мной: «черёмуха, говорит, у нас не в почёте; даже скорее вызывает пренебрежение». Росла бы она здесь, может, и я отнеслась бы к ней так же. А так, 35 лет всё мерещатся чёрные до удивительного стволы и белые грозди, пахучие «страшно».

Романтика? Сентименталка? Но я согласна на все эти определения. Я в них не чувствую ничего зазорного. Мне даже думается, что они в основе самых великих дел. Я, кажется, Вам ещё не рассказывала, что у нас теперь есть своя дача в 60 км от Парижа. У Вас впечатление, что я перескакиваю на что-то неожиданное. Нет, это ассоциация. Дачу свою я назвала «Гагарино». В день, когда я узнала, что в моих возможностях стать владелицей этой «усадыбы» (деревенский дом в 2 комнаты, садик, песок и необъятная панорама), я узнала о полёте Гагарина. Ну как же было не перекрестить её в «Гагарино»!



Л.Н.Делекторская в Тарусе. Над Окой.
Фотография К.Г.Паустовского, 1965.
Из архива Г.Ю.Лавровской

¹ В 1965 г. Паустовские и Л.Н.Делекторская были вместе в Италии.

Я этой даче очень-очень рада. Я очень скучала в Париже без зелени. И даже в Ницце, где море под рукой, а до зелени сложно добираться.

А тут 43 минуты электричкой. Не дольше, чем Париж пересечь. И уж такой покой и тишина! Я летом, как только могла, укатывала туда на неделю с переводом.

Домик выходит на улицу, сзади него садик карабкается террасами по откосу горки, отороченный слева сиренью, справа — моим же леском (в какие-нибудь 15 м ширины, но непролазным). Наверху калитка ведёт в лес. Чувствуешь себя как в зелёной раковине. А поднимешь глаза, и перед тобой что-то вроде пейзажа старых мастеров: сплетение старинных, бурых, черепичных крыш (что-то вроде XVII века), колокольня и дальше поля с перелесками. У меня сердце поёт, когда я там.

[1960-е]

Не черновик, а переписано чище.

Дорогой Константин Георгиевич!

Я опять к Вам с деловым письмом. Не очень, но всё-таки.

Сначала, как полагается, отступление. Расскажу о переводах. «Книгу скитаний» я, конечно, уже сдала.

10 переведённых рассказов даже уже перепечатаны начисто; готовы идти в переработку к моей новой помощнице. Но я их пока откладываю. Не хочу её пробовать на этих тонких вещах. Сначала дам, чтоб «натаскать», «Колхиду». Сейчас кончила её переводить. В запас, и потому, что начала её ещё весной, и мне не нравилось оставлять её сделанной наполовину.

Так что вот, дам «девушке» «Колхиду», а сама буду продолжать по Вашему списку рассказы.

Думаю, что и их кончу к Вашему приезду в Ниццу.

Да! Я упрямая. Хотя из письма Татьяны Алексеевны я знаю, что Вы всё ещё возитесь с докторами, я с твёрдой уверенностью жду Вас в мае.

Почему? По личному опыту. Вы просто-напросто подражаете Матиссу. Он несколько лет так меня изводил: 3 месяца великолепное состояние, работа, прогулки и бах! — 3 месяца без сил, без сна, астма, отчаяние, беспросветность, общее истощение. Доктора... лекарства... гомеопатия... акупунктура... Я худею на 5–6 кило... И вот на третий месяц (но после каких тяжёлых 2-х месяцев!) что-то незаметно начинает просветляться (меня уже поругивают!), и потом опять вся жизнь входит в норму: работа, прогулки, переписка месяца два вовсю. До изнурения, до следующего периода упадка сил.

Я знала, видела, что это периодическое, но самому человеку это в тяжёлый момент не видно, кажется невероятным, кажется, что всё кончено навсегда. Даже материальные аргументы не доходят до сознания. (Не знаю, слушаете ли Вы меня сейчас. Поди тоже пропускаете мимо ушей кусочки моего сердца!)

Вот большая оранжевая книга, которую я когда-то Вам послала. В ней творчество Матисса за 4 года.

Репродукции маленькие, вещи же все по 3 метра высотой. Ими при выставке наполнилось 7 зал музея.

Так вот это и есть мои материальные доказательства периодичности упадка сил: 3-х месячные провалы появились ещё до этой эпохи. И повторялись не раз за 4 года творчества, воспроизведённого в этой книге.

Вы поставили бы себе где-нибудь эту книгу на глазах, как напоминание, что всё перемелется.

И не забывайте самую примитивную правду: сердце — мускул. А всякий мускул восстанавливается.

Я, кажется, когда-то Вам рассказывала, что доктор сказал Матиссу: «Есть выражение: вложить сердце в работу. Так вот Вы фактически отдали Ваше сердце работе этих лет». Это было сказано до оранжевой книжки. Т.е. весь её период, он был тоже «сердечным».

Н-да! По-моему, письмо должно было быть деловым.

Но знаете, дайте его прочитать Татьяне Алексеевне. Может, хоть ей оно покажется, если не совсем убедительным, то хоть обнадеживающим на года.

А теперь о деле.

Название «Книга скитаний» по-фр. получается: *Le livre des pérégrinations*.

Я очень застенчиво хотела бы предложить Вам вместо этого что-нибудь вроде: *Né des pérégrinations*.

Вот мои основания. «Книга скитаний» эта — Кара-Бугаз. Книга, с которой Вы стали писателем. «Кара-Бугаз» в «Книге скитаний» лишь какая-то её часть. Основное же то, что из скитаний с этой книгой родился окончательный человек. Кто захочет поймёт в «*Né des...*» = *le livre*; а кто получше подумает, поймёт глубже.

Тем более, т.к. Вы всегда предвидели 6 томов автобиографии, и договорив, как Вы стали, наконец, писателем, Вы её прерываете, — значит судите, что дальше всё идёт само собой — заглавие вышло бы так тоже заключительным.

Может, я не права, что-то не так поняла. Но это ничего. Я перед Вами не стесняюсь ошибаться. Ведь... от чистого сердца.

Спешки нет. Ведь сначала должен ещё выйти «Бросок на юг». Пишу Вам, как бы ставя точку по окончании перевода «Колхиды».

...Пишу я Вам из «Гагарино». Провела здесь две недели одна (с привязавшейся кошечкой). Хорошо работалось. Завтра еду к Кодрянским. Потом увижу, вернусь ли сюда или нет. Целую всех от всего сердца.

Лида

Черновик письма о «Натюрморте с раковиной» А.Матисса, который Л.Н.Делекторская подарила в ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Дор[огой] К.Г.

Nature-morte and coquillage

Я в некотором отношении посылаю Вам подарок, без сомнения говоря, чудный.

Моё намерение было, как полагается, завещать её после моей смерти в музей М[атисса]. А потом решила, что Ваше внимание к ней <...>



Анри Матисс. Раковина на чёрном мраморе.
Холст, масло, 54х81, 1945 г.
Собрание ГМИИ (с 1958 г. — дар Л.Н.Делекторской)

Может быть, мне «жить до 80 лет», так какое же я имею право и по отношению к Мат[иссу] и к миру на эти десятки лет запереть у себя, почти только для себя эту вещь, которая за эти же десятки лет сможет порадовать сотни, тысячи, может быть, много тысяч людей.

В этих размышлениях я была подтолкнута к окончательному решению тем, что вы полюбили её, — значит, Вам было бы радостно снова хоть иногда её видеть — а значит, и другим, — а от этого наибольшая радость мне.

Ну вот — я её уже подарила в М[оскву] и думаю, что она там скоро будет. Если хотите, я прошу Вас быть немножко её моральным опекуном.

А когда будете её видеть, к внутренней радости, которую она сможет Вам давать, присоединяйте каждый раз адресованную Вам в моём поступке мою сердечную и радостную улыбку.

Приписка Л.Н.Делекторской на черновике.

Послала это письмо через посольство, вложив (открыто) в альбом «Verve», кот. до К.Г.П. дошёл, но письмо уничтожили.

**К. ПАУСТОВСКИЙ —
Л. ДЕЛЕКТОРСКОЙ**

17 февраля 1958 года

Таруса

Дорогая Лидия Николаевна! Умоляю, — простите меня за моё безобразное молчание. Не сердитесь. Понять — это значит простить. Поэтому поймите и поверьте, что писать в течение прошлого года мне было трудно.

Я всё время порывался писать Вам, постоянно вместе со всеми вспоминая Вас, думал о Вас, и все эти воспоминания были связаны с чувством глубокой нежности и грусти.

Мне сильно мешает сейчас моя астма. Она всё усиливается, и потому сейчас я всё время живу в

Тарусе — маленьком городке на берегу Оки, в 130 километрах от Москвы. Так требуют врачи, — жить здесь или на юге, в тепле.

Я бесконечно благодарен Вам за то, что Вы перевели «Золотую розу» на французский язык. Я понимаю все трудности этого перевода, поздравляю Вас и просто преклоняюсь перед Вашим мужеством. Я знаю, какие муки испытывали переводчики «Золотой розы» на английский и немецкий языки, — они присылали мне отчаянные письма.

Сейчас я пишу Вам из Тарусы, из такой глубокой и снежной зимы, какую невозможно представить из Парижа, а тем более из Ниццы. Судя по почтовому штемпелю, Вы сейчас в Ницце. <...>

8 января 1961 года

Москва

Лидия Николаевна, дорогая, почему Вы не пишете? Я не пишу из-за своего отвратительного характера, но получать письма от Вас я хотел бы гораздо чаще, чем они приходят. Когда долго нет писем, то начинаются всякие страхи, — не больны ли Вы, не случилось ли с Вами чего-нибудь дурного.

Пишите и не думайте, что Вы должны каждый раз информировать меня об издательских делах. А то у меня такое впечатление, что Вы стесняетесь писать мне вообще — обо всём, если нет издательских новостей и каких-нибудь демаршей Арагона.

Весной или летом я надеюсь быть в Париже. Пора, потому что годы проходят, как дни. В этом году мне уже стукнет 70 лет, — это, очевидно, ужасно, но я этого ужаса не чувствую и мне всё кажется, что впереди ещё много хорошего и много работы.

Пошлите, по крайней мере, свою фотографию, — ведь Женя фотограф-художник. Поэтому пришлите мне не одну, а три фотографии — свою, Женину и Поль. Надо же знать, кто меня переводит.

Да, — чудесная история. Только что я получил письмо от старушки 76 лет Александры Ивановны Шориной. Вот, что она пишет: «Я только что прочитала «Мимолётный Париж» и узнала в Лидии Николаевне Делекторской мою родную племянницу. Я тоже бывшая Делекторская. Думаю, что Лидия Николаевна — дочь моего умершего брата доктора Николая Ивановича Делекторского, работавшего в своё время в Томске. Ребёнок после смерти отца скоро потерял и мать, и девочка осталась у родственников жены брата, и связь между нами в то сложное время была потеряна. Письменные поиски Лидии в Томске были безуспешны. Потом я много, много лет в каждой встречавшейся мне фамилии Делекторская искала Лидию, но тщетно... А вот теперь мне кажется, что я её нашла».

Я ответил ей и дал Ваш адрес без Вашего разрешения, простите. Адрес Александры Ивановны такой: Москва, улица Горького, дом 28, квартира 13, Александре Ивановне Шориной.

Напишите всё о себе, даже о том, сохранилась ли у Вас пудреница с гравюрой нашего высотного дома или Вы её потеряли.

14-го января я еду в Ялту (Ялта, Дом творчества Литфонда) и проживу там до половины марта. Напишите мне туда.

Я еду заканчивать книгу — шестую из автобиографического цикла. Я довожу уже в этом цикле свою жизнь до 1930 года, а остаётся ещё 30 лет, — лишь бы успеть окончить. Ещё очень много надо написать.

17 января, — длинный и неприятный перерыв из-за болезни. Я заболел каким-то внезапным и сильным гриппом и только сейчас могу окончить письмо.

На днях уезжаю в Ялту и оттуда напишу подробнее. В Москве меня очень «дёргают» и писать трудно.

Будьте здоровы, не волнуйтесь, — всё будет хорошо. Привет Жене и Поль.

Ваш К. Паустовский

10 ноября 1961 года

Таруса

Дорогая Лидия Николаевна, — я так долго не писал Вам потому, что два последних месяца решался вопрос о моей поездке вместе с Татьяной Алексеевной в Париж. Я был уверен, что увижу Вас, и мы обо всём поговорим. Всё было готово, все визы даны, был уже назначен день отъезда и взяты билеты на самолёт, я уже собирался телеграфировать Вам, но в последнюю минуту всё сорвалось. Теперь поездка откладывается до весны. Если всё будет благополучно, то увидимся весной в Париже.

Получил Ваше письмо об издательских делах. Только от Вас я и знаю об этом. Арагон пока что молчит. В Париже я должен был встретиться с ним и с Эльзой Триоле. Тогда бы всё сразу выяснилось. Но вот видите, — не повезло.

Вы только не волнуйтесь. Книга, конечно, выйдет.

Напишите, как Вы, как здоровье? Что делаете? Как Женья и Поль?

В июле я был в Италии, — в Турине (на конгрессе писателей), в Милане и Риме. После конгресса десять дней отдыхал в долине Аосты, в Сен-Винсенте, у подножья Монблана. Был просто рядом с Вами. Потом весь август я с Татьяной Алексеевной и Галей провёл в Польше. Было очень интересно, но страшно утомительно. Весь сентябрь готовился к Парижу, а теперь сижу в Тарусе и работаю, — пишу шестую книгу автобиографического цикла.

Стоит небывало тёплая и сухая осень. Приезжал на два дня Алёша. Он очень благодарит Вас за марки. Благодаря этим маркам он пользуется среди московских мальчиков славой великого филателиста.

У меня к Вам одна очень большая и нескромная просьба. Единственное лекарство, которое спасло и спасает меня от астмы, — это то, которое Вы мне

прислали. Вы меня просто спасли. Сейчас это лекарство кончается, достать его здесь нельзя. Если это возможно, то пришлите мне с оказией несколько флаконов. Называется оно так: *Dyspne-Inhal*. На всякий случай посылаю проспект. Не знаю, как быть с деньгами, но что-нибудь придумаю.

На днях вышло Вам свой последний сборник. Там есть вещи, которых Вы не знаете.

Пишите! Не обращайтесь внимания на то, что я редко пишу, — мне кажется, что мы всё время общаемся и много говорим друг с другом.

Пишите на Москву.

Татьяна Алексеевна кланяется. И Алёша тоже. Передайте мой самый сердечный привет Жене и строптивой Поль.

Будьте спокойны и счастливы.

Ваш К. Паустовский

Извините за помарки, — испортилась машинка.

На всякий случай вот мой московский телефон: Б.7.48.49.

Лекарство можно из любой лаборатории, а не только из Клермон-Ферран.

20 января 1964 года

Москва

Дорогая Лидия Николаевна, — давным давно я послал Вам большое письмо с переводчиком Блоком и вложил в конверт ещё письмо к Поль. Блок привёз мне от Вас астматическое лекарство, за которое я очень благодарен. С тех пор от Вас, как говорится, ни слуху, ни духу, и я даже думаю, что мои письма до Вас не дошли и остались в кармане у рассеянного Блока.

Извините, что пишу на пишущей машинке, — мой почерк с каждым днём становится всё хуже и хуже, и я из-за сострадания к моим друзьям пишу им только на машинке. Мне жаль Ваших глаз.

Осенью мы с Татьяной Алексеевной ездили в Севастополь. Там жили в гостинице, и я начал там работать над сценарием о Чёрном море, хотя давно уже дал клятву самому себе никогда не работать для кино. Но поработал я недолго, — снова стало плохо с сердцем (приступ стенокардии), и меня положили в госпиталь Черноморского флота, там я и провалялся две недели, а потом меня отправили в Москву, так как врачи считают, что для меня очень вредны перемены климата и жить мне в Крыму нельзя. Ужасно это глупо и досадно. Я мечтал о том, чтобы ранней весной пожить и поработать в Крыму.

На днях я, очевидно, поеду в санаторий под Москвой — долечиваться.

Я не поблагодарил Вас и Поль за перевод «Далёких годов». Перевод — прекрасный, об этом говорят все те французские критики и литераторы, которые писали о «Далёких годах». С моей лёгкой руки Вы приобрели ещё одну прекрасную (но трудную) профессию, чему я очень рад. Конечно, я зря хвастаюсь, — Вы взяли на себя самоотверженный труд и выполнили его великолепно. Вы и Поль — милая и нежная парижанка. Поль прислала мне пись-

мо на шести открытках с видами замков на Луаре. Месье Кан сделал весьма лестную приписку. Я написал и ему маленькое письмо, но и оно, должно быть, не дошло до него.

Какие новости у Галлимара? Скоро ли выйдет «Беспокойная юность»? Что будет дальше? Сколько Вы уже перевели?

Шестая книга — я назвал её «Книгой скитаний» — уже напечатана в журнале «Новый мир» (№№ 10 и 11). Посылаю Вам оттиск этой книги, — может быть, Вы переведёте и её, если Вы ещё не устали от переводов и не проклинаете меня за то, что я слишком много пишу.

Что думает Арагон?

Я пытался разыскать план старого Киева, где бы были указаны места действий из «Далёких годов» и «Начала неведомого века», но пока что не нашёл. Буду искать ещё. <...>

Лидия Николаевна, — у меня есть к Вам великая просьба. Пришлите, если это можно и не очень Вас затруднит, те лекарства, этикетки от которых я вкладываю в это письмо. Это — пластырь (великолепно действующий), нео-кодион (тоже великолепно действующий и излечивающий грипп) и тёрку для мытья посуды (такую, как та, что Вы подарили Татьяне Алексеевне). Все хозяйки от неё в восхищении.

Ещё раз огромное спасибо (надеюсь, Поль уже выучила это первое русское слово) за перевод, за то, что Вы знакомите французского читателя со мной, и за лекарства, без которых я бы пропал. Моего лекарства мне хватит надолго. Я надеюсь, что свой долг за лекарства я весной смогу Вам вернуть.

Когда увидимся, не знаю. Приезжайте весной или летом к нам. Если нужно, то я пришлю официальное приглашение через Союз советских писателей.

Постоянно вспоминаем Вас, Лёлю, Поль и все наши парижские дни.

Огромный, как говорит мой ученик — молодой писатель, «океанский привет» от всех нас Вам, Лёле, Поль и месье Кан.

Я ещё немного нездоров и много писать не могу, а хочется рассказать Вам обо всём. Скоро опять напишу. Кодрянские, кажется, уже в Париже.

Целую Вас, будьте счастливы и спокойны. И Лёлю, если можно, я тоже целую. И я, и Татьяна Алексеевна, и Галка, и Алёшка. Так же, как и Вас.

Пишите, не откладывайте надолго.

Пишите на Москву.

Ваш К.Паустовский

P.S. Татьяна Алексеевна ещё просит прислать четыре одинаковых гребешочка для причёски. Не сердитесь, что мы завалили Вас поручениями.

*24 апреля 1964 года
Кунцево под Москвой*

<...> Спасибо за письма (я очень люблю получать Ваши письма), за книгу «Une jeunesse inquiete»¹ и за газеты. Я начал получать письма от читателей-

французов и русских, живущих на Западе. Все в один голос пишут о превосходном переводе. Поздравляю Вас и Поль ещё раз.

Первые книги «Повести о жизни» уже вышли в Нью-Йорке, Мюнхене, Стокгольме и Милане. Что слышно у Галлимара? Как настроен Арагон? Если Вы встречаетесь с ним или говорите по телефону, то передайте самый сердечный привет от меня ему и Эльзе Триоле.

Я думаю, что в связи с выходом дальнейших очередных книг я могу понадобится и Вам и Арагону. <...>

*7 мая 1964 года
Москва*

<...> Я начал получать письма от читателей из Франции и стран Бенилюкса с отзывами на «Далёкие годы» и «Беспокойную юность». И во всех письмах восхищаются переводом. В частности, некий Артамонов — один из директоров заводов Форда в Европе прислал мне из Антверпена письмо, в котором пишет: «Французский текст великолепен!».

Это письмо — не в счёт. Мне ещё не позволяют долго писать. Через неделю напишу ещё, побольше.

<...> Мы вспоминаем Вас каждый день. Всё время. Непонятно, как, внезапно, вдруг возникают на свете свои родные люди. Я не навязываюсь к Вам в родственники, но это так.

*29 июля 1964 г.
Таруса*

<...> После болезни я уже начал работать (пишу, между прочим, седьмую автобиографическую книгу). И если Галлимар решится издавать весь автобиографический цикл, то и у Вас будет «прорва» работы. Теперь я жду французское издание «Начала неведомого века». Спасибо за присланные книги и за Ваши милые подарки, особенно за фото. Матисс и Шагал висят у меня в тарусском кабинете на сосновых бревенчатых стенах. А книга об импрессионизме вызывает дикую зависть у всех друзей.

Когда мы увидимся, — не знаю. Не собираетесь ли Вы в Москву? Какие у Вас планы на этот год и на лето? Английское издательство Коллинз выпускает всю серию «Повести о жизни», и в связи с этим я получил от него приглашение приехать в Англию с Татьяной Алексеевной и Галкой в конце сентября этого года, — в это время выйдет первая книга («Далёкие годы»).

Сейчас Союз писателей уже оформляет эту поездку. Теперь всё дело за врачами, — разрешат ли они мне ехать в Англию. Врачи вообще настроены против всяких перемен климата, даже не пускают меня в Крым.

В Нью-Йорке уже вышли первые книги «Повести о жизни» в издательстве «Пантеон Пресс». Изданы прекрасно. В Америке у «Повести о жизни» «большая пресса».

Вот всё, чем я могу перед Вами похвастаться. Я по-мальчишески мечтаю о Луаре, Франции, Париже. Я должен научить месье Кана удить рыбу.

Виделись ли с Арагоном? И с Эльзой Триоле? Правда ли, что летом они живут на мельнице

¹ «Беспокойная юность» (фр.).

(водяной или ветряной?) где-то около Рамбуе? Если Вы их увидите, то передайте поклон от меня. Спасибо Лёле за фото. Она — гениальный фотограф. Даже я на её фото похож на человека, а не на обезьяну, как на всех других фотографиях.

Кстати, если увидите Арагона, скажите ему, что недавно в Москве вышла очень талантливая книга нашего молодого писателя Бориса Балтера «До свидания, мальчики». Не издаст ли Арагон её во Франции?

Пишите! Я торжественно обещаю не молчать так долго и тотчас отвечать. <...>

Целую Вас.

Ваш К. Паустовский

В Авиньоне, в форте Сент-Андре, Татьяна Алексеевна выкопала крошечный дикий ирис, завернула его в мокрую бумагу и привезла в Москву. Здесь мы его высадили в вазон, а потом — в сад в Тарусе, и он превратился в огромный цветок...

25 августа 1964

Лидия Николаевна, дорогая, — скоро увидимся, и я, наконец, посплю в Вашем замечательном кресле. Это у меня — мечта идиота.

Как Поль и месье Кан? Имя Поль, как переводчицы (не говоря о Вас), прогремит по всей России.

И всё-таки мы съездили (смотались, как говорят у нас) на Луару.

Будьте здоровы. Целую Вас. И Поль тоже, несмотря на грозное присутствие месье Кана. Он у Вас чудный. Привет Лёле!

Ваш К. Паустовский

Пишу письма, очевидно, глупо. Татьяна Алексеевна и Галечка, и Алёшка Вас горячо приветствуют.

5 февраля 1965 года

Москва

Дорогая Лидия Николаевна!

В связи с некоторыми доработками в последних частях «Повести о жизни» нам необходимо встретиться, чтобы согласовать перевод. Я думаю, что для Вас не будет затруднительным приехать ко мне на месяц в Москву (примерно, в середине мая этого года).

Конечно, весь месяц нам не придётся работать непрерывно, и я надеюсь, что Вы сможете отдохнуть и повидать, кроме Москвы, ещё и Ленинград.

Естественно, что все расходы по Вашему пребыванию в СССР, равно как и проезд от Москвы до Парижа, я беру на себя.

Примите мои самые дружеские чувства.

К. Паустовский

22 июля 1965 года

Таруса

Дорогая Лидия Николаевна, пишу на машинке, не сердитесь. От руки я пишу очень долго, а сейчас тороплюсь.

Я получил Ваши письма из Минска и из гостиницы «Ленинград» (о том, как Вы купались в Волге в Ярославле). Отсюда из Та-

русы мы каждый день следили за Вашей поездкой — и радовались за Вас, и завидовали Вам, и жалели, что мы не с Вами. Я не успел написать Вам, какие памятные места надо было бы посмотреть в Киеве, главным образом, места, где происходило действие «Далёких годов». Нашли ли Вы здание Первой киевской гимназии? На бульваре Шевченко (бывшем Бибикивском)? Там вместе со мной учились Михаил Булгаков (драматург), знаменитый Вертинский, немного раньше меня — композитор Рахманинов. Не успел я Вам написать адреса украинских писателей — милых людей, которые могли бы показать Вам Киев, — и список красивых киевских мест, где я так много болтался ещё гимназистом. Но, может быть, Вы снова приедете к нам, и тогда я, если смогу, сам с наслаждением покажу Вам Киев.

Напишите, как поездка? По-моему, она была замечательная. Очень обидно, что не удалось нам приехать в Ясную Поляну. 18 июля у нас прошёл (ночью) небывалый ливень, и три дня не было дороги.

Это письмо я посылаю, чтобы не задерживать списка рассказов для перевода. На днях напишу подробно о нашей жизни. <...>

19 декабря 1966 года

Ялта

Всё время думаем о Вас, как о родном человеке в далёкой, заливаемой дождём Франции. У нас тоже ледяные дожди, туманы, бури, мечтаем о Ницце (!!!).

Пишите. Я, как говорят, дал слабину. Мир делается неуютен.

Целую Вас, Лёлю, Анлис, Кодрянских.

Пытаюсь писать.

Ваш всегда

К. Паустовский

Мы в Ялте до весны.

Пишите сюда.

Спасибо Вам за всё, без Вас как-то неуютно жить на свете.

Целую обоих крепко.

Ваш К. Паустовский



К.Г. Паустовский и Л.Н. Делекторская. Таруса, перед расставанием

Франклин РИВ
(США)

РОБЕРТ ФРОСТ В МОСКВЕ

«Вчера знаменитый поэт Роберт Фрост прибыл в Москву из Соединённых Штатов», — писала московская газета. Заметка обходила молчанием суждения Фроста о соперничестве наций, высказанные им на пресс-конференции в аэропорту, его саркастическое замечание о стремлении русских переиграть Америку: «Если русские во всём превзойдут Америку, я стану русским», его представление публике своих верительных грамот: «Россия когда-то владела западным побережьем Соединённых Штатов, Калифорнией. Как раз там я родился. Я родился на территории России. В Сан-Франциско есть холм, который так и называется — Русский холм. Неподалёку от него я родился». Никто из русских не отреагировал, когда Фрост сказал, что если поэт получает за свои стихи слишком мало денег, он подрабатывает, как любой другой человек. «У вас то же самое?» — спросил Фрост, но его вопрос остался без ответа. Распорядительницы заверили его, что русские поэты полностью загружены работой и широко публикуются. Фрост рассказывал о своём жизненном пути, о том, сколько занятий он сменил в молодости, «только чтобы заработать на хлеб».

Он предельно устал, и казалось, его ещё больше утомляло отсутствие отклика у аудитории. «Погодите, это ещё не предел нашего сближения, — сказал он. — Мне есть что сказать вам начистоту».

Кто-то спросил его, не мешает ли ему общаться языковой барьер. Фрост ответил с улыбкой: «Мы все смеёмся на одном и том же языке».

Распорядительницы хотели обсудить перечень предполагаемых мероприятий, экскурсий, поездок и осмотров достопримечательностей. «Желательно, если это возможно и удобно, — предложил я, — устройте завтра ужин у Чуковского или Паустовского, которых он очень хотел бы видеть». Оба были пожилыми литераторами (один примерно на восемь, другой на пятнадцать лет младше Фроста) и пользовались большой славой — Чуковский как критик и детский писатель, Паустовский как крупнейший прозаик. Распорядительницы сказали, что сейчас они не готовы дать какой-либо ответ, что им надо подумать и мы могли бы обсудить это завтра, как и всю программу в целом. «У нас мало времени, — сказал я, — и мы должны организовать визит так, чтобы Фрост общался с людьми и читал свои стихи. Он не хочет просто посещать достопримечательности и глазеть на памятники». Завтра, согласились все, мы обсудим это завтра.

<...> Паустовский, пригласивший нас в тот вечер на ужин, жил в большом многоквартирном доме, в каждом крыле которого было по несколько подъездов. Дом находился на набережной Москвы-реки.

Твардовский жил в другом крыле этого же дома. Впоследствии мы провели здесь и наш последний вечер в России.

Когда мы вошли из прихожей в гостиную Паустовского, моё внимание прежде всего привлекли книги и стол. Сразу повеяло спокойствием и интеллектуальной изысканностью. Как в большинстве русских городских квартир, гостиная была и столовой, и библиотекой одновременно. Все стены от пола до потолка были заняты книгами. В комнате стояли диван, пара мягких кресел, радиола, два-три столика с лампами, скамеечка для ног и овальный обеденный стол, окружённый пятью-шестью тяжёлыми стульями красного дерева, ещё четыре или пять стульев были принесены из других комнат по случаю сегодняшнего ужина.

У Юдаллов мы ужинали по-американски в непринуждённой обстановке. У Добрыниных мы обедали в официальной обстановке, соблюдая условности дипломатического этикета. В самолётах мы ели с подносов, как едят авиапассажиры. В гостинице мы столкнулись с гостиничным сервисом — медлительным и безликим, хотя директор в начале и в конце нашего пребывания уделил группе Фроста особое внимание (после газетных публикаций о встрече Фроста с Хрущёвым в Гагре обслуживание заметно улучшилось). Сейчас мы впервые находились в прекрасном русском доме и вскоре должны были сесть за обильный русский ужин. Льняные салфетки, вышитая скатерть, на столе шпроты, маринованные грибы, чёрный хлеб, чёрная икра, сельдька, лососина и осетрина, редиска, помидоры, винегрет, маринованные огурчики, грузинское вино, маленькие рюмочки под водку. Богато накрытый стол и радушие хозяев вселяли уверенность, что впереди вкусный ужин и тёплая искренняя беседа. Фроста несколько раз приглашали в русские дома, и всякий раз гостеприимство хозяев было ему очень приятно. К концу поездки он сильно устал от всего, что успел сделать, и последний ужин был, можно сказать, ему уже не в радость. Но в начале он был полон энергии и энтузиазма. Вечера были интересными.

Если подумать, кто и с кем встречался, преодолевая географические и политические расстояния, придётся признать: эти вечера были большим достижением. Можно было лишь надеяться, но нельзя было рассчитывать на столь непринуждённую, дружескую беседу, столь очевидное взаимное восхищение. Фрост выступил по телевидению со словами благодарности: «Перед тем как что-то сказать о поэзии, я хочу поблагодарить моих гостеприимных хозяев за дружбу и за то время, что мы с ними так хорошо провели». «Обмен поэтами полезней,

чем разговор дипломатов, — добавил он однажды утром, перед тем как получил приглашение встретиться с Хрущёвым, — он сближает родственные души».

Фрост встречался с людьми своего поколения и своего склада. Семидесятилетний Константин Паустовский был видным русским писателем, крупнейшим, как многие считали, независимо мыслящим современным прозаиком. За год до этого он побывал в Италии. Трудной зимой 1962/63 годов он смело выступил в защиту современной русской литературы против её хулителей, поборников жёсткой цензуры. Фрост и Паустовский дружелюбно беседовали через переводчиц. Когда дамы начинали тараторить особенно громко, Фрост, пожав плечами, отстранялся с кислой миной, просил коротко изложить суть сказанного, ел что-нибудь, затем беседа снова увлекала его. Они с Паустовским говорили о своих писательских привычках, о ценностях, которые они отстаивали в своём творчестве. Фрост упомянул о необходимости уединения и независимости. Паустовский сказал, что у него есть домик в лесу, где он, как Торо у озера Уолден, остаётся наедине с природой.

Его домашние внимательно слушали. Жена и дочь разносили еду. В разговоре участвовал старый друг Паустовского. Это был Самуил Миронович Алянский, специалист по истории искусства, основавший сразу после революции 1917 года издательство «Алконост» — один из самых знаменитых издательских домов тогдашней России. Издательство специализировалось на поэзии, помогая некоторым значительным поэтам примерно в то время, когда сам Фрост начинал завоевывать признание. Род занятий, эрудиция, старомодное обаяние Алянского делали его присутствие на этом вечере не только уместным, но и важным. Фрост, я уверен, не имел представления о заслугах Алянского. Распорядительницы вились вокруг Фроста, как будто стремились оградить его от воображаемых собирателей автографов; сами они никогда не выступали инициаторами того, что чиновники называют «обменом мнениями». Присутствие Алянского было для меня полной неожиданностью, и я не мог подготовить

Фроста. Впоследствии, когда я рассказал ему об Алянском, он очень сожалел, что не поговорил с ним подробно, хотя они обменялись за столом несколькими безобидными шутками.

Этот вечер, так же как и некоторые другие вечера, запомнился прежде всего своей атмосферой. Разумеется, дружеский ужин — событие не для передовицы, но яркой отличительной чертой поездки Фроста явилось то, что всё увиденное им в России было увидено отчасти под политическим углом зрения, а всё сказанное имело политическое значение. Его поэтические чтения и ответы журналистам нередко воспринимались именно так. Однако домашние вечера удавались и были очаровательны как раз из-за того, что не имели общественной значимости. Фрост и Паустовский проговорили почти весь вечер.

Они одинаково высоко ценили энергию и целеустремлённость как в жизни, так и в литературе. Они говорили о том далёком времени, когда, ещё не будучи писателями, перебивались случайными заработками и бродяжничали каждый по своей стране. Фрост сказал, что часто запрыгивал на ходу в поезд и ездил в открытых товарных вагонах. Паустовский улыбнулся и сказал: да, он тоже часто так делал, только он переплюнул Фроста, потому что ездил на крышах товарных вагонов. Они засмеялись. Оба они не раз повторили с теплотой в голосе, что то время всегда много значило в их жизни, что оно сформировало если не сами их произведения, то, по крайней мере, мировосприятие, которым они были проникнуты.

После ужина дочь Паустовского поставила пластинку Баха. Алянский беседовал с Адамсом о книгах по искусству и книгоиздательстве. Несмотря на трудности общения через переводчиков и различие точек зрения, объясняющееся различием национальных культур, мы ушли с чувством, что русская литературная среда в лице её лучших представительниц столь же ярка, дружелюбна, горяча и энергична, как наша собственная. Фрост сказал, что он очень признателен за этот вечер (он явно был доволен визитом и произвёл на всех неизгладимое впечатление), а Паустовский в ответ выразил восхищение «лирической энергией» Фроста...

Серафима ХАВРОНИНА

*профессор Российского
университета дружбы народов*

ЭТО БЫЛО НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ...

В августе 1957 года в Москву впервые прибыла группа преподавателей русского языка и литературы университетов Великобритании. В программе их четырехнедельного пребывания были экскурсии, посещение музеев и театров, обзорные лекции по русской литературе, а также ежедневные занятия русским языком.

Август — время отпусков, но я оказалась в Москве, и мне, к тому времени имевшей некоторый опыт преподавания русского языка иностранцам, предложили поработать с этой группой.

Мои английские ученики свободно владели русским, читали в подлиннике Достоевского и Толстого. При первой же встрече они заявили, что не хотят

заниматься ничем, кроме разговорной практики, — ни чтением, ни письмом, ни грамматикой. Только беседы и дискуссии на разные темы! И всё же в конце первой недели наших занятий в качестве домашнего задания на субботу и воскресенье я предложила своим ученикам прочитать рассказ К.Паустовского «Снег». Я сама незадолго до этого открыла для себя писателя Паустовского, когда услышала по радио музыкально-литературную передачу по рассказу «Снег». Конечно, его фамилия была известна мне и раньше, ещё со школьных времён, когда, готовясь к докладу по географии, я, по совету учителя, прочитала повести «Чёрное море» и «Кара-Бугаз». Но то был автор, работавший совсем в другом жанре — в жанре историко-географического очерка, а теперь это был автор лирической прозы.

Мои ученики взяли листы с напечатанным на машинке рассказом с явной неохотой, без всякого интереса. Ни один из них раньше не слышал о Паустовском.

Однако в понедельник наше занятие началось с вопросов: «Кто такой этот писатель? Жив ли он? Что ещё написал? Не можем ли мы прочитать что-нибудь ещё из его произведений?». И мы прочитали ещё несколько рассказов — «Телеграмма», «Старый повар», «Во глубине России», «Прощание с летом». Пройдёт много-много лет, и один из слушателей той группы напишет: «Этот неизвестный для нас писатель предстал перед нами как тонкий стилист, как один из лучших в русской литературе мастеров короткого рассказа».

После английской группы приехали преподаватели русского языка и литературы из Франции, после них — из Восточной Германии. И всё повторилось: они тоже не слышали о Паустовском, а познакомившись с несколькими рассказами, полюбили писателя, оценив, как писал один из французов, «простую прелесть его письма, чистоту и свежесть мыслей, задушевность и искренность чувств».

С начала 60-х годов во многих европейских странах ежегодно устраивались летние курсы рус-

ского языка. Для работы на курсах приглашали преподавателей из вузов Москвы, Ленинграда и других городов. И куда бы мы ни ехали, мы везли с собой ящики учебной литературы, в том числе и различные сборники текстов и хрестоматии, составленные из произведений русских и советских писателей.

Составители хрестоматий включали в них рассказы и отрывки из повестей А.П.Чехова, А.И.Куприна, А.М.Горького, В.В.Вересаева, Веры Пановой, Сергея Антонова, Даниила Гранина, Юрия Казакова, Юрия Нагибина и непременно Константина Паустовского. Он стал одним из самых читаемых в иностранной аудитории авторов. Так, в одном из первых пособий по русскому языку для иностранцев «Я читаю по-русски» находим рассказы «Снег», «Старый повар», «Кот Воряга», «Злая радость» (по рассказу «Амфора»), «Одна ночь» («Ночной дилижанс»).

В «Сборник текстов для чтения» были включены рассказы «Кружевница Настя», «Тост», «Необыкновенные цветы», «Подарок Грига» (по новелле «Корзина с еловыми шишками»).

И с кем бы мы ни встречались на летних курсах — с учениками гимназий, со студентами, с учителями и просто любителями русского языка — у всех знакомство с прозой К.Паустовского вызывало чувство восхищения художественными достоинствами и человечностью содержания.

Как видим, преподаватели-русисты обращаются к прозе писателя часто и много. И это не случайно. Мы берём художественные тексты не для литературного анализа, а для обучения иностранцев чтению и развития их речи на русском языке. Далеко не все произведения, даже великих авторов, пригодны для этого. Так, объёмность романа, развёрнутые описания, усложнённый синтаксис, обилие малоупотребительных слов превращают чтение в словесную расшифровку текста — занятие нудное и бесполезное. Чтение литературы на иностранном языке может быть интересным и увлекательным лишь в том случае, если понимание

хотя бы основного содержания текста происходит сразу же, в момент восприятия его глазами. Только такое чтение даёт читателю чувство удовлетворения и удовольствия от того, что он взял в руки иностранную книгу. Поэтому чтобы чтение было интересным и посильным, иностранцу, особенно на начально-среднем этапе изучения языка, предлагаются произведения малой формы, с одной сюжетной линией, чёткой композицией, написанные ясным, прозрачным языком. Всё это мы находим в прозе Паустовского.

По мере овладения языком, а главное — накопления словарного запаса, иностранный читатель может справляться с более сложными и объёмными текстами. Для такого читателя издательство «Русский язык» выпускало серию «Домашнее чтение». В 1980 году в этой



19
Varyushka put her head outside the door. A warm breeze caressed her face and nipped her hair. 'So spring has arrived at last!' Varyushka said.

Black branches glistened in the sun, wet snow slid noisily off the roofs. You could hear the wind blowing in the forest, stirring the stately trees. Spring was walking across the fields like a young queen. She had only to peep into a valley and suddenly a little stream would begin to move, rushing merrily. The Queen of Spring walked through the land, waking the streams after their long winter, and they rushed ever louder with each step she



Разворот книги К.Паустовского «Стальное колечко» в переводе Питера Генри, художник Марион Крайтон (Marion Creighton). Издатель — Питер Генри (Peter Henry). Тираж — 3 экземпляра

серии вышел сборник Константина Паустовского «Мещёрская сторона», включавший более 20 рассказов и комментариев к ним. В комментариях рассказывалось об истории создания каждого произведения, указывался год его первого издания, давалась краткая характеристика, толковались некоторые слова (*темень, стужа, ненастный, кряжистый, голосить, нахохлиться*), фразеологизмы (*первозданный вид, чёртова уйма, кричать дурным голосом, не давать ходу*), разъяснялись некоторые реалии (*нестеровская Россия, заокские дали, Красная стрела*). Сборник открывался кратким литературно-биографическим очерком.

Мои первые английские ученики становились видными литературоведами и лингвистами, профессорами, заведующими кафедрами. Некоторые из них время от времени писали мне, присылали свои книги, отгиски статей, газетные публикации.

В начале 1961 года пришло письмо от одного из первых слушателей — Питера Генри, в котором он сообщал, что получил приглашение принять участие в создании сборника рассказов советских писателей. Ему предстояло перевести на английский язык три рассказа, в том числе «Телеграмму» К. Паустовского.

В ходе работы у переводчика возникло несколько вопросов, которые ему хотелось уточнить с носителем языка. Помню, один из вопросов касался имени героини рассказа — Анастасия, Настя. Английское слово *nasty* означает гадкий, мерзкий, отвратительный, и переводчику не хотелось, чтобы в сознании англоязычного читателя возникли неверные или ненужные ассоциации. Мы перебрали ряд созвучных с именем Настя русских женских имен — Надя, Ася, Тася... Ни одно не казалось нам подходящим: Надя, Надежда могло ассоциироваться с неоправдавшимися надеждами, Ася — с одной из тургеневских героинь, а имя Тася казалось переводчику простоватым. В конце концов остановились на имени Стася (*Stasya*), хотя и оно, как мы понимали, было не очень удачным.

В декабре 1961 года, накануне Нового года, я получила книгу «*Winter's Tales, Stories from modern Russia*» с прекрасным переводом рассказа «Телеграмма».

Осенью 1962 года позвонил Питер Генри и сообщил, что он в Москве и в ближайшие дни едет в Тарусу в гости к Паустовским. Он получил разрешение приехать с коллегой. Так мне посчастливилось побывать в гостях у писателя.

В назначенный час в назначенном месте остановилась машина, в которой уже сидели Татьяна Алексеевна, супруга Константина Георгиевича, и Питер Генри.

Татьяна Алексеевна произвела на меня впечатление человека очень общительного, дорогой она поддерживала оживлённую беседу. Темы были самые разные, но все они так или иначе были связаны с работой Константина Георгиевича; она была в курсе всех его дел, забот, проблем, ближних и дальних планов, отношений с издательствами и даже работы в Литературном институте, в котором он руководил семинаром молодых писателей. Татьяна Алексеевна знала всех его учеников, много и с похвалой говорила о Юрии Казакове, Борисе Балтере, Владимире Солоухине и очень скупой и немногословно, что тогда несколько удивило меня, — о Юрии Нагибине.

Константин Георгиевич встретил нас на пороге дома. Он показался мне не таким высоким, каким можно было представить, судя по известной фотографии. Тогда же я подумала, что такое же впечатление производил Л.Н. Толстой на тех, кто видел его впервые. Мы были представлены хозяину и приглашены в дом.

За давностью лет многое забылось, но какие-то моменты остались в памяти.

В тот день погода была пасмурная, то и дело принимался накрапывать дождь, и мы провели весь день в доме за разговорами. Помню большую просторную комнату, справа от входа к стене придвинут длинный стол. Над столом на стене небольшая фотография в рамке под стеклом. Заметив, что я смотрю на фотографию, Константин Георгиевич сказал: «Это Николай Заболоцкий, замечательный поэт. И человек, может быть, лучший из всех, кого я знал в жизни». Я запомнила эти слова, потому что после поездки в Тарусу стала искать в книжных магазинах стихи Заболоцкого.

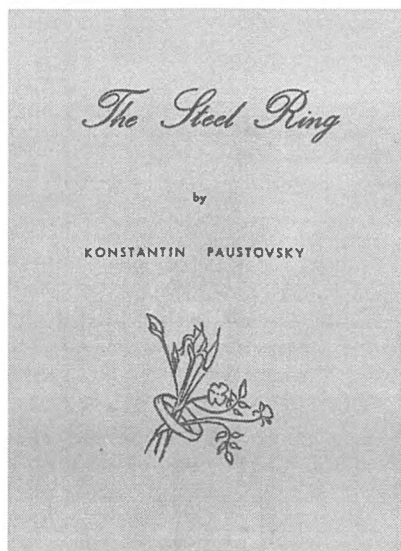
Питер Генри преподнёс книгу со своим переводом «Телеграммы». Завязалась беседа, говорили о литературе, о писательском труде, о труде переводчика, о преподавании русской литературы в английских университетах.

Помню обед. На стол было поставлено блюдо, на котором в больших листьях свежего салата лежали куски жареного мяса, и миска с дымящимся картофелем.

Дождь не утихал, поэтому после обеда не гуляли, а продолжали разговор. Я привезла с собой книжку «Я читаю по-русски», о которой упоминала выше. Константин Георгиевич заинтересовался: «Как иностранцы понимают то, о чём пишут современные советские писатели? Какие вопросы задают? И не трудно ли им читать нашу литературу?».

Я сказала, что мы, конечно, облегчаем тексты, например, много сокращаем их.

— Как?



Титульный лист «самиздатской» книги Питера Генри.
Из архива Музея-центра К.Г. Паустовского
(Фонд Питера Генри)

— Убираем пространные описания, побочные линии... Иногда адаптируем, то есть заменяем сложные построения более простыми...

— И меня адаптируете?

— Совсем немного. Например, в рассказе «Снег» составители убрали предложение «По унавоженной дороге ходили галки». Слово «унавоженный» в словаре не найти, а толковать в аудитории глагол «унавозить», от которого образовано причастие «унавоженный», как-то неловко, неэстетично...

Константин Георгиевич долго смеялся.

— Молодцы! Как хорошо вы меня отредактировали!

Я оставила писателю эту книжечку, а он великодушно снял с полки том избранного и надписал мне.

Часов в пять мы попрощались, и водитель повёз нас в Москву.

Тарусская встреча стала началом большой долгодетельной дружбы Питера Генри и Константина Ге-

оргиевича Паустовского. Каждый раз, когда Генри приезжал в Москву, он бывал в гостях в доме на Котельнической.

В один из своих приездов он позвонил мне, и мы договорились встретиться на бульваре на площади Ногина. Когда я пришла туда, Питер Генри сидел на скамейке, вид у него был подавленный. Поздоровавшись, он сказал: «Я только что от Паустовских. Константин Георгиевич очень плох. Татьяна Алексеевна держится. Провожая меня, в дверях сказала, что, по словам врачей, жить ему осталось совсем недолго». Помолчал и добавил: «Я знаю, больше я его не увижу». Через несколько месяцев Константина Георгиевича не стало. Остались его книги, остался его мир, а у меня на полке — однотомник избранного с дарственной надписью:

«Дорогой Серафиме Алексеевне Хаврониной — на память о встрече в тихой Тарусе.

*К.Паустовский 22/Х-62.
Таруса»*

Вениамин КАВЕРИН

СОЗОПОЛ

1

Я поехал в Болгарию с единственной целью — отдохнуть. Но вот снова пишу, и, как ни странно, на этот раз привычное дело не утомляет меня, быть может потому, что оно продиктовано вдруг вспыхнувшим чувством восхищения.

Я — в Созополе, складывавшемся веками, где люди терпеливо и нежно берегут свою старину, где улицы, как в сказке, носят имена морских птиц и животных — Пеликан, Чайка, Тюлень, Альбатрос, Морская Ласточка.

Где дома, деревянные, на высоких каменных фундаментах, напоминают птиц, присевших отдохнуть на прибрежных скалах.

Где на каждом углу вы встречаетесь с отслужившими свою службу старыми ржавыми якорями, неопровержимо доказывающими, что город живёт морем, опоясавшим его со всех сторон.

Где многие живут в домах, на которых висят дощечки с надписью: «Памятник архитектуры XVIII века».

Где несходство с другими городами мира не поражает, а успокаивает, потому что люди дышат

старинной, не замечая её, как дышат воздухом, пахнущим рыбой и морем.

Где на каждом шагу — розарий, принадлежащий всем и потому пышно и торжественно цветущий.

Где понятие «мир», ставшее почти машинальным, возвращаясь к людям, пережившим самую страшную войну XX века, приобретает неожиданную свежесть, потому что город живёт фантастически-спокойной и одновременно деятельной жизнью.

В этом прекрасном городе я спросил своего нового друга, который за десять дней стал казаться мне старым другом, — известного поэта Славчо Чернишева:

— Здесь много рыбаков?

И он ответил:

— Здесь все рыбаки.

С моря видны их хижины, они стоят на острых, врезавшихся в море мысах, — впрочем, слово «хижина» не подходит к этим каменным зданиям, как будто вросшим в голые скалы. Это маленькие крепости, защищающие от трамонтаны и греоса — холодных штормовых ветров, дующих с севера и северо-востока.

Весной и осенью в них живут рыбаки, а недалеко в море ставятся таяны. Экипаж таяна — большого невода, устроенного просто и остроумно, — десять человек, считая капитана, его помощника и кока. Течение, которое рыбаки называют «дьявольским», идёт вдоль берегов Чёрного моря

МП: Очерк Вениамина Каверина, предлагаемый вниманию читателей, написан в год десятилетия смерти К.Г.Паустовского, то есть в 1978 году. Пробежавшее вслед за этой датой время многое изменило и у нас в стране, и в Болгарии. Нам стало известно, что ме-

мориала Паустовского, о котором рассказывает В.Каверин, сейчас не существует. Хочется верить, что это не навсегда, ибо не могут исчезнуть без следа те добрые чувства, которые питал К.Г.Паустовский к болгарской земле, так же, как и любовь болгар к знаменитому писателю.

— косяки ставриды, скумбрии, пелаמידы — весной от Босфора к Одессе, осенью от Одессы к Босфору. Невод ставится навстречу косяку, рыба попадает в капкан, и в установленный срок туда же заходит на большой лодке экипаж таляна. Искусно подтягивая сеть, рыбаки собирают добычу в узкий мешок и вываливают её в лодку. С высокого берега талян похож на гигантскую, намеченную пунктиром букву «Т», он графически неподвижен среди набегающих, ежеминутно меняющих оттенки волн.

Один из этих домиков не похож на другие — и не только потому, что бережно обшиты досками его каменные стены. У входа крупная надпись: «Мемориал „Константин Паустовский“». Талян, который каждой весной и осенью пользуется этим домиком, тоже носит имя писателя, и это имя — гордость экипажа. Перед нами единственный в мире музей, в котором прошлое и настоящее сливаются в остром и неожиданном сочетании.

Что же произошло? Почему жители маленького болгарского приморского городка решили превратить в музей одно из этих рыбацких убежищ, находящееся на мысу Колокита, напротив острова Святого Ивана? Неужели только потому, что здесь побывал Паустовский?

Уже в маленькой передней вы находите ответ на этот вопрос. Слева на стене — фото кабинета Паустовского в Москве и его дома в Тарусе, справа — короткая, всё объясняющая надпись: «После своего возвращения в Советский Союз Паустовский написал два очерка — «Живописная Болгария» и «Амфора» — плод его общения с Болгарией и одним из её старинных городов. Без преувеличения можно сказать, что благодаря этим произведениям, которые переведены на многие языки, Созопол привлекает тысячи людей и утверждается в их сознании как романтический город с мировой известностью и база прибрежного рыболовства. В одном из своих писем Паустовский сказал: «Мечтаю о Болгарии со страшной силой. Всё время в больнице мне снился Созопол. Это — одно из наилучших мест на земле». «Городской Совет культуры учредил этот мемориал как выражение нашего преклонения перед всем творчеством писателя, в честь пребывания его в Созополе и в знак особой признательности за поэтическое воплощение нашего города».

На столе — книга отзывов, которая открывается записями, сделанными 10 августа 1975 года, в день открытия музея. Эти отзывы принадлежат участникам международной студенческой археологической бригады, студентам Кубанского университета, учителям, врачам, корреспондентам советских газет и журналов, туристам с Сахалина, экипажам советских судов. Русские, итальянцы, французы, немцы, поляки, чехи. Есть пространные надписи, есть и короткие, не менее выразительные: «Был Паустовский, остался Паустовский, здесь Паустовский». Или: «Здравствуйте, Константин Георгиевич! Вот где мы с вами встретились!» Или единственное восторженное слово: «Много», что на русский можно перевести: «Здорово!»/

Одна благодарность за другой — и среди них самая трогательная оставлена советскими моряками-черноморцами, которые благодарят Славчо Чернишева за участие в создании музея.

Последний отзыв принадлежит другу Паустовского, артистке Марии Григорьевне Спендиаровой. По просьбе Татьяны Алексеевны Паустовской она привезла трость Константина Георгиевича, его берет и рукопись очерка «Амфора».

Из прихожей мы входим в светлую, просторную, прохладную комнату, и восклицанье: «Паустовский здесь!» — получает новое неопровержимое подтверждение. У левой стены — витрина, в которой под стеклом лежат собрания сочинений писателя на русском и французском языках, книга воспоминаний о нём, изданная в Москве, отзывы о произведениях Паустовского в иностранной печати. Над витриной — краткая биография. Фото: Паустовский — гимназист, студент, санитар в годы первой мировой войны; цитаты из «Амфоры», из писем к друзьям: «Я буквально влюблён в Созопол. В нём есть что-то от приморских городов Александра Грина...».

Это может показаться странным, но, читая эти цитаты, разглядывая эти фото, я подумал, что весь музей представляет собой редкое воспроизведение того материала, которым воспользовался писатель.

Паустовский в матросской тельняшке, с детским от радости, смеющимся добрым лицом.

Он же среди капитанов рыболовецких судов, с которыми познакомился в казино.

Он же у церкви святой Богородицы — ему хотелось пожить в пристройке у церкви, в монастырской тишине, располагающей к размышлениям.

Он же в берете, оживлённо разговаривающий с помощником капитана таляна.

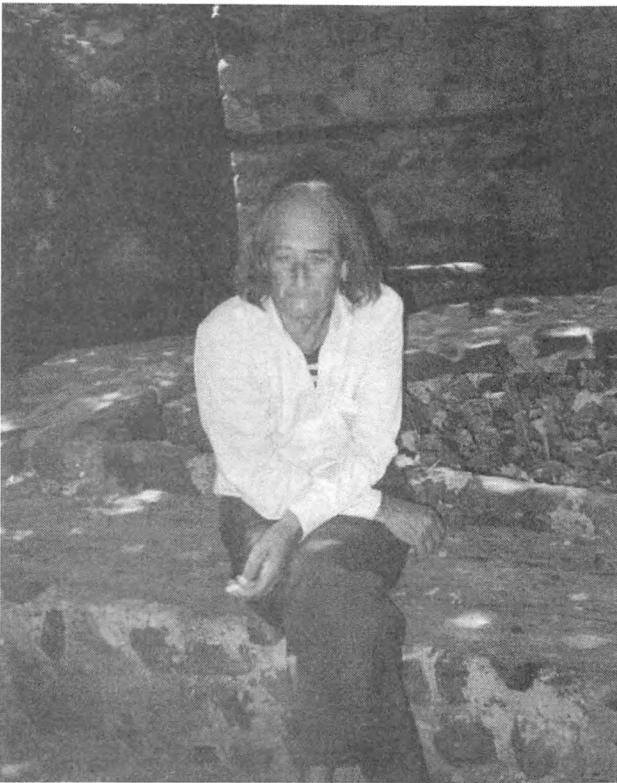
Он же на балконе Дома писателей, в котором жил.

Всё это — фотографическое воспроизведение материала, который вдохновил Паустовского и заставил его взяться за перо.

Что же представляют собой его очерки «Живописная Болгария» и «Амфора»? В чём их сила? Почему они получили такое неслыханное по своей трогательности признание?

2

От осликов, «задумчиво хлопающих пыльными ушами», к «Золотому сокровищу из Панагюрищ» — восемнадцати выкованных из чистого золота кубков и амфор с барельефами, изображающими эллинских богов. От низенького, седого, похожего на серебряного ежа деда Йордана Чолакова, который охраняет руины города Никополиса и восторженно, с глазами, сияющими от счастья, говорит о развалинах города, «жизнь которого отшумела навсегда», — к следам войны 1878 года, к Шипке, вершина которой под снегом «походила на голову ветерана с седыми висками». От Тырнова, на который как бы брошен только один, но всё заметивший, всё оценивший взгляд, — к новым дорогам, к промышленному строительству, к быстро растущим курортам. От крепостной стены в Несеб-



Поэт Славчо Чернишев — основатель мемориала Паустовского в Созополе.
Фотография А.С.Хмелевского, август 1996 г.

ре, написанной микроскопически точно, — к панораме города, к его базиликам, к пьесе, которую Бургасский театр поставил под открытым небом в одной из базилик и на которую пришли празднично одетые жители острова.

Таков очерк «Живописная Болгария».

Совершенно иначе написан очерк «Амфора». Это небольшое, удивительное по своему изяществу произведение и похоже на амфору — более того, именно на ту амфору, которую Славчо Чернишев подарил Константину Георгиевичу: «Очевидно, самую форму амфор древние гончары заимствовали у женского тела — узкого в талии и широкого в бедрах, уходящих книзу стройными, смыкающимися линиями». Паустовский провёл в Созополе только пять дней, и, если по форме очерк напоминает амфору, его содержание можно выразить словами: «Вот город, который как будто создан для того, чтобы я мог в нём работать и жить».

Так Поль Гоген нашёл Таити — остров, на котором были созданы его лучшие творения.

Из быстро пролетевших пяти дней не было потеряно ни минуты, а между тем неторопливая рука художника выписывала одну деталь за другой, и перед читателем с необычайной отчётливостью встаёт город, в который действительно невозможно не влюбиться. «Амфора» — это и есть рассказ о том, как Паустовский влюбился в Созопол.

Только влюблённый мог сказать, что «чистое, почти священное ощущение земли, воздуха, неба, рощ и тихо шумящих морей, свойственное древней Элладе, нужно целиком взять себе для обогащения нашей культуры». Мечтать о том, чтобы чувство (что может быть мимолётнее, бесплотнее чувства?) не пропало напрасно, осталось людям, обогатило их душевный мир, — вот Паустовский!

Влюблённый добр — очерк проникнут добротой. Влюблённый смел — и портрет города написан оригинально, смело.

И это не слепая влюблённость юноши, которой свойственна расплывчатость, мечтательная неопределённость. Это мудрая влюблённость старости, которая видит всё и неуклонно стремится запечатлеть то, что она видит.

Так написан дом Елены Батиньоти — его фото, висящее на стене в мемориале, не передаёт и сотой доли впечатления, которое производит одна посвящённая дому страница:

«Итак, это было прежде всего нагромождение коротких деревянных лестниц, мешающих друг другу. Куда они вели? В косые комнаты, в коридоры, в нижние полуподвальные кухни с очагами, на крошечные антресоли и ещё в какие-то комнатухи, может быть, в тайники.

Чтобы вернуться, например, на кухню за забытой солью (соль почему-то забывают чаще всего) и не ступать второй раз по своим следам (это считается дурной приметой), можно занести ногу через низкие перильца одной лестницы и переступить на другую — она тоже ведёт в кухню, но откуда-то с чердака или с крыши.

Все эти лестницы почернели от старости, весь день скрипели сами по себе и пахли кипарисом.

Ходить по этим лестницам надо было осторожно, но не из-за их ветхости (они простоят ещё сотню лет), а потому, что всюду на ступеньках стояли вазоны с цветами, главным образом с пеларгонией.

Стол, стулья, кресла, скамейки, диванчики, кровати и комоды были сдвинуты так тесно, что оставались только узкие проходы для людей.



Амфора во дворе дома Славчо Чернишева.
Фотография А.С.Хмелевского

...Раковины лежали повсюду... над раковинами висели пожелтевшие кружева, а в иных местах — гирлянды белых, как снежинки, цветов. Цветы спускались из глиняных плошек, подвешенных к потолку.

Удивительно, что сами плошки — жилища цветов — совершенно походили на жилища созопольских людей. В старой садовой земле этих плошек виднелись полумантные клешни крабов и блестящие камешки...

Рядом с плошками висели модели гемий (рыболовные суда. — *В.К.*) и ветряных мельниц... В шкафах, столах и даже в деревянных стенах было множество ящичков. Один из них был случайно открыт, и я увидел там пучок маленьких птичьих перьев, связанных шерстинкой. Должно быть, это были перья колибри или попугая. Они переливались разными красками. Рядом с ними лежал оловянный наперсток.

Все жилище пропитал вечный запах кофе. Действительно, вечный. Он пережил века, поколения, гибель и возрождение государств, пиратские набеги и войны».

Я не стану пересказывать очерк. Многие страницы его живут собственной жизнью — так изображено, например, шестые рыбаков по городу с большой свёрнутой коричневой сетью, которая, «как удав», переползала из улицы в улицу. Так написан выход в море на гемии, вечер у корабельного мастера, когда «бутылки с белым вином чуть поблёскивали на столе, как бы улыбаясь гостям», когда молоденькая, застенчивая киноактриса спела английскую песню о Мэри, которая напомнила Паустовскому блоковское стихотворение «Мэри». «Я благословил в душе этот простой вечер в чужой стране, благословил заодно и скитания, полные светлых случайностей, таких, как эта тихая песня».

Как в картинной галерее, вы останавливаетесь то перед одним, то перед другим холстом. Каждый из них можно разглядывать, в каждом своя особенная прелесть. Но они неразрывно связаны между собой ощущением Созопола, из которого Паустовский не хотел уезжать.

Я думал об этом в радушном доме известного художника Яни Хрисопулоса, который никогда не писал и не пишет ничего, кроме родного города, в котором он родился и вырос.

3

Паустовский принадлежал к старшему поколению советских литераторов, он начал печататься ещё до революции. Он раньше, чем я, подошёл к тому рубежу, с которого видно многое — и то, что совершенно, и то, что ещё не начиналось. Когда он писал «Амфору», для него было ясно, что жизнь писателя со всеми её тревогами, сомнениями, разочарованиями в конечном счёте направлена к тому,



Созопол. Музей К.Г.Паустовского

чтобы выразить себя, отдать себя другим. Это удаётся немногим. Но есть среди нас счастливы, которые работают не повторяясь, люди сильной, непреклонной души, подлинныя властители дум, поэтому их книги принадлежат всем поколениям. Паустовский был одним из этих счастливых. Умение восхищаться — о, какая это редкая, драгоценная черта!

Мы были друзьями — и, быть может, именно поэтому строго и беспристрастно судили друг друга. Он упрекал меня за излишнюю лаконичность, за отсутствие впечатлений живой природы, запахов, красок — и не встречал с моей стороны возражений. Я в свою очередь упрекал его за «красивости», за восторженность там, где она была совсем не нужна, — и он соглашался. «Опять слишком красиво?» — с доброй улыбкой спрашивал он — и не менял ни слова.

Его можно было слушать часами, не уставая. И сейчас, когда я с сердечной болью вспоминаю о нём, мне слышится его негромкий, хрипловатый голос, умевший говорить всё, ни от чего не отказываясь и ничего не скрывая. Нужна ли внутренняя сила для того, чтобы не стыдиться своей доброты, чтобы сражаться за неё, чтобы бесповоротно отдать ей своё дарование? Да. И Паустовский, хрупкий человек, которого за тридцать лет знакомства и дружбы я никогда не видел здоровым, не только обладал, но властно распоряжался этой внутренней силой. С рыцарским достоинством защищал он в своих произведениях нравственную чистоту, воинствующую совесть и веру в добро.

Паустовского нежно любят и помнят в родной стране. Стоит ли писать о том, как я был счастлив, убедившись в том, что память о нём хранится в далёком Созополе? Его жизнь — часть моей собственной жизни. Мемориал «Константин Паустовский» — ещё недавно «рыбацкий стан, низкий домик из дикого камня, открытый всем ветрам», — трогательное доказательство человечности, живое воплощение признательности, глубоко характерной для болгарского народа.

Марлен ДИТРИХ

Я НЕ МОГЛА ЕГО ЗАБЫТЬ...

Из книги воспоминаний

С большой любовью я думаю о России. После первой мировой войны в моём родном Берлине оказалось много русских. Мы, молодёжь, были захвачены их мастерством, их романтическим подходом к повседневной жизни.

Среди русских у меня было много друзей. Сентиментальная по натуре, я пела их песни, училась немного их языку, который, кстати, очень трудный. Позднее мой муж, который довольно бегло говорил по-русски, укрепил мою «русоманию», как он это называл. Русские могут петь и любить, как ни один народ в мире.

Однажды я прочитала рассказ «Телеграмма» Паустовского. (Это была книга, где рядом с русским текстом шёл английский перевод.) Он произвёл на меня такое впечатление, что ни сам рассказ, ни имя писателя, о котором прежде не слышала, я уже не могла забыть. Но мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного писателя.

Когда я приехала на гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила о Паустовском. Тут собрались сотни журналистов, они не задавали глупых вопросов, которыми мне досаждали в других странах. Их вопросы были очень интересными.

Наша беседа продолжалась больше часа. Когда мы подъезжали к моему отелю, я уже знала о Паустовском всё. Он в то время был болен, лежал в больнице. Позже я прочитала оба тома «Повести о жизни» и была опьянена его прозой.

Мы выступали перед писателями, художниками, артистами. Давали даже по четыре представления в день. И вот в один из таких дней, когда Берт Бакарок и я, готовясь к выступлению, находились за кулисами, к нам пришла моя очаровательная переводчица Надя и сказала, что Паустовский в зале. Но этого не могло быть: мне ведь известно, что он в больнице с сердечным приступом, — так мне сказали в аэропорту в день моего прилёта. Я возразила: «Это невозможно!». Надя уверяла: «Да, он здесь вместе со своей женой».

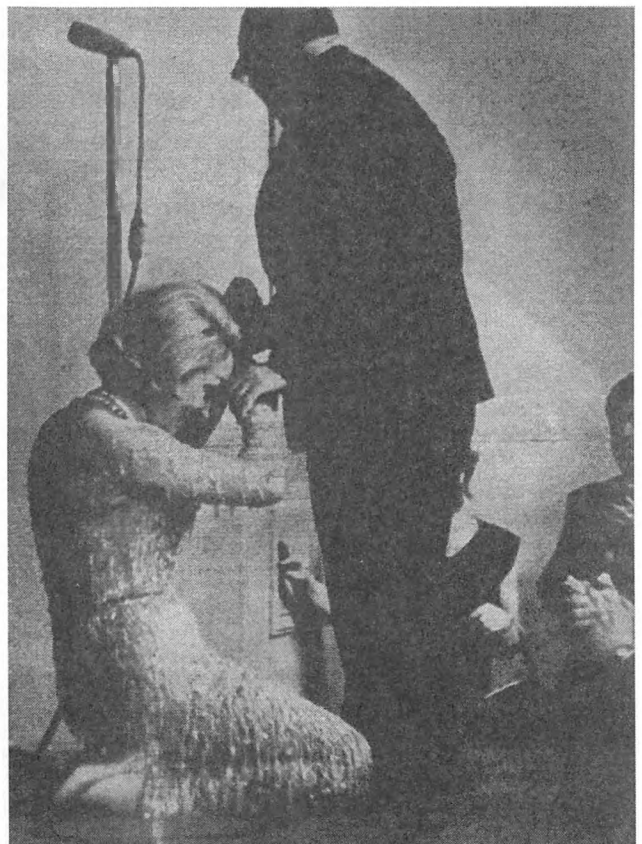
Представление прошло хорошо. Но этого никогда нельзя предвидеть, — когда особенно стараешься, чаще всего не достигаешь желаемого.

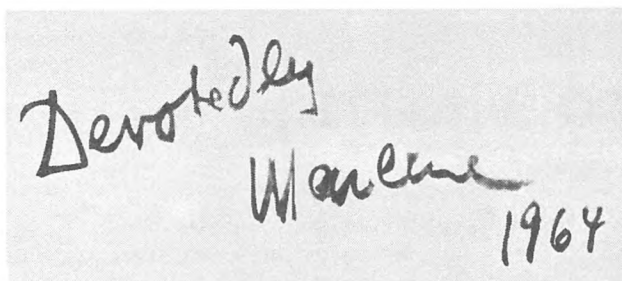
По окончании шоу меня попросили остаться на сцене.

И вдруг по ступенькам поднялся Паустовский. Я была так потрясена этим, что, будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не нашла иного



Марлен коленапреклонённая... перед К.Г.Паустовским. Из венгерского журнала «Nők Lapja» (1964, 13 июня). Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Ласло Далоша — переводчика книг писателя, Будапешт)





«С преклонением. Марлен. 1964» — автограф Марлен Дитрих на своей фотографии, подаренной К.Г.Паустовскому. Пересъёмка автографа с фотографии из тарусского кабинета писателя

способа высказать ему своё восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени.

Волнуясь за него, я хотела, чтобы он тотчас вернулся в больницу. Но его жена успокоила меня: «Так будет лучше для него». Больших усилий стоило ему прийти, чтобы увидеть меня. Вскоре он умер. У меня остались его книги и воспоминания о нём. Он писал романтично, но просто, без прикрас.

Я не уверена, что он известен в Америке, но надежды его откроют. В своих описаниях он напоминает Гамсуна. Он — лучший из тех русских писателей, кого я знаю. Я встретила его слишком поздно.

Печально, как мало людей в родительском ли доме или в школе получают возможность осознать ценность своей жизни. Я не могу представить собственную жизнь без музыки, живописи, танца, литературы. Когда меня спрашивают, что я делаю, когда не стою на сцене, отвечаю: «Читаю, читаю и ещё раз читаю...»

Владимир ЛАЗАРЕВ

В ТАРУСУ

*Неизменно вдалеке
Я тоскую по Оке:
По мостам её резным,
По глазам её лесным...*

Из стихотворения «Тоска по Оке»

Мы уже несколько дней в Тарусе. По берегу Оки вразброс рыбаки и художники. Таруса притягательна летом не только Окой, не только мягкими лесами, молочными от туманов по утрам и вечерам, но и самими художниками, писателями, музыкантами, издавна облюбовавшими эти места. Одни строят дачи, высокие и неприступные, а те, что не так удачливы, снимают у хозяев полдома с верандой,

иные же довольствуются развалюхами, как мой знакомый Алексей Шеметов. Но всем здесь, кажется, хорошо. Гуляют, пишут, ловят рыбу, шумно спорят. Всё время возникают откуда-то корреспонденты и опять пропадают. Тут можно случайно встретить человека, с которым года три в Москве не встречался... Таруса притягательна. Здесь по несколько месяцев кряду живёт Паустовский.

Поначалу я попал в ту самую тарусскую неразбериху. Меня куда-то водили, с кем-то знакомили. И глаза не сразу пообвыклись в этой пестроте жестов и лиц.

На окраине Тарусы, поодаль от Оки, над оврагом, лепилось

МП:

Владимир Лазарев — поэт и прозаик. Его произведения переводились на иностранные языки. Стихи отмечены премиями на международных литературных конкурсах.

Воспоминания о Тарусе входят в его книгу «Хождение за три моря» (Приокское книжное изд-во, Тула, 1969).

В настоящее время писатель живёт в США.

несколько чёрных хаток. Одна из них была особенно шумной, многолюдной. Это была «резиденция» поэта Аркадия Ш¹. Мы с Алексеем попали в самую середину весёлого спора. Хозяин почти не взглянул на нас и продолжал азартно говорить. Некоторых присутствующих я знал, некоторых видел впервые, но все они, как сказал мне Шеметов, друзья Паустовского. И ещё два молодых художника. Один коренастый, с крепкой шеей и толстыми пальцами, как шепнули мне, очень талантливый, другой — в посконной рубахе навыпуск, с чистым лицом деревенского юродивого, очень-очень талантливый. Да, и ещё сын Ш., скульптор, худой, бородатый, бледный парень. Вся изба заставлена его деревянными разновысокими скульптурами, грубыми и лакированными, тёмными и чуть красноватыми, придающими избе облик адской кухни.

Идёт спор о предполагаемых путях мировой живописи. Страсти накаляются. Хозяин дома в ярости ходит по избе. Его закопчённое лицо бледнеет. Глянцевитая, гладкая кожа ещё больше натягивается, и весь он кажется сделанным из желтовато-красного дерева, сродни деревянным идолам, заполнившим избу. Вот он стоит, и его жёсткие, чёрные волосы рассыпаются. Он машет руками у самого моего лица. Его пальцы ядовито пахнут махрой. Через минуту я уже вижу его резной профиль и глаз, поблёскивающий огоньком.

Спор обрывается неожиданно. Хозяин начинает читать прекрасные стихи о звёздах, падающих ночью в чёрные сибирские реки, о нелёгких судьбах, о добром косматом костре, о себе... И я начинаю понимать, что это — старый добрый чёрт из породы вечно неустроенных людей, восторженный и каждый раз заново влюблённый в какую-нибудь женщину, пустобрёх и философ, старый искуситель и тонкий знаток литературы, словом, тот самый спутник, который в том или ином виде есть, кажется, у каждого большого писателя.

Хозяин читал много и хорошо. На него преданно смотрела тощая смуглая девица. Курила и смотрела. А рядом с нею сидела молодая женщина с белыми распущенными, но не очень длинными волосами, чистая скандинавочка, с широко раскрытыми печальными глазами. У неё была нежная кожа и нежные губы, но лицо какое-то странное в этой прокуренной, шумной, тесной избе. Около скандинавочки сидел, расставив ноги, губастый парень, мрачноватый, с тяжёлой шевелюрой. По всей видимости, муж. Потом я понял, что она беременна, и странность её лицу придавала оттянутая под глазами кожа. Раньше она сидела так, что я этого не заметил.

Хозяин вдруг встрепнулся:

— Надо старика проведать, — сказал он не то нам, не то самому себе, — но всей оравой не стоит. Так человек пять, шесть... Он просил зайти.

По дороге мне почему-то запомнилась на зелёной буйной живописи лета чёрная графика высохшего, тонкого, как тень, дерева.

Ш. уверенно открыл калитку, на которой висел белый квадратик бумаги. На нём две строчки: «Константин Георгиевич болен и никого не принимает». Я вопросительно посмотрел на Ш.

— Старик очень болел этой весной, — сказал он.

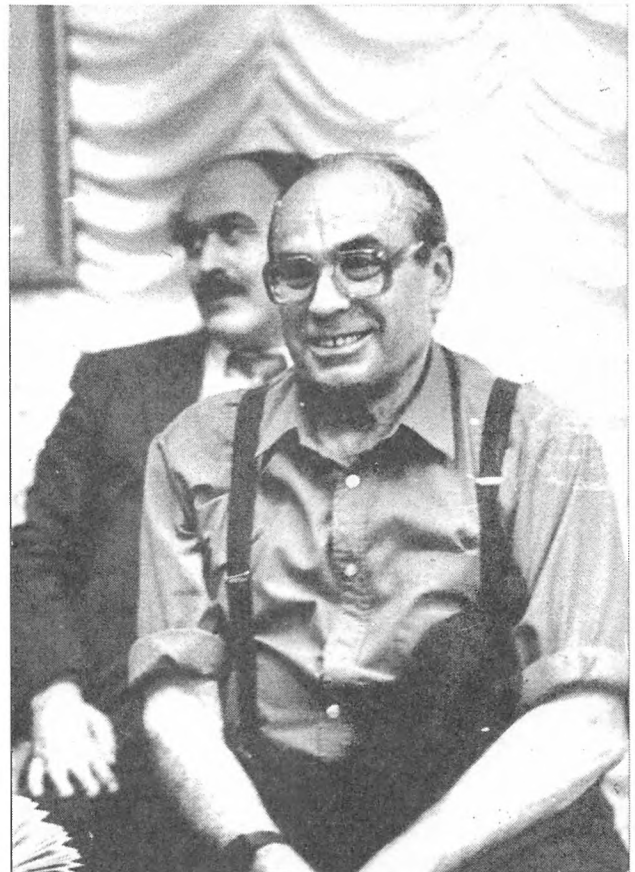
— Тогда зачем же...

— Да нет... К нему без конца ходят всякие туристы по делу и без дела... А он сейчас не может принимать всех: устает очень, — Ш. улыбнулся. — Нам он будет рад.

Паустовскому принадлежало полдома, две больших светлых, просторных комнаты с тесовыми красными потолками. Ничего кричащего. Над столом продолговатое окно, не перекрашенное рамой. Цельный чистый прямоугольник стекла. За ним широкий лес. Он тонет в мягком тумане, и его верхний ярус кажется продолговатым облаком.

Константин Георгиевич вошёл, поздоровался и как-то застенялся, стал предлагать чаю. Он небольшого роста, подобран. У него сухая лёгкая рука. На мгновение я подумал: странно, что у него большое сердце, он совсем не похож на сердечника. Говорит негромко, смеётся негромко. В нём чувствуется работник. Не молчалив, но на слово расчётлив.

Говорили о простом. Беседа была общей. Ш. сразу как-то потерялся, даже как будто потускнели



Владимир Лазарев (на втором плане) и В.К.Паустовский, сын писателя, в Московском музее-центре на вечере, посвящённом 97-летию со дня рождения К.Г.Паустовского. Фотография В.С.Молчанова, 31 мая 1989 г. Из архива Музея-центра (Фонд В.С.Молчанова)

¹ Поэт Аркадий Штейнберг. (Ред.)

краски лица. Скандинавочка поотдалилась. И её мрачноватый муж... Чувствовалось, Паустовский инстинктивно боится, что кто-нибудь затеет многозначительный разговор о литературе. Старые мастера не любят говорить о своей работе. Что о ней походя говорить! Работа есть работа. Это я заметил ещё у некоторых ружейных мастеров, с которыми трудился на заводе. А говорить можно о цветах, о рыбной ловле, да мало ли о чём можно говорить...

Паустовский с полуприкрытой гордостью показывал рыболовную оснастку, подаренную французами, осторожными пальцами брал и рассматривал на свет, слегка поворачивал разноцветные поплавки, внутри которых находились лампочки. Во время клёва лампочка вспыхивала во мгле прерывистым мерцающим сигналом. Вспоминая весёлое изящество французов, их «острый галльский смысл», он вдруг рассказывает, как попал в бедный парижский квартал и как, узнав, что он русский, жители где-то отыскали и привели небритого, ошетилившегося, похожего на ежа старика, который чуть ли не во времена Наполеона был в России. Старик упирался, тарасил глаза на Паустовского и не говорил ни слова ни по-русски, ни по-французски. Константин Георгиевич вспоминал старика и смеялся. Ему было приятно вспоминать и хотелось поделиться этим приятным с нами. Грустный и добрый свет любви к человеку исходил от него. И было так, как в лесу, когда пройдёт тихий и мягкий грибной дождь. Казалось, что он просто разговаривает и не наблюдает за тобой, хотя я знал точно, что он наблюдает и многое видит. Но это не смущало и хотелось раскрыться и пойти навстречу его волшебству.

А ещё он рассказывал о цыганах, об их весёлых праздниках и о том, что они («Представьте себе!») ежегодно выбирают международного короля и что последний цыганский король живёт у нас в Молдавии... Он рассказывал необыкновенно интересно, заражал весёлым любопытством, каким-то неиссякаемым инстинктом жизни. Один раз только грустно улыбнулся и сказал как бы вскользь: «Сколько ни живи, а жить не наскучит... Всё впервые». А может быть, он сказал это как-то по-другому. Но мне помнится так...

Помнятся леса в туманном прямоугольнике окна. На письменном столе стопа белой бумаги и рукопись. Уходя, я успел прочесть на ней: «Книга скитаний». Прощаясь, я ещё раз подумал, что он внешне скорее рыбак, чем писатель. Осторожен в движениях, аккуратен, словно боится вспугнуть рыбу.

И всё-таки чем-то неуловимым в облике своём Паустовский похож на свои повести и рассказы. Он как бы незаметен, стараясь высмотреть самую глубину России и там, в сокровенной этой глубине, подслушать биение её сердца.

...На улице мрачноватый парень, муж скандинавочки, который оказался прозаиком и которого, так же, как Шеметова, звали Алексеем, сказал:

— Светлый старик... Обожаю стариков!

Внизу на Оке прогудел буксир. Меня охватила пронзительная радость жизни, которая была впереди: предстояло шататься по земле, плыть на плотках, лететь на самолётах, сидеть в глухомани у костра, засыпать в стогу сена...

Алексей опять заговорил:

— У нас вот скоро будет ребёнок, деньги нужны. Устоять надо, не халтурить. Честно надо, как старик. А ведь трудно, как старик. У него за всю жизнь ни одной обманной строки.

В адской избе Ш. опять закружилось безалаберное веселье. Опять загорячели споры. Калужский писатель Владимир Кобликов сел за разбитое, расстроенное пианино и стал грустно наигрывать какую-то неузнаваемую мелодию. Я вышел на улицу. На крыльце сидели молодожёны, мягко светлела льняная голова на мужнином плече.

— Лёш! — услышал я.

— Что ты?

— Страшно мне...

Я незаметно отошёл в сторону. И мне вдруг тоже сделалось страшно. Во мне возникла, завязывалась большая книга, не какая-то отдельная, а одна, которую надо писать целую жизнь. И чтоб не было в ней ни одной обманной строки... Как у старика. Это очень трудно. Невероятно трудно... Смогу ли?..

Когда я вернулся, женщина сидела одна и смотрела в небо. Нежный абрис её лица едва угадывался. Я несколько минут следил за нею. Она не шевельнулась. И снова смутная тревога коснулась меня.

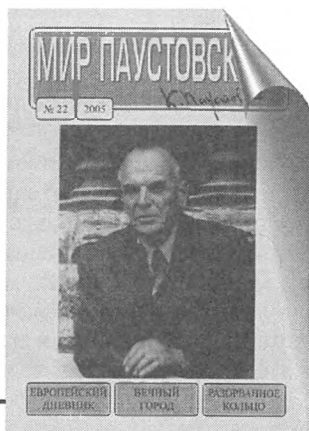
А потом была ночь. Деревянные мостки. Внизу неясно белеющая Ока. Засветало. Стала возникать и раздвигаться влажная туманная даль, серовато-зелёная, как вода в океане, — и в ней смутно, частями проявляться мощная лепка старого леса.

* * *

К. Г. Паустовскому

Изгибы, повороты, дуги
И в зелени, и в синеве.
И словно раскалённый уголь
Прощально светится в листве.
Окончен день. Краснеет точка.
Вот вспыхнула... и нет её,
И тонет всё во мгле молочной,
И сердце всё чего-то ждёт.
Сошла, исчезла позолота.
Звезда вечерняя легка.
А идиллическая лодка
Стоит в реке без рыбака.
Разновысоки пади леса
Вдали.

Туманная Ока, —
Вторая русская река, —
Она молочна и белеса...



ВЕЧНЫЙ ГОРОД

Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля вызывает желание писать, причём я пишу вещи, настолько далёкие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого.

К. Паустовский

МП: Убедиться в правоте слов Константина Паустовского, сказанных им в «Золотой розе», мы предоставляем читателям, публикуя фрагменты некоторых писем из «Прогулок по Риму» Стендаля, вышедших в 1829 году, и «Географические записки» К. Паустовского о Вечном городе, написанные в 1957 году. Об отношении современных путешественников к вечным ценностям рассказывает эссе Елены Холмогоровой.

СТЕНДАЛЬ

ПРОГУЛКИ ПО РИМУ

Рим, 3 августа 1827 года

В шестой раз въезжаю я в Вечный город, и всё же душа моя глубоко взволнована. У людей претенциозных с незапамятных времён установился обычай волноваться при въезде в Рим, и мне почти стыдно за то, что я только что написал.

9 августа

Предполагая провести здесь не один месяц, мы потратили несколько дней, как дети, осматривая всё то, что нам казалось любопытным. Приехав, я прежде всего посетил Колизей, мои друзья отправились в собор св. Петра, на следующий день мы бегло осмотрели музей и stanze (или комнаты) Рафаэля в Ватикане. Проходя мимо произведений, подписанных знаменитыми именами, мы испугались их количества и бежали из Ватикана: удовольствие, которое он предлагал нам, было слишком серьёзным. <...>

10 августа

Сегодня утром, выйдя из дому, чтобы осмотреть какой-то знаменитый памятник, мы остановились на дороге перед великолепными развалинами, а затем перед красивым палаццо, в который и вошли. В конце концов мы направились куда глаза глядят. Мы наслаждались тем, что, находясь в Риме, располага-

ем полной свободой, не думая о том, что нам нужно что-то осматривать.

Жара необычайная. С раннего утра мы усаживаемся в экипаж, к десяти часам укрываемся в какой-нибудь церкви, где находим прохладу и мрак. Сидим в молчании на деревянной скамье, с запрокинутой головой, и нам кажется, что наша душа порывает со всем земным словно для того, чтобы с глазу на глаз созерцать прекрасное. <...>

12 августа

Безумие первых дней немного улеглось. Мы хотим осматривать памятники во всех подробностях. Так они доставят нам теперь больше удовольствия. Завтра утром мы отправимся в Колизей и не уйдём оттуда, пока не осмотрим всего, что полагается в нём видеть.

Рим, 16 августа

Колизей можно обозреть с трёх или четырёх совершенно различных пунктов. Самое, пожалуй, прекрасное зрелище открывается любителю с арены, где сражались гладиаторы: гигантские руины обступают его со всех сторон. Что меня волнует больше всего — это чистейшее голубое небо, которое видишь сквозь окна верхней части здания на северной стороне.

В Колизее нужно быть одному: часто вам мешает молитвенный шёпот благочестивых паломников, которые группами в пятнадцать–двадцать человек совершают остановки посреди своего «крестного пути», или капуцин, который со времён Бенедикта XIV, реставрировавшего это здание, проповедует здесь каждую пятницу. Целый день, кроме часа сиесты или воскресений, здесь работают каменщики, которым помогают каторжники, — постоянно приходится восстанавливать какую-нибудь часть обрушивающихся развалин. Но в конце концов к этой странной картине привыкаешь, и она уже не мешает вам предаваться мечтаньям.

<...> Читателю, который находится не в Риме, следовало бы взглянуть на литографию Колизея (г-на Лесюера) или по крайней мере на изображение его, помещённое в «Энциклопедии».

Там вы увидите овальный театр огромной высоты, совсем ещё целый снаружи с северной стороны, но развалившийся с юга; он вмещал сто семь тысяч зрителей.

Внешний фасад описывает колоссальный эллипс; он украшен четырьмя архитектурными ордерами: два верхних этажа состоят из коринфских полуколонн и пилястров; ордер первого этажа — дорический, второго — ионический. Первые три ордера представлены колоннами, наполовину уходящими в стену, как в новом театре на улице Вантадур.

Мир не видел ничего столь же величественного; общая высота здания — 157 футов, а окружность снаружи — 1 641 фут. Арена, на которой сражались гладиаторы, имеет 285 футов в длину и 182 фута в ширину. При дедикации¹ Колизея Титом римский народ с удовольствием смотрел, как умирали там пять тысяч львов, тигров и других хищных животных и около трёх тысяч гладиаторов. Игры длились сто дней.

Император Веспасиан начал постройку этого театра по возвращении своём из Иудеи; он заставил работать двенадцать тысяч пленных иудеев, но ему не удалось закончить здание; эта слава досталась в удел его сыну Титу, который посвятил его в 80 году н.э.

Через четыреста сорок шесть лет после этого, то есть в год 526-й нашей эры, варвары Тотилы разрушили некоторые части здания, чтобы захватить бронзовые скрепы, державшие камни. Все каменные глыбы Колизея имеют широкие отверстия. Признаюсь, мне кажутся необъяснимыми многие произведённые варварами работы, целью которых, как говорят, были поиски сокровищ в громадах Колизея. После Тотилы это сооружение стало чем-то вроде общественных каменоломен, где в течение десяти веков богатые римляне добывали камни для постройки своих домов, бывших в средние века крепостями. Ещё в 1623 году Барберини, племянники Урбана VIII, извлекли оттуда весь материал для своего огромного дворца. Отсюда и пословица: *Quod non fecerunt barbari fecere Barberini*².

¹ Дедикация (лат. *dedicatio* — «посвящение») — посвящение рукописи или книги, или здания. (*Пед.*)

² То, чего не доделали варвары, сделали Барберини.

28 августа

Прекраснейший лес в мире — это лес Ричча. Высокие обнажённые скалы цвета голландской сажки выступают среди прекраснейшей зелени и живописнейшей листвы. По изумительной силе растительности можно заметить, что Монте-Альбано — бывший вулкан. Несмотря на жару, которая была бы изнурительной во всяком другом месте, и страх перед змеями, мы целый день бродили в районе Риччи на расстоянии двух миль в окружности. Мы начали наши блуждания, осмотрев в пятый раз фрески Доменикино в монастыре Сан-Базилио в Гротта-Феррате. Св. Нил, греческий монах, изображённый на этих фресках, был в своё время человеком необычайно мужественным и в высшей степени замечательным. Он нашёл достойного себе художника. То, что я рассказал о нём нашим спутникам, удвоило впечатление от фрески Доменикино. Этим наши дамы весьма меня огорчили. Они ещё далеко не достаточно любят и понимают живопись. Сюжет никак не связан с достоинствами художника; это почти то же, что слова либретто по отношению к музыке. <...>

29 августа

<...> Мы были недалеко от церкви Санта-Мария-дельи-Анджели, а потому заглянули в неё.

Рим насчитывает двадцать шесть церквей, посвящённых возвышенному существу, являющемуся прекраснейшим вымыслом христианской цивилизации. В Лоретто мадонна — больше божество, чем сам Бог. Слабость человеческая испытывает потребность в любви, а какое божество более достойно любви? <...>

17 ноября 1827 года

Рим заключает в своих стенах десять или одиннадцать холмов, близко подступающих к Тибру и превращающих его в быструю и полноводную реку. Эти холмы словно нарисованы гением Пуссена, имевшего своей целью доставить взорам серьёзное и даже, пожалуй, мрачное наслаждение. По-моему, Рим красивее во время грозы. Яркое, спокойное солнце весеннего дня ему не подходит. Эта почва, кажется, специально создана для архитектуры. Нет здесь, конечно, чудесного моря, как в Неаполе, недостаёт некоторой сладострастной мягкости, но Рим — город могил; счастье, которое можно здесь себе представить, — это мрачное счастье страстей, а не мягкое наслаждение, как на побережье Позиллиппо.

Что может быть оригинальнее вида из Мальтийской приоррии, высящейся на западной вершине Авентинского холма, спускающегося к Тибру крутым обрывом! Какое глубокое впечатление производит с такой высоты гробница Цецилии Метеллы, Аппиева дорога и римская Кампанья! Что можно предпочесть виду, открывающемуся на другую, северную часть города с Монте-Пинчо, прежде занятого тремя или четырьмя монастырями, а ныне французским правительством превращённого в великолепный сад! <...> Высокие холмы, окружающие Тибр в Риме, образуют извилистые и глубокие долины. Лабиринты, образуемые этими маленькими долинами и холмами,

словно созданы для того, чтобы, по словам знаменитого архитектора Фонтаны, зодчество могло возвести здесь самые прекрасные сооружения, на какие только оно способно.

Я видел, как римляне проводили целые часы в молчаливом восхищении, опершись на окно виллы Ланте на Яникуле. Вдали видны прекрасные линии, образуемые палаццо Монте-Кавалло, Капитолием, башней Нерона, Монте-Пинчо и Французской академией, а внизу, у подножия холма, — палаццо Корсини, Фарнезина, палаццо Фарнезе. Никогда собрание красивых домов в Лондоне или в Париже, хотя бы они были размалёваны во сто раз лучше, не даст ни малейшего представления об этом зрелище. В Риме часто простой сарай бывает монументален. Улица Корсо и часть Рима, ныне обитаемая, расположены не на холмах, а на равнине, у Тибра, у подножия гор. Современный Рим занимает Марсово поле древних. Катон и Цезарь приходили сюда заниматься гимнастическими упражнениями, которые до изобретения пороха были необходимы и генералу, и солдату. <...>

18 ноября

Чем менее привычно какое-нибудь ощущение, тем более оно утомляет. Это можно прочесть в скачущих взорах большей части иностранцев, гуляющих через месяц после своего приезда по улицам Рима. В городе, в котором они живут, они видят произведения искусства по восемь или десять раз в году, в Риме же им приходится видеть ежедневно восемь или десять вещей, совершенно ненужных для заработка и несколько не забавных; они только *прекрасны*.

Иностранцам вскоре надоедают по горло картины, статуи и великие произведения архитектуры; если же, в довершение несчастья, из-за какой-нибудь причуды правительства священников театры не работают, то путешественники остаются недовольны Римом. Разговоры, которые они могут услышать по вечерам у послов, — всё тот же восторг перед шедеврами искусства. Нет ничего нелепее этого. При первых же симптомах отмеченной мною болезни нужно, и не торгуясь, следовать предписанию: обратиться в бегство и прожить неделю в Неаполе или на острове Искии и, если хватит мужества, отправиться туда морем; в этом случае сесть на корабль надо в Остии.

С того момента, как вы, сидя в Париже, решили предпринять путешествие в Рим, вы должны взять себе за правило через день посещать музей; таким способом вы приучите вашу душу воспринимать красоту. Все статуи Микеланджело, находящиеся в Ангулемском музее, дадут вам представление о том, что такое грандиозный стиль XV века.

8 марта

Иностранцы ходят в Сикстинскую капеллу по воскресеньям, чтобы видеть папу, окружённого кардиналами. Это — внушительное зрелище: здесь месса сопровождается пением кастратов, а иногда читают латинскую проповедь. Заднюю стену Сикстинской капеллы занимает «Страшный суд» Микеланджело;

плафон расписан *al fresco* тем же художником. Иностранец, желающий рассмотреть фрески поближе, может попросить, чтобы ему открыли узкую трибуну, идущую вдоль окон; туда не следует ходить после кофе, иначе только и будешь думать о том, как бы не упасть. Если вы хотите рассмотреть «Страшный суд» Микеланджело, купите на Корсо линейную гравюру; она поможет вам разобраться в этой картине, состоящей из девяти главных групп.

В Паулинской капелле, названной так потому, что она была выстроена Павлом III, совершается великолепная церемония «сорока часов». Дым от свечей совершенно закоптил две большие картины Микеланджело; одна из них изображала «Обращение св. Павла», другая — «Распятие св. Петра».

Выйдя из Паулинской капеллы и пройдя несколько пустынных и всегда открытых для публики зал, мы вошли в знаменитые Лоджии Рафаэля. Они представляют собою портик, выходящий на великолепный двор св. Дамазия; отсюда можно видеть весь Рим, а за ним Монте-Альбано и Аbruцкие горы. Это восхитительный и, мне кажется, единственный в мире пейзаж.

Когда в 1814 году король Мюрат приехал в Рим, он удивился тому, что пол и боковые части портика, в котором находятся шедевры Рафаэля, не защищены от дождя, и велел застеклить его. Деревянные рамы здесь слишком широки и затемняют помещение, так что на фрески падает только отражённый свет.

Маленькие плафоны в виде куполов над арками украшены каждый четырьмя небольшими фресками на сюжеты из Библии. Сюжет первой картины — сотворение мира. Фигура Всемогущего, создающего из небытия землю и воду, говорят, принадлежит самому Рафаэлю. Ничего не стану говорить об этом зрителю, который должен судить обо всём по собственному своему разумению; что касается меня, то я думаю, что это предел живописи. Мы осмотрели пятьдесят две фрески; все они нарисованы Рафаэлем или написаны под его наблюдением, а некоторые из них поправлены им. Портик, ставший бессмертным благодаря этим превосходным плафонам, украшен чудесными арабесками, часто производящими впечатление неожиданности. Здесь нашла своё выражение вся эпоха милейшего Льва X. В то время мир не был испорчен женовским или американским пуританством. Я жалею пуритан: они наказаны скукой. Советую людям унылого характера не слишком долго смотреть на эти арабески — душа их недоступна для этой возвышенной грации. Три столетия дожди не могли уничтожить любви Леды; может быть, во имя нравственности следовало бы уничтожить фреску молотком каменщика. Как! Лев X, папа, велел изобразить любовь Леды рядом с самыми знаменитыми эпизодами из священной истории! Между Львом X и Львом XII дистанция огромная. Наш век более нравствен, на зато какая скука! И повсюду! <...>

28 марта

Живопись в конце концов играет очень небольшую роль в нашей жизни. Всё, что мне в этой

области кажется замечательным, моим друзьям представляется безобразным, и наоборот. Тем не менее я с большим удовольствием провожу очаровательные вечера, отдыхая от утренних восторгов. Вечер, проведённый с итальянцами, напоминает шедевры их страны; французская любезная манера держать себя является полной противоположностью манере итальянцев. У итальянцев похвала Рафаэлю — это *дозволенное* общее место, так как в этом случае вы обращаетесь к душе больше, чем к уму; вот почему даже фраза, в которой нет ничего нового, может выразить или возбудить чувства; у нас же нужно одновременно удовлетворять двух великих соперников — ум и сердце. <...>

1 апреля 1828 года

Пантеон — несомненно, прекраснейший памятник римской древности. Этот храм так мало пострадал от времени, что мы видим его таким же, каким он был для римлян. В 608 году император Фока, тот самый, которому раскопки 1813 года возвратили его колонну на Форуме, принёс Пантеон в дар папе Бонифацию IV, сделавшему из него церковь. Как жаль, что в 608 году религия не взяла в своё владение всех языческих храмов! Древний Рим сохранился бы тогда почти целиком.

Пантеон имеет одно большое преимущество: достаточно двух мгновений для того, чтобы проникнуться его красотой. Вы останавливаетесь перед портиком, делаете несколько шагов, видите храм — и всё кончено. Иностранцу довольно только что мною сказанного: ему не нужно других объяснений. Он будет восхищён соразмерно степени художественного чувства, какую одарило его небо. Мне

кажется, никогда ещё я не встречал человека, который бы не испытал хоть какого-нибудь волнения при виде Пантеона. Значит в этом знаменитом храме есть нечто такое, чего нельзя найти ни во фресках Микеланджело, ни в статуях Капитолия. Я думаю, что этот огромный свод, висящий над вашими головами без всякой видимой опоры, возбуждает чувство страха у глупцов, но они вскоре успокаиваются и думают: «Но ведь строители старались вызвать у меня такое сильное впечатление только для того, чтобы доставить мне удовольствие».

Это здание восхитительно. Насладившись Пантеоном, вы, может быть, когда-нибудь захотите узнать его историю. <...>

31 марта 1829 года

Сегодня утром шёл проливной дождь — настоящий тропический ливень; в это время парикмахер, которому мы пообещали денег, вдруг ворвался в салон, где мы завтракали, запыхавшись и совершенно вне себя. «Signori, non v'èfumata!» — вот единственные слова, которые он произнёс. («Господа, *фуматы* не было!») Значит, записки не были сожжены. Значит, папа избран.

Мы попали впросак; мы, как Цезарь Борджа, предусмотрели всё, что могло случиться в день избрания папы, за исключением проливного дождя. Но мы не обратили на него внимания. Мы имели мужество провести три часа на Пьяцца Монте-Кавалло. Правда, через десять минут мы так промокли, как будто нас выкупали в Тибре. Наши плащи из вошёного шёлка кое-как предохраняли наших спутниц, столь же бесстрашных, как и мы. В нашем распоряжении были окна, выходящие на площадь, но мы хотели быть как



Рим.
Форум Романум. Начало XIX века

раз напротив дверей палат, находящихся рядом с замурованным окном, чтобы услышать голос кардинала, который провозгласит имя нового папы. Никогда ещё я не видел такого стечения народа: негде было упасть булавке, хотя шёл проливной дождь.

Бравые швейцарские солдаты, подкупленные заранее, провели нас к местам, которые были для нас оставлены как раз перед дверьми палат. Один из наших соседей, человек очень хорошо одетый и мокнувший под дождём уже в течение часа, сказал нам: «Это в сто раз интереснее, чем розыгрыш лотереи. Подумайте, господа, ведь имя папы, которое мы сейчас услышим, имеет непосредственное значение для благополучия и планов всех тех, кто в Риме носит платье из тонкого сукна».

Постепенно ожидание в столь неудобном положении привело толпу в раздражение, а при таких обстоятельствах всякое собрание людей становится толпой. Тщетно я пытался бы описать вам восторженную радость и порывы нетерпения, которые во мгновение ока овладели всеми нами, когда маленький камушек отделился от замурованного, выходящего на балкон окна, на которое были устремлены все взоры. Нас оглушил всеобщий крик. Отверстие быстро увеличивалось, и через несколько минут брешь стала достаточно велика, чтобы человек мог выйти на балкон.

Появился какой-то кардинал; нам показалось, что это был кардинал Альбани, но, испуганный страшным дождём, который лил в это время, кардинал не решился выйти на балкон после столь долгого заключения. Через полминуты колебаний он отступил. Кто мог бы описать вспыхнувший в это мгновение гнев народа, его яростные крики, его грубые ругательства? Наши спутницы были не на шутку испуганы. Разъярённые люди кричали, что они разрушат конклав и вырвут у него *их нового папу*. Эта необычайная сцена продолжалась добрых полчаса. Под конец наши соседи потеряли голос и не могли больше кричать.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

О сенью 1956 года я попал ненадолго в Рим. До тех пор я читал, что существует некое «чувство Рима», какое-то особое ощущение этого города, завоевавшего столько умов и сердец.

Я, конечно, соглашался, что может существовать ощущение Рима, так же как и любого другого города, но в чём оно выражается, не мог себе представить. Это казалось мне неясным и слишком сложным.

Теперь я с некоторым, правда очень небольшим, правом могу сказать, что испытал «чувство Рима». Оно складывается из многих мыслей и впечатлений, какие вызывает город, из степени приобщения к мировой культуре, из величины наших знаний. Всё это разнообразие приводит в конце концов к едино-

му внутреннему состоянию — «чувству Рима». Его нельзя отрицать.

Я хотел написать рассказ о «чувстве Рима», но рассказ требует сюжета. Я же понимал, что если строго подчиняться сюжету, то понадобится не один, а много рассказов, чтобы передать это чувство.

Поэтому я свободно записал главное, что было связано для меня с Римом. Записал начерно, не соблюдая никакой последовательности. Добился ли я своей цели или нет, пока ещё толком не знаю.

Прежде чем уйти обратно, кардинал Альбани бросил народу лист бумаги, на котором были написаны только что произнесённые им слова. Он захопал в ладоши. И ему ответили всеобщими рукоплесканиями. В то же мгновение пушка с крепости св. Ангела возвестила об этом великом событии населению города и деревень.

У многих на глазах выступили слёзы. Было ли это простое волнение по причине столь долгожданного события? Или, быть может, слёзы эти выражали радость по поводу того, что наконец-то, после столь долгих опасений, был избран столь добрый государь? Народ, расходясь, жестоко посмеивался над двумя или тремя кардиналами, избрание которых было бы ему неприятно.

Мы поскорее вернулись домой, чтобы согреться. Никогда в жизни никто из нас не бывал под таким дождём. <...>

¹ Объявляю вам великую радость: у нас есть папа — преосвященный и достопочтеннейший владыка Франциск Ксаверий, епископ Тускуланский, святой римской церкви кардинал Кастильони, принявший имя Пия VIII (лат.).

Вот часть этой записи.

Воздух Рима отливает желтизной. Может быть, от болотных испарений из Кампании? Или от осени? Стоял уже конец сентября. Но осень здесь совсем не так окрашена, как наша. Нет ни золота, ни багрянца. Листья только сохнут и лиловеют.

Иногда мне нравилось думать, будто эту желтизну придаёт здешнему воздуху отблеск желтоватых мраморов, которыми богат город.

Во всяком случае, этот цвет воздуха казался таким же древним, как и самый Рим.

Его желтизна сообщила зданиям, триумфальным аркам, колоннам и руинам сумрачную скульптурность. Я видел вечный город как бы через жёлтое стекло.

Вскоре выяснилось, что недавно над Римом дул сирокко, и желтоватый цвет воздуха остался от этого тяжёлого, раздражающего ветра. Правда, он медленно исчезал. Итальянцы говорили, что пройдёт ещё два-три дня — и небо над Римом снова станет свежим и лучезарным.

Повсюду в городе плескались и шумели фонтаны. Вода в них по цвету напоминала морскую. В бассейнах купались коричневые, как мулаты, мальчишки.

Повинуясь старинной традиции, я тоже бросил серебряную монету в фонтан Треви. В ответ он об-

дал меня водяной пылью. Примета обещала, что каждый, кто бросит монету в этот фонтан, ещё увидит Рим.

Итальянцы стояли вокруг и улыбались. Они гордились своим городом. Их гордость усиливалась от зрелища сотен монет, устилавших дно фонтана серебряной галькой.

Из поезда на подступах к Риму видны в равнинах Кампании высокие кирпичные акведуки, неторопливо шагающие в Рим с отдалённых гор. Кажется, это Сабинские горы. И в самом городе где-то около виллы Боргезе суровый акведук всей своей тяжестью переступает через наглаженный асфальт, заполненный нарядными машинами, и уходит вдаль, грубо раздвигая тесные жилые кварталы. Вот он — «водопровод, сработанный ещё рабами Рима». На каждом шагу в этом городе видна прямолинейная мощь и весомость его тысячелетних сооружений.

Новички робеют перед этими сооружениями, как перед зрелищем веков, приблизившихся на расстояние вытянутой руки. Может быть, им даже слышится поступь легионов, стиравших в прах цветущие земли.

...Европа плакала в тенетах.

Квадриги римские вставали на дыбы
На триумфальных поворотах...

Клекочущие голоса цезарей приводили в трепет народы, но кончается любая слава этого мира. И вот они — свидетели этой славы: Колизей и Форум, и разбитые плиты с надписями, покрытые голубиным помётом, и акведуки, несущие горную воду!

Это всё, что осталось. Но оно живёт в современности. Его молчание кажется порой угрожающим, несмотря на то, что среди камней Колизея растёт наш русский подорожник, а в Пантеоне похоронено одно из самых нежных человеческих сердец — сердце Рафаэля.

Пантеон сумрачен и бесконечно древен. Свет падает сверху через прорезанное в куполе круглое отверстие. Окон нет.

В толще стены выбита ниша. В ней стоит саркофаг Рафаэля. На саркофаге над полустёртой надписью «Рафаэль Санцио» лежит одинокая высохшая гвоздика.

У стен Пантеона сидят продавщицы цветов, главным образом старухи. Цветы стоят в больших вёдрах с водой. Рядом со старухами — несколько молодых крестьянок из окрестностей Рима.

При взгляде на них я подумал, что Рафаэль написал Сикстинскую мадонну с одной из этих крестьянок. Она ведь у Рафаэля простая женщина, быть может из самой бесплодной и нищей итальянской провинции — Базиликаты.

Мы купили у цветочниц несколько белых лилий, чтобы положить их на гробницу Рафаэля.

Мы говорили между собой по-русски, но, очевидно, одна из старух догадалась, для чего



Фонтан Черепах.
Проект Джакомо делла Порта, скульптор Таддео Ландини, 1585 г.



Часовня Эскулапа виллы Боргезе

мы покупаем цветы. Она что-то сказала цветочникам. Женщины быстро и взволнованно заговорили, поглядывая на нас. Я понял из их разговора только одно слово: «Моска»¹. Они повторяли его с оттенком изумления и радости.

Молодая крестьянка достала из ведра пышный пион и приложила его к нашим лилиям. Мой спутник хотел заплатить за этот цветок, но женщины наперебой закричали: «Но! Но! Но!» Потом каждая топорливо выбрала по цветку и тоже протянула их нам. Старухи ласково кивали, а молодые приседали, как девочки, и певуче повторяли: «Грацие, грацие!».

Мы поблагодарили их за Рафаэля, за то, что несколько веков назад одна из таких вот милых молодых женщин родила весёлого мальчика, ставшего украшением человечества; а они благодарили нас за то, что мы, русские, любим Рафаэля — сына их итальянской земли.

В Риме я часто вспоминал Россию, те нити, что связывают нас, русских, с этим городом. Здесь, в Италии, эта связь стала для меня гораздо заметнее, чем раньше. Я утвердился в мысли, что Рим не мог бы существовать для нас во всём своём обаянии, если бы русские не воспели его наравне с итальянцами и людьми других наций.

Какую-то долю к власти Рима над человеческими сердцами прибавили Гоголь, Герцен, Тютчев, Александр Иванов, Кипренский, Брюллов, Муратов, Блок, Чайковский.

Вспомнилось всё, что связывало Рим с Россией. Память добывала из тайников самые отдалённые воспоминания. Для нас Рим, так же как и Париж, никогда не был чужим городом.

Мне привелось быть свидетелем удивительно-го случая. Лето 1940 года я жил в обыкновенном

пязанском селе. Как-то пыльным серым днём ко мне сильно постучала в окно соседка Дуня — женщина лет пятидесяти — и крикнула мне, что немцы взяли Париж. Глаза у Дуни были полны слёз, и она вытирала их концом белого головного платка. А через час всё село уже говорило об этой страшной новости, и люди ходили угрюмые и взволнованные.

Я мог понять, конечно, почему расплакалась, узнав о падении Парижа, сельская аптекарша или почтальонша Маня — поклонница Александра Дюма, но слёзы Дуни, у которой не было в жизни ни минуты продыху от постоянных забот из-за детей, хозяйства и пьяницы мужа, были для меня непонятны.

К вечеру пришёл дед Еленин, сел на приступку и сказал:

— Слышал? Мужики ругаются на французов, что они не сдюжили, отдали германцам Париж. А я им говорю, мужикам: «Эх вы, трепло из села Помело! Они свой город норовили сберегти, а вы лаетесь. Там, говорят, красоты неписаные и дива дивные, в том Париже. А выручить его — всё равно выручат. Не французы, так наши. Мой дед тоже доходил до Парижа. Снискал за это медаль. Рассказывал, французы живут вольно, взамен воды хлебуют вино».

Но, понятно, это он перехватил, дед. Заговариваться стал за преклонностью возраста.

В Риме я часто возвращался памятью к своим далёким людям и скромным русским просторам. Эти воспоминания неуловимым образом сливались с впечатлениями от Рима и вызывали ощущение родства двух народов — таких разных по внешности, но близких друг другу в своей глубине. Имя этому родству было — общая человечность.

Из Пантеона мы прошли на Навонскую площадь. Продолговатая и пустынная площадь была окружена старинными разноцветными домами. Когда-то она была, очевидно, очень яркой, но время переменяло окраску домов. Оно превратило зелёный цвет в серовато-оливковый, красный — в тёмно-кирпичный, а белый — в цвет пожелтевшей кости.

Вечерело. Навонская площадь была затоплена тёплым светом солнца, заходившего где-то за Тибром. Фонтан не пенился и не шумел, как на остальных площадях, а только осторожно шуршал, сливая воду по бронзовым статуям.

Такие площади я уже видел не то на гравюрах в старых журналах, не то на акварелях в тёмных углах антикварных лавок. Они были мне чем-то знакомы, вплоть до розоватых облаков, висящих над ними в пожухлом от времени небе. Маленькие человечки в камзолах беседовали около фонтанов, дети

¹ Mosca (итал.) — Москва.

играли с борзыми собаками, и в карете с красными колёсами проезжала красавица с огромным веером и высокой причёской.

Всё это я уже видел когда-то. Но где? Наконец я вспомнил. Не в своём воображении и не на иллюстрациях к сказкам Перро, а в селе Гришине, в таких лесах, о которых жители Западной Европы не имеют понятия.

Я остановился в маленькой чистой избе у сельской портнихи Матрёны Тихоновны — девушки шестидесяти лет. На стене избы я заметил старую картину.

Одно лето у Матрёны Тихоновны снимал горницу пожилой художник из Москвы. Уезжая осенью, он оставил на стене картину. Он сказал тишайшей Матрёне Тихоновне, что обязательно вернётся будущей весной, а для того, чтобы это сбылось, оставляет любимую свою и очень ценную картину. Свою не в том смысле, что он её сам написал, а любимую с юности. Написана она была каким-то знаменитым итальянцем.

— Да там на обороте обозначено его имя, — сказала мне Матрёна Тихоновна. — Может, вы разберёте?

Я снял картину и с тыльной стороны на коричневой проклейке едва разобрал надпись по-французски: «Навонская площадь в Риме». Подпись художника стёрлась. Осталось только имя Антонио. Пожилой художник рассказывал Матрёне Тихоновне, что он в молодости жил в Риме как раз на этой площади. Но художник так и не вернулся в Гришино, и Матрёна Тихоновна не знала, что с ним стряслось.

Вечером, при керосиновой лампе, я долго рассматривал вид Навонской площади, потом вздохнул и повесил его обратно на бревенчатую стену.

— Вы что вздыхаете? — спросила меня Матрёна Тихоновна. — Я бы вам подарила эту картину, да боязно. А вдруг он не умер и возвратится. Пусть уж лучше висит здесь.

Вздохнул я просто от мысли, что вот жизнь проходит и никогда я не попаду ни в Рим, ни на Навонскую площадь. Нечего об этом даже и мечтать.

— Кто знает! — сказала мне Матрёна Тихоновна. — Чуднее, чем жизнь, ничего нету на свете. Такие обороты случаются, что и во сне не приснится.

Ночью начала лаять собака. Я вышел на маленький песчаный двор, поросший редкой травой. Изба стояла на околице над рекой. За рекой чернел сосновый бор — нехоженный, «великий», как здесь говорили.

Собака лаяла на сову, бесшумно летавшую над двором. На колокольне сторож ударил три часа. Река шумела около лавы. Далеко за туманными кустами на луговой стороне горел костёр. Около него никого не было. И я подумал, какая там Навонская площадь! До неё тысячи километров ветра и ночи, лесов и туманов, да ещё сотни пастушьих костров.

Я вспомнил об этой ночи, сидя на Навонской площади под полосатым тентом маленькой траттории.

Мы пили ледяной оранжад. Моя молоденькая спутница, задумавшись, тянула его через соломин-

ку. Каждый раз, когда она задумывалась, тонкие её брови по-детски подымались, серые глаза становились туманными, и я невольно вспоминал чьи-то строчки: «Мне хочется о вас, о вас, о вас бессонными стихами говорить».

Читатели часто ошибаются. Они привыкли подставлять под определённые слова привычные, тривиальные представления. Вот и сейчас, прочтя эти строчки, многие подумают о любви. И ошибутся, конечно.

Моё состояние в этой траттории было чем-то значительно иным. Может быть, я был обязан этим состоянием Риму и вечерней теплоте его улиц.

Если можно назвать любовью блеск вечерней зари, целомудрие, благодарность судьбе за то, что из миллионов случайностей она выбрала для тебя эту единственную случайность — быть рядом с прелестным, юным и немного загадочным существом и видеть маленькие пузырьки воздуха, что бегут из соломинки через холодную жидкость от её тёплого и душистого дыхания, долго слышать звук её голоса, как недавно я слушал среди ночи, проснувшись в гостинице, серебряный колокол какой-то римской церкви, — если всё это можно назвать любовью, то, может быть, это и любовь, но совсем не такая, как принято её представлять.

Вернее, это было состояние сбывшегося чуда, огромной свежести, ощущение своей жизни внутри поэзии, внезапно ставшей реальностью.

Собор святого Петра — это прямой вызов богу.

Создавая этот собор, человек как бы решил помериться силой и гением с божеством. И человек победил. Но католические богословы, кардиналы и папа римский не подозревают об этом. Иначе они бы закрыли или разрушили храм.

Собор святого Петра — сооружение титаническое. От могущественных стен собора остаётся ощущение, будто они всё растут, тянутся к небу и когда-нибудь обрушатся под гром архангельских труб. У правой стены в сером рассеянном свете возвышается «Пьета» Микеланджело. Богоматерь держит на коленях тело умершего Христа. У подножья этой статуи горят десятки свечей.

«Пьета» — величайшее произведение скульптуры. Оно не имеет отношения к религии, и потому эти свечи и каждения выглядят неуместно, как если бы церковные свечи зажигали перед Венерой Милосской или перед Джокондой.

Пусть из многочисленных притворов звенят гроздья колокольчиков, но это всё от земной суеты. «Пьета» сурова и отдалена от этого трескучего мира вековой материнской скорбью.

Мощь Микеланджело не умерла в последующей скульптуре. Её принял, как наследство, Роден и другие скульпторы, в том числе и наш русский скульптор Матвеев.

Вспоминал я о скульптуре Матвеева в Риме дважды: у гробницы Рафаэля и около «Пьета» Микеланджело.

Вспоминал надгробный памятник работы Матвеева над могилой нашего великолепного худож-

ника Борисова-Мусатова. Похоронен Борисов-Мусатов на окраине города Тарусы, на высоком косогоре над Окой.

На могиле — плита из крупнозернистого красного песчаника, а на плите этой лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик.

Осенью с этого косогора открывается в затуманенном воздухе такая беспредельная русская даль, что от неё замирает сердце.

Старые берёзы растут на обрыве. Даль видна через сетку их золотеющей и поредевшей от ветра листвы. В просветах между листьями висят над пажителями и перелесками розовеющие облака.

Борисов-Мусатов любил этот косогор над Окой. С него он написал известный свой пейзаж — такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы вы не чувствовали, что каждый листок прогрет последним теплом солнца.

В такие осенние дни всегда хочется продлить время, остановить его каким-то чудом хотя бы на несколько дней. И вот маленький и добрый горбун

художник Борисов-Мусатов остановил и подарил нам эту прелестную осень, чем-то похожую в моём представлении на девушку со строгими глазами, обещающими и горе и счастье.

И мысли, которые охватывают вас на могиле Борисова-Мусатова, я бы назвал осенними мыслями. Они появляются из глубины сознания, спокойные, звенящие, как подмёрзшие лужицы. Мысли о непрерывном потоке той силы, которую мы зовём красотой, той поразительной силы, что переходит из века в век и одинаково покоряет нас в строфах Гомера, в мадоннах Рафаэля, в «Венере» Джорджоне, в бездонных глазах Владимирской богоматери, в словах о том, что «ненастный день потух, ненастной ночи мгла по небу стелется одеждою свинцовой», в просёлочных дорогах Левитана и волшебной дымке Коро.

Им надо верить, осенним мыслям. Скептицизм оставим для тех, кто уже мёртв от собственной трезвости. Скептицизм не украшает жизнь. Этого одного достаточно, чтобы не принимать его всерьёз.

Елена ХОЛМОГорова

ПОХВАЛА ВЕРХОГЛЯДСТВУ

Первое, о чём предупредила нас многоопытная переводчица-итальянка: «В Италии uno momento совсем не то, что вы думаете, это как минимум полчаса, здесь ничего не делается быстро». Правоту её слов можно почувствовать в любом кафе. Но ритм улицы знаменитых городов Италии никак нельзя назвать неспешным: его задают туристы.

Человек, временно попавший в эту категорию, должен затвердить ряд правил, я бы даже сказала, заповедей. Первая и главная из них — полное подчинение гиду и слепая вера информации. Вот я прочитала в путеводителе, что во Флоренции самое вкусное в мире фисташковое мороженое, и уже считаю делом чести его попробовать. Я даже не пытаюсь вслушиваться в свои вкусовые рецепторы, я просто ем самое вкусное в мире фисташковое мороженое.

«Посмотрите налево, теперь направо. Как не увидели? Увы, мы уже проехали. Я всегда предупреждаю заранее.» Проникнувшись полным доверием к абсолютной компетенции гида (только так, сомнения тут неуместны), готова всё воспринимать как истину в последней инстанции и восторгаться дежурной шуткой как остротой, только что родившейся в прелестной головке флорентийки (римлянки, венецианки — всё звучит, как песня) и предназначенной только тебе.

Похоже, мы уже перешагнули через ненависть ко всему коллективному и готовы встать выше этого. Нет, пока ещё не как японцы, вот группа в одинаковых жилетах, чтобы удобнее было отличать

«своих», — прямо дворовая футбольная команда. А впрочем, вон американцы, у каждого на шее веселенький яркий платочек, завязанный наподобие пионерского галстука. И, конечно, все обвешаны аппаратурой, хотя то и дело нас предупреждают, что пользоваться ею нельзя. «Снимать и щёлкать здесь запрещено», — говорит гид в музеях Ватикана. Мы улыбаемся, но нельзя не отметить точность формулировки: «снимают» на камеру больше, чем «щёлкают» фотоаппаратом.

Мне хорошо в этой пёстрой толпе. Я чувствую себя частичкой цивилизованного мира, не отягощённой клеймом «советский». И готовность подчиниться правилам коллективизма не угнетает, а возвышает, это мой выбор на ближайшую неделю, как ни парадоксально, новая степень свободы. Я принимаю правила игры, марафон начался, и с судьёй не спорят.

Времени на то, чтобы присмотреться друг к другу, нет, поэтому очень быстро, повинуясь своего рода классовому чутью, группа разбивается на стайки; как показывает будущее, интуиция срабатывает точно. Но в любом стихийно возникшем коллективе неизбежно присутствие и чужеродных элементов.

Один из таковых «попал на бабки», лопухнулся, влип по-чёрному. Невысокий, крепкий, в адидасовском спортивном костюме с массивной золотой цепью на шее, такой классический, но вроде бы изжитый уже персонаж. Ан нет, это в Москве вчерашний день. А он из черноморских курортных краёв, хозяин гостиницы, между прочим, не последний

человек. Но никак бедолага не ожидал такого несправедливого баланса между музеями и магазинами. При этом исправно ходит на все экскурсии — «оплачено», но каждые минут десять, уловив паузу, заискивающе заглядывает в глаза гида и робко спрашивает: «Ещё долго?».

К счастью, нам не надо как встарь рыскать по магазинам, и в «свободное время», когда гид выпускает нас из-под неусыпной опеки, мы бесцельно бродим по улочкам средневековой Сиены или римским проспектам, где, как говорил долго живший там Гоголь, нас подстерегают «бесперывные внезапности».

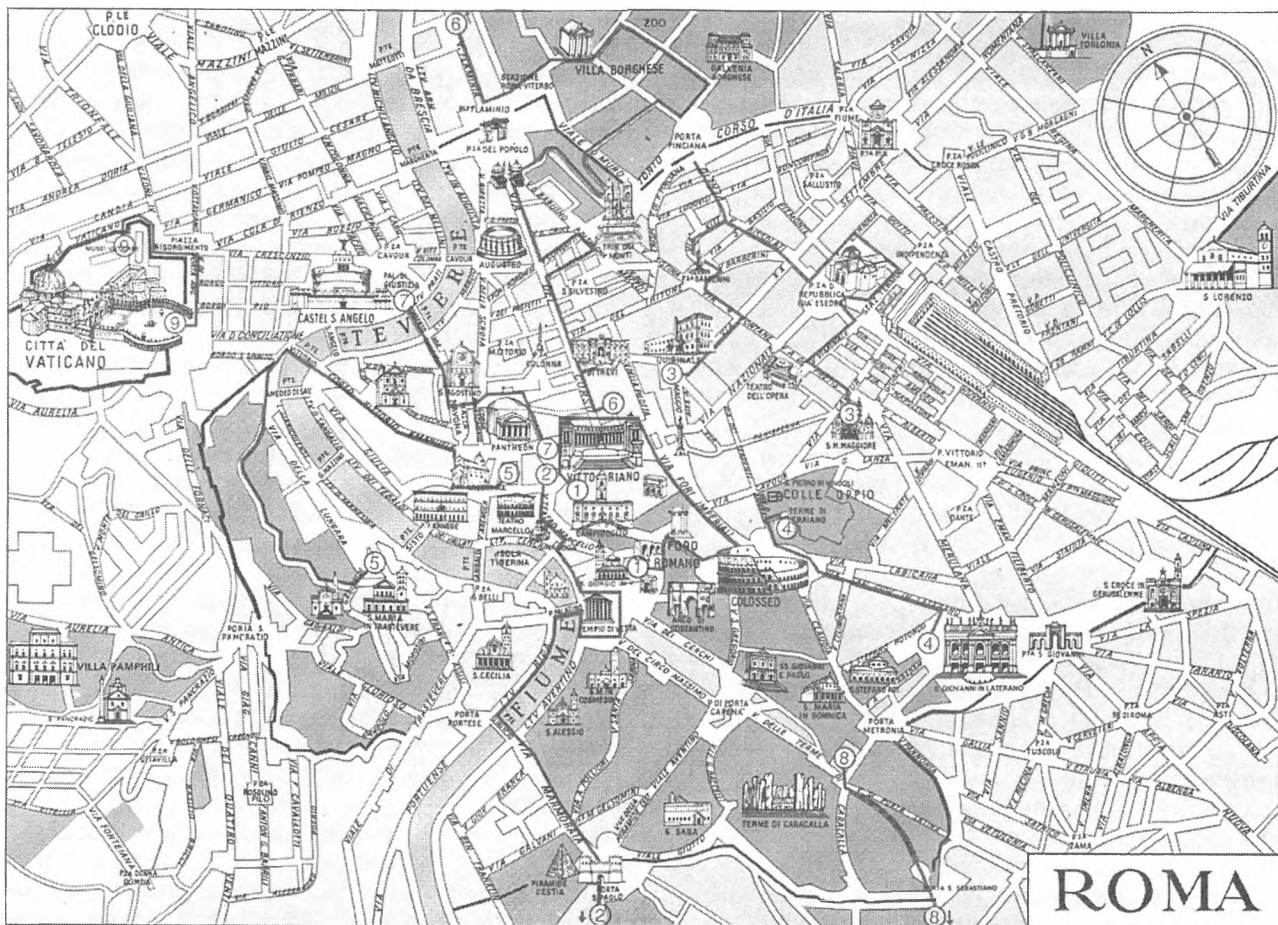
Оказывается, бельё на римских улицах не специально развешивали для съёмок неореалистических фильмов, оно просто сушится там каждый день. Остатки древних стен времён Марка Аврелия служат упорядочению довольно-таки хаотичного уличного движения: наш двухэтажный автобус не без труда, но привычно-плавно проезжает сквозь античную арку. А с огромных портретов, посмевших загородить часть фасада собора Святого Петра, как выясняется, смотрят новые святые, канонизированные накануне и пополнившие и без того необъятные католические святцы.

А вот «внезапности» лингвистические. Ей-богу, не предполагала, что название галереи Уффици про-

исходит вовсе не от звучного имени собственного, а всего лишь от первоначального назначения здания для учреждений, то бишь для офисов. Человек, получивший хотя бы начальное музыкальное образование, в Италии не будет страдать из-за языкового барьера: скажем, трамвайная остановка, конечно же, *fermata*. А увидев из окна автобуса вывеску «*agenzia funebri*», догадываешься, что это похоронное бюро, просто-напросто по шопеновскому похоронному маршу, *marshe funebre*.

Кстати, о маршах. Однажды, пытаясь скоротать стояние в очередной московской пробке, я нажимала кнопки магнитолы, пока не наткнулась на неизвестной мне дотоле радиоволне на квалифицированный и необыкновенно увлекательный рассказ о «Турецком марше» Моцарта. Об источниках восточных мотивов в творчестве тогдашних композиторов, о революции в ударной группе оркестров за счет появления экзотических инструментов и так далее. Увы, я не слышала начала передачи. Зато, продвинувшись метров на сто вперёд, услышала её окончание: «Это была передача „Мелодии твоего мобильного“».

Мы а priori презираем поверхностное знание. Мы острым, что бывает образование энциклопедическое, а бывает кроссвордовое, и снисходительно-ироничны, если кто-нибудь из родных и близких увлечённо заполняет клеточки. Мы откровенно



План Рима



Площадь Испании. Вид на церковь «Тринита дей Монти» и «Выставку азалий» по склонам

потешаемся над незадачливыми участниками телешоу, которые упустили свой миллион, споткнувшись на элементарном для нас вопросе, не признаваясь в том, что вылетели бы на иных предыдущих. Нам претит словосочетание «обзорная экскурсия». Сколько же упущено и будет ещё упущено из-за этого снобизма: «Ну что вы! В Рим надо ехать на месяц». И никогда мы вслух не признаемся, сколько же мы услышали впервые из затверженной лекции экскурсовода. Получается, что для нас лучше быть неучами, чем недоучками. Мы утрачиваем даже чувство юмора, считаем своим долгом соответствовать великим творениям возвышенно-погружённым видом. Мы шикаем на сотоварища по группе, услышав у подножья Пизанской башни его исполненный мечтательной зависти голос: «Один недоучка ошибся в расчётах, и весь город сколько веков этим кормится!».

Боясь общественного осуждения, мы стыдимся признаться, что не все хрестоматийные шедевры нам близки. И успокоить трепещущее от собственной смелости сознание может лишь ссылка на авторитеты: «Путешественники, которые обладают не только блестящим умом, но и мужеством, свойственным благородным натурам, откровенно признаются, что для них нет ничего скучнее картин и статуй». Это Стендаль, его «Прогулки по Риму». И там же: «Проходя мимо произведений, подписанных знаменитыми именами, мы испугались их количества и бежали из Ватикана: удовольствие, которое он предлагал нам, было слишком серьёзным».

И впрямь. Чтобы не впасть в естественное отчаяние от ошеломляющего количества шедевров на квадратный метр, требуется известная доля легкомыслия. Оно, конечно, заманчиво было бы как-нибудь взять да разогнать публику в Сикстинской капелле и в одиночестве проникаться гением Микеланджело сколько душе угодно. Но в нашем бешеном пробеге по Ватикану есть, как ни странно, своя прелесть: картины, скульптуры, фрески, схваченные жадным взглядом, врезаются в память, чтобы потом пробуждаться в унявшемся мозгу своими деталями и оживать, когда рассматриваешь репродукции в альбомах. Занятие это в кругах людей эстетически развитых почитается не вполне достойным, а зря: репродукции не «вместо», а «после» производят совершенно иное впечатление.

Только в спешке, только зная, что сейчас и никогда больше. Хотя монетка в фонтан Треви, конечно же, брошена, как положено, по всем туристским правилам — «повернуться спиной и бросать правой рукой через левое плечо».

Но вот ведь какая крамола, страшно даже компьютеру поведать! Я, может быть, и не хочу сюда вернуться.

Мы всё знаем про Венецию, нас ничто не может удивить, мы даже слегка презрительно кривим уголок рта: «На гондоле кататься? Ну это же кич вроде русской тройки!». Сразу хочется спросить, приходилось ли проехать по зимнему лесу в санях, когда лёгкий снег падает с еловой ветки тебе на лицо, чурбан? А Венеция оказывается совсем



На улицах Рима.
Фотография Г.П.Корниловой, 2003 г.

другой, в сто, в миллион раз прекраснее. Вот дама в белом кормит голубей на площади Сан-Марко. Они слетают с её руки, и я вижу, что на рукаве остались мокрые трилистнички голубиных лапок. Яркое синее небо, а под ногами лужа. Боже мой, из щелей между плитами сочится вода, а молодые люди привычно быстро, но без суеты расставляют помосты. И пусть промокнут ноги, я это видела, мне повезло, вода заливает площадь! Я не хочу приезжать сюда опять, а вдруг это не повторится. Я не могу представить себе, что можно увидеть Венецию больше и лучше.

Вечером в гостинице падаешь на кровать. Ноги гудят, а закроешь глаза, плывут перед тобой дворцы, фрески, фонтаны. Как после проведенного в лесу дня всё мерещатся грибы, грибы. Нет, я, конечно, слегка лукавлю: страшно нарушить образ города, а приехать, чтобы побродить по музеям, это другое дело. Пожить во Флоренции и ходить, как на работу, в галерею Уффици на свидание то с Боттичелли, то с Рафаэлем. Облазить в Ватикане музей загадочных этрусков, застыть перед храмом Эскулапа на вилле Боргезе, всласть налюбоваться «Раем» Тинторетто над тронем венецианского дожа. И тут со стыдом спохватываешься: который год планирую поехать в Петербург специально, чтобы день за днём, целенаправленно отправляться в Эрмитаж. Но и утешаешься: «беспрерывные внезапности» могут застигнуть и в родной Москве, когда из окна троллейбуса вдруг увидишь в огне заката стены и башни Ново-Спасского монастыря, и древнее княжество Московское выбьет на миг из современной реальности, чтобы остаться в тебе навсегда.

Нам всё время твердили: «Вам повезло, сейчас не сезон». Как будто не специально выбира-

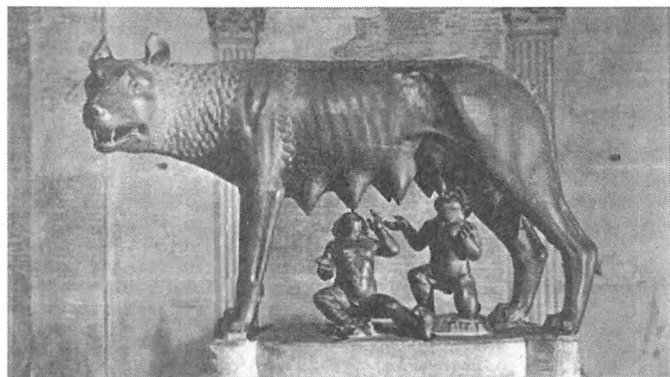
ли! Тем не менее в станцах Рафаэля («не сезон») яблоку негде упасть. А ты будто одна. Это всё твоё. Только твоё. И навсегда.

И во дворе дома Пакия Прокула в Помпеях, где на полу рвётся с цепи мозаичный пес, а камешки надписи предостерегают *savi sapem*, то есть, осторожно, мол, злая собака, и в том дворе никого не было. Ни до, ни после, ни одновременно со мной. Потому что в этом невероятном месте, которое, кажется, только-только покинули люди, где сплющилось время, для меня одной сместилось ещё и пространство: ведь никто, кроме меня, не замер, потрясённый, увидев, как из-под античной стены пробивается родной жёлтый одуванчик.

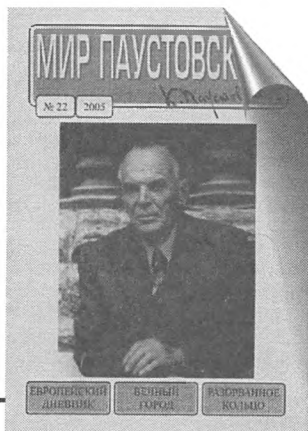
И я наконец понял: в путешествии не так важно увидеть *всё*, главное увидеть *своё*. И кто сказал, что степенное, неспешное, расслабленное созерцание даст тебе больше, чем сгущённое, нервное выхватывание «самого главного»? Почему-то принято считать, что *главное* непременно скрыто глубоко внутри и открывается лишь при долгом специальном вглядывании. Предрассудок это. Сила воздействия красоты измеряется не человеко-часами, потраченными на её созерцание, и не числом прочитанных о ней страниц, а Бог весть в каких единицах исчисляемой загадочной субстанцией, когда воспринимаешь не органами чувств, а всей поверхностью кожи. Причастность великому рождается мгновенно или вовсе не посещает.

Потому и не стоит клеймить за верхоглядство тех, кто несётся «галопом по европам», руководствуясь, как всякий русский, Пушкиным:

И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.



Капитолийская волчица — символ Рима



РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО

Иван ЕЛАГИН

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ТОПОРА

Из цикла
«По дороге оттуда»

Родина! Мы виделись так мало,
И расстались. Ветер был широк,
И дорогу песня обнимала —
Верная союзница дорог.

Разве можно в землю не влюбиться,
В уходящую из-под колес?
Даже ивы как самоубийцы
С насыпей бросались под откос!

Долго так не выпускали ивы,
Подставляя под колеса плоть.
Мы вернемся, если будем живы,
Если к дому приведет Господь.

* * *

Еще ломаем руки в гнев,
И негодуем, и клянем,
Но в лабиринте ежедневий
Отупеваем с каждым днем.

И равнодушие издевает,
Не захотим поднять копыя.
И внуки позабудут дедов,
Как позабыли сыновья.

* * *

О Россия — крошечная тьма...
О куда они близких дели?
Они входят в наши дома,
Они щупают наши постели...

МП: Иван Венедиктович Елагин (1918–1987), настоящая фамилия Матвеев, родился во Владивостоке в семье поэта-футуриста Венедикта Марта (Матвеева). Учился в медицинском институте. В 1943 году вместе с женой, поэтессой Ольгой Анстей, оказался в Германии. Жил в Шлесгейме — лагере для перемещённых лиц. После войны вышли в Мюнхене его сборники стихов — «По дороге оттуда» и «Ты, моё столетие».

В 1950 году эмигрировал в США. Работал в редакции «Нового русского слова», учился в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. В 1970 году Елагин получил докторскую степень по литературе за перевод большой поэмы Стефана Винсента Бенэ «Тело Джона Брауна», позднее напечатанной отдельной книгой. Тогда же начал преподавать русскую литературу в Питтсбургском университете (Пенсильвания). В течение жизни у

Елагина вышло 12 сборников стихотворений. Ещё одна поэтическая книга — «Курган» — была издана посмертно.

Интересны, на наш взгляд, мысли самого Ивана Елагина о своём творчестве: «В искусстве, как в большом доме, много всяких помещений — от чердака до подвала. Меня тянет в те комнаты, которые выходят окнами на улицу, к людям. Отсюда моя гражданственность, а порою и публицистичность. Искусство для меня не только самовыражение, но и в большой мере общение. Может быть, поэтою я много перевожу. Думаю, что это и есть подлинный культурный обмен».

Сатирический гротеск, смесь фантастического и реального, некоторые черты современного сюрреализма близки мне как поэту. Думаю, что в сердцевине моего творчества — тема разъятости, расколото-сти, расщеплённости современного

человека во времени и пространстве. Конечно, за этим стоит "curriculum vitae", ущербность эмигрантского бытия. Это не тема двойничества, не тема сожительства в одном теле двух душ, а тема разорванности одной души в двух мирах, в двух культурах, в двух пространствах, в прошлом и настоящем.

Большую часть жизни я прожил в Америке. Американский город, как театральная декорация, стал частью моих поэтических постановок. Лирическое переживание не в пейзаже, а в декорациях, в диковинных конструкциях, хотя и не враждебного, но всё ещё чужого для меня мира, сделанного привычным композиционным приёмом».

Творчество поэта, к сожалению, мало знают в России: кольцо русской культуры, разорванное жестоким XX веком, только недавно начало смыкаться... «МП» знакомит читателя со стихами Ивана Елагина разных лет.

Разве мы забыли за год,
Как звонки полночные били,
Останавливались у ворот
Черные автомобили...

И замученных, и сирот —
Неужели мы всё забыли?

* * *

Эти облитые кровью
Клёны у изголовья!
Эти деревья — вымысел!
Это художник выместил
На пятипалых листьях
Желчную горечь кисти!

Но, скомканы и ветхи,
Облупливаются ветки
То киноварью, то охрой
На подоконник мокрый...

Всё выговорит пригород!
Выговорит и выгорит!

* * *

Муза мстит. Всю дневную склоку,
Мышью скупость, кривые кивки —
Помнит всё, и поставит в строку,
И не вымолишь ни строки.

Не заметишь птицу ночную,
Севшую на ветлу,
И уже не встанут вплотную
Облака к твоему столу.

Поперек завалено щебнем,
Стенами заслонено...
А давно ли окном волшебным
Было твое окно,

Открытое по утрам
Всем четверем ветрам?

* * *

Отталкивался дым от папирос
И обволакивал изгибы кресел,
И медленно приподымаясь, рос
И облаками комнату завесил.

Редели стены, ширился провал,
И море выросло посередине.
И голос женщины повествовал
О нелюдимом Александре Грине.

О гаванях, где каждый парус пьян,
Где родина несбывшаяся наша,
Где в бурной тьме безумствовал Аян
И Гнор ступил на побережье Аша.

Туда, к архипелагу непосед!
В страну задумчивых и открыленных!
Привет переплывающим Кассет
На кораблях по горло нагруженных!

Идти, отстаивать за пядью пядь,
Бродяжничать и промышлять разбоем.
Наскучит — ветром паруса распять
И выйти в море с лощманом Битт-Боем!

Когда ж на бриг обрушится норд-вест —
Бороться в рукопашную с волнами,
И побеждать! И видеть Южный Крест,
Рукою Бога поднятый над нами!..

МОЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

Отчего, не знаю, взоры
Неожиданно привлек
Этот звякающий шпорой,
Этот бронзовый сапог!

О бреттерах и о мотах
Рассказали, как слова,
Кружева на отворотах,
Щегольские кружева.

А за окнами всё то же:
Тот же тополь, тот же дом,
Тот же сгорбленный прохожий,
Тот же двор, покрытый льдом...

С глаз долой! Спустите шторы!
Мы устроим век иной!
Здесь сегодня мушкетёры
Побеседуют со мной!

Попрошу, чтоб рассказали
Всё, что знали на земле:
О боях, о кардинале,
О надменном короле,

О дорогах, и тавернах,
И аббатствах вековых,
О любовницах неверных,
О дуэлях роковых!..

У бочонка сядут гости,
Будет смех и стук костей,
И монет тяжелых горсти
Лягут в складках скатертей.

Все растает на рассвете,
Как бургундского пары,
И останусь я, да эти
Стены, книги и ковры...

За опущенною шторой
Я до утра лампу жег.
Оттого, что звякнул шпорой
Мушкетерский сапожок!

* * *

Одеялом завешены стекла,
Тишина стоит у плеча.
Скудный луч на томик Софокла
Клонит нищенская свеча.

Всё пугают огнем да газом —
Нос не высуну из норы!
Лучше б бомбы и газы разом,
Да и к прадедам в тартарары!

Милый ад: ни пушек, ни ружей...
Старый ад с хромым сатаной!
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой — шар земной?

КАМАРИНСКАЯ

В небо крыши упираются торчком!
В небе месяц пробирается бочком!

На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька.

Всю неделю куролесил снегопад...
Что-то снег-то нынче весел невпопад!

Не рядить бы этот город, — мировать!
Отпевать бы этот город, отпевать!

* * *

Там небо приблизилось к самой земле,
Там дерево в небо кидалось с обвала,
И ласточка бурю несла на крыле,
И лестница руку Днепру подавала.

А в августе звезды летели за мост.
Успей! Пожелай!.. Загадай! Но о чем бы?
Проторенной легкой параболой звезд
Летели на город голодные бомбы.

* * *

Слова, что камень — никогда не дрогнут.
Я их ваял, всю нежность соскребя.
Мой бедный стих! Ты наглухо застегнут.
Какие ветры распахнут тебя?

За то, что я прикинулся поэтом,
За то, что музу называл сестрой,
За то, что в мир ушел переодетым
В чужое платье, на чужой покрой —

Мой каждый слог мне ложем был Прокруста!
Мой каждый стих рождался чуть дыша!
Смирительной рубашкою искусства
Спеленута свободная душа.

Мой горизонт словами был заставлен.
Они всё солнце заградили мне!
Затем чтоб стих был набело исправлен,
Вся жизнь моя заброшена вчерне.

Я предал жизнь! Обиду за обидой
Я наносил ей сам своей рукой!
Я приказал ей быть кариатидой,
Согнувшейся под каменной строкой.

* * *

Каштановым конвоем
Окружено окно,
И вся земля запоем
Пьет красное вино.

Мой голубой автобус
Уходит на бульвар.
Как мне понятна робость
Его туманных фар!

Он весь как на эстраде
Под рыжей бахромой.
И люди в листопаде
Не ходят по прямой.

От парка и до парка
Он ветрами несом.
И осень как овчарка
Бежит за колесом.

* * *

Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
И на путях дымятся груды шпал
И проволока вянет на заборе.

Они молчат — свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.

Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костыли...
Там города залечивают раны.

Там будут снова строить и ломать.
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится — и откроет мать.
Откроет двери мальчику седому.

* * *

Я проходил по улицам чужим.
Из подворотен выплывала сырость.
И вот, как вечность неопровержим,
Крутой собор передо мною вырос.

Он говорил: ты наглухо прибит
К тяжелому, заплаканному миру.
Сойди на миг с твоих земных орбит,
Плыви со мной по звездному пунктиру!

Он делался всё выше и острее,
Он в небесах искал себе упора,
И я сгорал на каменном костре
В средневековом пламени собора.

А рядом содрогалась от стрельбы
Моей земли последняя дорога.
Мне в эту ночь клялись в садах дубы,
Что близок день, что мы увидим Бога.

* * *

Лужицы как цинковые миски.
С крыш, с деревьев, с проводов течет.
По камням дожди как машинистки
Отстучали годовой отчет.

На ходу влетают мне за ворот
Два кленовых солнечных листка.
Это осень оставляет город,
Вдоль дорог бегут ее войска.

И вослед уйдут последним взводом
Белые листки календарей,
И воскликнут люди: «С новым годом!»
Чтобы стать еще на год старей.

Облетают мысли с каждым шагом.
Прохожу по скверам не спеша.
Скоро выйдет к миру с белым флагом
Перемирье заключать душа.

* * *

Что останется? ржавчина свалок,
Долгий голод, рассказы калек...
И подумают дети, что жалок
Был прославленный пулями век.

Что им скажут какие-то числа
Покорбленных временем дат,
Там где криво дощечка повисла
Над твоею могилой, солдат?

И никто не узнает, что душу
Ты отыскивал в черном бою,
Там где бомба хрипела — «разрушу»,
Там где пуля свистела — «убью»...

Где прошел ты, весь в дыме и пепле,
В дыме боя и пепле седин,
Там где тысячи гибли и слепли,
Чтобы солнце увидел один...

* * *

Кто нам солгал, что умерла война?
Кто опознал ее среди усопших?
Еще по миру тащится она
И рядом с ней ее хромой сообщник.

Она идет за нами по пятам
И валит нам на головы руины,
И к пароходным тянутся бортам
Блуждающие в океанах мины.

Она лежит на дне сырого рва
В гранате, как в заржавленном конверте.
Не верьте ей! Она еще жива,
Жива еще, беременная смертью!

Украденную юность доконав,
Она и правду на земле задула.
Еще столетье будут из канав
Глядеть на нас зевающие дула!

О сколько раз еще из-за угла
Нас оглушат по черепу и ребрам,
Чтоб эти двое, глядя на тела,
Обменивались хохотом недобрым!

* * *

Мне девять лет. Я только что с перрона.
Я в первый раз на даче под Москвой.
Взлетевшая на каланчу ворона
Мне кажется огромною совой.

И месяц левитановский над стогом
Так робок, что не движется почти.
Он сам не знает, по каким дорогам
Ему придется в эту ночь идти.

— Ты видишь тракт? По нем когда-то с юга
Татары приходили на Москву.
Я слушаю и жмурюсь от испуга,
К отцовскому прижавшись рукаву.

Я помню ночь. Так каждый мальчик помнит
Свой первый сон под новым потолком.
Всю эту крышу с полутьмою комнат
Сад облегал густым воротником.

Там света не было. И в щели дуло.
Всю ночь поскрипывал дверной запор.
Отец, ложась, к высокой спинке стула
На всякий случай прислонил топор.

Я всё не спал. Всё слышал крик татарский.
Там шла орда, повозки волоча.
А месяц плащ брильянтовый по-царски
Дарил земле со своего плеча.

Из цикла «ОТВЕТЫ НОЧНЫЕ»

Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доньне,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

* * *

Вселенная! Так вот твоя изнанка!..
Едва рванули ткань твою по шву —
И поднялась гигантская поганка
Откуда-то из ада в синеву.

И зарево ударило по тучам,
Полгорода внизу испепеля.
Так вот каким заправлена горячим
Несущаяся в космосе земля.

Еще в поту мы эту землю пашем.
Еще и воздух не отравлен весь,
Но с той поры грохочет в сердце нашем
Тоски и гнева взрывчатая смесь.

* * *

Дождь бежал по улице на цыпочках,
Дождь бежал то тише, то слышней,
Дождь бежал, асфальт вечерний выпачкав
Масляными красками огней.

Под ногами, точно в черном озере,
Светофора вспыхивал рубин.
Отсветы неоновые ерзали
В темноте асфальтовых глубин.

Точно все огни земные плакали
В бесконечных прорезях дождя.
Ночь под землю уносила факелы,
Улицы с собою уводя.

Вот он, город мой неузнаваемый,
Город каменной моей судьбы,
Под тобой оранжевыми сваями
Световые движутся столбы.

Я и сам о том уже не ведаю,
Что ищу я в шуме городском,
За какими отсветами следую
И в пространстве двигаюсь каком.

Я уже не ощущаю хлесткости
Наискось летящего дождя,
Где-то рядом в вертикальной плоскости,
Плоский сам, проскальзываю я.

Может быть, из всех объемов вынутый,
В измереньях двигаясь иных,
Я теку, в асфальте опрокинутый,
Отсвет — среди отсветов ночных.

**Из цикла
«Косой полёт»**

Неслышно входит городское лето
В отмеренное для деревьев гетто,
Где пробегает по дорожке пес
И где деревьев несколько вразброс,
Тревожно размещая светотени,
Стоят как декорации на сцене.
А чуть поодаль — каменный потоп:
Плывет за небоскребом небоскреб,
И снова небоскреб за небоскребом
Вздывается гигантом темнотой.
А я стою под ветром и листвою,
Я от листвы и ветра сам не свой,
И этот сад почти как остров странен,
Мне кажется, что я — островитянин,
И что когда-то, может быть в раю,
Я видел эту бедную скамью,
И эту невысокую ограду,
Я помню пса, бегущего по саду,
И предо мной встает со дна морей
Сад затонувшей юности моей.

* * *

Что с деревом делать осенним,
С оранжевым сотрясеньем,
Плеском и колыханьем,
С блеском его чингисханьим,
С этим живым монистом,
С деревом тысячелистым?
С деревом тысячелистым,
Резким, броским и тряским,
Истым импрессионистом
По хлестким мазкам и краскам!
С деревом, что смеется,
С деревом-знаменосцем!
Глянь на его богатства, —
Некому с ним тягаться!
Осень в него вложила
Золотоносные жилы,
Солнца вкатила столько,
Что светится как настойка!
С неба закаты взяты
И влиты в него закаты,
Гнется под ветром крупным,
Бьется цыганским бубном, —
Не дерево, а кутила,
Осень озолотила!
Что с деревом делать осенним,
С круженьем его, с крушеньем,
С его золотой падучей?
Листья сгребая в кучи
И меж домов громоздких
Сжигаем на перекрестках.

* * *

Как с трамплина влетают в бассейн,
Так и я моей тяжестью всей
Рассекаю до самого дна
Стекловидную светопись дня.
Словно тело в стекло вплетено,
Словно тело в стекле ледяном,
И вослед сквознякам световым
Я теку по каким-то кривым,
Словно я в полусмерть занесен,
В полусвет, в полумрак, в полусон;
Обнадежь меня, время, скажи,
Что я вставлен в твои витражи:
Когда стекла твои зацветут,
Ты поставишь меня на свету,
На юру, на восход, на закат,
В листопад, в снегопад, в звездопад.

* * *

Я не знаю, где бы выпросить
Краску, чтобы ветер выкрасить.
Прекратить нелепость дикую,
Что он ходит невидимкою.
Я люблю определенности,
Красности или зеленисти,
Фиолетовости, синести,
А вот ветра мне не вынести,
Потому что ветер — фикция,
Хоть и есть у ветра дикция.
Вот и мыслью ошарашен я,
Чтобы ветер дул раскрашенно,
Дул павлинисто, фазанисто,
Дул гогенисто, сезанисто,
Чтоб по всей его волнистости
Шли сиреневые мглистости.
Чтоб скользили по наклонности
Голубые просветленности,
Чтоб он гнал в рывках неистовых
Цветовую бурю выставок,
Пусть по ветру фордыбачатся
Все абстрактные чудачества,
Многоцветные, несметные,
Несусветно-беспредметные,
Пусть в его порывах множатся
Сумасшедшие художества,
Пусть разгуливает клоуном
Идиотски размалеванным,
Пусть размахивает красками,
Как платками самаркандскими.
Весь вмещенный в очертания,
В свето-цвето-сочетания,
Пусть проходит ветер красочный,
Кочевой, блестящий, сказочный.

НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

Эмигранты, хныкать перестаньте!
Есть где, наконец, душе согреться:
Вспомнили о бедном эмигранте
В итальянском городе Ареццо.

Из-за городской междоусобицы
Он когда-то стал невозвращенцем.
Трудно было, говоря по совести,
Уцелеть в те годы во Флоренции.

Опозоренный и оклеветанный
Вражескими ложными наветами,
Дважды по одним доносам грязным
Он заглазно присуждался к казни.
В городе Равенне, на чужбине,
Прах его поконится поныне.

Всякий бы сказал, что делу крышка,
Что оно в веках заплесневело.
Но и через шесть столетий с лишком
Он добился пересмотра дела.

Судьи важно мантии напялили,
Покопались по архивным данным.
Дело сочинителя опального
Увенчалось полным оправданьем.

Так в законах строгие педанты
Реабилитировали Данте!

На фронтонах зданий гордый профиль!
Сколько неутешных слез он пролил
За вот эти лет шестьсот—семьсот...
Годы пылью сыпались трухлявой.
Он давно достиг уже высот
Мировой несокрушимой славы.



Издательство «Посев», 1976.
Обложка художника Николая Сафонова

Где-нибудь на стыке шумных улиц
В небольшом пыльнозеленом сквере
Он стоял, на доколе сутулясь,
Осужденный Данте Алигьери.

Думал он: в покое не оставят,
Мертвого потребуют на суд:
Может быть, посмертно обезглавят,
Иль посмертно, может быть, сожгут.

Но в двадцатом веке, как ни странно,
Судьи поступили с ним гуманно.

Я теперь смотрю на вещи бодро:
Время наши беды утрясет.
Доживем и мы до пересмотра
Через лет шестьсот или семьсот.

Из цикла

«ДРАКОН НА КРЫШЕ»

Может быть — мучение,
Может быть — прощание —
Для волны — свечение,
Для звезды — качание.

Месяца горение
Над леском проселочным
Дереву ранением
Кажется осколочным.

Может быть, для гения
Означает творчество
Судорогу жжения,
От которой корчатся.

Может, наказания
Мера наивысшая —
Не четвертование,
А четверостишие.

Всё на свете мучится,
Что красою светится;
Этим свет и крутится,
Этим свет и вертится.

* * *

Мы далеки от трагичности:
Самая страшная бойня
Названа культом личности —
Скромно. Благопристойно.

Блекнут газетные вырезки.
Мертвые спят непробудно.
Только на сцене шекспировской
Кровь отмывается трудно.

Амнистия

Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.

Вероятно на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.

Ну, а если он умер, —
Наверное жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой

Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.

Верно тоже на пенсию вышел.

А если он умер,
То наверное жив человек,
Что пытал на допросах отца.

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.

Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.

Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.

Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

* * *

Наверное появится заметка,
А может быть и целая статья,
В которой обстоятельно и метко
Определят, чем занимался я.

Какие человечеству услуги
Я оказал. В чем был велик, в чем мал.
Какие в гроб свели меня недуги,
Какой меня священник отпевал.

Цитаты к биографии привяжут,
Научно проследят за пядью пядь.
А как я видел небо — не расскажут,
Я сам не мог об этом рассказать.



Иван Венедиктович Елагин

Кто передаст температуру тела,
Которую я чувствую сейчас?
Ведь никому нет никакого дела
До рук моих, до губ моих, до глаз.

Я в каждое мое стихотворенье
Укладывал, по мере сил своих,
Мое дыханье и сердцебиенье,
Чтоб за меня дышал и жил мой стих.

* * *

По земле шатаюсь я давно,
И везде вожу с собой окно.

Хоть люблю я в жизни перемену,
Но окно всегда вставляю в стену.

Приглашаю я в окно закат.
Птицы пусть в окне моем летят.

Ветку на окно мое кладу,
Рядом сбоку вешаю звезду.

Или, чтоб увидел целый свет,
Создаю ночной автопортрет, —

В раме, за стеклом, стою в окне,
Свет фонарный шастает по мне.

Пусть стоит вселенная вверх дном,
Мне не страшно за моим окном!

Я поеду в городок морской,
Я мое окно возьму с собой

И у волн поставлю непременно,
Пусть окно окатывает пена,

Пусть там волны ходят ходуном,
Хорошо мне за моим окном!

Я от океана отделен,
В раме океан, и застеклен!

Каждым утром, сразу после сна,
Я выбрасываюсь из окна

И лечу на камни мостовой
В мир невыносимо-деловой.

* * *

Не была моя жизнь неудачей,
Хоть не шел я по красным коврам,
А шагал, как шарманщик бродячий,
По чужим незнакомым дворам.

Только — что бы со мной ни случилось,
А над жизнью моей кочевой
Серафима стоит шестикрылость,
А не дача и сад под Москвой.

Как доходит до славы — мы слабы.
Часто слава бывает бедой.
Да, конечно, не худо бы славы,
Да не хочется славы худой.

Полетать мне по свету осколком,
Нагуляться мне по миру власть
Перед тем как на русскую полку
Мне когда-нибудь звездно упасть.

Иван Елагин

М.П.: Зайцев и Паустовский. Уже не раз на страницах нашего журнала звучали эти имена — рядом, единым аккордом. И тем не менее, разрабатывая тему «Паустовский и мировая культура», которой посвящён этот номер, невозмож-

но вновь не вспомнить о контактах двух замечательных русских писателей, разделённых советской властью нерушимым, казалось бы, «железным занавесом». Их контакт работал на перспективу: он послужил возвращению русской культуры культуре мировой.

Надеемся, что предлагаемая подборка материалов, взятых из разных изданий последнего десятилетия, поможет читателю почувствовать созвучие творчества этих писателей и всю значимость сложного, но неизбежного процесса «восстановления родства».

Борис ЗАЙЦЕВ

ПИСЬМО К.Г. ПАУСТОВСКОМУ

5 Avenue des Châtelets
75 Paris (16)

14 июня 1966
Париж

Дорогой Константин Георгиевич, только что прочитал Вашу «Виллу Боргезе» — прелестно. Прямо превосходно написано, сдержанно, в меру, глубоко и поэтично. Япюночка очаровательна, а внутренняя шпилька мне мало интересна, хоть бомбы отвратительны, кто бы их ни бросал.

Я живу теперь у дочери, я один. Вера скончалась 11 мая 1965 года, в этом же особняке, огромном и очень не похожем на квартиру в Булони. Мы живём в двух шагах от бывшей кв<артиры> Бунина, где он и его Вера (подруга юности моей Веры) скончались неск<олько> лет тому назад. А немного дальше жили Мережковский и Гиппиус, ещё дальше Ремизов, Алданов, Шмелёв. Почти всё старшее поколение ушло. Я пережиток, ихтиозавр, случайно пока уцелевший.

В Риме мы были с Верой молодыми и счастливыми. Зиму 1911–12 гг. провели в пансионе на Via Veneto, наверху, где она упиралась почти в стену Аврелиана.

Окна комнаты нашей выходили на эту стену, за ней — Ваша (и наша) вилла Боргезе. Всё это мне очень близкое и почти «родное». (Хотя окончательно родина моя — кроме России, конечно, — Флоренция.)

Но бессонных ночей ни жена, ни я и не знали тогда, дрыхли как убитые. Да и силы какие были — раз отмахали пешком по Аппиевой дороге 24 версты. И хоть бы что. Нынешним летом дочь с мужем будут в Москве, 23 июля — 10 августа. Если Вы окажетесь в городе, непременно Вас повидают и передадут мой привет, думаю уж прощальный: в феврале мне исполнилось 85 лет. «Пожито, пожито».

Будьте здоровы, да отыдет от Вас эта астма, не тем будь помянута. И напишите ещё что-нибудь очень хорошее.

*Случилили к Вам чувствами
Борис Зайцев*

P. S. Моя дочь называется Наталья Борисовна Соллогуб.

Зинаида ШАХОВСКАЯ

Б.К. ЗАЙЦЕВ

Первые редкие встречи до войны с Борисом Константиновичем и Верой Алексеевной бывали у меня или после литургии у церковной ограды, или на премьерях русских пьес и балетов, да ещё на писательских балах.

На первый взгляд, всё тут было другое и даже обратное, чем у Буниных. Там вечно кипящий Иван Алексеевич, а Вера Николаевна образ безмятежности, — у Зайцевых тишина идёт от писателя, а Вера Алексеевна вулкан, поток и знаток крепких русских выражений. Но близко я их в те времена не знала, и

так как-то случилось, что только в начале пятидесятых годов зашла я их навестить.

Жили Зайцевы тогда в Булони, жизнерадостная и подвижная Вера Алексеевна лежала парализованная, Борис Константинович с истинным христианским смирением нёс подвиг любви и терпенья. Нечто подвижническое было тогда в нём. Писать же не переставал, и в скромной комнате, где перед иконами сияла лампада, работал он, окружённый книгами и фотографиями. Нужды не было, и дочь, и зять об этом позаботились, но всё, что пришлось перенести Бори-

су Константиновичу за эти долгие месяцы, ухаживая за своей некогда весёлой, говорливой, пылкой, теперь беспомощной женой, можно себе представить. Ропота не было, была одна покорность воле Божией и верность любви.

М.П.: Зинаида Андреевна Шаховская (из старинного рода князей Шаховских) — известный поэт, прозаик, эссеист, журналист. После событий октября 1917 года эмигрировала с семьёй во

Францию. Участник Сопротивления, за что была удостоена ордена «Почётного легиона». Как репортёр работала на Нюрнбергском процессе. С 1968 года в течение десяти лет была главным редактором газеты «Русская мысль».

Вера Алексеевна умерла вскоре после того, как Зайцевы переехали в прелестный особнячок в Паси, нанятый позднее Соллогубами. Дом этот стал скоро маяком литературной да и общественной жизни русского Парижа, цвело в нём истинное московское радушие. Там без конфликтов встречались три поколения. Внуки Бориса Константиновича были да и остались деятельными в РСХД¹. Их друзья, друзья их родителей и современники Бориса Константиновича частенько наполняли этот примечательный дом, где Дух не угасал.

Прекрасен был закат честнейшего русского писателя, ставшего к этому времени патриархом русской литературы, старейшим её представителем и в Зарубежье, и в СССР, где им всё больше интересовались.

Борис Константинович продолжал писать. Писал и в «Русской мысли», длинные отрывки из своих воспоминаний, почти до дня своей кончины. С радостью принимал он у себя приезжих советских писателей — Паустовского и более молодых, ему менее понятных. Председательствовал, и сам выступал, на собраниях писателей и журналистов в зале Русской консерватории, ум оставался ясным, чтение чётким. И несмотря на свой преклонный возраст, был чрезвычайно чувствителен к тому, что о нём и о его творчестве писали, — слабость, присущая большинству литераторов.

Борис Константинович так себя мыслил «русским», что не без некоторого удовлетворения замечал иногда, что, почти полвека живя во Франции, по-французски так и не говорил. Знал всё же достаточно, чтобы переводить такого стилистически трудного писателя, как Флобер, а вот говорить не старался. Конечно, новые формы литературы, новые темы её остались Зайцеву чужды. И тут лично моя позиция была затруднительна. Покойный редактор «Русской мысли», С.А.Водов, интересуясь эмиграционными делами, политикой и церковными вопросами, к литературе художественной интереса не имея, поручил Борису Константиновичу вести этот отдел в газете. Понятно, продолжал он его вести и когда я стала её редактором. Так и приходилось мне, вопреки моему суждению, печатать рассказы, а особенно стихи его «протеже» и протаскивать «конфликтно» кое-какой лирический или литературный материал. Маститый цензор был очень внимателен и иногда мне звонил:

— Что-то мне кажется, что эти стихи прошли без моей «визы».

Почерк его оставался до конца чётким, и, конечно, вопреки нашим правилам, мы посылали ему его гранки для корректуры.

Москвич и туляк, Зайцев из всех чужих стран любил как будто только Италию, любил нежно. Она была связана с его молодостью, да и вообще русскому человеку Италия, даже и нищая, — страна ослепительная, по солнцу и улыбкам, как бы антитеза сумрачности и тяжести нашей родной земли.

Для меня казалась, да и кажется, загадкой любовь Бориса Константиновича к Данте и интерес его к Флоберу. Трудно себе вообразить более несходные человеческие личности. Думаю, что Зайцев и представить не мог себе Ада, а представив, — не нашёл бы, кого в него поместить. Что же касается Флобера (Б.К. перевёл его «Искушение Св. Антония»), то холодно-техническое совершенство его стиля, равнодушие его к вопросам морали тоже кажутся далёкими от художественных и духовных задач Зайцева. Правда и то, что и Зайцев, и Флобер писали об антигероях. Борис Константинович в нешумных своих персонажах улавливал какой-то свет. Ничего серафического во Флобере нет, он даже был не чужд и садизму. Не говоря уже о том, что в «Саламбо» с большим вкусом описаны всякие пытки — дети, сожжённые в статуе Молоха, и т.д. — но и малоизвестное его описание боен в Бретани — реалистично до отвратительности. Борис Константинович, если бы ему пришлось присутствовать при таких сценах, вероятно, упал бы в обморок и стал вегетарианцем — Флобер, проведший там часы, описывает льющуюся кровь с упоением.

Стилистически Флобер употреблял очень тщательно выбранные редкие слова — что тоже было не в линии Зайцева.

Гораздо понятнее его любовь к Жуковскому и Чехову, «который Москвой крещён», к Тургеневу — о них он и написал прекрасные художественные биографии.

Не скрою, что безмятежность и добродетели Зайцева меня, «мятежную», как-то смущали, но с ним, конечно, было гораздо «уютнее», чем с Буниным или Ремизовым. Осуждения его были мягкие, голос тихий и благожелательный.

80-летие его мы отпраздновали во французском ПЕН-клубе — одна его книга, «Золотой узор», была издана по-французски в издательстве Ашетт.

После приёма Борис Константинович написал мне по-французски очень доброе письмо, выражая свою благодарность, адресовав его «господину Жаку Круазе»; не знаю — умышленно, или он действительно не знал, что «Жак Круазе» — Зинаида Шаховская.

А 85-летие было отпраздновано уже совсем по-русски, банкетом в Доме Русского воина, в залах, переполненных до отказа друзьями и почитателями. Были тут и иностранные современники, и старые друзья Бориса Константиновича. Профессор Пьер Паскаль и профессор Ло Гатто — не иностранцы, ибо «Россией крещены» по долголетней работе о ней, один во Франции, другой в Италии — и французские литературоведы, и Вера Греч, и Павлов, и Софья Прегель — всех не перечислишь. Речей тоже было много, не без русской велеречивости и былинного эпоса. И вот тут-то — как редактор «Русской мысли» я сидела справа от юбиляра, пока один из лирических панегириков был нами выслушиваем, «о безмятежной брачной жизни и серафической незлобности юбиляра», Борис Константинович, со вкусом попивавший всегда им ценимое красное вино, мне прошептал: «Ну, положим, всякое бывало,

¹ Российский Союз Христианских Демократов. (Ред.)

нередко с Верой и ссорились», а затем: «ещё как приходилось сердиться», что меня восхитило. Зайцев отказывался быть «нечеловеческим человеком».

Новейших писателей и поэтов, зарубежных и живущих в СССР, он понять не мог, да и не старался, творчество их казалось ему нарочитым, надуманным. И мысли их, и стиль были ему чужды. Сам Зайцев считал себя импрессионистом, всё же придавая этому определению иное значение, мне кажется, чем французские импрессионисты.

В тихости его была и непреклонность, отсюда его размолвка с Бердяевым — который, впрочем, судя по тому, что Борис Константинович написал, никогда не был ему близким, — и с Буниным, с которым его связывало, вопреки разности темперамента, их общее русское прошлое и верная дружба их жён — Веры Зайцевой и Веры Буниной.

Победа СССР в 1945 году была для Зайцева не русской победой, т.к. не могла послужить возрождению России и освобождению её народа, и всякое

заигрывание или кокетничанье с советскими властями было для него неприемлемо. Всё же о своих современниках пишет он в своих воспоминаниях мягко, хотя своих позиций не сдаёт.

Незадолго до смерти Бориса Константиновича Соллогубы переехали с ним из особняка на новую квартиру. Он с сожалением расстался с прежним домом и садиком, где по праздникам пили чай с гостями. Но и новая комната сразу стала его «писательской», и по-прежнему приходили самые разные люди, с таким радушием им принимаемые. «Последний человек, знавший живого Чехова» — сказал о нём французское радио-телевидение.

Тихие блики Голубой Звезды сияют над творчеством и над жизнью Бориса Константиновича. Из всех, о ком я пишу... только ему Бог послал ясную, мирную старость, окружённую любовью близких. Умер он блаженно, без страданий, уже в беспмятстве, что-то напевая. Господом вознаграждённый за то, что смолodu вверил Ему свою жизнь.

Наталья КУДЕЛЬКО

*профессор, проректор Орловского
гос. института искусств и культуры*

СОБИРАТЕЛИ ПРЕКРАСНЫХ МГНОВЕНИЙ

Тема искусства в прозе Б.Зайцева и К.Паустовского

Известно, что Борис Константинович Зайцев (1881–1972) и Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) были знакомы лично. Паустовского, писателя и человека, Зайцев ценил, несколько раз писал о нём, откликнулся на его смерть некрологом-миниатюрой, где вспоминал: «В 1962 году он был в Париже. Общие знакомые привезли его ко мне, мы сидели вечером в небольшой моей квартирке, под иконами моей жены мирно беседовали — и то же впечатление, что от писаний: сдержанный, и умный, и глубокий человек».

Ранее в очерке «Паустовский» (1951), который вошёл в его книгу «Дни», Зайцев писал, что знакомство с Паустовским-писателем произошло в конце 40-х годов, когда ему «попался небольшой советский рассказ — там описывалось, как автор в октябре едет на пароходе по Оке в деревню». Определённо, это рассказ Паустовского «Ночь в октябре» (1945). С этого времени Зайцев начал следить за творчеством своего советского собрата по литературе. «Присматриваюсь к нему, вижу, что по складу души это как бы свой», — напишет Зайцев в 1956 году в очерке «Новый год». Познакомившись с рассказами, «Золотой розой», «Повестью о жизни», он назвал Паустовского «на с л е д н и к о м н а с т о я щ е й н а ш е й л и т е р а т у р ы» (рядка моя. — *Н.К.*), «очень человечным, как и полагается писателю русскому».

В свою очередь, в «Повести о жизни» К.Паустовский среди любимых своих книг назовёт и «Голубую звезду» Б.Зайцева.

В воспоминаниях о Паустовском писатель А.Ионов приводит его слова: «Борис Зайцев... это яркий и крупный писатель...».

Все эти факты интересны и важны сами по себе, они «жизненно» подтверждают неслучайность обозначенной нами связи имён. Но главная наша задача — определить объективную общность, опирающуюся на сходство художественных пристрастий писателей.

В современном литературоведении художественный метод Зайцева определяют как реалистический, осложнённый чертами импрессионизма.

Думается, что импрессионистические тенденции в русской литературе рубежа XIX–XX веков, в том числе в творчестве Б.Зайцева, имеют разный генезис, но восходят и к классическому романтизму школы В.Жуковского, и к романтическим чертам в реализме XIX века, характерным, в частности, для Тургенева, оказавшего на писателя Серебряного века значительное влияние.

Сам Зайцев противопоставлял импрессионизм, с которого начинал, и тургеневские традиции, но это кажущееся противопоставление. В письме от 17.05.62 года он писал Л.Н.Назаровой, научному сотруднику Пушкинского дома: «По формам, при-

ёмам я начинал с импрессионизма (1901 г!), это далеко от Тургенева и в то время было новаторством в русской прозе. Но, повторяю, внутренне Тургенев всегда был мне близок, так что, в общем, считаю себя «в линии» его, то есть лириком и нероманистом, а скорее по небольшим вещам ходоком».

Зайцев не ценил Тургенева-романиста, социальную, конкретно-историческую основу его творчества, но ценил начало поэтическое, лирическое, романтическое, то, что и легло в основу «импрессионистического тона», присущего зайцевской прозе на протяжении всего творческого пути писателя.

Паустовский — художник-реалист, но его творчество принадлежит к романтическому течению в русской литературе XX века. Характер романтизма в его творчестве значительно изменился: от экзотики до романтики, источником которой стала живая жизнь. Сам Паустовский об этом писал так: «Я ушёл от экзотики, но я не ушёл от романтики... очистительного её огня, порыва к человечности и щедрости, от постоянного её непокоя...».

Обладая романтическим мироощущением, естественно откликаясь на романтику жизни, Паустовский развивал в своём творчестве традиции классического романтизма и того реализма, в том числе тургеневского, который обогащён романтической субъективностью.

Сама природа дарования Зайцева и Паустовского ориентировала их на опыт Тургенева. Оба художника — в линии пушкинско-тургеневской, «аполлонической», как её называл Зайцев. Особенности творческого метода писателей являются основой некоторого сходства их художественных принципов, которое проявляется в концепции личности героя, в создании «эстетических ситуаций», в решении темы искусства, природы, любви, в особенностях психологизма, жанра рассказа, композиции, языка и стиля.

Тема искусства занимает в творчестве Зайцева и Паустовского принципиально важное место.

Для Б.Зайцева общение с искусством, с музыкой прежде всего, не только эстетическое наслаждение, это сама жизнь... В 1952 году в очерке «Лунная соната» писатель скажет о музыке Бетховена: «Не просто это гениальная музыка, а часть жизни нашей, молодости и России. Должно быть, часть души». Далее писатель вспоминает о России, о музицировании сестры в отцовском доме. В заключительной части очерка содержится мысль о том, что знакомая музыка, навеявая воспоминания, есть часть жизни, и более того: искусство есть истина...

В том же году Б.Зайцев завершил автобиографическую тетралогию «Путешествие Глеба». В каждой книге из четырёх есть свой содержательный и эмоциональный центр. Так, во второй книге «Тишина» такой центр — эстетическая ситуация: «А красота иногда и являлась в Будаках в ослепительном своём величии. Сумрачный августовский вечер. Глеб долго читал, потом вдруг заметил, что яблони сада посветлели и в комнате

появился тихий, приятный отблеск. От дневного дождя всё было в саду мокро, блестело». Глеб совсем близко увидел радугу, возникшую как торжество природы: «Глеб сел на подоконник. Какая тишина! И какой мир. Какой отблеск неземной. «Господи, хорошо нам здесь быть... Сделаем здесь три кущи...» Глеб не подумал, да и не посмел бы подумать так. Но откровения Природы не мог не ощутить».

Эстетические переживания рожают ощущение единения с миром, с бессмертной Природой.

Концепция искусства сложилась в прозе Б.Зайцева в первый, «русский» период его творчества. Особую роль здесь играет рассказ «Вечерний час» (1912). В нём в полной мере выражено зайцевское понимание жизни, счастья, любви и искусства. Рассказ построен от первого лица, от лица бывшей певицы Большого театра, у которой «прежде, давно» было всё: известность, богатство, красота, любовь, семья. Теперь ничего этого у неё нет, живёт далеко от родины, в Италии, но именно сейчас она, по Зайцеву, счастлива. Всё потеряв, героиня научилась видеть мир, в котором живёт, любить людей, среди которых живёт. Если «прежде, давно» она думала только о себе, то теперь, много страдая, она научилась сострадать, «простое, светлое» вошло в её душу, все люди вокруг стали ей интересны: «... и прачки, полощущие бельё в ручье, и работницы, собирающие оливки; и рыбаки, и каменотёсы, что вечно чинят дорогу в Сестри. Дети и старики». И когда бывшей певице русские политические эмигранты предложили выступить в благотворительном концерте, она согласилась... Она вышла на сцену, увидев «обычную волну голов», на сердце «было легко, просторно и несколько грустно». «Вышло странно: оказалось, у меня есть какое-то слово, и я могу обратиться с ним к этим людям и сказать его могу лишь в пении. За мелодией, за смыслом арии в моей душе звучала иная песнь, и мне казалось, что она доходит до слушающих: моя вечерняя песнь, песнь прощания и напутствия. Снова мир предо мной раздвигался, и я видела не эту лишь залу, сияющую электричеством, — я прижимала к своему сердцу и лобзала всех, кто жив, кто счастлив и несчастлив, кто придёт ещё в жизнь, кто добр и зол, чист и грешен. Мне довольно много аплодировали, но дело было не в аплодисментах. Я ощущала свою связь с людьми». Ситуация эстетическая, ситуация создания красоты, перерастает в ситуацию этическую, когда творится добро. «Доброта спасёт мир» — эта формула принадлежит Б.Зайцеву.

«Собирателем прекрасных мгновений» называют и К.Паустовского. Общение с прекрасным у героев Паустовского вызывает эмоциональный взрыв, взрыв радости. Штурман Саша (рассказ «Бег времени», 1951) пришла на выставку смотреть картину художника Лаврова. «Она заметила её издали, остановилась, и от волнения ей на минуту вдруг стало трудно дышать...» Всё, что изображено на

картине: и этот вечер, и лодка, и женщина с охапкой осенних веток, — ей знакомо, всё это она вместе с Лавровым видела с палубы своего парохода. Но знакомое на картине обладало непонятной силой. «Саша стояла, смотрела издали на картину, и волнение сменилось у неё неожиданной бурной радостью. «Как всё хорошо! — подумала она. — Даже вот этот мохнатый, ленивый, щекочущий лицо вечерний снег за окнами. Всё, всё!..» Саша совершает открытие: художник, «этот молчаливый и даже неловкий на вид человек», остановил «бег времени». Знакомое, то, что взято из самой жизни, вобрав в себя вдохновенную силу художника, его поэтическое видение мира, став фактом искусства, источником эстетического наслаждения, бросает ответ прекрасного на всё окружающее. Всё вокруг для Саши изменилось. Её состояние передано стилевым строем повествования. Атмосферу взволнованной радости создают восклицания и нагнетание эпитетов («мохнатый, ленивый, щекочущий лицо вечерний снег»). Сцепление эпитетов характерно для эмоционально насыщенного стиля Паустовского. Писателя называют «мастером эпитета». «Ему всего важнее, — пишет литературовед Т.Хмельницкая, — не предметы — существительные и не действия — глаголы, а отношение к предметам — прилагательные. Эпитет в фразе Паустовского — это тот воздух, которым окутан предмет», то есть та атмосфера высокого, романтически приподнятого, которая царит в прозе Паустовского, стремящейся в основе своей быть точной и простой. Именно здесь основа того, что сближает стилистически «гармоническую прозу» К.Паустовского и Б.Зайцева.

Прекрасное в произведениях Паустовского не только волнует и радует, оно возвышает, очищает душу. Ситуация эстетическая у него, как и у Зайцева, перерастает в ситуацию этическую. «При созерцании прекрасного, — пишет Паустовский в «Золотой розе», — возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слёз, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им».

В образе Александра Федосьева (рассказ «Колотый сахар», 1937), собирателя фольклора, воплощена песенная стихия национального характера. Он говорит милиционеру, проверяющему у него документы: «Всё, родимый, надо от сердца делать ... А ты ко мне пристаёшь, кто я да чего. Песни я пою. Такое моё занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу — запою. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел — выходит, сердешный мой, другое, — оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит — плёвый тот народ, нету у него правильного жизненного понятия».

Из уст Александра Федосьева звучит семейная легенда о его деде Прохоре, замечательном

певце. Дед Прохор встретился с Пушкиным «на ярмарке, в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чём гуторили, никому неизвестно, только дед вернулся весёлый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: “От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка, — такой красоты слова — лучше всякой моей песни”. Была у деда одна песня, очень её Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томительным голосом:

Эх, по белым полям, по широким
Наши слёзы снежком замело!»

Деда Прохора и великого русского поэта объединило чувство красоты, чувство радости и грусти, очищения и возвышения, которое пробуждает в душе русского человека народная песня. Памяти Пушкина посвятит свою последнюю песню дед Прохор. Когда, как гласит легенда, вёз он гроб с телом поэта. «Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзло <...>. Тихо кругом, только полозья свистят да слышно, как тесаки стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце, от слёз заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким...

Жандарм его бьёт ножнами в спину, а дед не слышит, поёт. Вернулся домой, лёг, молчит: голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шёпотом. — От сердца, значит, пел, — пробормотал, сокрушаясь, милиционер». Именно он, милиционер, пришлёт старику Федосьеву гостинец, колотый сахар, как бы благодаря старика за его рассказ и песни, сам духовно раскрываясь через отношение к песне. Старику Федосьеву и милиционеру, который оказался сердечно отзывчивым, не чуждым романтического отношения к жизни, противопоставлен «деловой» человек. Автор, не давая ему имени, называет его «толстым равнодушным человеком, стриженным бобриком». Именно он привёл милиционера, чтобы выяснить личность старика, странника и собирателя песен. Человек, «стриженный бобриком», служащий где-то «по лесным делам» и, видимо, считающий себя за человека «государственного», блюстителя порядка, начисто лишён сердечности и отзывчивости. Он и говорил «косноязычно, как бесталаный хозяйственник». Завершают характеристику хозяйственника слова Федосьева: «Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы».

Особую роль в творчестве К.Паустовского играют «рассказы воображения», все они об искусстве: «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Равнина под снегом», «Корзина с еловыми шишками» и др. В беседе с Е.Алексамян на вопрос: «Как Вы смотрите на сочетание в Вашем творчестве столь несхожих новелл, как «Кордон-273» и «Ручьи, где плещется форель»?» — Кон-

стантин Георгиевич ответил: «Они одинаково вымышлены. Только один вымысел реальнее, другой — фантастичнее».

За игру воображения К.Паустовскому немало досталось критики и упреков от советских литературоведов. Но полёт романтической фантазии в них очарователен, на что обратил внимание Б.Зайцев. Вспоминая прочитанное им у Паустовского, Зайцев пишет в некрологе: «То, что я читал, больше автобиографическое, но попадались и прелестные маленькие рассказы — «Старый повар» (не лишено некоего волшебного элемента), казалось бы, автору, далёкому от мистицизма и религии, мало свойственного, но вот поди ж ты...». Вчитаемся в «Старого повара» (1940), ведь в нём речь идёт о волшебной силе музыки, более того, романтическая фантазия позволяет писателю выразить своё представление о вечном, о жизни и смерти.

Рассказ «Старый повар» о Моцарте. Автор указывает точно время и место действия: «В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены...». Но Паустовский исследует не столько личность композитора, сколько воздействие его музыки на слушателя. Исповедуя силою случая умирающего старого повара, Моцарт говорит: «Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души». Исполняя последнюю просьбу покаявшегося Мейера — увидеть любимую Марту, Моцарт садится за клавесин со словами: «Слушайте и смотрите». Струны журчат — и старик видит смеющуюся Марту, прозрачное небо, стаи птиц, цветущие яблони... Пел не клавесин, «а сотни ликующих голосов». И уже юной Марии, дочери старого повара, кажется, что «яблони распустились за одну только ночь». Мария «низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окном, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега».

«Старый повар» — рассказ о колдовстве великого искусства, но он и о силе любви Мейера к жене, к дочери, к жизни. И давая именно такое название рассказу, Паустовский это подчёркивает. Музыка лишь «обнажает» человеческое сердце, человеческую душу, как превращает хлопья снега в весенние цветы... Человек уходит в небытие, но его любовь бессмертна, она «истаивает» в бессмертном волшебстве музыки, в красоте вечной природы... Видимо, именно это и привлекло в рассказе Б.Зайцева.

Отметим, что эстетическое в творчестве Зайцева и Паустовского имеет для писателей и философский смысл: искусство «соединяет» человека с вечным, «выводит» его в бесконечность, хотя происходит это у художников на разной мировоззренческой основе.

Образы из мира искусства, из «чужих» произведений несут в прозе Зайцева и Паустовского ещё одну важную функцию.

Обратимся к рассказу «Мой вечер» (1909). Чтобы выразить своё встревоженно-неопределённое состояние в начале рассказа, предчувствие чуда, «странное настроение», героиня Зайцева «призовет» Тургенева: «... мне хотелось танцевать что-то пронзительное, тургеневское, старый вальс, и, танцуя, заплакать». И потом по пути на бал: «Почему я всё думаю о Тургеневе, Пушкине?». И уже на балу: «...опять меня преследовали литературные воспоминания». Эти воспоминания будут или подразумеваться, когда Наташа назовет мужа Андрея «мой князь», думая, конечно же, о толстовском романе «Война и мир», или станут очевидными, когда она и Андрей будут танцевать-таки старый, милый, «тургеневский», ланнеровский вальс.

И у Паустовского подобную роль в создании определённого эмоционального звучания, в раскрытии внутреннего состояния героя играет деталь из мира искусства. Критик Марк Щеглов сделал очень интересное наблюдение: для создания «повышенно лирической, певучей гармонии» Паустовский использует вкрапление «в сюжетику персонажей, предметов, имеющих отношение к искусству (стеклянный рояль, стих гениального поэта, серёжки, подаренные Чайковским, старинные портреты и легенды о великих артистах), — вообще обилие искусства, культ его». Действительно, прежде чем увидеть Ольгу Андреевну, Кузьмин (рассказ «Дождливый рассвет», 1945) замечает на столе книгу со стихотворением Блока «Россия» и читает:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

В этих блоковских строках — весь смысл рассказа о том, как герой, выполняя просьбу товарища по госпиталю, оказывается в доме Ольги Андреевны. Ему хорошо здесь, ощущение счастья не покидало его в дороге, не покидает и сейчас, а объяснить, почему он счастлив, толком не может. Весь рассказ строится на неопределённом, неуловимом грустно-счастливым настроении, на возникшем внутреннем понимании друг друга случайно встретившихся и тут же расставшихся людей, но... «И невозможное возможно...».

Как видим, и мир искусства в прозе Паустовского играет роль, сходную с ролью в прозе Зайцева.

Эта статья не исчерпывает темы, хотя бы по той причине, что Б.Зайцев и К.Паустовский оставили читателям прекрасно написанные литературные портреты, мемуарные очерки, беллетризованные биографии; привлекали писателей прежде всего люди искусства, им самим близкие и интересные; сходны и принципы воплощения образа художника, например, в зайцевском «Рафаэле» и в «маленьких повестях» Паустовского — «Орест Кипренский» и «Исаак Левитан». Но об этом в следующих работах.

Ирина КУРАМЖИНА

СВЕТ ГОЛУБОЙ ЗВЕЗДЫ

Из предисловия к книге Б.Зайцева «Странное путешествие»

Произведения Бориса Зайцева неторопливо, но прочно занимают своё место в сознании читающего россиянина. Ещё недавно так называемый широкий читатель и не слышал о существовании русского писателя Бориса Зайцева, семьдесят лет верой и правдой служившего во славу Русской Литературы. Это не удивительно: ведь пятьдесят из них прошли вне России, в эмиграции. Сегодня Борис Константинович Зайцев стал для многих любимым писателем: его манера письма — ни с кем не спутаешь! — завораживает; его слово — замечательное русское слово! — проникает в самое сердце читающего и, изящное, лёгкое, а главное — чрезвычайно простое — остаётся там надолго, чтобы время от времени напоминать обладателю сердца, что жизнь сама по себе благо, что красота и тайна её неизменные спутники, что... Впрочем, лучше почитать самого Зайцева; его нравственные позиции внушают настолько глубокое уважение, что следование идеалу автора для вдумчивого читателя почти неизбежно.

Перечень написанного Зайцевым за долгую творческую жизнь велик: романы, повести, рассказы, биографические повествования, эссе, мемуарная проза. «Жизнь переносима только когда работаешь», — навсегда ленивому запомнились слова великого столпника нашего искусства», — пишет Зайцев, вспоминая работу над переводами Флобера. Слова французского классика стали правилом жизни Бориса Зайцева.

В 1902 году Б.К.Зайцев женился на Вере Алексеевне Орешниковой, по первому мужу Смирновой. В 1912 году, когда Вера Алексеевна получила развод, они обвенчались. Прожили вместе, в любви и согласии, шестьдесят три года. Все, кто писал о семье Зайцевых, отмечали удивительный «климат» в этой семье. Павел Муратов, Нина Берберова, Ирина Одоевцева и многие другие современники, как только в круг памяти попадают Зайцевы, непременно вспоминают, как у них всегда «тепло, светло и оживлённо». Тепло, свет и живая сила происходили от любви, озарявшей их жизнь. «Они любили друг друга долго, нежно, страстно... Они непрестанно жили друг другом. И когда в 1957 году Веру разбил паралич (ей тогда было около восьмидесяти), то она ещё много лет жила в параличе — просто потому, что он был с ней, держал её своей любовью (а она держала его)», — пишет Берберова. От этой любви родилась дочь Наташа. Но от этой любви родились и ещё «дети» — романы и повести Зайцева, наполненные тихим, ясным, чистым, мудрым светом. От этой любви родились любимые героини Зайцева — Лизавета («Дальний

край»), Наталья («Золотой узор»). Взбалмошные, полные неуёмной энергии, насмешницы, непосредственные, отзывчивые на чужую боль, лёгкие, подвижные, изящные, «яблонки цветущие», чей покровитель — ветер, они похожи друг на друга, а вместе — на Веру Алексеевну Орешникову. Героиня Зайцева — натура кипучая, увлекающаяся, страстная и вместе с тем в тяжёлую минуту — твёрдая, непреклонная, способная на жертву, на мучение — лишь бы близкому, любимому, страдающему помочь, подставить плечо; в другие времена такие героини всходили на плаху — за любовь, за честь, за веру.

Детьми той же любви можно назвать и любимые символы Зайцева, с которыми, читая его «насквозь», сталкиваешься то и дело, а привыкнув к ним, рассмотрев их незатейливую красоту, от которой душа становится мягче и боль от скрежетания неналаженной повседневности стихает, понимаешь особую силу, которую они имеют и над автором, и над его героями, и, в конечном итоге, над читателем. Один из них — Вега, голубая звезда. «Голубая звезда» — название самой известной, самой знаменитой повести Зайцева. «Вглядитесь в её голубоватый, очаровательный и таинственный свет... Быть может, вы узнаете в нём частицу своей души», — говорится в повести о Веге. Упоминания о голубой звезде встречаются во многих рассказах Зайцева, это его, Бориса Зайцева, любимая звезда. Так же, как и огонёк свечи, не потухающий во тьме, негасимый огонь человеческой души, зовущий, обещающий, манящий... А цветущая молодая яблоня, чьи ветви вольно, радостно кольшутся под пряно пахнущим весенним ветром — этот образ тоже из самых дорогих, самых милых сердцу. Так автор рассказывает о себе: голубая звезда, светящая таинственным светом; цветущая яблоня, «смеющаяся» в солнечный день; огонёк в ночи — огонёк надежды, маячок для тех, кто заблудился, кто ищет помощи, поддержки. Достаточно, чтобы понять: это писатель-друг.

Искренняя, верная любовь, неустанный труд, жизнь по совести, с Богом в душе — вот составляющие бытия Бориса Зайцева, русского писателя. Об этом — все его произведения.

Теперь о другом. Несколько слов о том влиянии, которое оказало творчество Зайцева на современную русскую — советскую, по прежней терминологии, — литературу. Действительно, в число авторов, изучаемых в средней и высшей школе, Б.К.Зайцев никогда не входил. И это понятно. Зайцев — эмигрант. Значило — враг. Да и вообще, чему могла научить молодого человека,

которому предстояло «сказку сделать былью», «не ждать милостей от природы, а взять их у неё», «всё выше, и выше, и выше» стремить полёт крыл, какая-нибудь «Голубая звезда»? Ведь это не «Золотая звезда». Герой непонятно о чём тоскует, героиня и того непонятней: чего-то ждёт, о чём-то плачет. «Действительность в её революционном развитии», как того требовала первейшая заповедь социалистического реализма, само собой, не отражена. И позднее, когда книгочеи вновь обрели сначала Бунина, затем Цветаеву, Ахматову, когда сверкнули — правда, небольшим тиражом, в разном порядке — отдельные издания Пильняка, Ремизова, Мандельштама, о Зайцеве по-прежнему никто не говорил, не предлагал почитать, как, например, Набокова: быстро, тайно, желательно за одну ночь. А между тем...

Многие помнят, как стремительно в конце 50-х взошла литературная звезда Юрия Казакова: «На полустанке», «Голубое и зелёное», «Никишкины тайны», «Манька», «По дороге», «Трали-вали», «Арктур — гончий пёс». О таланте Казакова никто не спорил: талант признали сразу, безоговорочно, как и непохожесть его на других современников, на предшественников. Писали, что Казаков возвращает нас к традициям русского рассказа; что это последний русский стилист (!?); в числе его учителей называли Паустовского; сам Казаков с восторгом отзывался о Бунине, что позволило причислить его к ученикам и последователям Бунина; с придыханием передавали друг другу, что Казаков с упоением читает письма Тургенева. Безусловно, всё перечисленное оказало своё действие на творчество молодого автора, впрочем, в молодых Казаков ходил очень недолго. Но было в его рассказах ещё что-то, совершенно удивительное, никому из молодёжи, окружавшей Казакова, до тех пор неизвестное. «Кабиясы», «Двое в декабре», «Адам и Ева» — рассказы-акварели, рассказы, как любили говорить его недоброжелатели, а их было немало — пропагандистов Бабаевского, Кочетова, Коптяевой, Павленко — ни о чём. Не было в рассказах ни поощрения, ни поучения, ни рецептов правильной жизни. Неверный полусвет утра ли, вечера ли, едва уловимые запахи снега, тумана, росы, речной воды. Едва слышимые звуки, издаваемые засыпающей птицей, деревом, клонимым ветром к земле, ручейком, пробивающим дорогу в первом снегу. Низкое облако над серой холодной морской пучиной, пронзительно жёлтые лиственницы, камни и песок древнего беломорского побережья... Нет, это не Чехов, не Бунин, не Паустовский. Это Казаков. Хочется вспомнить его суждение о русском рассказе, об отличии его от западной новеллы. Своего рода художественное кредо писателя. «Сюжетная линия его (русского рассказа. — *И.К.*), как правило, тщательно затушёвана, как бы убрана вовнутрь, и очень часто на первый взгляд в рассказе ничего не происходит. <...> Когда писатель почувствует вдруг необычайность повседневной жизни, если у него дрогнет сердце от вида какой-нибудь осенней лужи

или от синего клочка неба в серых тучах, если тут же нахлынут на него воспоминания о счастливых или несчастных днях, минутах, пережитых им, его близкими, если ощутит он вдруг связь времён и братство людей и захочется ему обо всём этом рассказать и если есть ещё у него талант, чтобы рассказать об этом хорошо, тогда сразу явятся и герои и заговорят с ним, и покажут ему свои лица и души — тогда и получается настоящий рассказ — не для вагонного чтения, не нуждающийся в остром сюжете или ловкой композиции». Вот в соответствии с этим кредо он и работал. Через много лет, когда и Юрия Казакова не стало на свете, пришли к нам книги Бориса Зайцева. Первые восторги миновали, настали дни серьёзного чтения. При «погружении» в его прозу неожиданно возникало чувство, что это когда-то читано. Чувство не давало покоя, не сразу, но вспоминался Казаков. И больше не уходил. Всё присутствовал здесь, среди зайцевских страниц. «Необычно любовное, ликующее и тесное — теснее нельзя — приближение к природе и человеку, которого хочется благословлять уже за то, что он живёт и дышит: вот что у Зайцева, — пишет Ю. Айхенвальд, влюблённый в Зайцева исследователь. — Вот Ока легла «вольным зеркальным телом, как величаява молодка. И от неё ветер уже не тот — древний, спокойный, великий ветер» — так сказал Зайцев, и сразу раздвинулись от Оки перспективы в мир, в пространство, в вечность. <...> От нас идёт бездонное: это глубоко чувствует Зайцев, и оттого он молится космосу, молится солнцу. <...> В наше старое и усталое время Зайцев смеет, умеет восторженно идти навстречу вечно молодому солнцу с игрою всех его многообразных освещений». Если не знать, что это Айхенвальд в девятисотых годах говорит о молодом писателе Зайцеве, можно представить, что речь идёт в шестидесятых о Казакове. «В дымке ненавязчивой меланхолии движутся тени и силуэты Зайцева. Дыхание «земной печали», светлой печали испаряется от его страниц, и как бы ложится на них голубой свет месяца — «небесного меланхолика: бледный, тонкий он напоминал агнца». И на этом фоне — Россия, Москва ему любезная, сколько раз им тепло и ласково воспетая, Москва в «тихом мрени куполов золотых», улица святого Николая — Арбат, русская деревня, «благоухание, данное Господом Богом мужицким полям», лес с брусничкой и черничкой; тянет с поезда, из вагона, где собралась «простенькая, ситцевая Россия», — в лес; если бы пойти в него, «он был бы полон весеннего шума вод: малые ручьи шуршали бы мягко, а вдали, как чудесный аккомпанемент басов, гудели бы голоса великих вод». И всё это веселее, но вечернее образует «меланхолически уходящий пир природы». Как тут не вспомнить знаменитые рассказы Казакова «Плачу и рыдаю» и «Осень в дубовых лесах»?

Читал ли Казаков Зайцева? Может быть, и читал, а может быть, и нет. Знал ли он о его существовании? Казалось, не мог не знать. Не то, чтобы заимствовал. Люди таланта Казакова не

заимствуют: им это не надо. Следовал литературной традиции. Продолжал её. Скорее всего — интуитивно. Природа не хочет, чтобы традиция была прервана. И являет миру последователя. Такое было ощущение, от литературоведения далёкое. А однажды по радио зазвучал голос Казакова: негромкий, прерывающийся. «А вот интересно, как вы с ним увиделись здесь, в эмиграции уже, в Париже? И где вы с ним увиделись?» — спрашивает он собеседника. И старчески слабым голосом, как-то не по-нашему произнося слова, но чётко, собеседник отвечает: «Видите ли, увиделся я с ним в первый же день, как я приехал из Италии сюда». С кем же это Казаков говорит? Оказывается, передавали запись беседы Юрия Казакова с... Борисом Зайцевым в Париже в 1967 году. Речь шла о Бунине. Казаков собирал материал для книги о Бунине. Позднее в журнале «Новый мир» (1990, №7) удалось эту запись прочесть. Называется публикация «Жили, собственно, Россией...». В заголовок были вынесены слова Бориса Константиновича Зайцева. Вот и замкнулся круг: Казаков знал Зайцева, более того, был лично знаком.

Один ли Казаков работал в зайцевской традиции? Конечно, нет. Вслед за Казаковым в литературу вошёл молодой прозаик из Новосибирска Виктор Лихоносов. Первая книга называлась «Голоса в тишине». (Помнится, всё тот же Айхенвальд, анализируя прозу Зайцева, упомянул эти «голоса в тишине».) Вступительную статью написал Казаков. В той же манере работал Георгий Семёнов, Виктор Конецкий, Глеб Горышин, ещё немало число литераторов, авторов так называемой лирической прозы. Нелепо бы было думать, что прозу Зайцева не читало и старшее поколение. Итальянский литературовед Этторе Ло Гатто, посвятивший свою жизнь изучению русской литературы и популяризации её в Италии, в книге «Мои встречи с Россией» пишет: «Как-то писатель (Зайцев. — И.К.) обратил моё внимание на слова, написанные о нём в 1958 году русским советским писателем Константином Паустовским, побывавшим у него в Париже. Паустовский написал, что среди книг, из которых он черпал душевное спокойствие, наряду с «Вешними водами» Тургенева, «Тристаном и Изольдой» и «Манон Леско», была «Голубая звезда» — одна из самых чарующих повестей Зайцева».

«В доме Армянских, кораблём вздымавшемся на углу Спиридоновки и Гранатного, позже мы жили. Над переулком свешивались ветви чудесных тополей и лип особняка Леонтьева. Недалеко от нас дом Рябушинского, с собранием икон. Недалеко и церковь Вознесения, где Пушкин венчался, — белая, огромно-плавная, с куполом небосводом», — с особенным удовольствием, с любовными дета-

лями пишет Зайцев в «Москве». На углу известных московских улиц Щусева и Алексея Толстого действительно стоит дом-корабль. Здесь, в квартире молодого писателя Бориса Зайцева и его молодой жены Веры Алексеевны, когда-то кипела, бурлила жизнь. Гремела музыка, литераторы читали свои произведения, танцевали, пели, дурачились. Молодость... Именно здесь познакомились Иван Алексеевич Бунин с гимназической подругой хозяйки Верой Муромцевой, ставшей очень скоро его женой. Здесь берёт начало и этот знаменитый роман — роман о бескорыстной любви, верности, служении долгу — трагический роман о Вере и Иване Буниных. Вообще дом-корабль, живописный сам по себе, Никитские ворота, улица Качалова, Скакертный, Столовый, Хлебный, Кривоарбатский, Ново-Песковский переулки, Гоголевский бульвар, улица Воровского, улица Метростроевская — этот район Москвы всегда был привлекателен для романтически настроенной молодёжи, всегда храня в себе немало тайн, всегда вон там, за ближайшим поворотом обещал необычайное. Вот здесь жила юная Марина Цветаева с молодым мужем Сергеем Эфроном; по этому тротуару шла с жёлтыми цветами в руках, в чёрном пальто, весенним днём булгаковская Маргарита, здесь увидел её Мастер; вот этот дом описан в бунинском «Мордовском сарафане»; здесь подрастал золотоволосый Боря Бугаев, будущий Андрей Белый; на этом бульваре познакомились герои романа Ивана Шмелёва «Пути небесные»; здесь был дом зловещего Берии; здесь стоял храм Христа Спасителя...¹

Но времена меняются. Дом-корабль стоит теперь, как и следует, на углу Гранатного и Спиридоновки. Гоголевский бульвар вновь стал Пречистенским, поблизости шумят Пречистенка и Остоженка, Поварская, любимая героями зайцевской «Голубой звезды». Церковь, в которой венчался Пушкин, омывается теперь Большой и Малой Никитскими. В положенные часы плывёт над московскими улицами не вполне ещё привычный колокольный звон. А на месте бассейна «Москва», храма физического здоровья горожан, вновь поднимаются стены храма Христа Спасителя.

Деревья на бульварах, описанных Зайцевым с любовью и пристрастием, сбрасывают листья, чтобы новой весной опять зазеленеть. Новые дети, как птицы, щебечут на старых дорожках, нежно звеня ведёрками и лопатками. Небо над Москвой, как бы не пугали нас учёные-экологи, бывает и ясным, и безоблачным, и бездонным, и ослепительно голубым. «А небо всё-таки сияет над вечною моей Москвой», — строка принадлежит такому же страстному московскому жителю, как и Зайцев, Владиславу Ходасевичу, разделившему с Борисом Константиновичем печальную участь изгнанника.

¹ Район Никитских ворот отмечен особой печатью и для К.Г. Паустовского. Здесь, в Гранатном переулке, он родился, неподалёку был крещён — в Георгиевской церкви, здесь же едва не потерял жизнь во время октябрьского переворота 1917 года. (Ред.)

Константин ШИЛОВ

искусствовед, литературовед

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА

О Борисе Зайцеве и его книге «Дни»

«**П**оследний писатель Серебряного века» Борис Константинович Зайцев продолжает своё возвращение на родину. Вслед за художественной и биографической прозой пришёл черёд дневников и очерков. «Дни» создавались более трёх десятилетий. Издание состоит из двух разделов: в первом — дневники периода второй мировой войны (1939–1945), во втором — 87 очерков из парижской газеты «Русская мысль» (1947–1972). Они впервые собраны вместе и в полном объёме.

Здесь невозможно сказать о многом (например, о новизне для нас взгляда изнутри — на трагедию военной Европы и оккупированного Парижа, о русской эмиграции как «драме и школе смирения», о духовном созвучии русской, итальянской и французской культур...). Это только часть попутных писательских и читательских заметок, в чём-то неизбежно личных...

Образ такой книги властно входит в душу, закрепляя в памяти все обстоятельства её первого чтения. И во многом зависит от них. Зайцев эту тайну чувствовал поэтически тонко. Вспоминал и в старости даже время дня и погоду в миг открытия им своего любимого автора. (Об одном из таких случаев — признание: «Чтение это было особенное: скорее жизнь в книге...») Недаром в «Днях» он дважды рассказывает о незабываемом мальчишеском открытии тургеневской «Первой любви». О золоте утра, ложащемся на страницы Владимира Соловьёва, когда в окно вливается рассветная летняя прохлада, а там, за окном — идут косари...

В декабре 1995 года обстоятельства погнали меня в дорогу, и я взял с собой недочитанные «Дни». Как читался Зайцев в пути! Я не замечал выстуженного вагона электрички. Оказалось, я еду зимней русской зайцевской дорогой! Вот — Царицыно. Вот — Бутово (где навечно остались для Зайцева цветущие луга, черноглазый молодой Леонид Андреев...). Читаю смиренномудрого и чистосердечного старика, там, в Париже, нравственно продолжившего линию древнерусских авторов и иноков-летописцев. Тихо преобразившего в Свет духовный всю полынную горечь эмиграции («Полынью пахнет хлеб чужой...») — это Анна Ахматова). Вот же оно, подлинное и доступное счастье: несмотря ни на что — ты жив, ты — в России и можешь поехать в Сергиев Посад, в Мелихово к Чехову, а это — опять же Зайцев... Ехал же я на денёк в Тарусу.

Да, конечно, «голгофская страна» (вздых Зайцева), опять — «смутное время». Извечная русская жизнь с её пестрядью, заботами, гвалтом. Все лезут в автобусы с поклажей — кто до Протвина, кто —

до Серпухова. Взбаламученный муравейник, орущий транзистор... А рядом — тишина, стук дятла на берегу Оки. Два мальчика бегут с пешней к реке. Мужички сгорбились на подлёдном лове. Хмуро, тепло, снег проседает под ногами. И над Окой, над фигурками рыбаков — как будто и не было советских разгромных лет — старинно и уже привычно наплывает густой, звонко-крепкий благовест. И я, с зайцевскими «Днями» в сумке, идя по любимой им калужской земле к заснеженной могиле художника Мусатова, подумал: как порадовался бы Зайцев этой картине и этому звону!

Остановился я у своего друга — старенькой и больной Анны Дмитриевны, в комнате, где много раз сживал за самоваром сердечно из Парижа Зайцевым отмеченный Константин Георгиевич Паустовский, сосед и приятель покойного мужа моей хозяйки. Хотя взаимная добрососедская их приязнь возникла не по близости домов — по одной общей улице, а главное — по стечению обстоятельств: «Женю моего в давние ещё годы с работы из школы уволили... За то, что ребятишек по их просьбе в церковь завёл: показать, как там красиво. Ну, он стал строителем. Работал в райстройучастке. Лес заготавливал. Паустовскому помогал домик отстраивать и потом ему ремонты делал...». От дома Анны Дмитриевны с высокого, «гористого» конца этой улицы далеко внизу видны ворота дома Паустовского, замыкается на них крутой уличный спуск в сторону речки Таруски...

Так и не пришла в себя за три года — после утраты любимого мужа — Анна Дмитриевна. Тепло и согласие в их доме радовали Паустовского: нет-нет и заглянет на огонёк. «Аннушка, нельзя ли чайку?» — спрашивал он хозяйку. «Береги жену, она у тебя — золото», — запомнились ей его слова. И в точности этой оценки Константина Георгиевича выпало мне счастье убедиться самому. Повязав с утра седую голову цветным шерстяным платком, в пёстром байковом халатике, после хлопотных дел, устроится Анна Дмитриевна напротив меня на диване и, горестно подперев щёку правой рукой, что-нибудь да расскажет о былом (а уж я следом — слово в слово — запишу):

«Садился Константин Георгиевич всегда на это место у окошка, где вы сидите, на этот самый стул и всё на улицу поглядывал: не идёт ли Вагагин?..» (Через дорогу, но чуть ниже жил знаменитый скульптор-анималист, академик, знаток природы и животных.)

«Евгений Михайлович мой, инвалид был с войны. Таких, как он, израненных, только трое было в Тарусе. Вот он и говорит Паустовскому: «Видите, как я ранен, и в ноги, и в руки... Я не жилец, скоро

умру». А Паустовский — ему: «Евгений Михайлович, все мы там будем, и все мы не вечные жильцы. Мы здесь в гостях. И я не жилец. А если выживу — займусь с вами пчёлами...». — «Пчёлами не всем полезно, — возражает Паустовскому мой Женя, — не все их могут переносить». А тот ему отвечает: «Я уже пробовал, у меня организм выносит. А как у пчёл всё мудро устроено: есть среди них «танцовщица», «разведчица», «мама хорошая»... А покажите мне ещё ваших «зайчиков»...» Любил он на них смотреть! Смотрит и говорит: «А ведь они все вас знают...». Тут шёл подробный пересказ одной из давних бесед писателя с хозяином дома, фронтовиком-инвалидом: и про пчёл, и про кроликов, и про всё его хозяйство. А потом опять возвращались к теме печальной и вечной. У мужа Анны Дмитриевны мать была очень старая, любила вспоминать жизнь «до 17-го года». «Паустовский очень её любил. Она была неграмотная, всего два класса кончила, но знающая. Было у неё такое желание, чтобы всё запомнить... Как-то спрашивает её Паустовский, а сам улыбается:

— Вот вы, Пелагея Фёдоровна, не выбрали для себя уютного местечка для покоя?

— Нет, — говорит, — я не собираюсь пока умирать.

А Константин Георгиевич в ответ:

— А я себе уже подобрал. На «острове», у дуба, и дал такое указание...» (Островок тот — зелёный мыс на местном кладбище, над обрывом — в сторону Таруски. Выбор же тот и мечта Паустовского, чтобы по-лермонтовски, над ним, «вечно зеленея, старый дуб склонялся и шумел», — опоганены теперь местными хулиганами, которые этот могучий дуб сожгли...)

Все эти встречи-беседы (память о них ещё как-то держала Анну Дмитриевну на земле в её осиротелости) пришлось как раз на те самые годы, когда приезжал Паустовский в Париж и уже не в письмах, а лично пообщался там с Борисом Константиновичем Зайцевым, написавшем о нём две статьи, ныне помещённые в «Днях». Снимки этих встреч 1962 года сохранились.

«А мне кажется, писатели все добрые, — поделилась со мной Анна Дмитриевна. — Паустовский знаменитый человек, а ходил, как простой, он всем интересовался, он всю жизнь взвешивал — я так понимаю!» «...А я скоро умру, Владимирович», — спокойно сообщила она мне.

И вот — сбывалось... Всю ночь в домике, ставшем мне родным, за дощатой перегородкой читал я Зайцева, моля, чтоб не в эту ночь преставилась тарусская «баба Аня» (вошедшая и в личную мою судьбу — тем, что благословила и по-народному пронизательно предсказала мне семейное счастье...). Я читал «Дни», а она задыхалась и выживала. Вот — виток моего читательского сюжета! И Зайцев в ту ночь озарил меня пониманием, что моя «Дмитревна» и есть персонаж прозы Паустовского и всей русской литературы, тип уходящий и сердечный. Недаром в про-

стом том доме — добротная на этажерке подборка книг, где найдёшь и Гончарова, и Тургенева, и Чехова, и Писемского... (А книги Паустовского с дарственными надписями, как и надписанная им его фотокарточка, не сохранились: иногда жили у тоскующей старой женщины квартирантки, разные девочки-студентки...)

«Дни» я вскоре — уже в Москве — дочитал, а через двадцать дней Анны Дмитриевны Борисовой не стало. И я, приехав опять, засыпал её под тенистым навесом сосновых ветвей глинистой тарусской землёй — где-то в ста метрах от могилы Паустовского. Как далёк бережок речки Таруски от Сент-Женевьев-де-Буа! Но и это была — встреча с Зайцевым. Никогда не забыть мне теперь, как читал и дочитывал книгу «Дни»...

Мой удел (так сложилось) — жанр биографический. Накопив малый, но свой опыт, я убедился, что это, в сущности, жанр воскресительный, дело почти «религиозное». Тут — минимум домысла, а вымысел — куда беднее, подчас, реалий, и потому здесь должна быть особая, я бы сказал, «детерминированная поэтика». И вот читаю в «Днях»: «Писание биографий есть нечто вообще смиряющее... Писатель очень привык с собою носиться. Биография же учит смирению». Да и творчество писателя-биографа, по Зайцеву, акт религиозный, связующий живых и мёртвых, нас — с Петраркой и Данте. Вот оно, «эталонное» для меня, понимание сути и цели любимого жанра!

А проблема «со-избранности» автора и героя биографического повествования! «Вот это — моё, могу, а «вот то» — не моё, ничего не выйдет», — пишет Зайцев. И автобиографически, исповедально «оправдывает» далёкого и «одностороннего» Паустовского в его «неволе», которому «просто природно не дано писать о зле». Потому-то и Зайцеву, по его словам, писать о нём интереснее, а не о Панфёрове и Фадееве...

И в любовно избранной, вневременной духовно-бытийной рядоположенности: Преподобный Сергей — Жуковский — Тургенев — Чехов... (все герои его книг!) — Зайцев определяет место и себе по ряду признаков. В чём же уроки этого человеческого «типа»? Да хотя бы в том глубоком смысле, какой схвачен древней формулой Лао Цзы: «Быть мягким — значит сохранять крепость».

Отсюда — наблюдение, где явны зайцевские истоки от Сергея Радонежского. Поразительно связана у Зайцева религиозно-созерцательная отстранённость с глубокой исторической прозорливостью. Вообще важно отметить в «Днях» эту глубинность зайцевского взгляда на политическую историю XX века. Весь мир ликует при победном финале второй мировой войны, но не Зайцев. Разве победили силы Добра? Разве забыть страшную

¹ Это понятие «соизбранности» (применительно к биографическому жанру) принадлежит В.И.Порудоминскому, автору многих известных биографических книг.

цену победы? Просто окончен «шестилетний спектакль», одержана победа «учителей» — русских большевиков над «зарвавшимися учениками» — европейскими фашистами. И всё это увидено из Парижа задолго до откровений Василия Гроссмана в его «Жизни и судьбе»! Но не только нет у писателя слепого ликования — не одобряет он, «по человечеству» вообще, инстинкты толпы: изуверскую казнь Муссолини и Клары Петаччи, травлю старика Гамсуна...

Ещё одна задушевная и больная проблема: свободы и не-свободы. С симпатией ко всему обнадёживающему, что доходит из СССР, — лёгшей, увы, как обоюдоострый меч между ним и старым другом Буниным (ведь в том СССР затаилась Россия, есть не очень-то советские Пастернак и Паустовский...), — Зайцев повсеместно отмечает живущую там, в условиях несвободы — пушкинскую «тайную свободу», к которой взывал умирающий Блок. «Тайная свобода»... Исконно русский путь! С каким волнением и гордостью за родину говорит Зайцев о пастернаковском опыте восхождения на евангельскую Голгофу. Нет, не тут, не в «свободном» мире Зарубежья такое происходит. «Труба эта раздалась в России!»

Поразительны данные нам уроки благоволения и милосердия — там, где, помянув трагическую участь своего поколения (Муратова, Гершензона, Цветаевой и других), Зайцев, к примеру, дважды — как он опять говорит, «по человечеству» — тревожится за судьбу далеко ему и не близкого писателя Константина Симонова, за его возможную духовную гибель в условиях тоталитаризма. В диапазоне сердечного внимания Зайцева — огромный мир родной словесности: от памяти о Чехове и Блоке — до живых Евтушенко и Виктора Некрасова... «Дни» Зайцева как зеркало судеб русской литературы — тема особая!

А как прекрасны плохо усваиваемые в сегодняшней России и в среде творческой интеллигенции зайцевские уроки покаяния! Через полвека старый писатель просит прощения у поэта Николая Гумилёва, которого в своё время недооценил и даже расстрел его в 1921 году остро не воспринял. Как часто пишет Зайцев о вине своей, о «нас», не понимавших ни жизни страны, ни её «низов». Как далеки мы от подобного... Подмечая «утомительное» русское «бахвальство», какое нас не раз подводило, Зайцев тихо замечает в «Днях»: «Я хотел бы горсточки скромности моего народа».

Вот без этого-то «патриотического» бахвальства сквозит у Зайцева кое-где мысль, что там, на свободном Западе, зачастую литература — это искусство (добавим: или — «игра» в него), а в России голгофской литература — это Жизнь. Говоря о книге Зайцева, неизбежно говоришь о своей жизни...

Одним из поразивших меня в этой книге «зеркальных отражений» стало наглядное ясное уразумение нашей генетической катастрофы. И трагедии, случившейся с нашим «аппаратом восприятия» русской классики. Кровная, «домашняя» связь Зайцева

со всею русскою литературой (он это с радостью везде припоминает) у нас, советских школьников и студентов-филологов, оказалась рассечена ещё в родителях. Живое тело и душа литературы расплющены были пролетарским молотом, нарезаны на положительные и отрицательные образы и типы. Вытекла кровь из этих образов. О, если б дали нам — по Зайцеву — такое итоговое сравнение вершинных романов Толстого и Достоевского! Объяснили бы, что «Записки охотника» как любимая книга Александра II способствовала падению рабства в России! «Дни» Зайцева вызывают к восстановлению — в нашем уже потомстве — разрушенного родства.

Недаром дважды на пространстве книги возвращается Зайцев, не помня имени автора, к итоговому постулату замятинского «Я боюсь...». Видно, что и Зайцев боится, и не злорадство — тревога кольнула сердце писателя-изгнанника: не прервалась бы ниточка родной словесности. Всюду Зайцев — негромкий и неотступный печальник за непрерывность её судьбы.

Два-три примера того, как затрагивает Зайцев горячие проблемные круги, по каким кружит и поныне русская жизнь.

Вот он в отклике на книгу М.Цетлина говорит о декабристах, оголтело объявленных сегодня «позором русской истории». А это — «часть жизни каждого, часть истории моей страны, значит истоков моей жизни... Для нас всех важное «что-то» начинается с декабристов... Это была драма, где «все правы «по-своему» и все несчастны...».

Вот он пророчески роняет что-то о возможной в будущем «американизации», то упоминая грандиозное здание МГУ, то утверждая непревзойденность «противохудожественной» поэтики Достоевского — с её «шахматными ходами» — «даже в том случае, если Россия обратится в скучно-благополучный русско-американский муравейник».

Вот — острая проблема в связи с современным возрождением церковной жизни, в намётках — в очерке о митрополите Евлогии она дана как перевес «стихийного, утробно-русского начала», которое в православно-обрядовой форме «забывает» подчас «высший христианский идеал»...

Ключевое, любимое Зайцевым слово — во многих местах его книги — определяет и драгоценную её особенность. Слово это: «излучение». Излучение чистой души. Излучение светлого духа. Излучение добра... Недаром, читая книгу, вспомнил я посмертную маску Пастернака, увиденную на юбилейной выставке в дни его 100-летия — с как бы исходящими из-под ресниц лучиками света на спокойном лице. Это не примерилось. Это было *то*, что Зайцев увидел там, в Париже, и благословил оттуда тихое Переделкино.

Книга — о «днях», буднях... Но духовная высь её — торжественна. «Русское» в ней — воздух, свет, простор. В словесной материи Зайцева много этого света и простора. Слово и смысл не теснят друг друга, не толпятся, но — совпадают, как река и берега.

И как над высоким берегом Оки покойно и хорошо дышится — вот так и сидишь над страницами Зайцева. При «питательности» текста — легко от свечения невесомой словесной фактуры. Как по Заболоцкому, пред тобой тихо «горит весь мир, прозрачен и духовен»...

И ещё — как продают в наши времена чистой питьевую воду, так и о «Днях» можно сказать: при словесных плевках в быту, при мутном слове с телеэкранов и новоязе похабных книг-мутантов «новейшей» литературы — зайцевское Слово — не «дициллят».

Это — экологически чистое слово. Экологически чистая русская речь в её природности.

Много можно бы сказать о мастерстве зайцевских портретных очерков. Иногда — они строятся как «двойной портрет» для большей стереоскопии мысли (Л.Андреев и Горький, Гамсун и Горький, Толстой и Достоевский, Гумилев и Козлов...). Чаше же это, по зайцевскому слову, «узор судьбы» отдельной. Опять того же Л.Андреева, или П.Муратова, или Петрарки...

Тут поразительны и незабываемые свежие «формулы»:

Сергий Радонежский — «слегка суховат, прохладен... Святой плотник с благоуханием смол русских сосен».

Лев Толстой — «крепкий и ветвистый, вековой».

Леонид Андреев — «натура мягкая, мечтательно-славянская и легкоплавкая».

Проза Пастернака — «крупнозернистая и шершавая».

«Голубоватая тишина писаний» Тургенева.

Эстетическая радость от «Дней» так велика, что в ней можно купаться, как в освежающей реке.

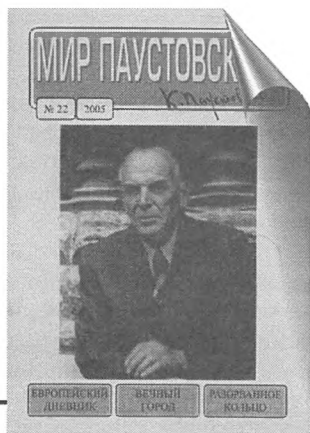
Отдельный разговор — об открытиях в психологических этюдах к портретам великих писателей (чего стоит неоднократное раздумье о чеховских «подземных катакомбах и христианском роднике», стыдливо скрываемых позитивистом и врачом!).

Отраднo в столь безутешной и как бы глобально идущей на убыль жизни, без твёрдой опоры в себе и дне завтрашнем открыть эту книгу. Что будет с Россией и миром на безбожно окровавленной нами грани двух веков и двух тысячелетий? Ведь опять, по слову Зайцева, «в виде репрессий за «вольных стрелков» целые города сносятся... с лица земли... За грехи и преступления властимущих отвечают грудные младенцы...». Зайцев и его «Дни» зовут нас «сохранить, передать более мирным и счастливым поколениям образ России — не звериный, но истинный». «Наша» страна вспомнила вековое наследие. Не к лицу ей палачество. Это для других, кто попроще...»

Да, поистине «Благой вестью», утешением и надеждой, уроком и предостережением стало для нас новое ободряющее рукопожатие «оттуда» чудесного старого мастера русской прозы!

Ныне, перефразируя, перевёртывая отчаянное блоковское «Но не эти дни мы звали», сказать можно так: звали мы в Россию именно эти запечатлённые Борисом Зайцевым «дни», чтобы найти в них ответы на сегодняшние беды и недоумения.

Зайцевские «Дни» отныне входят в наш день.



ДОРОГА В МИР

Питер ГЕНРИ

*доктор славистики,
профессор славянских языков и литератур
университета Глазго*

«ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ» В ВОСПРИЯТИИ АНГЛИЧАН

До появления многотомной автобиографической «Повести о жизни» в английском переводе (первый том вышел в 1964 году) имя Константина Георгиевича Паустовского было известно только малому кругу университетских и школьных преподавателей русского языка и литературы. С его творчеством я познакомился впервые в конце 50-х годов в Москве на летних курсах для британских преподавателей русского языка. На занятиях мы читали его рассказы — «Снег», «Телеграмма», «Старик в станционном буфете» и другие. Рассказы нас привели в восторг не только своими художественными достоинствами, но также тем, что, по нашему мнению, может быть ошибочному, они представляли новое направление в советской прозе. Я до сих пор помню то растущее изумление, с которым мы читали эти трогательные рассказы с их явным романтическим налётом и оттенком сентиментальности. Они поразили нас своей человеческой чистотой и спокойным мастерством. В условиях «холодной войны» мы не ожидали увидеть рассказы о человеческой любви, об уважении к женщине — не как к товарищу в борьбе за победу социализма, а как к «гению чистой красоты», воплощению возвышенного идеала, предмету робкой, искренней любви. Рассказы Паустовского явно не входили в рамки соцреализма. Главным достоинством его произведений нам показалось умение писателя раскрывать интимный внутренний мир любого человека, зачастую незначительного, выдвинутого на литературную сцену независимо от того, какую пользу он приносит обществу. Подобно Чехову, Паустовский, очевидно, был внимателен к неудачникам. Трактовка такого скромного героя, лирическая интонация повествования были для нас тогда приятной неожиданностью, ведь до этого нам довелось читать немало романов, в которых этому

не всегда уделялось достаточное внимание. Герои в подобных произведениях — рабочие и колхозники — выглядели как ходячие идола. Прежде всего мы сумели оценить ювелирную работу писателя над формой своих произведений, точность и выразительность языка. Нас поразило, например, умение Паустовского так выписать мелкие жизненные детали, что они, не теряя своей бытовой достоверности, окрашиваются лирикой, но в то же время расположенные в определённой системе несут существенные художественные функции. Для Паустовского форма и язык произведения не менее важны, чем его содержание. Так этот неизвестный для нас писатель предстал перед нами как тонкий стилист, как один из лучших в русской литературе мастеров короткого рассказа.

До выхода в свет шеститомного собрания сочинений К.Г.Паустовского (1957–1958) писатель был, как мне кажется, мало знаком широким массам советских читателей, а его творчество до этого времени не привлекало к себе большого внимания критиков. На него тогда смотрели как на безусловно талантливого беллетриста, известного узкому кругу читателей, субъективного, зачастую сентиментального писателя, романтика, который избегает серьёзных вопросов современности, рассказывает о случайных встречах с разными любопытными, чудаковатыми людьми. Такие произведения, как «Кара-Бугаз», конечно, прочно установили его репутацию среди юных читателей. Но о нём и тогда, и вплоть до смерти писателя не упоминалось в основных учебниках советской литературы для школьников. Такое впечатление относительного невнимания к творчеству Паустовского подтверждается библиографией изданий его произведений и литературы о нём до середины 50-х годов.

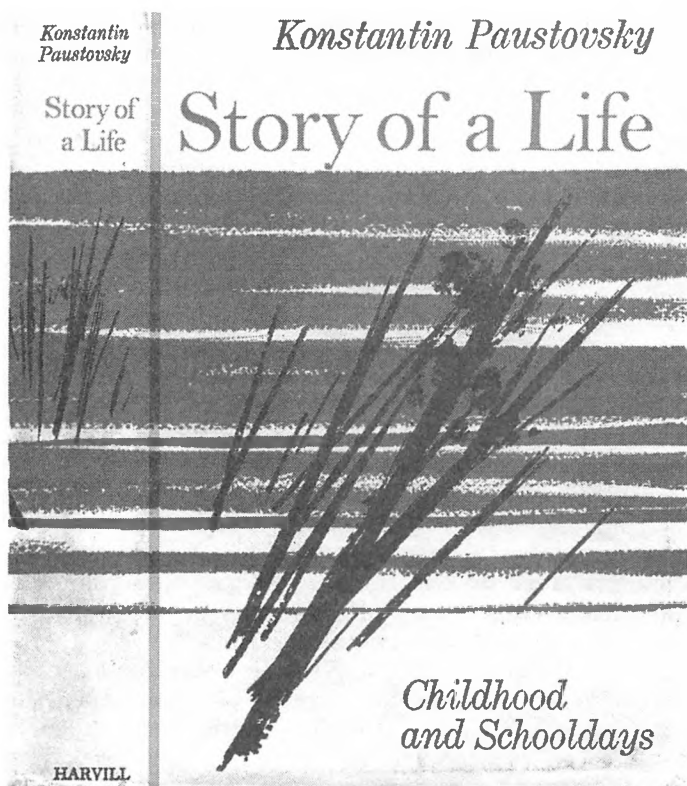
Но в середине 60-х годов отношение к творчеству Паустовского и его месту в русской советской литературе резко изменилось к лучшему. Именно тогда возникла громадная популярность писателя, сопровождаемая всеобщим уважением к нему как к одному из крупнейших представителей русской советской литературы. Каждое новое издание его произведений, часто напечатанных огромными тиражами, моментально распродавалось, становилось библиографической редкостью. Любый советский гражданин, с которым мне приходилось говорить о Паустовском (водители такси, официантки, горничные, проводники в международных поездах), читал его сочинения, говорил о нём с любовью, с большой теплотой. Тогда в критических и литературоведческих работах стали меньше говорить о нём только как о последователе романтического направления Александра Грина. В статьях, монографиях изучалась художественная манера Паустовского, его называли одним из лучших пейзажистов русской литературы, тонким стилистом, достойным продолжателем традиций Аксакова, Тургенева, Чехова, Бунина, Горького. И действительно, богатое разнообразие его художественных приёмов, меткий реализм, безошибочное владение самыми различными пластами народной речи позволяют поставить его рядом со многими из крупнейших русских писателей прошлого.

В 1961 году мне предложили перевести его рассказ «Телеграмма» (вместе с «Ухабами» Вл. Тендрякова, «Судьбой человека» М. Шолохова) для сборника новейшей русской новеллы в серии «Зимние рассказы» издательства Макмиллана. Редакторами сборника были Чарлз Сноу (близкий друг М.А. Шолохова) и его жена, писательница Памела Хансфорд Джонсон. Антология, в которую вошли также рассказы А. Твардовского и С. Залыгина, имела успех у британских читателей. На сборник было написано много рецензий, о нём шла дискуссия по радио Би-би-си. Критики большей частью хвалили антологию за то, что она показывает разнообразие русской советской прозы; они писали о мощной силе «Судьбы человека», о драматичности рассказа Тендрякова, о мягком лиризме «Телеграммы» и её художественной сдержанности, за которой ощущается упрёк в адрес дочери, забывшей в суете повседневных, хотя и важных, общественных дел об элементарном долге перед старухой-матерью.

Но было бы неверным считать, что антология сделала Паустовского широко известным среди английских читателей. Ранее уже появились переводы двух других его сочинений: «Кара-Бугаз» и «Золотая роза». Однако выход в свет того и другого произведения прошёл почти незаметно. О первой публикации не сохранилось даже выходных данных, а заметки о литературном труде, включённые в «Золотую розу», представлялись англичанам как высказывания неизвестного советского автора, творчество которого,

очевидно, ограничивалось такими рассказами, как сама легенда о золотой розе, которая воспринималась как вещь слишком сентиментальная, даже надуманная. Следует сказать, что самые интересные главы, как, например, «Алмазный язык», адекватно перевести фактически невозможно.

Однако с выходом в свет в 1964 году превосходного перевода первой части «Повести о жизни» («Далёкие годы») положение резко изменилось. Это произведение привлекло внимание всех ведущих наших газет и журналов. Я не помню, чтобы о какой-нибудь иностранной книге (за исключением пастернаковского «Доктора Живаго») было напечатано столько отзывов — к концу года у нас в стране появилось свыше 25 статей и отзывов об этой книге и о её авторе. Были отклики и в странах Британского Содружества — например, в Йоханнесбурге, в Булавайо (Родезия) и Дели. Константин Паустовский ворвался в английскую культурную жизнь не совсем как «огненно-рыжий художник Гоген, который в Лувр попал не сквозь главный порог — Параболой, гневно пробив потолок!», хотя и с мощью, подобной образу Вознесенского, — но именно сквозь пороги престижных английских органов печати. Все отзывы, помещённые в них, за исключением, если я не ошибаюсь, одного, были только положительными. Рецензенты приветствовали «Повесть о жизни» не только как одно из лучших произведений русской советской литературы, но и как книгу мирового значения. Появились и серьёз-



«Далёкие годы» К. Паустовского на английском языке (Harvill Press, 1964). Из архива Музея-центра К.Г. Паустовского (Фонд Леннарта Магнуссона, Карлштадт)

ные разборы этой автобиографической повести, содержащие анализ творческого метода писателя. Все критики сходились на том, что Паустовский сумел воспроизвести «далёкие годы» детства и юности с необыкновенной свежестью, показал себя большим мастером лирического и, в то же время, вполне реалистического стиля. Отмечалось, что писатель убедительно передал и дух, и историческо-политическую канву тех трагических лет, не выходя за рамки семейной хроники. А это, на мой взгляд, отнюдь не является художественным недостатком: только так можно правдиво передать, как жилось в то роковое время. Многим панорамным романам и автобиографиям не хватает именно такой правдивости. Рецензенты сравнивали Паустовского с Сергеем Аксаковым, Иваном Тургеневым, Антоном Чеховым, Максимом Горьким.

Известный знаток русской жизни и литературы Эдуард Кренкшоу под заглавием «Назад к настоящей России» написал в воскресной газете «Обсервер» (27.VIII.64): *«Константин Паустовский, признанный «дуайеном» советских писателей, описывает своё детство и юность, которые вспомнятся не с тоской, а с удивлением и наслаждением, он воссоздаёт мир своих юных лет во всей его весенней свежести, как будто вчера — это сегодня. Его повесть будут читать долго как классическое произведение о детстве, об украинской и русской природе. Он пережил годы несравненных страданий, так что подчас, наверное, даже ему изменяла та страстная вера в жизнь, с которой он ещё молодым человеком стал лицом к лицу с неизвестностью»*. Обозреватель цитирует завершающий диалог повести:

« — Ты о чём думаешь, Костик?

— Так... вообще...

Я думал, что никогда и никому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь, с её любовью, стремлением к правде и счастью, с её зарницами и далёким шумом воды среди ночи, лишена смысла и разума. Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и всегда — до конца дней своих».

Паустовский, продолжает Кренкшоу, одним из первых поднял голос, мягкий и незлобный, когда после смерти Сталина люди могли, наконец, высказаться вслух. Для него характерно, что он не стал бить себя в грудь, не стал заниматься обвинениями. Он сказал просто, что пора советской литературе начать новую страницу и чем скорее она забудет о кошмарах прошлого, тем лучше. По словам Кренкшоу, Паустовский вернулся к далёкому прошлому и рассказал о нём так, что установилась связь между ним и настоящим, и сделал он это просто, записав свои мемуары, лишённые всяких тревог, всяких задних мыслей. Художественный стиль, созданный Паустовским, Кренкшоу определил удачной фразой «меткий лиризм» и заметил, что «каждая из 39-ти глав является самостоятельной, будто картина, вставленная в рамку, каждый эпизод, забавный и печальный, каждое мгновение передаётся чуть рез-

че, чуть менее расплывчато, чем в самой жизни, — но тем самым они отражают жизнь вернее, чем самая точная копия. Каждый отдельный эпизод образует звено в тщательно обработанной цепи, которой нет начала и нет конца».

Реймонд Мортимер рассматривал «Повесть о жизни» как новый поразительный образец «*подлинного русского таланта в описании красоты природы и воспоминаний детства и юности*». Под заглавием «Крупнейший современный русский писатель в Англии», поставив Паустовского наравне с Гоголем и вышеупомянутыми Аксаковым, Тургеневым и Чеховым, Мортимер указывает на его талант живописца в слове: «*Он напоминает Коро своей любовью к упавшим деревьям, сгнивающим в тёмных омутах*» («Санди таймс», 27.XII.64). Мортимер с восхищением говорит, что «Повесть о жизни» содержит не только интимные воспоминания о детстве и прекрасные описания природы, но и даёт яркие портреты современников детства героя — родителей, родственников, учителей Киевской гимназии, людей, которые на страницах книги встают как живые, хотя автор им часто посвящает всего по несколько строк. Мортимер отмечает незабываемые сцены из школьной жизни, расстрел демонстрантов, погром, великолепную главу «Корчма на Брагинке» (которую так высоко оценил Иван Бунин) в качестве примера того, как молодой Паустовский воспринял исторические события того времени. «*Паустовский жаждал революции. После таких переживаний и впечатлений, как это могло быть иначе?»* Позднее, как известно, Константин Паустовский определит себя как «глубоко заинтересованного свидетеля» исторических событий.

Вера и Джон Рассел в статье, помещённой в той же воскресной газете (№ 7376, 64), напоминают о том, что Паустовский далеко не только художник-антиквар. «*Никто не может быть более предан будущему своей родины, чем он. Разносторонний жизненный опыт даёт ему возможность лучше, чем кому бы то ни было, поведать нам, что значит жить и работать в условиях постоянных бурь и тревог»*.

Обозреватель (по тогдашней традиции анонимный) авторитетного еженедельника «Таймс Литерари Сапплемент» не согласен с теми, кто называет Паустовского продолжателем русских классиков, утверждая, что можно с тем же основанием назвать его последователем Диккенса, так как нигде в русской литературе нет ничего более диккенсовского, чем описание дома Казанских — генерал в отставке, маленький карлик с огромной бородой, и плаксивая его жена-француженка, которые называют друг друга «дусиком» и «муфточкой», и тупоумная их дочка. Обозреватель как бы повторяет мысль Кренкшоу: «*Паустовский — оригинальный писатель с блестящим самобытным методом. Он создаёт цепь эпизодов и портретов, так искусно сделанных, что на протяжении всего произведения сохраняется не только художественное единство, но и органическая связь событий. Это достижение немалое,*

так как повесть состоит по крайней мере из трёх различных элементов: это рассказ о семье, которую легкомысленный отец покидает, затем опускается и, наконец, умирает от рака, а сестричка постепенно слепнет; это и рассказ о школьных годах; и, наконец, повесть даёт историческую канву». Рецензент предполагает, что автор, вероятно, присутствовал в Киевском оперном театре во время убийства Столыпина, но высказывает мысль, что эта автобиография могла быть написана и по гётевскому принципу «поэзии и правды». Очевидно, такие незабываемые образы, как турецкая и польская бабки Костика, скиталец дядя Юзя — сторонник буров, замечательные учителя Киевской гимназии, могли быть созданы только благодаря сочетанию яркой памяти и художественной фантазии.

«Чем можно объяснить, что русская мемуарная литература лучшая в мире? — спрашивает литературный критик Гильбет Фельпс в еженедельнике «Нью Стейтсмен» и продолжает: «Было время, когда искали объяснение в том, что Вирджиния Вульф называла «мутным, бродящим, драгоценным веществом — (русской) душой». На самом деле русские писатели достигают замечательной непосредственности благодаря своей ясности и точности. <...> Паустовский не всегда проявляет изысканную тактичность Тургенева. Есть места, пожалуй, слишком «сочные», как будто их написал какой-то славянский Дилан Томас. Но в то же время Паустовский обладает спасительной чертой — чисто русским чувством детали и обособления». Фельпс приводит цитату из главы «Гардемарин»:

«Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополёвый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики».

Удивительное воссоздание настроения «далёких лет» является только одной частью целого, замечает рецензент: «Как и произведения великих русских романистов прошлого, книга Паустовского изобилует событиями и образами. Их связывает в одно целое основная тема — постепенное отчуждение родителей мальчика и его попытки примирить в себе любовь к ним обоим».

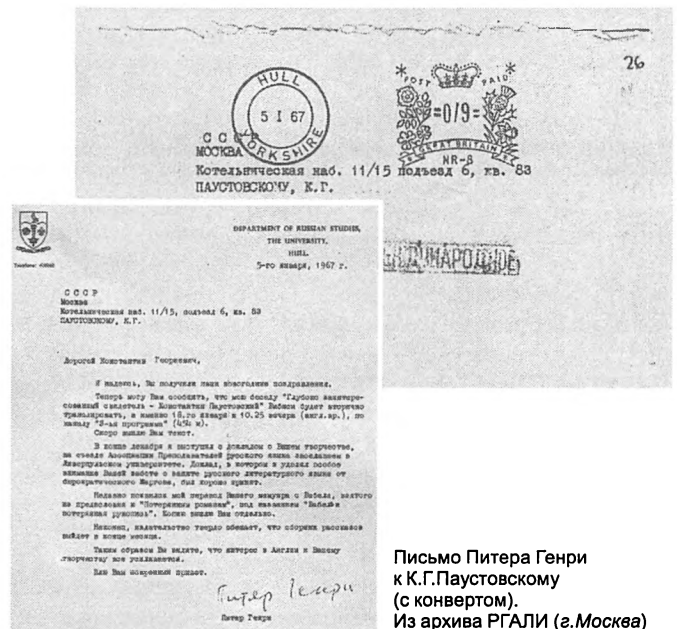
Автора отзыва в ежемесячном журнале «Джон о'Лондон'с» (ноябрь 64-го) поражает то, что он называет несомненно русским духом, которым пронизаны эти мемуары о дореволюционной России, безошибочное чутьё в отношении людей и их среды, выраженное в лирической прозе с большой проникновенностью и чуткостью. «Здесь рассказаны события из весны одной жизни в мире, теперь навсегда исчезнувшей. Они всплывают перед нами и опять скрываются благодаря мастерству писателя, сумевшего довести автобиографию до вершин подлинного искусства».

«Толстой остался бы доволен этим первым томом «Повести о жизни», — утверждал рецен-

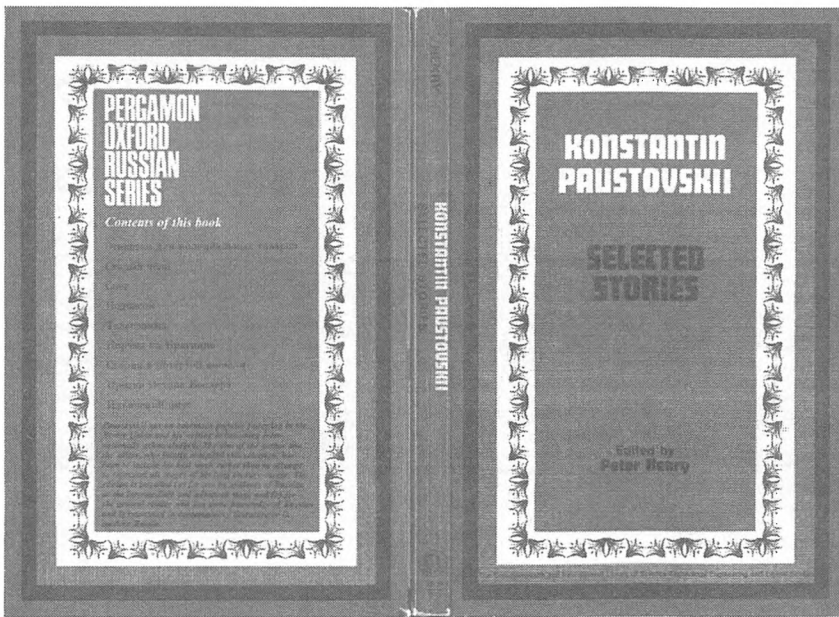
зент в газете «Таймс» (8.X.64), — написанной в высокой традиции русских классиков, языком в одно и то же время простым, непринуждённым, без какого-либо вторжения авторского «я». На первый взгляд кажется, что книгу писать было нетрудно, пока читатель не заметит, что каждая мысль, каждое предложение выражает только самую сущность, что все фразы обрезаны до самого черенка, и в них остаётся только существенное и выразительное». Но вместе с тем обозреватель считает, что Толстой мог бы не одобрить творческого метода автора, где он нарочито нарушает хронологическую последовательность событий и совмещает события и людей по их эстетической значимости.

Бриан Хаммонд — представитель тех англичан, которые не любят, чтобы книга содержала слишком волнующие, необычные события. Он признаётся в газете «Тичер» (13.XI.64), что начал читать книгу с определённым скептицизмом. «Уже на первых 37 страницах, — жалуется он, — было описано не менее трёх безвременных смертей». Хаммонд уже был готов счесть книгу неудачей, типичным образом славянской мрачности, когда она вдруг раскрылась, как цветок, опущенный в воду. По яркости и проникновенности он ставит её наравне с горьковской автобиографией. Он отмечает умение Паустовского показать контрасты между бедностью и богатством в тогдашней России, между жгучей жаждой лучшей жизни у гимназистов и усталым примирением с действительностью деревенских стариков.

Можно перечислить ещё многие интересные — хотя, может быть, и спорные — высказывания английских обозревателей. Все наши наиболее серьёзные печатные органы отозвались о книге с безоговорочной похвалой — все, кроме журнала «Энкоунтер» (январь 65-го), в котором автор статьи серьёзными недостатками «Повести о жизни» счёл отсутствие авторского подтекста, то есть чрез-



Письмо Питера Генри к К.Г.Паустовскому (с конвертом). Из архива РГАЛИ (г.Москва)



Книга избранных рассказов К.Паустовского «Selected Stories» (на языке оригинала, с предисловием автора на русском языке) с обширной вступительной статьёй Питера Генри на английском языке (Oxford, London, Edinburgh, New York, Toronto, Sydney, Paris, Braunschweig: Pergamon Press, 1967). Книга издана в серии «Pergamon Oxford Russian Series». Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Питера Генри)

мерный объективизм, и умалчивание существенных подробностей семейной жизни.

В 1964 году у английского издателя Харвилл-Пресс возникла прекрасная мысль пригласить Константина Георгиевича с женой и падчерицей в Лондон по случаю выхода в английском переводе первого тома «Повести о жизни». В честь Паустовского были устроены приемы в «Обществе Великобритании — СССР» и в «Пушкинском клубе» русской эмиграции. Писатель встречался с нашими видными писателями, такими, как Джон Пристли и Грэм Грин. Он посетил Стратфорд и Оксфорд, где его приняли знаменитый мыслитель и писатель Исаак Берлин и сэр Уильям Хейтер, бывший посол в Москве, затем ректор Нью колледжа Оксфордского университета. Русский гость дал интервью для Би-би-си и для «Обсервера», которое было напечатано в газете от 27 декабря того же 1964 года под заглавием «Как учат писателей в России». В нём он рассказал о работе в Литературном институте имени Горького, о своём творческом методе, о работе своих учеников, особенно Бориса Балтера. В частности, Паустовский говорил о необходимости экономить словесные средства. Его высказывания о том, что «только гений может позволить себе употребить больше, чем одно прилагательное», вошло у нас в дискуссию о литературном методе. Оно обсуждалось в статье Кренкшор-Уильямса — «Живой язык» («Вопросы метода», «Таймс Литерари Сапплемент», 1965). Словом, Паустовский у нас добавил ещё одну — устную — главу к «Золотой розе».

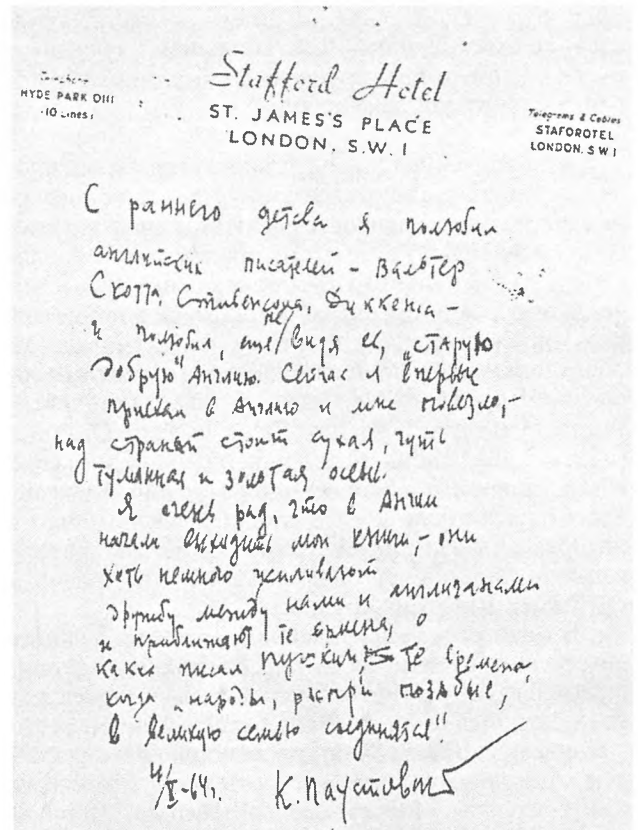
В 1967 году вышел небольшой сборник рассказов Паустовского на русском языке, предназначен-

ный для студентов-филологов, и, таким образом, писатель вошёл в учебную программу разных школ и университетов.

Итак, Константин Паустовский внезапно и мощно вошёл в нашу культурную жизнь. Английские читатели познакомились с лучшим тогдашним произведением Паустовского и одновременно с ним самим, с его взглядами на литературное творчество. Одни встречали его на многолюдных приёмах, другие видели его мудрое, строгое, доброе лицо на страницах наших газет. («Не снимайте меня, на снимках я похож на гангстера», — сказал он с ужасом одному фотографу.)

Его имя стало знакомым многим и у нас, и вообще в англоязычном мире. Есть у нас такая традиция: перед Рождеством газеты приглашают видных деятелей искусства назвать подходящие, по их мнению, рождественские книжные подарки. Так, 6 декабря пи-

сатель Джон Гейль объявил, что своей жене он намерен подарить «Повесть о жизни» — «русское



Рукопись предисловия к книге «Selected Stories (Senior Lecturer in Russian Studies, University of Hull)» 1967 года. Из личного архива Питера Генри

Babel and the Missing Manuscript by Konstantin Paustovsky

Introduction and Translation by Peter Henry

"STAND" Quarterly
of the Arts 8, No 3, 1966/67.

Константину
Паустовскому
в знак уважения
от переводчика
Питера Генри
27.1.67г.

¹ See, for example, *Sunset*, translated by Antony Wood (*Stand* 7, No. 4, 1963)

² The relevant chapters, translated by Andrew R. MacAndrew, are included in *Dissonant Voices in Soviet Literature*, edited by Patricia Blake and Max Hayward (Allen & Unwin, 1965)

The veteran Soviet writer Konstantin Paustovsky has for long been one of the few active liberalizers who have encouraged nonconformist talent and defended it against obstruction by literary officialdom. His latest act of this kind was his reported offer to speak for the defence of Sinyavsky and Daniel at their notorious trial earlier this year. He has also done much to rescue literary reputations of the past from undeserved infamy or oblivion. It is largely thanks to Paustovsky that writers like Aleksandr Grin, Andrei Platonov and the émigré Ivan Bunin have been rehabilitated and are now published in the Soviet Union. Most important perhaps have been his efforts to restore Isaac Babel to Soviet Literature. Babel was, of course, one of the creators of the dynamic new literature of the Twenties. In his bold experimentation with language and his expressionist pictures of life in the raw—whether in Budyonny's Red Cavalry or in the Jewish underworld in *Odessa*—he created a new idiom that profoundly influenced his contemporaries, Paustovsky among them. But Babel was silenced, arrested and he died in one of Stalin's prison camps. Whole generations of Soviet people have grown up who have never heard of him, let alone read his works. Paustovsky had first met Babel in Odessa just after the Civil War, where Babel was the leading spirit of the brilliant "Southern School" that included the poet Bagritsky, the satirist Ilya Ilf (co-author of *Twelve Chairs*), Valentin Kataev and Paustovsky himself. In Paustovsky's autobiography, *Story of a Life*, the Soviet reader can now get an authentic account of the intriguing personality and the ideas on literature of this ruthless perfectionist.² In 1962 Paustovsky published a little-known volume of what he describes as his 'Lost Novels', work that for one reason or another was never published. In the Introduction he describes in humorous vein the loss of one of his earliest novels, an incident in which Isaac Babel was closely involved. This, then, is another revealing reminiscence of Babel by the greatest living authority on this epoch-making writer.

Перевод Питера Генри фрагмента («Бабель и потерянная рукопись») предисловия К. Паустовского к книге «Потерянные романы» с автографом переводчика писателю. Из архива РГАЛИ (г. Москва)

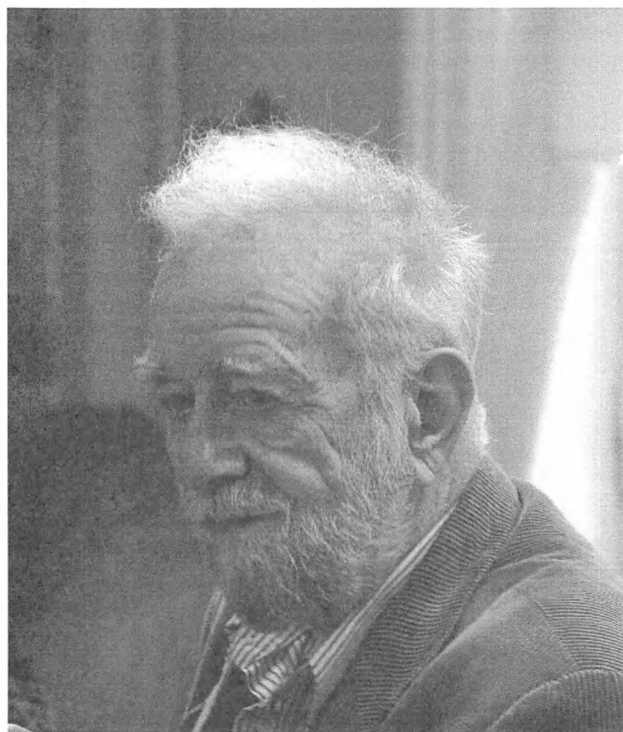
детство, описанное с глубоким наслаждением. Я хочу перечитать её после жены». Под рубрикой «Книги 64-го года — мой выбор» знаменитая актриса Марлен Дитрих называет две книги, которые произвели на неё особенно глубокое впечатление: «Одна — роман «Мамины поцелуи» американца Дж.Б.Фрийдмана, а вторая — книга, которая никогда не сотрётся из моей памяти, «Повесть о жизни» Паустовского, гигантское и прекрасное произведение». Москвичам моего возраста, думается, не нужно напоминать о большом уважении к русскому писателю замечательной актрисы, которая, увы, уже ушла из жизни.

В заключение своей статьи я хотел бы сказать, что английская общественность встретила появление перевода первого тома «Повести о жизни» («Далёкие годы») с большим интересом и исключительной теплотой. Повышенный интерес к новейшей русской советской литературе вообще определялся тогда как фактами международной обстановки, так и общественно-политическими событиями в Советском Союзе. Начало демократизации культурной жизни после смерти Сталина («оттепель»), речь Н.С.Хрущёва на XX съезде КПСС, появление первых произведений Александра Солженицына — всё способствовало новому интересу к жизни в Советском Союзе. Но тревогу вызвали «дело Пастернака», карибский кризис и вынужденный уход Хрущёва.

В Паустовском английские обозреватели увидели продолжателя русской классической традиции, писателя, явно не «заражённого» идеями соцреализма, художника слова, занявшего заслуженное место в общеевропейском культурном доме. О его роли в демократическом процессе (участие в сборниках «Литературная Москва», речь 1956 года, публикация «Тарусских страниц» в 1961 году) у нас узнали из газет и таких публикаций, как сборник «Проти-

воречащие голоса в советской литературе», изданный М.Хейвардом и П.Блейк в 1964 году.

В этой статье я хотел бы ограничиться английским восприятием лишь первого тома автобиографической повести Константина Паустовского. Второй и третий тома, «Беспокойная юность» (английское название: «Slow Approach of Thunder»), «Время больших ожиданий», «Начало неведомого века» («In That Dawn») были встречены, пожалуй, ещё более положительно. Но это, как говорится, тема уже другого разговора.



Питер Генри в Музее-центре К.Г.Паустовского. Фотография С.А.Кириленко, 2004 г.

Дунь СЯО

ПОЧЕМУ В КИТАЕ ТАК ЛЮБЯТ ПАУСТОВСКОГО?

Знакомство китайских читателей с произведениями Константина Паустовского произошло в конце 40-х годов прошлого века. Ныне уже вышло в свет больше 30 сборников и отдельных книг писателя на китайском языке, в том числе такие известные его произведения, как «Кара-Бугаз», «Колхида», «Повесть о лесах», «Созвездие Гончих Псов», «Наедине с осенью», «Золотая роза». Переведены около сорока рассказов К.Паустовского, и среди них такие изящные, как «Снег», «Дождливый рассвет», «Колотый сахар», «Корзина с еловыми шишками», «Старый чёлн», «Старый повар» и другие. «Золотая роза» уже в течение сорока лет, как верный друг, помогает китайским писателям в их творчестве.

В нашей стране у произведений Паустовского много вариантов перевода. Так «Золотая роза» была переведена на китайский язык 5 раз, у «Снега» по крайней мере 9 разных текстов, а у повести «Кара-Бугаз» — не меньше четырёх. В 1983 году одно из наших основных государственных издательств — «Издательство литературы» — выпустило избранные сочинения Паустовского на китайском языке в двух томах. Вышел в свет и китайский перевод «Повести о жизни». Всё это убедительно говорит о том, что К.Г.Паустовский как замечательный лирический мастер слова пользуется известностью не только у себя на родине, но и в далёком Китае.

Теперь поговорим о влиянии русских, советских писателей на писателей китайских. Конечно, речь пойдёт не о классиках XIX века, таких, как Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Тургенев, Гоголь, — их влияние бесспорно. Что же касается русских писателей советского времени, то далеко не все из них, даже пользующиеся известностью в Китае, серьёзно воздействовали на современную китайскую литературу. Только некоторые. Например, Михаил Шолохов. Константин Паустовский, безусловно, имеет право быть в этом ряду.

Шолохова в Китае читают много. Но вот что любопытно: китайцы любят «Тихий Дон», однако не этим своим романом-эпосом Шолохов оказал влияние на наших современных писателей, а «Поднятой целиной». И это объяснимо: ведь в 50-е годы китайцам только предстояла коллективизация, которая в Советском Союзе прошла в 30-е годы. Именно это историко-политическое сходство приблизило китайских писателей к творчеству Шолохова, особенно представителей так называемой «деревенской прозы». Двадцать лет спустя немало значил для некоторых китайских писателей,

работавших над военной темой, и рассказ Шолохова «Судьба человека». Это было связано с тем, что в конце 70-х годов китайцы дышали свежим воздухом политической оттепели. В своё время приобрёл у нас известность Валентин Овечкин своими «Районными буднями». Лю Биньянь, который считается самым известным представителем современной китайской очерковой литературы, выполнял роль переводчика, когда Овечкин посетил Китай. Очерки Овечкина всегда служили ему примером для подражания. Общественная атмосфера тех лет, подобная советской в середине 50-х годов, вправду была призвать своего Овечкина на борьбу с неблагоприятными сторонами жизни. Неудивительно, что критики и литераторы рассматривают Лю Биньяня как «китайского Овечкина». Ещё пример: в 60-е годы, когда Кочетова критикуют и ругают на родине, в Китае его осыпают похвалами. Такой контраст объясняется серьёзными идеологическими разногласиями, возникшими тогда между нашими странами. Да и популярность в Китае романа «Как закалялась сталь» Николая Островского тоже связана с партийной пропагандой того времени.

Как видим, влияние некоторых советских писателей на китайскую литературу, их популярность среди китайских читателей были тесно связаны с социальной обстановкой в нашей стране, с определённым политическо-историческим фоном. Ограниченность влияний такого рода очень явственна. Сегодня, например, мало кто знает у нас Кочетова и Овечкина, даже среди студентов филологического факультета. Некоторые студенты только слышали от родителей о романе «Как закалялась сталь», но мало кто прочитал его. Хотя они знают Шолохова, но предпочитают теперь «Тихий Дон», а не «Поднятую целину»...

Ну а что же Константин Паустовский? Здесь дело совсем другое. Паустовский тоже внёс свою лепту в формирование целого ряда современных китайских писателей, мастеров лирической прозы, но в этом влиянии мало социально-политических мотивов. Иначе говоря, китайские прозаики любят Паустовского, черпают живую воду из кладезя его колдовского творчества не потому, что им предстоит решать некие социально-исторические вопросы,

которые решал и Паустовский, не потому, что они живут, действуют, творят в той же определённой обстановке, в которой в своё время работал Паустовский. Нет. Паустовский притягивает к себе целый ряд китайских прозаиков своим оригинальным стилем лирической прозы. Писатели, принимающие творческий опыт и

МП: Дунь Сяо — доктор филологии, профессор Нанкинского университета. На международной конференции «Жизнь и литературное наследие К.Г.Паустовского», проходившей на Украине в 2002 году, выступил с докладом «К.Г.Паустовский в Китае». Журнальный вариант доклада представляем нашим читателям.

мысли Паустовского, овладевающие его искусством видеть мир, вошли в современную китайскую литературу как главные представители так называемой «школы лирической прозы», которая занимает очень важное место в современной китайской литературе. Они обращают внимание не на огромные волны моря жизни, а на лёгкую рябь, в которой скрыта прелесть и поэзия самой жизни. Именно лирический взгляд на жизнь, умение раскрыть в буднях манящую красоту и поэзию приносят этим прозаикам литературную известность в Китае.

В чём конкретно состоит влияние Паустовского на китайских прозаиков? В Китае Паустовского, как уже отмечалось, считают мастером лирической прозы. Это, пожалуй, правильно. Но в чём суть, секрет, ключ его лирических творений? Прежде всего отметим: Паустовский стремится к поэтизации жизненного состояния человека. С одной стороны, искусство и художники зачастую являют собой главную тему его произведений («Повесть о жизни», «Корзина с еловыми шишками», «Старый повар», «Золотая роза»), с другой — герои его и их простая жизнь таят в себе поэзию, то есть жизненное состояние человека (его духовный мир, общение между людьми, общение с природой) обладает особенностями, которые присущи искусству, творчеству. Герои Паустовского — люди разнообразных профессий. Но они действуют, думают, мыслят как художники, они рассматривают жизнь с точки зрения художника. Поэтому жизнь вокруг них становится загадочно-пленительной. Например, герои и героини рассказов «Снег» и «Дождливый рассвет» живут нелёгкой жизнью, но это люди с сентиментально-элегическим характером. Они чувствительны к чужому духовному горю, духовной боли. Это свойственно только художественным натурам. Благодаря этому окружающая их явь тоже приобретает ореол поэзии. Паустовский пишет, что «писательство и щедрость неотделимы друг от друга». И действительно, герои под пером Паустовского часто щедро делятся своим духовным даром с незнакомыми людьми. В рассказах «Снег», «Драгоценная пыль», «Ночной дилижанс», «Старый повар», «Корзина с еловыми шишками» и во многих других нетрудно обнаружить такой драгоценный духовный дар. И особенный «содержательно-поэтический миг» произведения обычно связан с поднесением этого дара, в котором передаётся поэтическое жизненное состояние человека. Паустовский открывает нам индивидуальный чудесный и притягательный аспект духовной деятельности людей, которые сродни искусству. Он мечтает, чтобы вся жизнь, даже самая простая, скромная, будничная, несла в себе дух искусства. По словам Максима Горького, «каждый человек по натуре своей художник». Но людям в обычной будничной жизни приходится заглушать поэтические порывы. А Константин Паустовский своим лирическим даром заставляет нас вновь прикасаться к тому прекрасному, что есть в человеке. Думаю, именно в этом и сила Паустовского-гуманиста. Думаю, в этом и

скрыта поэзия его прозы, в которой богатство и чистота души слились в один прекрасный художественный мир. И китайские писатели-лирики не прошли мимо этой самой характерной черты прозы Паустовского. Что же касается конкретных художественных особенностей, то яркость и изящество языка, тонкое чутьё к прекрасному, к переживаниям людей, романтически-точное описание пейзажа — всё это тоже замечено и творчески использовано.

Поэтому нетрудно найти кое-какое сходство между Паустовским и китайскими прозаиками. Например, в начале 60-х годов известная писательница Жу Чжицзюань написала замечательный рассказ «Лилия», который своим тонким описанием искренней любви во время войны напоминает «Снег» Паустовского; известный прозаик Цзюнь Цин в то же время опубликовал лирическую прозу «Песня об осени», очень похожую на «Симферопольский скорый» Паустовского по замыслу и сюжету. Честно говоря, мне нравятся почти все произведения Паустовского, кроме этого «Симферопольского скорого», — быть может, потому, что он напоминает мне «Песню об осени». Возможно, моё мнение о рассказе «Симферопольский скорый» несправедливо, но в Китае «Песня об осени» воспринимается как типичное лакировочное произведение, скрывающее тяжёлую действительность тогдашней деревни. А что касается «Золотой розы», то у неё в Китае есть младшая сестра — в начале 60-х годов известный прозаик Цинь Му выпустил книгу о писательском труде «Отрывочные мысли об искусстве», в которой сумел передать читателю сущность писательского труда. Но всё-таки автор «китайской золотой розы» не достиг той вершины, которой достиг Паустовский: его «Золотая роза», на мой взгляд, и глубже, и мудрее. Недавно эта повесть вошла в список из ста произведений писателей разных стран, которые китайский читатель считает классикой XX века...

Хочется подчеркнуть, что даже в 1950–60-е годы, когда советские писатели пользовались очень широкой популярностью в Китае, Паустовский ни разу не был похвален официальной прессой. Его книги не были рекомендованы правительством как лучшие произведения советской литературы, на которых можно было бы воспитывать новые поколения. И что же? Сегодня в Китае никого больше не интересуют «Братья Ершовы», «Чего же ты хочешь?» Кочетова, «Как закалялась сталь» Островского и «Александр Матросов» Журбы, а любовь китайских читателей к произведениям Константина Паустовского не иссякла, не изменилась с изменением исторических условий.

Почему же в Китае так любят Паустовского? Причин, конечно, много. Но, думаю, одну причину важно подчеркнуть особо: в то жестокое время именно в ювелирном письме Паустовского, полном искренности и нежности, китайцы нашли себе духовное утешение. Не каждый советский писатель был

в силах играть такую роль. В годы, когда духовная жизнь в Китае была слишком убогой, когда муза в Китае подвергалась страданиям, Паустовский как мудрый поэт побуждал китайских читателей к человечности, красоте чувств, воспитывал в них стремление к поэзии, любовь к искусству и природе. Несколько лет назад известный учёный-философ Лю Сяофэн в своей прозе «Чувство ужаса и любви нашего поколения» вспоминал своё духовное потрясение, когда во время так называемой «культурной революции» невзначай прочитал «Золотую розу». «У каждого поколения своя самая заветная книга. Людей нашего поколения в своё время пленяли пафос и страсть книг «Как закалялась сталь» Н.Островского и «Овод» Этель Лилиан Войнич, мы проглатывали, как пищу, наставления председателя Мао Цзедуну, но никто не ожидал, что наши сердца сразу завоюет вот эта маленькая повесть «Золотая роза»! Сердца наши больше не плачут о судьбе Павла Корчагина, а плачут о том, что «по всей Вероне звонили к вечерне колокола».

Действительно, в те годы, когда у нас ещё не было возможности познакомиться с такими талантами, как Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Евгений Замятин (список можно продолжить), Константин Паустовский играл незаменимую роль в



Дунь Сяо выступает на конференции.
Украина, с.Пилипча-Городище.
Фотография В.А.Заказникова

духовном воспитании и утешении своих читателей. Вот почему его книги выдержали испытание временем и до сих пор увлечённо читаются в Китае. Десять лет назад один русский учёный сказал мне, что время Паустовского ещё не пришло. Думаю, сегодня его время подходит — в том смысле, что круг его читателей и почитателей с каждым годом, уверен, будет только шириться.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Я ИСКРЕННО РАД...

А.Е.Бэкону

12 февраля 1959 г.
Ялта, Крым

Дорогой сэр, извините, что я пишу Вам на русском языке (английского я, к сожалению, не знаю). Я думаю, что в Вашем издательстве есть люди, знающие русский язык. Они смогут перевести моё письмо.

Я рад, что Вы включили список моих книг в Ваш широко известный и прекрасный лексикон. Но список этот неполон. Его следовало бы дополнить следующими главнейшими книгами: «Романтики» (1935), «Далёкие годы» (1946), «Беспокойная юность» (1955), «Начало неведомого века» (1958).

Кроме этого, в СССР и в разных странах опубликовано свыше 100 моих рассказов, несколько повестей, пьес, сказок и ряд художественных биографий писателей и художников, в том числе <...> Киплинга, Уайльда, Эдгара По, Христиана Андерсена и других.

Примите мой искренний привет.

К.Паустовский

**МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
В АМЕРИКЕ**

Я искренне рад, что мои книги будут читать в Америке. Я люблю и глубоко уважаю американский народ за многие его великолепные качества.

Кроме того, меня не покидает надежда, что писатели Америки, узнав нас, новых русских писателей, окажутся товарищами многих из нас по тем мыслям, какие одинаково вдохновляют, угнетают или радуют нас.

Мне кажется, что у нас не может быть разных взглядов на литературу, если мы относимся к ней как к величайшему проявлению правды и красоты, проявлению духовной щедрости и расположения к человеку.

Я готов обнажить голову перед каждым простым человеком земного шара, кем бы он ни был, во внимание к тем неизбежным страданиям, какие он наверняка пережил, и тем скудным радостям, какие так редко скрашивали его жизнь.

Но есть единственное племя людей, перед которыми мы никогда не обнажим головы. Это те, кто

МП: «Я искренне рад...» — так, строкой К.Паустовского можно было бы назвать переписку писателя (которую мы даём во фрагментах и далеко не всю) с его зарубежными друзьями, коллегами, издателями. Она свидетельствует об огромном интересе читателей и издателей разных стран к произведениям русского писателя, о стремительном вхождении К.Паустовского в мировую культуру.

исповедует насилие и диктатуру, кто жаден, кто тупо готовит войну и воспеваает превосходство своей расы. От этих людей — все беды на земле. От них тот яд, что отравляет нашу прекрасную, нашу любимую землю волнами атомных взрывов и грозит её существованию.

Я люблю современных американцев и люблю их отцов и дедов, замечательных людей и пионеров Америки, — тех, кого воспели Купер и Брет Гарт, Марк Твен и Джек Лондон, О.Генри и Эдгар По, Лонгфелло и Уитмен.

С раннего детства я завидовал жизни Тома Сойера и Гекльберри Финна. Эти провинциальные американские мальчики стали всечеловеческими и вечными образами такой же силы, как Дон-Кихот.

Я пишу эти строки в Крыму, в городе Ялте, как раз в те дни, когда исполнилось сто лет со дня рождения одного из самых гуманных людей на земле — писателя Чехова.

Чехов долго жил в Ялте. Здесь остался его тихий дом и сад, выращенный его руками.

Чехов был щедр к людям во всём, что он делал, но щедрее всего — в своих рассказах и повестях. Этого люди никогда не забывают. Только тот писатель заслуживает любовь народа, который легко раздаёт свои богатства и никогда не ждёт, не требует благодарности.

<...> Если бы это зависело от меня, то я жил бы ещё долго, чтобы объехать всю землю и успеть написать всё то, что я задумал. Во всяком случае, попробую поступить так, если люди по своей преступной глупости не разнесут нашу землю в клочки.

февраль 1960 г.
Крым, Ялта

НАЗЫМУ ХИКМЕТУ

11 июля 1962 г.

Барвиха

Дорогой Назым Хикмет!

Вы очень растрогали меня своей поездкой в Тарусу, своей статьёй обо мне, прекрасными стихами и Вашим выступлением на вечере в Литературном музее. Всё это было для меня неожиданным и драгоценным подарком. Я благодарю Вас от всего сердца.

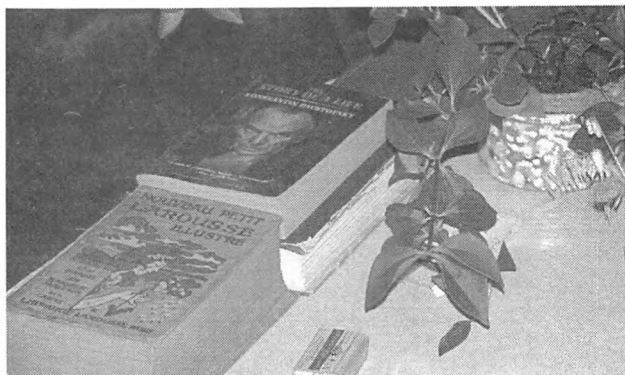
С тех пор как я узнал Вас как поэта и прямого и мужественного человека, я хотел встретиться с Вами, но из-за своей дикой застенчивости не сделал этого до сих пор.

Однажды мы встретились в Варшаве (в августе прошлого года), в «Бристоле», но я не решился подойти к Вам, так как мне показалось, что Вы меня не узнали.

Я только что вышел из больницы. К половине августа врачи отпускают меня на волю, и если Вы будете в Москве, то приезжайте ко мне в Тарусу.

Может быть, в какой-то согой степени, но наша взаимная симпатия объясняется тем, что я полутурок, — моя бабушка была чистокровная турчанка родом из Казанлыка во Фракии.

Я, конечно, шучу, но всё же иной раз горжусь, что во мне есть доля турецкой крови, — я очень люблю простых крестьян и рабочих-турок.



Американское издание «Повести о жизни» на рабочем столе писателя в тарусском кабинете (Нью-Йорк: Пантеон, 1964). Перевод Джозефа Барнеса (Joseph Barnes), Фотографии Филиппа Халсмана (Philippe Halsman)

Ещё раз — большое спасибо. Крепко жму Вашу руку.

Ваш К.Паустовский

С. ЧЕРНИШЕВУ

27 июля 1962 г.

Барвиха под Москвой

Дорогой мой Славчо!

<...> Меня страшно тянет в Созопол, в джунгли Ропотамо. Хочется прожить в Созополе месяц-полтора и хорошо отдохнуть.

Вы не представляете, с какой нежностью мы с Татьяной Алексеевной очень часто вспоминаем Вас. Мы виделись так мало, но с тех пор я ощущаю Вас как своего, родного человека.

Я, кажется, не потерял ветер. Шкот натянут, и волна шумит за кормой. Мы ещё поживём, Славчо, и не раз ещё услышим «в каждой луже запах океана, в каждом камне — веянье пустынь»...

Ваш К.Паустовский

У.КОЛЛИНЗУ

2 июля 1964 г.

Москва

Дорогой мистер Коллинз!

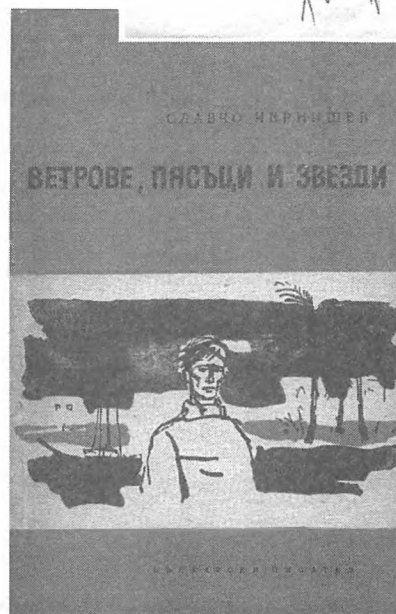
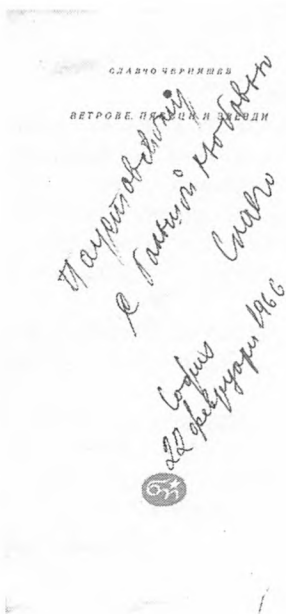
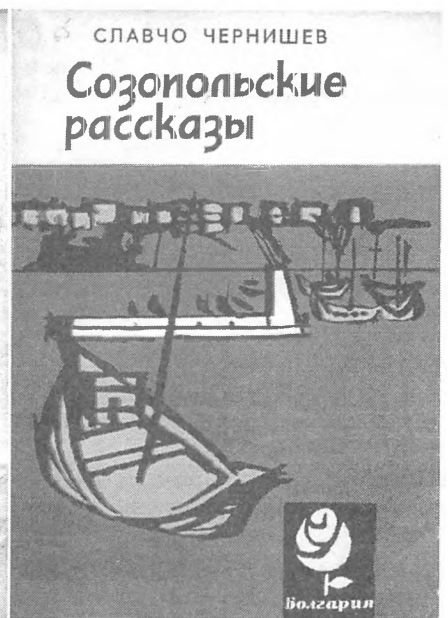
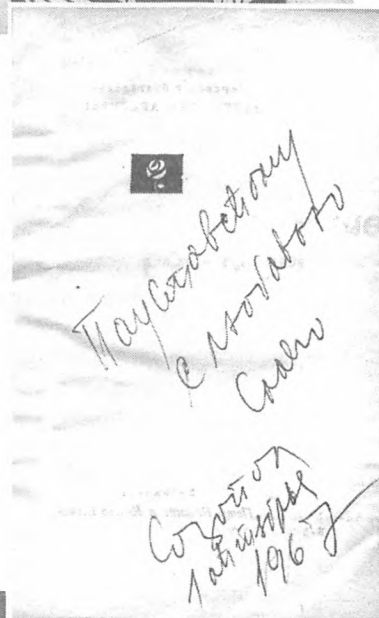
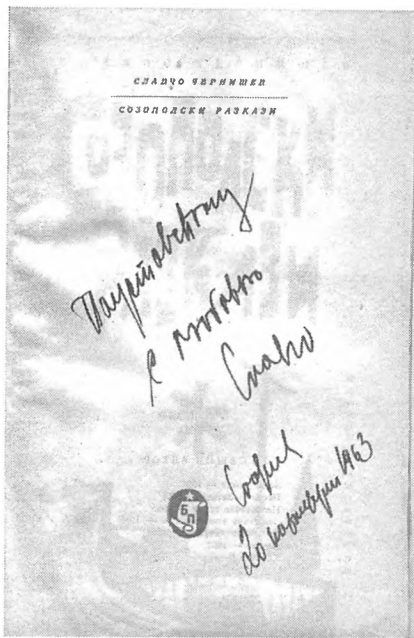
К сожалению, я не знаю английский язык и пишу поэтому по-русски, но надеюсь, что не очень затрудню переводом этого письма Ваших переводчиков.

Если я не ошибаюсь, у Вас в издательстве работает переводчица с русского языка Мария Григорьевна Харари. Она была у меня однажды в Москве, а два года назад мы встретились с нею в Париже. Я получил Ваше любезное письмо по поводу моей книги «Story of Life»¹, которую Вы собираетесь издать в Англии. Я буду рад этому. Англия, английский народ и английская литература глубоко интересуют меня и вызывают истинное восхищение.

Я чрезвычайно Вам благодарен за приглашение посетить Англию в сентябре этого года. Я мечтал увидеть Англию с самых младенческих лет, со времён неистового увлечения Вальтер Скоттом и Диккенсом...

Искренне Ваш К.Паустовский

¹ «Повесть о жизни» (англ.).



Автографы Славчо Чернишева К.Паустовскому.
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского
(Фонд Г.А.Арбузовой)

**Г.А.АРБУЗОВОЙ
и В.В.МЕДВЕДЕВУ**

20 сентября 1966 г.

Ялта

Дорогие Галка и Володя!

<...> Для «выставки» книг надо бы собрать большинство зарубежных изданий. Издания есть польские, французские (Галлимар), английские (Коллинз), итальянские (Фельтринелли), ФРГ (Мюнхен), США — нью-йоркское, Демократической Германии, китайские, израильские, болгарские, вьетнамские, чешские, венгерские, румынские. Всех я не помню, но есть издания и на других языках. Книги или в книжном шкафу, или, может быть, на развале за письменным столом, а, может, одна-две книги есть и в Тарусе.

Кроме того, надо посмотреть журналы иностранные. Там попадают статьи обо мне, в частности в «Леттр франсэз». Но, в общем, не трать на это много времени, — что найдётся, то и хорошо.

Наши русские издания собрать легче. Извини, что я наваливаю на тебя такую обузу, но мама и я отсюда не сможем «руководить» этой работой, а ты, Галка, и Володя — мои единственные «душеприказчики» в Москве. Можно собрать еще и издания на языках народов СССР...

Ваш К.Г.

**КОМИТЕТУ ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ИМЕНИ
ВЛОДЗИМЕЖА ПЕТШАКА**

24 ноября 1967 г.

Москва

Дорогие друзья!

Шесть лет назад, покидая Польшу, я с чувством грусти, хорошо знакомым всем скитальцам, думал о том, что оставляю часть своего сердца в стране, с которой у меня связано так много.

Мне было девять лет, когда меня привезли в Ченстохов. Во время первой мировой войны я вместе с польскими беженцами отступал на Восток. А что может сблизить людей больше, чем общее горе и общие надежды.

И наконец в 1961 году я приехал в Польшу — и увидел прекрасную страну, возродившуюся после самой разрушительной войны, какую знало когда-либо человечество.

И я с небывалой остротой вдруг ощутил, что не только оставляю часть своего сердца в Польше, но и что Польша стала неотъемлемой частью моего счастья.

Польша дорога мне своим вольнолюбием, которое не умирало в самые мрачные и безысходные годы её истории. Мало найдётся народов в Европе, на долю которых выпало столько трагических испытаний, сколько пришлось пережить польскому народу.

Я горжусь, что меня удостоили премии имени Влодзимежа Петшака, в дни героического варшавского восстания отдавшего жизнь за то, чтобы Польша была Польшей.

И лишь одно омрачает мою радость: болезнь, приковавшая меня к постели, не даёт мне возможности сегодня быть с вами.

Ваш Константин Паустовский

РОБЕРТУ Ф.КОЭНУ

31 марта 1968 г.

Москва

Дорогой господин Коэн,

я получил Ваше письмо от 19 января 1968 года, а также письмо Секретаря Вашего Университета господина Финча от 11 марта.

Сожалею, что тяжёлая болезнь не позволила мне своевременно ответить Вам, господин Президент, и с опозданием приношу свои извинения.

Из письма с признательностью узнал о том, что Ваш Университет предлагает мне высокую честь принять степень Доктора Литературы, *honoris causa*.

Я был бы рад лично присутствовать в Принстоне в день присуждения, но врачи ещё не разрешают мне длительных путешествий — и, если моё вынужденное отсутствие не нарушит установленного порядка, я буду счастлив принять Ваше столь лестное для меня присуждение.

С искренним и глубоким уважением

К.Паустовский

ВИЛЬЕРС

31 марта 1968 г.

Москва

Дорогая госпожа Вильерс!

Я получил Ваше письмо от 16 мая 1967 года. Уже не помню, ответил ли. Я очень тяжело болен, и, если задержал ответ, простите великодушно.

Конечно, я не имею никаких возражений против издания моей книги для слепых. Если это не потеряло смысла, то делайте всё так, как Вам нужно.

Прошу Вас, если это необходимо, передайте моё согласие Национальному Институту Слепых.

Ещё прошу Вас передать привет господину Коллинзу и его жене, а Мане доброго здоровья и хорошего настроения.

С глубоким уважением к Вам

К.Паустовский

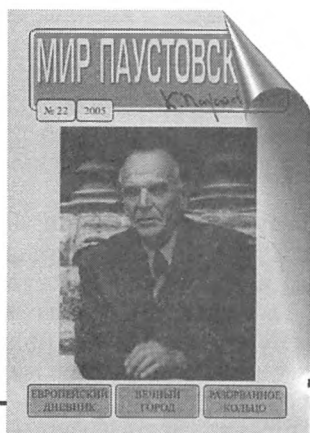
МП:

Константин Георгиевич редко и нехотя говорил о себе.

... Два раза на моей памяти в его словах можно было уловить оттенок затаённой гордости. Первый раз — когда Пабло Пикассо прислал ему книгу своих репродукций с дарственной надписью. И второй раз — когда пришло письмо от Альберта Швейцера, а в нём фотография этого известного всему миру гуманиста с автографом. Кто бы этим не гордился!

Лев Левицкий. Из воспоминаний

Автограф Пабло Пикассо на подаренном К.Г.Паустовскому альбоме.



В МОЕЙ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ...

Лидия ЧЕШКОВА

НАС СБЛИЗИЛА «МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ»

В далёком 1961 году старейший российский журнал «Вокруг света» отмечал столетие своего существования. На эту знаменательную дату откликнулись многие известные писатели, учёные, путешественники — Н.Тихонов, С.Маршак, В.Шкловский, Л.Успенский, И.Папанин и другие. Их приветствия были напечатаны в первом, юбилейном, номере журнала за тот же год. И, конечно, среди добрых слов о журнале и напутственных пожеланий были — не могли не быть! — слова Константина Паустовского.

Поэзия подвига

Я с полным основанием могу утверждать, что журнал «Вокруг света» воспитал несколько поколений хороших и мужественных людей.

С первых лет своего существования и до наших дней этот журнал рыцарски верен «музе дальних странствий». Поэзия плаваний и путешествий, поэзия подвига и преодоления трудностей, поэзия человечности и познания была основным содержанием этого журнала.

Я с юности испытал на себе благотворное влияние этого журнала. Он давал богатую пищу для воображения, он открывал перед нами, мальчишками, великолепные дороги в мир и в будущее. Может быть, тем, что я выбрал труд писателя, я отчасти обязан этому журналу.

С детства я помню то радостное — почти до слез — волнение, когда я распечатывал бандероль с журналом. С первой же страницы на меня смотрели обветренные лица шкиперов и гравюры на дереве, на которых тяжёлые парусные корабли входили в неведомые порты. А потом я погружался в рассказы о тысячах опасностей и благородных дел. Их совершали отважные люди без колебаний и размышлений.

Я за многое благодарен журналу «Вокруг света», так же как и тысячи тысяч его читателей.

Он приучал их к запаху моря и к пренебрежению опасностью ради высоких целей, к самоотверженным поступкам и неутомимой любознательности.

Сейчас, в дни юбилея журнала, я желаю ему заслуженного процветания и любви со стороны читателей, обязывающей ко всё большей и большей зыскательности в работе.

К.ПАУСТОВСКИЙ

«Муза дальних странствий» сблизила К.Паустовского, уже знаменитого писателя, с редакцией «Вокруг света»¹. В середине 60-х годов он стал членом нашей редколлегии, вёл рубрику «Мир моих открытий», и на страницы журнала, который в те же годы из географического научно-популярного превратился в научно-художественный журнал путешествий, приключений и фантастики, пришла прекрасная проза учеников Константина Георгиевича — Юрия Казакова, Галины Корниловой, Льва Кривенко, Бориса Балтера, а также писателей, близких ему по духу, — Юрия Куранова, Валентина Берестова, Анатолия Онегова и многих-многих других.

Вообще имя мастера заставляло в те годы нас, сотрудников журнала, «держаться планку». Откройте подшивки «Вокруг света» второй половины 60-х годов, и вы увидите такие имена, как Грэм Грин, Рэй Бредбери, Пьер Буль, Станислав Лем, Бернард Маламут, Уильям Фолкнер, Джон Стейнбек, Сомерсет Моэм, Уильям Голдинг (перечислить все невозможно) — весь цвет мировой, тогда ещё мало известной нашему читателю литературы. Устами зарубежных писателей журнал рассказывал о странах, куда большинству наших авторов и читателей тогда не было доступа. Журнал создавался, исходя из «бесспорной», по словам К.Паустовского, идеи о том, что «человек нашего времени <...> должен обладать <...> духов-

¹ Мне посчастливилось работать в журнале «Вокруг света» с 1956 года по 2002-й.

ными богатствами всех предыдущих эпох и всех стран...». К концу 60-х годов тираж «Вокруг света» достиг невиданной цифры — 2 миллиона 800 тысяч!

К сожалению, в редакцию Константин Георгиевич не приезжал: подолгу болел, был очень занят, торопясь закончить то, что задумано. Но держал руку на «пульсе» журнала, принимал наших посланцев в Тарусе, посылал письма и телефонные приветы.

На смерть писателя журнал «Вокруг света» отозвался некрологом:

К. Г. Паустовский

Умер Паустовский...

А в журнал всё идут письма, отправленные при его жизни. Ему, члену редколлегии, — Константину Георгиевичу...

Долгая дружба связывала наш журнал с Паустовским.

Вспоминается жаркий летний день в Тарусе. Из окна бревенчатого дома, где уютно пахнет деревом и книгами, виден дальний высокий берег Оки. Константин Георгиевич рассматривает журнал «Вокруг света» и тихо говорит о том, как надо вести разговор с читателем о поэзии знаний, о романтике и созидательной силе человеческих дел, о великой красоте природы...

Вспоминается осенняя дождливая Ялта. Паустовский, уже больной, пишет рассказ «Дорога Ген-

риха Гейне». Рассказ кончен, уже получен редакцией, но ещё долго раздаются телефонные звонки из Ялты — Константин Георгиевич продолжает работать над языком рассказа, добываясь прозрачности, поэтической тонкости...

Вспоминается последнее выступление Паустовского на страницах журнала. Оно начиналось так: «Мир человеческих открытий совершенно неизмерим...». И далее — слова радости о новых книгах, заражающих читателя «любовью к родной стране и природе во всех её проявлениях, и малых и больших».

Многие молодые литераторы, привлеченные Паустовским, воспитанные его талантом, пришли в журнал, уже покорённые «музой дальних странствий».

Мы не получим от Константина Георгиевича новых рукописей, не услышим советов мастера... Но книги этого замечательного художника слова, гуманиста, выдающегося советского писателя всегда будут напоминать об ответственности человека перед красотой, имя которой Поэзия, Труд, Родина.

Редакция журнала «Вокруг света»

Некролог был опубликован в августовском номере за 1968 год. Но ещё долгие годы душа Паустовского незримо присутствовала на его страницах...

Последнее выступление писателя в журнале «Вокруг света» (№ 3, 1967) в журнале полностью.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

МИР МОИХ ОТКРЫТИЙ

Мир человеческих открытий совершенно неизмерим — от колючки простого репейника, вцепившегося в рукав, до горячего гейзера Камчатки, который сообщает воздуху этой страны особый уют и одновременно какую-то загадочность. Трудно передать ощущение покоя в пустой горнице камчатской избы, когда тут же, за позванивающим тонким стеклом, за чуть запотевшим окном, рокошет край земли — Тихий океан.

Он неслыханно богат, этот край и этот мир, и даже его последняя кромка. И я уверен, что о колючке репейника можно писать отдельные книги, исследования, сказки, переживая при этом множество живых и весёлых происшествий и историй.

Каждый, кого подмывает написать такую книгу, пусть садится за стол и, не откладывая, пишет её. Через пять-десять лет уже соберётся интересная литература, необыкновенная библиотека, полная редких наблюдений и познаний — от шума града по тесовой крыше (кстати, его ни с чем не спутаешь) до едва намеченной над Аю-Дагом розовой радуги — предвестницы дождей, не падающих на землю, а улетающих ввысь от земли. Недавно сравнительно я видел такую розовую радугу и очень долго не мог понять, что это такое.

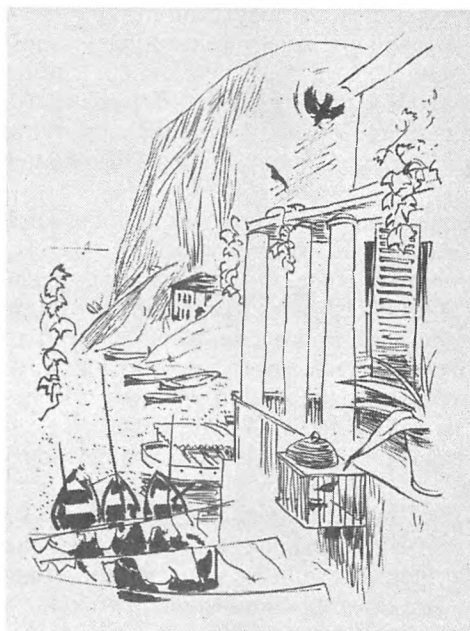
Знание — это сгусток сплошь и рядом неожиданной и величавой поэзии. Мы должны стать уловителями и хранителями этой мимолётной поэзии природы, украшающей мир и дающей ей смысл.

Природа не выбирает и не назначает себе певцов и менестрелей. Она лишена глупого и дерзкого человеческого высокомерия. Певцы приходят к природе сами, их ряды не иссякают от Гомера до Лукреция, от Жюль Верна до поэта Заболоцкого, от Чарльза Дарвина до учёного Обручева.

Недавно к прекрасной плеяде вещей о природе прибавилась ещё одна — удивительная, на мой взгляд, работа Геннадия Снегирёва, которая в скором времени выйдет отдельной книгой.

Снегирёв — очень зоркий писатель. Он обладает тайной свежего, почти юношеского восприятия жизни. От него не ускользает ни одна поэтическая черта из жизни природы, из жизни тайги, зверей, птиц и растений. Поэтому рассказы Снегирёва, написанные бывалым, добрым и простым человеком, заключают в себе много знаний и наблюдений — всегда новых и подлинных, — иными словами, они познавательны в самом широком значении этого слова.

По существу, многие рассказы Снегирёва ближе к поэзии, чем к прозе, — к поэзии чистой, лако-



Рисунки Г. Филипповского к первой публикации рассказа К. Паустовского «Дорога Генриха Гейне» в журнале «Вокруг света» (1967, № 2)

ничной и заражающей читателя любовью к родной стране и природе во всех её проявлениях, и малых и больших.

Совершенно реальные и точные вещи в рассказах Снегирёва порой воспринимаются как сказка, а сам Снегирёв как проводник по чудесной стране, имя которой — Россия.

Рассказы эти, безусловно, вызовут среди наших натуралистов, истинных друзей животных, радостное волнение. А если бы звери — и олени, и медведи, и песцы, и тюлени — понимали бы человеческий язык, то появление этой книги было бы большим праздником для всех животных, уничтожаемых жестоко и порой бессмысленно, — столько в книге нежной любви к этим зверям, заботы о них, необыкновенно тонкого понимания и знания всей их нерасторжимой жизни.

Книги, одаряя нас знанием и любовью к природе, учат относиться к ней как к живому, близкому нам существу, побуждают нас негодуяюще остановить людей, уничтожающих последних прекрасных и беспомощных обитателей Земли.

Судя по многим данным, сейчас как раз эта тема должна занять очень большое место в нашей литературе, в наших журналах. Все мы читали и знаем великолепные очерки в защиту природы, талантливейший очерк Юрия Казакова о Соловках, рассказы Льва Кривенко и Юрия Куранова.

Я думаю, что особенно не нужно даже призывать людей к тому, чтобы они писали об этом, — о природе, и о нашей Родине, и обо всех её уголках, — особенно призывать не нужно, потому что люди сами начнут писать, потому что тема защиты природы является сейчас уже, я бы сказал, государственной необходимостью.

Галина ЛЫСЕНКО

ОН ВЫСТУПАЛ В СОРБОННЕ

В октябре 1990 года мне пришлось быть на очередном заседании литературного «Солёного кружка» в Париже. Шёл месяц рождения Ивана Бунина, и на его родине в этот раз тоже отмечали 120-летие писателя.

Первые лекции в «Солёном кружке» читали Борис Зайцев, Иван Бунин, Иван Шмелёв, Георгий Иванов и другие писатели и поэты, очень и не очень знаменитые, и сами члены кружка. «Солёный кружок» был создан русскими эмигрантами в 1930 году, чтобы те, кто не смог работать по

своей профессии и кому приходилось зарабатывать на жизнь в качестве шофёра, швейцара, садовника, имели возможность поддерживать и совершенствовать свой культурный уровень и сохранить свою личность.

МП: Свидетельство человека, который слышал выступление К.Г. Паустовского в Сорбонне, интересно и по прошествии многих лет. Таким человеком оказалась Евгения Николаевна Берг. Интервью с ней Галина Лысенко включила в свою статью, напечатанную в тарусской газете. С фрагментами этой статьи мы знакомим наших читателей.

Кружковцы собираются последние тридцать лет на квартире Евгении Николаевны Берг, которая была все эти годы руководителем, как принято у нас говорить, на общественных началах. Евгения Николаевна родилась в Петрограде и была вывезена родителями в шестилетнем

возрасте... Она автор учебника по русской литературе для лицеев французских и русских и работает преподавателем литературы в институте Восточных языков в Париже.

Я брала у неё интервью для журнала «Вильнюс» о русском христианском движении и о «Солёном кружке». И когда она стала говорить о спектре литературных интересов, занятий, то это прозвучало приблизительно так: «Мы старались изучать не только русскую литературу, но и английскую, французскую, немецкую и советскую. В общем, от Достоевского и Гоголя до Кафки, от Бунина и Паустовского до Мориака. Кстати, вы знаете, что Константин Георгиевич был у нас в Париже в начале 60-х, точно не помню год, кажется, в 62-м. Рассказать? Вам интересно?».

Мне было очень интересно, так как это был мой любимый писатель, чьи книги имели запах и вкус среди однообразного, заформализованного соцреализма с его железобетонными положительными героями. Для нашего послевоенного поколения это был уют. Я не преувеличиваю. Нет. Это было так. И ещё это была надежда...

Евгения Николаевна рассказывает: «Всё началось с того, что мне позвонил советский коллега, он был из Ленинградского университета и одним из первых, как у вас говорят, «выездных», читавших лекции в нашем институте. Он сообщил, что в Сорбонне будет выступать Паустовский, но нужно обязательно взять карточку преподавателя. У нас так не принято... брать карточку, на лекцию идут кому интересно, все могут слушать, если для них тема или лектор представляют интерес. Я удивилась, но взяла.

Мы пришли с моими коллегами, зал был полон. Паустовский разделил своё выступление на три ча-

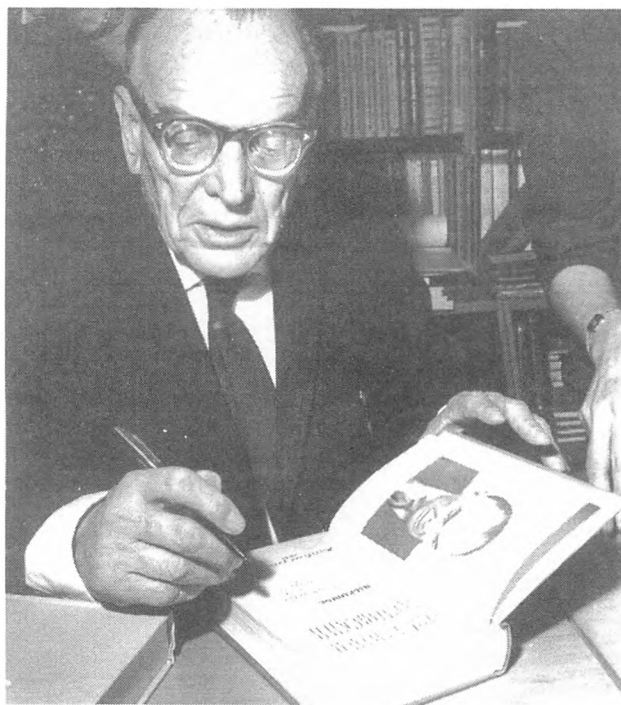
сти. В первой он говорил о советской литературе и атмосфере, в которой она живёт. Во второй — о том учебном заведении, где готовят писателей, упомянул и несколько фамилий, кажется, Тендрякова и Трифонова, а в третьей части — о себе, коротко и скромно. Это всем понравилось, произвело хорошее впечатление.

До сих пор помню дословно одно место его выступления и даже сейчас, как тогда, мороз по коже, когда вспоминаю те слова. Он сказал, что «у нас нельзя нигде и ни с кем быть откровенным. Разве только ночью, да и то под одеялом, с женой, и то не всегда. Совершенно так много против сущности человека и его бытия, что нужно два, нет, три поколения, чтобы это изжить». Знаете, все так заволновались в зале. На нас очень сильно подействовали эти фразы.

А позже мы с двумя моими коллегами и двумя советскими членами делегации пошли в кафе. Они были очень смущены и стали, не глядя в глаза, говорить: «Знаете, все артисты очень впечатлительны и склонны видеть в некотором искажённом свете события, поэтому это уж слишком, что дети должны доносить на родителей и от них отказываться...». Да, я забыла упомянуть: Константин Георгиевич сказал, что реальность советского бытия такова, что нормой и поощряемым героизмом является донос вообще и особенно детей на родителей».

Галина Лысенко: Это правда, и идеологическим символом тому был пионер Павлик Морозов. Улицы, пионерские отряды до сих пор носят его имя. Значит, до сих пор атмосфера отчасти такая, о какой говорил в 1962 году Константин Георгиевич. К сожалению, это так.

Евгения Берг: Так вот. Они это говорят, а мы все молчим. Мы понимаем, что у них официальная



К.Г.Паустовский в книжном магазине «Глобус» («Le globe»). Париж, 1962. Фотография Елены Адант. Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Л.Н.Делекторской)

миссия и что они ведут себя в рамках предусмотренного регламента. Поэтому мы молчали и пили кофе. Мы понимали, старались понять, но... И я поняла тогда, зачем нужна была карта преподавателя и почему не было широкой информации о его выступлении. Паустовский был известен и стар. Ему нечего было терять. И не разрешить выступить совсем они ему не могли. Был бы скандал. И они, понимая, что он неуправляем, попытались сократить число тех, кто его услышит.

Г.Л.: Дело не в его возрасте. Он практически всегда был неуправляем и старался жить «не по лжи». А многие ли знают Паустовского во Франции?

Е.Б.: Его издают. Значит, знают. У нас ведь издают тех, кого покупают. А раз его издают, значит, его покупают и читают, и знают. А на той встрече он произвёл хорошее впечатление. Он был один из первых советских коллег, который был самим собою, и потому тогда ему так поверили и такое впечатление произвели его слова на всех студентов и преподавателей об атмосфере в России и о перспективах развития цивилизации.

Г.Л.: Константин Георгиевич уже тогда понял, что наш генофонд пострадал почти непоправимо. Уже тогда он видел количественный размер бедствия — «надо три поколения». А другие стали говорить это только после 1987 года...

Через пару дней я смогла убедиться, что обыкновенные французы, не занимающиеся литературой, знают творчество Паустовского.

Это случилось в центре культуры Помпиду. Туда вход бесплатный для всех граждан мира. И там есть лучшие книги на очень многих языках. Сама видела на литовском Балтрушайтиса, Межелайтиса, Марцинкявичюса. А на русских полках — от Достоевского до Паустовского, Солженицына, Бродского. На французском, не буду утверждать, но мне увиделись Достоевский, Тургенев, Паустовский, Солженицын, Сахаров.

Итак, в центре Помпиду я познакомилась с русской дамой третьей волны эмиграции. Она была со своей подругой Брижит. Мы разговорились, и вдруг Брижит меня спрашивает: «Как относятся в России

к Паустовскому?» Париж, октябрь 1990 года, французская дама, преподаватель музыки, не имеющая ни в одном из колен русской крови, спрашивает меня о Константине Георгиевиче.

И я очень огорчилась из-за своего французского. Моего запаса слов было недостаточно, чтобы поведать ей о Солотче, о Севастополе, о «Блестящих облаках» и «Чёрном море», о Тарусе 1970 года, когда я бегала по заснеженному городку и искала дом, где он жил, могилу, где захоронен, музей — ему, улице — его имени, и на все, исключительно на все вопросы, получала краткий, как выстрел, ответ: «нет».

— Может быть, школа носит его имя?

— Нет!

— Может быть, в день его рождения дети пишут сочинение или слышат о нём?

— Нет!

— Может быть, есть улица его?

— Нет!

— Будет ли памятник?

— Нет!

И от Союза писателей — храню их письмо — нет. И моё состояние от этих «нет». И случайно оказавшись в Тарусе 23 мая 1991 года, сойдя с вечернего московского автобуса, первое, что я увидела: «Первый тарусский праздник К.Г.Паустовского».

Лучше поздно, чем никогда. Вероятно, это так. Но произошёл разрыв в 25 лет — целое поколение тарусян могло быть воспитано в школе Паустовского, видеть указатели — к музею Паустовского, а значит, часть русских людей знала бы его не понаслышке...

«Я верю, что мои ученики не используют литературу как средство наживы или достижения карьеры, верю, что для них литература будет делом жизни», — сказал К.Г.Паустовский перед выпуском Бакланова, Трифонова, Тендрякова. И ещё был Борис Балтер, который точно не использовал и принял крест свой за это.

И сердце нежное, всё в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Это слова Паустовского о Кипренском. Сегодня они звучат как о нём самом, о писателе.

Пенчо ДОКСАНИЕВ
(Болгария)

ОСЕНЬ БЕЗ ПАУСТОВСКОГО

Мы поздоровались в узком, низком коридорчике рядом с крыльцом. Рука Алёши Паустовского была тёплой и мягкой.

— Замолчи, Сеньор! — прикрикнул он на собаку. Маленькая, коротконогая собачонка продолжала рычать, недовольная моим ранним приходом в этот тихий, бревенчатый дом.

Я принёс с собой холод и сырость с улиц Серпухова и Тарусы. Алёша подал мне домашние туф-

ли, и вскоре мои озябшие ноги ощутили приятное тепло.

Константин Георгиевич наблюдал за нами со стены гостиной, освещённой зелёной люстрой, любимой люстрой Татьяны Алексеевны, его жены. Он смотрел на нас в зеленоватом свете комнаты, сидя у широкого окна, отложив ненадолго очки, чтобы дать отдых глазам, погружённый в мысли о какой-то будущей своей книге. Таким запомнился он

знакомому художнику, и хотя портрет не был завершён, Татьяна Алексеевна попросила подарить его этому дому.

Вторая собака, по имени Пират, которая, по видимому, пользовалась неограниченными правами и устаивалась гораздо большего внимания, чем мёрзнувший на улице Сеньор, прибежала к нам в гостиную, желая проверить, кто пришёл. Она понюхала мою руку и, ничего в ней не обнаружив, недовольно поворчала и удалилась на кухню, где Маша разожгла газовую плиту и пыталась разморозить рыбу, принесённую накануне её мужем Алёшей.

За окном по-прежнему моросил дождь. Был конец октября — время, когда кончается бабье лето и наступает череда нескончаемых дождей. Сквозь запотевшие окна виднелись почерневшие от влаги дощатые заборы, за которыми неторопливо текла река Таруска. Видны были и оголённые ветки деревьев, а внизу раскишавшая земля была затянута жёлтым золотом опавшей листвы. В опустевшем саду осталась лишь тронутая изморозью истоптанная трава, остатки капустных кочерыжек да голые помидорные кусты.

В сущности, если не считать первого снега, который неожиданно выпал два-три дня назад и обжёг на деревьях листву, можно было поверить, что зима ещё далеко-далёко и не все осенние деньки уже позади. В такую пору Константином Георгиевичем когда-то овладевало беспокойство, настроение менялось — быть может оттого, что последние дни осени — самая грустная пора в Тарусе: берёзы постепенно желтеют, трава ещё не желает увядать, а отяжелевшие, оплетённые влажной паутиной ракиты низко склоняются к помутневшим водам реки. Писатель то жаловался своим хрипловатым голосом на давний ревматизм, «заработанный» ещё в первую мировую войну, то спрашивал, доживут ли деревья до конца мая, и его слова сопровождались сухим кашлем из-за многолетней бронхиальной астмы. В другие времена года он искал уединения — и в беседке, прятаншейся в самом дальнем уголке сада, и у себя в кабинете, и на рыбалке. Но в сырые, печальные дни осени ему необходимо было общение с людьми.

Где-то вдали, наверно за первым поворотом Оки, загудел пароход. Потом всё стихло, и тогда старый бревенчатый дом, отяжелевший от груза прожитых лет, вздохнул-заскрипел под напором холодного ветра.

— Дороги опять развезло! — огорчённо проговорил Алёша. — А мне сегодня надо на почту и в магазин. И в булочную забежать надо.

Они с женой живут почти в полном одиночестве. Татьяна Алексеевна неважно себя почувствовала и уехала на какое-то время в Москву; соседи, люди пожилые, не навещают их, телевизора в доме нет. Единственное беспокойство — от телефона: звонят то из Серпухова, то из Калуги, туристы и иностранцы просят разрешения посетить дом Паустовского. Беседы с ними проводит Алёша.

Этот небольшой деревянный домик купила жена писателя — ей приглянулся участок, высокий холм, близость Мещёрских лесов, полноводная Ока. И, разумеется, старинный городок Таруса, тихий, уединённый, скромный.

— Сейчас город уже не такой, каким я его помню, — признался Алёша. — Его заполонили туристы, дачники, тишина и романтика понемногу исчезают. Это отец виноват — он расхваливал Тарусу в своих рассказах, и вот нате вам...

После смерти Паустовского Татьяна Алексеевна купила вторую половину дома с участком. Дом расширился, сад стал ещё больше. Но первые три комнаты — бывшие свидетели жизни и творчества писателя — по-прежнему самые любимые.

В них всё осталось в точности, как было прежде. В продолговатой спальне Константина Георгиевича стоят его личные вещи, до блеска истёртые его руками, за дверью — палка, с которой он в последние годы не расставался, пепельница, рядом с нею — начатый спичечный коробок. На стене — в качестве немого свидетеля о 31 мая 1966 года — висит забавная стенгазета, присланная к дню рождения Паустовского отдохавшими в Ялте писателями. Остроумные шутки, красочные картинки, вырезанные из журналов, фотомонтажи, сердечные поздравления.

— Хотите увидеть отцовский кабинет? — спросил Алёша, открывая дверь. — Я почищу сапоги для нашей прогулки вдоль Оки и по Тарусе, а вы пока посмотрите.

Деревянный дом снова скрипнул. В одном углу подал голос жук-древоточец. Было слышно, как где-то, через несколько комнат, Алёша чистит сапоги, а Маша отдирает с замёрзшей рыбы фольгу.

Первое, что приковывает к себе взгляд посетителя, не бывавшего прежде в кабинете Паустовского, — его письменный стол, освещённый широким окном, — недрёманное око, обращённое к небольшой речушке Таруске, которая через сотню метров впадает в Оку. На столе — рукопись некогда потерянной Исааком Бабелем повести Паустовского «Пыль земли Фарсистанской». Помню, как поздним летним вечером 1965 года в своей московской квартире на Котельнической набережной он тихим голосом рассказывал историю её «исчезновения» и назвал её «забавной», оттого что ему пришлось писать повесть вторично. Татьяна Алексеевна сердито добавила, что в сущности виной всему одно московское издательство и рассеянность Бабеля.

— О, Исаак Эммануилович, этот хитрый солдат, воевавший под именем Лютова в Конармии Будёного, вовсе не был рассеянным! — пытался убедить её Паустовский. — Когда я во второй раз написал свой роман, он принёс мне «отыскавшуюся» рукопись и, не жалея своего времени, стал сравнивать, какой из вариантов удачнее.

На письменном столе стоит также пишущая машинка писателя в коричневом футляре, закрытая навсегда. Рядом с нею — всякие мелочи, любимые его вещицы — скульптурные фигурки,

юбилейные медали, деревянный стакан для карандашей. И очки его в белой роговой оправе, с толстыми стёклами. Напротив письменного стола — несколько книжных полок с толстыми и трогательными романами Чарлза Диккенса и переплетёнными номерами старых русских журналов «Нива» и «Живописное обозрение».

Московская его библиотека гораздо богаче. Там среди сочинений Михаила Пришвина вы увидите и пьесы Алексея Арбузова, первого мужа Татьяны Алексеевны, стихи Марины Цветаевой, сонеты Шекспира. На самом верху книжного шкафа стоит древняя греческая амфора, извлечённая со дна Чёрного моря и привезённая из Болгарии. И новое кадило, покрытое зелёной глазурью, купленное Татьяной Алексеевной на казанлыкской толкучке много лет назад во время их поездки по Болгарии.

А над тарусскими книжными полками висят портреты Юрия Олеши, Ивана Бунина. И большой портрет Паустовского в военной форме — майора, спецкорреспондента Южного фронта в годы Великой Отечественной войны. Его строгое лицо, избородённое глубокими морщинами, смотрит со стены над широким деревянным ложем, застланным болгарским «халиште» — домотканым покрывалом из овечьей шерсти. Занятая история этого халиште, подаренного Паустовскому болгарским писателем Ангелом Каралийчевым и привезённого из Софии в Тарусу, заслуживает отдельного рассказа. Сейчас оно, как многоцветная радуга после весеннего дождя, лежит здесь, и благодаря ему в кабинете так светло, словно земля за окном не зябнет в преддверии зимы.

За дверью, точно большой сноп, стоит связка удочек Паустовского. На нескольких — иностранные этикетки. Рядом — связка искусственных приманок, привезённых аж из Парижа.

— Русская рыба на капиталистических червяков не клюёт, — прозвучал у меня за спиной голос Алёши, вошедшего в кабинет с охапкой берёзовых дров. — Сейчас растоплю печки-голландки и отправимся на кладбище.

...Рыбачьи сапоги были мне велики, но зато чрезвычайно удобны в этой осенней грязи, заливавшей улицы, тропинки вдоль плетней и опустевшие огороды. У дома Константина Паустовского, в глубине улицы Пролетарской поднимался молочно-белый туман. В неглубоком русле Таруски вода была теплее, и там, где она вливалась в холодную Оку, вздымался, как из кратера вулкана, пар.

Маша пошла с нами. Ветер трепал её волосы, играл прядями, закрывавшими её миловидное лицо. И мне вспомнились слова её свёкра. Он написал их в Ялте летом 1959 года после случайной встречи вот с такой же хорошенькой девушкой у каменного парапета крымского шоссе. Константин Георгиевич считал, что каждая пядь земли, на которую ступала её ножка в лёгкой туфельке, должна быть драгоценна для стариков: ведь её кос-

нулась молодость — то единственное, ради чего он жил и так много работал на протяжении трудных и подчас неблагодарных лет. «Знает ли о том молодёжь? — думал писатель. — Знает ли эта девушка? Жизнь почти потеряла бы смысл, если бы молодёжь не знала о том, что сделано старшими поколениями».

Алёша в распахнутой на груди рубашке, будто на зло подступающей зиме, широко шагал наверх, к кладбищу, где в осенней тиши скрипели ветви высоких елей. Ещё немного вперёд, затем направо, и мы на холме, обращённом к Оке.

Здесь, под одиноким дубом с голыми, поблёкшими ветвями, покоится Константин Георгиевич. Несколько блестевших от дождя каменных дорожек — от входа на кладбище и через узкий овраг с кустами сирени — ведут к осевшей могиле. Нет ни памятника, ни высокого деревянного креста, лишь замшелый камень в головах, а на нём, как на бронзовой плите, высечены даты «1892–1968».

Это место — вблизи от могилы матери Татьяны Алексеевны — выбрал писатель Борис Балтер, один из учеников Паустовского. Вероятно, не случайно, потому что отсюда начинаются леса, о которых писателем написано бесчисленное множество волшебных рассказов. Или же потому, что в этом старинном русском городе, бывшем когда-то центром небольшого княжества, а ныне маленьком и тихом городке на левом берегу Оки, Паустовский прожил часть своей жизни. С этими местами сроднились и известные русские художники В.Поленов и В.Борисов-Мусатов. В Тарусе, городе детства и отрочества русской поэтессы Марины Цветаевой, есть своя «Малая Третьяковская галерея», где можно увидеть и полотна Айвазовского. И полюбоваться русской народной вышивкой, созданной руками тарусян на местной фабричке.

Сожжённая трава вокруг была утоптана. Клёны и сирень время от времени роняли прозрачные капли. Скованные усиливающимся холодом, они надолго задерживались на ветках и почти заледевшими падали на землю. Внизу, на пристани — в старом скрипучем строении — слышались голоса: шла посадка на катер, направлявшийся в Поленово и Серпухов. Вскоре он тоже перестанет приходить сюда. Ока будет скована морозом, днём по ней будут ходить охотники и рыболовы, а по ночам волки оставлять на остекленевшем льду следы своих когтей.

— Двинемся домой! — предложил Алёша, и мы повернули назад, пошли другой дорогой, вдоль берега реки, подгоняемые горьковатым запахом первого, тонкого льда. — Все промокли. Дома попросим тётку Грачёву, Наталью Константиновну, бывшую хозяйку отца, поставить самовар. Попьём чайку.

Мысль о самоваре, от которого запотеют стёкла окон, согрела нас. Но стало грустно, что и это лето уходит без тихого и доброго волшебника.

*Перевод с болгарского
Ники Глен*

Маргарета ШИПОШ
(Румыния)

МЫ ВНОВЬ ОБРАТИМСЯ К МАСТЕРУ

В начале пятидесятых годов, когда Константин Георгиевич Паустовский вёл семинар по прозе в Литературном институте имени Горького в Москве, один мой сокурсник поведal мне случай, весьма показательный для популярности этого писателя, особенной, я бы сказала, в русской литературе. Мой коллега зашел как-то в столовую, сел за столик, и его внимание было привлечено довольно громким разговором о Паустовском. К его удивлению, соседи, горячо обсуждавшие произведения писателя, выглядели простецки — в спецовках, наверное, рабочие, пришедшие перекусить в обеденный перерыв. Спустя некоторое время один из них, заметив, что сосед прислушивается к их беседе, спросил: «Интересуешься Паустовским? Читал?».

Надеясь, что отрицательный ответ вызовет оживлённые объяснения, мой сокурсник сказал: «Нет». — «Тогда ты дурак», — последовала короткая реплика, и вскоре рабочие поднялись и ушли.

Безусловно, Паустовский был очень популярным писателем, любимым многими и пишущим для многих. Его книги вселяли чувство уверенности, что люди могут быть добрыми, что в каждом есть что-то прекрасное, заражали глубокой любовью к природе, которой дышало всё его творчество, благоговением перед жизнью.

Что до меня, то я познакомилась с ним после прочтения «Повести о жизни», — человеком он оказался столь же восхитительным, как и писателем. Он был уже немолод или я была слишком молода, чтобы верно определить его возраст, невысокого роста, с голосом слабым из-за астмы, которая его дожимала, внимательным и ровным со всеми окружающими.

Находиться час-другой в его обществе было волшебным переживанием. Внимая ему, я невольно ждала, что непременно должно произойти какое-то чудо, — он так рассказывал о своей молодости, что я не удивилась бы появлению в дверях его друзей, даже давно исчезнувших, настолько ему удавалось воссоздать время, людей, события.

Не знаю почему, он у меня ассоциировался с Григом, с его фантастической музыкой, и я была рада прочитать в «Золотой розе», что и он его любит.

При всей его деликатности, предупредительности я несколько раз была свидетельницей того, как в тихом голосе болеющего человека пробивалась сдержанная сила, несгибаемая смелость.

Появился в 1956 году роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». С точки зрения художественной, книга эта, может, и не такая уж выдающаяся, но в ней говорилось о привилегиях и излишествах высокопоставленных чинуш, об их неограниченной власти. Роман произвёл исключительное впечатление. Куда ни оглянись, везде люди говорили о Дудинцеве и о его отважной книге. Руководство Союза писателей решило обсудить роман. Разумеется, имелся в виду разнос. Я «просочилась» в Дом писателей часа за три до начала заседания. И правильно сделала, потому что за час до начала здание было оцеплено конной милицией. Ни разу в жизни я больше не видела книгу, столь мощно «охраняемую». Не помню, кто что говорил. Но когда слово предоставили Паустовскому с его глуховатым голосом, воцарилась такая тишина, что слышно было дыхание людей. А Паустовский рассказывал о круизе по Средиземному морю. Пассажиры были распределены по трём классам корабля следующим образом: 1 класс — деятели, 2 класс — писатели, а 3 класс — передовики производства, простые люди, которых «поощрили» поездкой. Обслуживание было, разумеется, разбито на три соответствующих уровня. «Таково и наше общество», — произнёс Константин Георгиевич перед замершими присутствующими. Факт был известен, но никто не смел вслух выговорить эти слова в «обществе равноправных», как демагогически утверждалось.

Люди разошлись в странном молчании, словно писатели опасались выразить какое-либо мнение. Потому что, хотя Сталин умер, было ещё живо мрачное пророчество Осипа Мандельштама, который говорил, что «на три поколения вперёд рябой чёрт вселил в нас страх».

Уверена, что когда жизнь вернётся в своё естественное русло, мы в литературе обратимся к Паустовскому с жадной вновь обрести веру в то, что люди могут быть добрыми и хорошими.

*Перевод с румынского
Кириллы Ковальджи*

Унелма КОНККА

*литератор, переводчик с финского,
фольклорист, кандидат исторических наук*

«ОН ВСЕЛЯЛ В МЕНЯ ЧУВСТВО ВДОХНОВЕНИЯ...»

В феврале 2001 года в Петербурге уже в третий раз проходили Дни культуры и языка Финляндии. В них принимала участие известнейшая финская писательница Лайла Хиэтамиэс. Она — автор тридцати романов и по рейтингу занимает первое место у читателей Финляндии. Вот некоторые цитаты из интервью, данном ею газете «Карьялан саномат», которая выходит в Петрозаводске на финском языке. Я перевела их специально для журнала «Мир Паустовского».

«На всё моё детство наложила свою страшную тень война. Все мои детские воспоминания связаны с ней... Поэтому я так много об этом писала и наконец-то освободилась от видений прошлого», — говорит писательница.

До своего прихода в литературу Лайла Хиэтамиэс прочитала многое из русской и западной классики. В 70-е годы начала писать сама и вновь обострился интерес к русской литературе. Сильное впечатление на писательницу произвёл Паустовский. «Он вселял в меня чувство вдохновения. Наверно, именно он — тот писатель, которому принадлежит выражение «быть воодушевлённым». Лайла Хиэтамиэс отмечает, что Паустовский был для неё таким же любимым писателем, как и для недавно ушедшего из жизни Калле Пяатало, создавшего около 60 романов о народной жизни. Они часто говорили о языке Паустовского, восхищаясь им.

Мне неизвестно, в чьём переводе читали финские писатели Паустовского (ни Лайла Хиэтамиэс, ни Калле Пяатало русским на владели), но я знаю, что «Повесть о жизни» перевёл мой брат, писатель и переводчик Юхани Конкка, поскольку трёхтомник этого произведения в его переводе стоит и сейчас у меня на полке. Я читала эту великолепную эпопею на русском языке и два раза на финском и считаю, что мой

брат сделал хорошую работу. Кстати сказать, он перевёл «Тихий Дон» Шолохова, «Мастера и Маргариту» Булгакова, «Доктора Живаго» Пастернака, много произведений русской классики — Достоевского, Толстого, Тургенева, Горького и других. Помнится, что в 1957 году он был приглашён в Москву на международное совещание переводчиков русской литературы и был отмечен каким-то знаком отличия. В 60-е годы он снова был приглашён в Москву и получил премию за переводы произведений Шолохова и Горького. Я всё это помню довольно смутно, но недавно получила последний роман его дочери Аниты Конкка, в котором она вскользь упоминает об этих фактах.

Как мой брат очутился в Финляндии? В беспокойные годы гражданской войны наша семья бежала в Финляндию. Деревня Конккала находилась в двадцати километрах от Петербурга, а до границы было всего километров тридцать. В 20-м году семья вернулась в родную деревню, но брат Юхани находился где-то в западной Финляндии на заработках и не успел вернуться, пока граница была открыта для беженцев. Так он и остался там. Русский язык он знал, потому что окончил дома школу второй ступени на русском языке, да и соседство Питера сказывалось на развитии подростка. В финские деревни под Петербургом каждое лето приезжали дачники, люди среднего достатка, у которых своих дач не было, и они снимали комнаты в крестьянских домах.

Юхани Конкка опубликовал девять своих романов и других прозаических произведений, прежде чем целиком отдался переводческой деятельности. Финские писатели, приезжающие в Петрозаводск, говорили мне, что русскую литературу они узнали благодаря переводам Юхани Конкка.

г.Петрозаводск

Леннарт МАГНУССОН
(Швеция)

ЕГО МОЖНО ЧИТАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ...

Моя первая встреча с Паустовским состоялась, когда я познакомился со сборником «Золотые слова», где был напечатан его рассказ «Барсучий нос». В рассказе меня сразу поразило пленительное описание природы. Это случилось,

когда я работал преподавателем русского языка в шведской школе. Потом я нашёл в стокгольмском магазине книгу «Мещёрская сторона» с комментариями Людмилы Ачкасовой. Эта книга стала моей спутницей летом 1995 года во время долгой

поездки со старшим сыном в Якутск. Вначале мы ехали на поезде через всю Сибирь до Усть-Кута, потом плыли на пароходе по Лене до конечного пункта нашего путешествия...

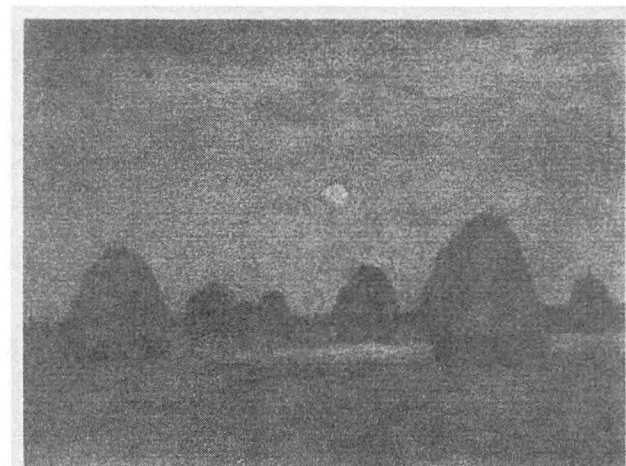
Когда мне предложили взять тему для диссертации, я встал перед выбором: Антон Чехов, Лидия Сейфуллина с Пантелеймоном Романовым и Константин Паустовский.

О Чехове было уже много написано, Сейфуллина и Романов, по-моему, были тесно связаны с ранними революционными годами, а эта тема слишком трудна для иностранца. А вот тему «Описание природы в «Мещёрской стороне» взял с удовольствием.

Я начал с краткого обзора описаний природы в мировой (западной) литературе. Потом провёл сравнение между Паустовским и предшествующими ему русскими писателями-пейзажистами — Сергеем Аксаковым, Иваном Тургеневым, Иваном Буниным и Михаи-



Ленарт Магнуссон (справа) с Ильёй Комаровым, директором Музея-центра К.Г.Паустовского, в Тарусе.
Фотография М.К.Сазоновой, 2000 г.
Из архива Музея-центра



Lennart Magnusson

Naturskildringen i Konstantin Paustovskijs *Meščorskaja storona*

Обложка компакт-диска с диссертацией Ленарта Магнуссона «Naturskildringen i Konstantin Paustovskijs» с первым и его переводом повести К.Паустовского «Мещёрская сторона» на шведский язык. 2004 г.
На обложке — акварель Исаака Левитана «Стога», подаренная художником А.П.Чехову для его кабинета «Белой дачи» в ялтинской Аутке.
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Ленарта Магнуссона)

лом Пришвиным. Затем сравнил методы Бунина, Пришвина и Паустовского. Такое же сравнение я провёл между Паустовским и шведскими писателями, его современниками, которые писали о природе. Это Эрик Розенберг, Свен Розендаль и Харри Мартинсон. В диссертации есть, конечно, главы о стиле Паустовского и его средствах описания природы.

Объёмных книг-исследований о природе в произведениях писателей, увы, мне кажется, очень мало. Была, например, старая диссертация финна Салонена «Ландшафт у И.С.Тургенева» (1915), есть диссертация немца Михаэля Нирле «*Naturschilderung in Versdichtung und Prosa von I.S.Turgenev*» (1969) и, конечно, блестящая диссертация профессора Вольфганга Казака из Кёльна о стиле Паустовского (1971).

Чем больше я работал над диссертацией, тем больше ощущал, как богат язык Паустовского. Его можно читать всю жизнь и каждый раз находить что-то для себя новое. У него есть золотые слова!

P.S. Жаль, что до сих пор закрыта переписка по кандидатуре Паустовского на Нобелевскую премию 1962–1965 годов, только в 2012–2015 годах будет открыт архив, и мы сможем познакомиться со всеми официальными документами по этому вопросу. Но многие свидетельствуют о его кандидатуре: например, известный справочник «*Terras: Handbook of Russian Literature*» и «*Cornwell: Reference Guide to Russian Literature*».

Лев ШИЛОВ

ЗВУЧИТ ГОЛОС ПАУСТОВСКОГО

Мне очень хотелось записать голос Константина Георгиевича Паустовского. Точнее — записать чтение писателем своих произведений. Я не раз пытался это сделать, но это было не так-то просто. И вот летом 1965 года, без всякой предварительной договоренности и согласия на запись, я поехал в Тарусу. На калитке дачи Паустовского была кнопками приколотая записка, отпечатанная на машинке:

К.Г.Паустовский болен и никого не принимает.
Простят не стучать и не входить.

Посидев в растерянности с полчаса у закрытых ворот, я снова перечитал записку. Она, видимо, висела здесь не первую неделю, пожухла и выцвела. Значит, он заболел не сегодня. Может быть, сейчас он не так уж и плохо себя чувствует? И ещё сама форма последней фразы не позволяла уйти со спокойной совестью. Если бы там было написано его рукой: «Прошу не стучать», я бы, пожалуй, ушёл. Но записка на машинке и оборот «простят» говорили о том, что это сделали близкие писателя, оберегающие его покой.

Мне не хотелось уходить, не сделав хотя бы робкой попытки записать Паустовского — ни радио, ни

студия грамзаписи ещё не записывали его. Не решаясь постучать в калитку, я стал дразнить бродившую за забором собаку, надеясь, что она залает и кто-нибудь выйдет из дома, а там видно будет...

В конце концов, я попал в кабинет писателя, и он согласился читать для записи на магнитофон. Вернее, не столько согласился, сколько не смог отказать из-за своей деликатности и неумения отказывать. Он, правда, сказал: «Я никогда не читал, я плохо это делаю. Каждый должен заниматься своим делом — читать должен артист, а писатель должен писать. Но раз уж вы приехали с этим грузом, и так далеко... Что же вам прочитать?».

Я попросил «Телеграмму». Мне казалось, что это один из тех рассказов, который знают и любят все, и поэтому, слушая запись, будут обращать внимание не на содержание, а на то, как читает автор. Мы записали этот рассказ, но из дальнейшего разговора я понял, что теперь писатель не очень-то им дорожит, гораздо выше он ставит последние свои работы.

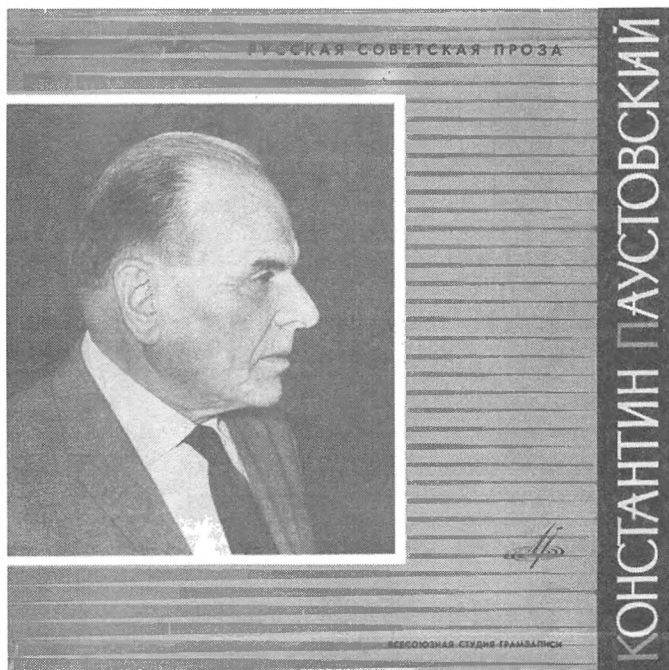
Из «Повести о жизни» Паустовский выбрал для записи сцену смерти отца и во время чтения так разволновался, что мне пришлось несколько раз выключать магнитофон.

А «Телеграмму» читал очень просто, сдержанно. Я особенно ждал, как он прочтёт то место, где добродушная Манюшка, постоянно шмыгающая носом, опускает в почтовый ящик письмо Екатерины Петровны. Манюшка не знает содержания письма, знает только, что отправляет его в далёкий от их глухого села Заборья город, где живет дочь Екатерины Петровны, знает, как ждёт старушка приезда дочери, но, видно, не дожждётся, совсем плохо у неё со здоровьем. Манюшка «долго засовывала письмо в почтовый ящик и заглядывала внутрь — что там? Но внутри ничего не было видно, одна жестяная пустота».

Эти слова про «жестяную пустоту», которую писатель заставил увидеть Манюшку, вызывающие у читателя щемящую боль и горестное недоумение — как же могла дочь забыть о самом близком и дорогом человеке, о матери, — эти слова Константин Георгиевич прочитал так же просто и буднично, как и весь рассказ.

И ни в каком другом месте не появилось у него обвиняющих или хотя бы осуждающих Настю, дочь Екатерины Петровны, интонаций. Он даже как бы с сочувствием говорил о её кипучей, плодотворной работе, её занятости, её чуткости по отношению к чужим людям.

Тем большее впечатление на читателя рассказа и слушателя этой записи производили заключительные фразы:



Супербложка грампластинки с новеллой «Телеграмма» в авторском исполнении.
Запись Л. Шилова («Мелодия», 1966).
Из архива Музея-центра (Фонд М.К. Сазоновой)

«В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нём смерзлась комками — и холодную, тёмную комнату Екатерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла уже давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжёлый рассвет... Ей казалось, что никто, кроме Екатерины Петровны, не мог снять с неё непоправимой вины, невыносимой тяжести».

Читая рассказ, Константин Георгиевич иногда ошибался, произнося некоторые слова с южным акцентом, поправлял себя и снова, когда включалась запись, ошибался. В конце концов, на этих не дающих ему словах он поставил в тексте ударения и перечитал фразы ещё раз.

Немного мешало записи то, что на противоположном берегу реки, прямо против дачи писателя, грохотал песчаный карьер, и его шум нахлобился на запись, так что технически она не очень хороша. Не так хороша она ещё и потому, что я стеснялся перебивать писателя и не просил его перечитать те места, которые он произносил не очень отчётливо, стеснялся напомнить о том, что он не должен при чтении отворачиваться от микрофона, — то есть не сделал тех замечаний, которые всегда делают в радиостудиях и отчего профессиональные записи имеют столь высокое техническое качество, но выглядят какими-то дистиллированными.

Прослушивание части записи, как мне показалось, доставило Паустовскому некоторое удовольствие.

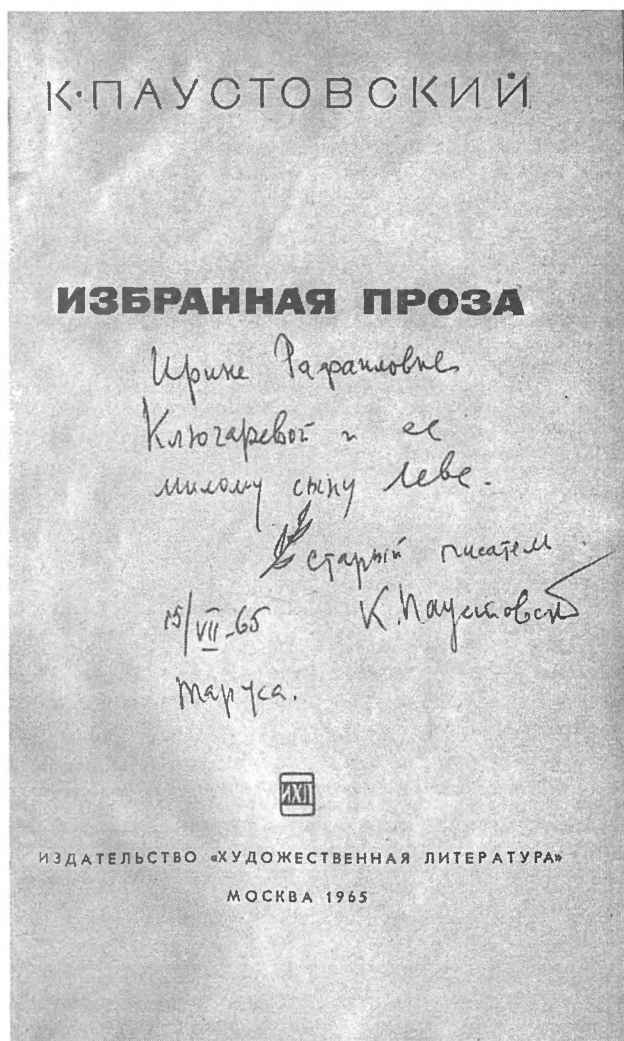
— Пожалуй, — сказал он, — разговоры мне даются легче. Надо будет выбрать что-нибудь с разговорами, и посмешнее. Я подумаю, подберу...

У меня с собой была книга Паустовского (именно в ней он проставил не дававшиеся ему ударения). Я взял её специально, чтобы получить автограф писателя. Он охотно согласился, но я попросил Константина Георгиевича надписать эту книгу для моей мамы, и он, несколько не обидевшись, написал для неё какие-то добрые слова. (Сейчас эта книга с автографом и ударениями, представленными автором при чтении, хранится в Музее Паустовского.)

Константин Георгиевич записал мой телефон, обещал позвонить, но так и не позвонил. Я писал ему, напоминая об обещании. Ответа не получил. Второй раз явиться к писателю без разрешения я не решился.

Позже по этой записи была сделана грампластинка, выпущенная фирмой «Мелодия» в серии «Русская советская проза».

Настойчивее и удачливее меня оказался сотрудник звукового журнала «Кругозор» Владимир Возчиков, записавший чтение Паустовским его рассказа «Ильинский омут». Этот рассказ, как и «Наедине с осенью» и «Третье свидание», Константин Георгиевич считал принципиально важ-

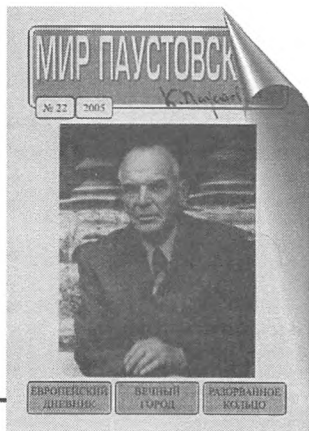


Автограф К.Г.Паустовского Льву Шилову и его маме.
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского (Фонд Л.Шилова)

ным, в нём было нечто новое для его творчества. «Это новое, — говорил писатель, — заключается во внутренней свободе названных рассказов, не связанных ни сюжетом, ни той или иной обязательной композицией, ни необходимостью быть поучительным и нравоучительным и тем самым — несколько скучноватым...»

Итак, нам с вами и будущим читателям и слушателям Паустовского остались пластинка с рассказом «Телеграмма» и журнал «Кругозор» (№ 11, 1965) с рассказом «Ильинский омут».

Возможно, что при первом прослушивании эти записи кого-то и разочаруют. Голос у Паустовского негромкий, хриловатый, иногда даже скрипучий. Читает он неторопливо, ровно, «без выражения». Но именно эта безыскусность, неторопливость, естественность чтения помогают поверить в происходящее в рассказе — так, как будто вы сами это видите. На фоне предельной сдержанности, характерной для Паустовского, малейшие нюансы отношения читающего автора к его героям выявляются ещё ярче.



ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ ПАУСТОВСКОГО

Роберт БЕРНС

* * *

Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении, даже в хорошо знакомых стихах, неожиданно появлялась новая певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слышал больше такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о **Джоне Ячменное Зерно**, блоковские «Шаги командора» или пушкинское «Для берегов отчизны дальней...», — что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения.

*Паустовский К. Золотая роза
(Эдуард Багрицкий) 1955*

Джон ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

Три короля из трёх сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгнать, юный **Джон
Ячменное Зерно!**

Погибни, Джон, — в дыму, в пыли,
Твоя судьба темна!
И вот взрывают короли
Могилу для зерна...

Весенний дождь стучит в окно
В апрельском гуле гроз, —

И Джон Ячменное Зерно
Сквозь перегной пророс...

Весенним солнцем обожжён
Набухший перегной, —
И по ветру мотает Джон
Усатой головой...

Но душной осени дано
Свой выполнить урок, —
И Джон Ячменное Зерно
От груза занемог...
Он ржавчиной покрыт сухой,
Он — в полевой пыли...
— Теперь мы справимся с тобой! —
Ликут короли...

Косою звонкой срезан он,
Сбит с ног, повергнут в прах,
И, скрученный верёвкой, Джон
Трясётся на возах...

Его цепами стали бить,
Кидали вверх и вниз, —
И, чтоб вернее погубить,
Подошвами прошлись...

Он в ямине с водой — и вот
Пошёл на дно, на дно...
Теперь, конечно, пропадёт
Ячменное Зерно!..
И плоть его сожгли сперва,
И дымом стала плоть.
И закружились жернова,
Чтоб сердце размолоть...
.....

МП: Судя по откликам, читателей заинтересовала рубрика «Поэтическая антология Константина Паустовского». Возможно, им будет небезынтересно узнать историю её появления.

Однажды писатель Николай Атаров попробовал «перечитать все стихотворные строки, которые Паустовский ввёл в свои произведения». Атаров был приятно поражён отрядной на русский слух и объёмной антологией мировой поэзии, какую Паустовский хранил в своей памяти.

Редакции «МП» показалось заманчивым такую антологию составить. Подход к её составлению был бесхитростен и прост: приводить не только избранные Паустовским стихи, но и тексты писателя с фрагментами этих же самых стихотворений, которые всегда так органично вплетаются в ткань его повествований. Стихи как бы приобретают дополнительное звучание — в контексте их поэтического видения Паустовским и даже в контексте переживаемого страной времени.

Некоторые стихи приводятся писателем с отклонением от оригинала. Они

будто вспоминаются, а память нас иногда подводит. Эти неточности можно легко объяснить, но не стоит заострять на них внимание.

Журнал успел ознакомить своих читателей со многими страницами антологии, включившими в себя имена Пушкина, Баратынского, Блока, Гумилёва, Волошина, Есенина, Мандельштама, Заболоцкого. В этом номере естественно вспомнить пленившие К. Паустовского стихи поэтов зарубежных стран — Англии, Франции, Америки, Австрии, к творчеству которых писатель обращался на протяжении всей жизни.

Готовьте благородный сок!
Ободьями скреплён
Бочонок, сбитый из досок, —
И в нем бунтует Джон...
Три короля из трёх сторон
Собрались заодно, —
Пред ними в кружке ходит Джон
Ячменное Зерно...

Он брызжет силой дрожжевой,
Клокочет и поёт,
Он ходит в чаше круговой,
Он пену на пол льёт...

Пусть не осталось ничего,
И твой развеян прах,
Но кровь из сердца твоего
Живёт в людских сердцах!..

Кто, горьким хмелем упоён,
Увидел в чаше дно —
Кричи:
— Вовек прославлен Джон
Ячменное Зерно!¹

Перевод Эдуарда Багрицкого

* * *

Самуил Яковлевич Маршак был не только большим и кипучим поэтом, но и певцом самой поэзии, знатоком и хранителем её мудрости и её великолепия. Как в золовой арфе соединяется пение всех ветров, так он соединил голоса многих поэтов, и прежде всего — Шекспира и Бернса. Он воскресил их и вплотную приблизил к нам в своих конгениальных переводах.

<...> Маршак умер, завещав нам огромную, лишённую всякой аффектации веру в добро и справедливость:

**Настанет день, и час пробьёт,
Когда уму и чести
На всей земле придёт черёд
Стоять на первом месте.**

(Р.Бернс. Честная бедность)

Его вера в это была простой и крепкой, как суровое шотландское полотно.

Маршак встал в ряды тех немногих подлинных поэтов, чьи стихи войдут в бессмертный обиход передового человечества.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Завещание поэта
1964*

ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ

Кто честной бедности своей
Стыдится и всё прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

При всём при том,
При всём при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьём,
Мы укрываемся тряпьем
И всё такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шёлк и вина пьют
И все такое прочее.

При всём при том,
При всём при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом, —
Таких зову я знатью!

Вот этот шут — природный лорд,
Ему должны мы кланяться,
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!

При всём при том,
При всём при том,
Хоть весь он в позументах, —
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всём при том,
При всём при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И всё такое прочее!

**Настанет день и час пробьёт,
Когда уму и чести
На всей земле придёт черёд
Стоять на первом месте.**

При всём при том,
При всём при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!²

Перевод С.Маршака

Пьер Жан БЕРАНЖЕ

* * *

Я — капитан дальнего плавания, поэтому я не могу быть таким дураком, как это некоторым кажется... Я знаю, что жизнь без книг, творчества, блестящих идей, любви — это вино без запаха, морская вода без соли. Вот! Вы поняли, к чему я гну?

Я гну к тому, что нечего лаяться, если в большой давке вам наступили на ногу. Я не умею, конечно, так, как Батурын или Берг, излагать свои мысли. Я хочу сказать, что вот я, старик, требую, чтобы вы жили так, будто на земле уже наступила эпоха расцвета. Поняли?

¹ Печатается по изданию: Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы /Сост., вступ. ст., примеч. И.Л.Волгина (М.: Правда, 1984).

² Печатается по изданию: Роберт Бернс в переводах С.Маршака /Сост., вступ. ст., коммент. Р.Райт-Ковалёвой (М.: Правда, 1979).

Вы думаете, что я не читал и не знаю стихов.
Чёрта с два! Беранже написал в своё время:

**...Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!**

Не повторяйте этих плаксивых слов, — они недостойны современника Великой французской революции, они недостойны и нас, свидетелей величайших мировых потрясений. Я утверждаю, что мы нашли эту дорогу, и нечего насвистывать нам **ЗОЛОТЫЕ СНЫ**.

Капитан медленно сел. Глаз смотрел на него прищурившись, — этот человек впервые вышел из своих грубых и резко очерченных берегов.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Блстающие облака
(Горящий спирт) 1928*

Северцева не было дома, — обозлившись на ледниковые теории, на Гернета, Баклунова, на Гренландию и многих, он уехал в Петергоф. Один Леонид Михельсон бушевал в своей квартире, разучивая песенки Беранже.

**Если б вечный свой путь
Совершить наше солнце забыло, —
Завтра целый бы мир озарила
Мысль безумца какого-нибудь!..**

Баклунов, утомлённый размышлением о теории Гернета и музыкой, быстро уснул. На рассвете он проснулся. За открытым окном торжественно и глухо гудел аэроплан. Он нёс в высоте два огня. Они летели сквозь ночь, как медленные, падающие звёзды.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Теория капитана Гернета:
Документальная повесть
(Живые льды) 1933*

Швейцер не говорил о Толстом. Он говорил о будущем, о том, что оно не может не быть прекрасным, об искусстве, о жажде счастья, свойственной человеческому сердцу, о грозном времени, ставшем уделом нашего поколения, о приближении социальной справедливости, о величии культуры — самом гениальном, что создано человеком на протяжении многих веков.

Он говорил о силе человеческого сознания. О том, что мы живём только тысячной долей этой силы, о последней смертельной схватке между низостью и благородством.

Он пересыпал свою речь стихами, цитатами, воспоминаниями. Татьяна Андреевна слушала, закрыв глаза. Отдельные отрывки речи Швейцера наплывали как снег.

Поэзия? Что это? **«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»**. Нет, не это. **«Живые сны»**. Тоже нет. **«Душа человека непрерывно требует сказки»**. Нет — и не это.

Чудесное слагается из зримых вещей. Из сопоставления и неожиданной связи этих вещей. Надо

найти эту связь в окружающем. Надо искать её всюду, — тогда сказка умрёт, потому что сама жизнь станет ею. Таково назначение поэзии.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Дым отечества
(Часть вторая) 1944*

Гиляров читал студентам Киевского университета лекции по истории философии. Седой, небритый, в мешковатом люстриновом пиджаке, обсыпанном табачным пеплом, он торопливо подымался на кафедру, сжимал её края жилистыми руками и начинал говорить — глухо, неразборчиво, будто нехотя.

<...> Как только Гиляров начинал говорить, мы, студенты, уже ничего не замечали вокруг. Мы следили за неясным бормотаньем профессора, замороженные чудом человеческой мысли. Гиляров раскрывал её перед нами неторопливо, почти сердясь. Великие эпохи перекликались одна с другой. Нас не оставляло ощущение, что поток человеческой мысли нельзя разять на части, что почти невозможно проследить, где кончается философия и начинается поэзия, а где поэзия переходит в обыкновенную жизнь.

Иногда Гиляров вынимал из оттопыренного кармана пиджака томик стихов с оттиснутым на переплёте филином — птицей мудрости — и отрывисто прочитывал несколько строк, скрепляя ими свои речи философа:

**...Если б нынче свой путь
Совершить наше солнце забыло, —
Завтра целый бы мир озарила
Мысль безумца какого-нибудь.**

Изредка щетина на щеках у Гилярова топорщилась и прищуренные глаза смеялись. Так было, когда Гиляров произнёс перед нами речь о познании самого себя. После этой речи у меня появилась вера в безграничную силу человеческого сознания.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Беспокойная юность
(«Здесь живёт никто») 1954*

БЕЗУМЦЫ LES FOUS

Оловянных солдатиков строим
По шнурочку равняемся мы,
Чуть из ряда выходят умы:
«Смерть безумцам!» — мы яростно воем:
Поднимаем бессмысленный рёв,
Мы преследуем их, убиваем —
И статуи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев.

Ждёт Идея, как чистая дева,
Кто возложит невесте венец.
«Прячься», — робко ей шепчет мудрец,
А глупцы уж трепещут от гнева.
Но безумец-жених к ней грядёт
По полуночи, духом свободный,
И союз их — свой плод первородный —
Человечеству счастье даёт.

Сен-Симон всё своё достоянье
Сокровенной мечте посвятил.

Старикам он поддержки просил,
Чтобы общества дряхлое зданье
На основах иных возвести, —
И угас одинокий, забытый,
Сознавая, что путь, им открытый,
Человечество мог бы спасти.

«Подыми свою голову смело! —
Звал к народу Фурье. — Разделись
На фаланги и дружно трудись
В общем круге, для общего дела.
Обновлённая вся, брачный пир
Отпирует земля с небесами, —
И та сила, что движет мирами,
Человечеству даст вечный мир».

Равноправность в общественном строе
Анфантен слабой женщине дал.
Нам смешон и его идеал.
Это были безумцы — все трое!
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет;
Нам безумец дал Новый Завет —
Ибо этот безумец был Богом.
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь!

Перевод В. Курочкина

* * *

В Бресте я разыскал так называемую «Базу санитарных отрядов»...

На базе было пусто. Там томилась одинокая старушка сестра, дожидавшаяся начальника отрядов Гронского.

<...> Сестра была полька, говорила с акцентом и всё вздыхала:

— Это такой ветрогон, пан Гронский. Прилетит, нашумит, расцелует рончки и улетит, не успеешь и пикнуть. Ох, матка боска!..

Я уже слышал о Гронском от Чемоданова. Гронский — актёр «Комедии польской» из Варшавы — был человек галантный и отважный, со многими достоинствами, но в высшей степени легкомысленный. Звали его за все эти качества и за низкий рост «Маленьким рыцарем».

<...> Гронский вытащил из кармана френча маленький томик, потряс им в воздухе и воскликнул с неподдельным пафосом:

— «Евгений Онегин!» Я не расстанусь с ним! Никогда! Пусть рушатся миры, но эти строфы будут жить в своей бессмертной славе!

У меня от пана Гронского уже кружилась голова. Он внимательно посмотрел мне в лицо и заволновался.

— Сын мой! Ложитесь и поспите до концерта. Я вас разбужу.

Я охотно лёг. Гронский умчался вниз. Я слышал, как он умывался над тазом, фыркая и насвистывая «Марсельезу». Потом он сказал кому-то, очевидно Артёменко:

— Ты знаешь, что такое «кузькина мать»? Нет! Могу тебе показать в натуре. Очень интересно.

Панна Ядвига охнула и вспомнила «матку боску», а Гронский сказал:

— **Хоть я червяк в сравненье с ним, в сравненье с ним, с лицом таким**, но морда у этого адъютанта будет битая. Я дойду до расстрела. Решено и подписано!

Тут я уснул.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Беспокойная юность*
(*Маленький рыцарь*) 1954

ЗНАТНЫЙ ПРИЯТЕЛЬ **LE SENATEUR**

Я всей душой к жене привязан:
Я в люди вышел... Да чего! —
Я дружбой графа ей обязан.
Легко ли! Графа самого!
За делом отдыха не зная,
Делами царства управляя,
Он к нам заходит, как к родным.
Какое счастье! Честь какая!
Ведь я червяк в сравненье с ним!
В сравненье с ним,
С лицом таким —
С его сиятельством самим!

Прошедшей, например, зимою
Назначен у министра бал;
Граф приезжает за женою, —
Как муж, и я туда попал.
Так руку мне при всех сжимая,
Назвал приятелем своим!..
Какое счастье! Честь какая!
Ведь я червяк в сравненье с ним!
В сравненье с ним,
С лицом таким —
С его сиятельством самим!

Жена случайно захворает —
Ведь он, голубчик, сам не свой:
Со мною в преферанс играет,
А ночью ходит за больной.
Приехал, весь в звездах сияя,
Поздравить с ангелом моим...
Какое счастье! Честь какая!
Ведь я червяк в сравненье с ним!
В сравненье с ним,
С лицом таким —
С его сиятельством самим!

А что за тонкость обращения!
Приедет вечером, сидит...
— Что вы всё дома... без движенья?..
Вам нужен воздух... — говорит.
— Погода, граф, весьма дурная...
— Да мы карету вам дадим! —
Предупредительность какая!
Ведь я червяк в сравненье с ним!
В сравненье с ним,
С лицом таким —
С его сиятельством самим!

Зазвал к себе в свой дом боярский:
Шампанское лилось рекой...
Жена уснула в спальне дамской...
Я в лучшей комнате мужской.
На мягком ложе засыпая,
Под одеялом парчевым,
Я думал, нежась: честь какая!
Ведь я червяк в сравненье с ним!
В сравненье с ним,
С лицом таким —
С его сиятельством самим!

Крестить назвался непременно,
Когда Господь мне сына дал,
И улыбнулся умиленно,
Когда младенца восприял.
Теперь умру я, уповая,
Что крестник взыскан будет им...
А счастье-то, а честь какая!
Ведь я червяк в сравненье с ним!
В сравненье с ним,
С лицом таким —
С его сиятельством самим!

А как он мил, когда он в духе!
Ведь я за рюмкою вина
Хватил однажды: — Ходят слухи...
Что будто, граф... моя жена...
Граф, — говорю, — приобретаю...
Трудясь... я должен быть слепым...
Да ослепит и честь такая!
Ведь я червяк в сравненье с ним!
В сравненье с ним,
С лицом таким —
С его сиятельством самим!¹

Перевод В. Курочкина

Эдгар ПО

* * *

Меня Селиханович удивил тем, что, заговорив о моём желании стать писателем, он спросил:

— А у вас хватит выносливости?

Я не подозревал, что эта черта необходима для занятия литературой. Впоследствии я убедился, что Селиханович был прав.

Однажды он остановил меня в коридоре и сказал:

— Приходите завтра на лекцию Бальмонта. Обязательно: вы хотите быть прозаиком — значит, вам нужно хорошо знать поэзию.

Я пошёл на лекцию... Она называлась «Поэзия как волшебство».

<...> ...Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах.

Кукушки нежный плач в глуши лесной
Звучит мольбой, тоскующей и странной.
Как весело, как горестно весной, —
Как мир хорош в своей красе неожиданной!

<...> — Я прочту вам «Ворона» Эдгара По, — сказал Бальмонт. — Но перед этим я хочу рассказать, как судьба всё же бывает милостива к нам, поэтам. Когда Эдгар По умер и его хоронили в Балтиморе, родственники поэта положили на его могилу каменную плиту необыкновенной тяжести. Эти набожные квакеры, очевидно, боялись, чтобы мятежный дух поэта не вырвался из могильных оков и не начал снова смущать покой деловых американцев. И вот, когда плиту опускали на могилу Эдгара, она раскололась. Эта расколотая плита лежит над ним до сих пор, и в трещинах её каждую весну распускается троицын цвет. Этим именем, между прочим, Эдгар По звал свою рано умершую прелестную жену Вирджинию.

Бальмонт начал читать «Ворона». Мрачная и великолепная поэзия дохнула в зал.

За окнами не было уже ни Киева, ни огней на Крещатике, висевших голубоватыми цепями, — не было ничего. Только ветер уныло гудел над чёрной, присыпанной снегом равниной. И железное слово «невермор» тяжело падало в пустоту этой ночи, как бой башенных часов.

«Невермор!» «Никогда!» С этим никак не мирилось сознание. Неужели никогда? Никогда не вернётся на землю Вирджиния и никогда уже не постучит она шаловливо и осторожно в тяжёлую дверь? Никогда не вернется молодость, любовь и счастье? «Да, никогда!» — каркал ворон, и человек сжимался от одиночества в потёртом кресле и смотрел большими детскими глазами в холодную пустоту. И этот маленький, брошенный всеми человек был Эдгар По, великий поэт Америки.

Я на всю жизнь остался благодарен Селихановичу за то, что он вызвал у меня любовь к поэзии. Она открыла передо мной богатство языка. В стихах слова обновлялись, приобретали полную силу. Огромный образный мир поэтов вошёл в сознание, будто с глаз сняли повязку.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Далёкие годы
(Преподаватели гуманитарных наук) 1946*

Ворон

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грёзам странным отдавался, — вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне.
«Это, верно, — прошептал я, — гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...
О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа
На страданье без привета, на вопрос о ней, о ней —
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней, —
О светилах прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший тёмным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине —
Гость стучится в дверь ко мне».

¹ Стихотворения печатаются по изданию: Пьер Жан Беранже. Избранное / Сост. В.В.Евгеньев; Предисл., примеч. Ю.И.Данилина (М.: Правда, 1979).

подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, — и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его.
Я не слышал...». Тут раскрыл я дверь жилища моего:
Тьма — и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стеснённый, и стоял я изумлённый,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего, —
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, —
Эхо — больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, —
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там, за ставнями, забилось у окошка моего,
Это — ветер, — усмирю я трепет сердца моего, —
Ветер — больше ничего».

Я толкнул окно с решёткой, — тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошёл спесиво,
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, —
Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где ночь царит всегда?»
Молвил Ворон: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ её тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь, когда —
Сел над дверью говорящий без запинки, без труда
Ворон с кличкой: «Никогда».

И взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он, —
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра он меня покинет, как надежда, навсегда».
Ворон молвил: «Никогда».

Услышав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной.
«Верно, был он, — я подумал, — у того, чья жизнь — Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как течение
Рек весной, чьё отречение от Надежды навсегда
В песне вылилось о счастье, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я своё придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да.
Но о чём твердит зловещий этим чёрным «Никогда»,
Страшным криком: «Никогда».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой головой своей усталой
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я — один, на бархат алый — та, кого любил всегда,
Не прильнёт уж никогда.

Но постой: вокруг темнеет, и как будто кто-то веет, —
То с кадилницей небесной серафим пришёл сюда?
В миг неясный упоенья, я вскричал: «Прости, мученье,
Это Бог послал забвенью о Леноре навсегда, —
Пей, о, пей скорей забвенью о Леноре навсегда!»

Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты — иль дух ужасный,
Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, —
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришёл ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенью, — я молно, скажи, когда?»

Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк, — вскричал я, — вещий! Птица ты — иль дух зловещий,
Этим небом, что над нами, — Богом, скрытым навсегда, —
Заклинаю, умоляя, мне сказать — в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»

Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури, — уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья чёрной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
Вьнь свой жёсткий клюв из сердца моего, где скорбь — всегда!»

Каркнул Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит зловещий Ворон чёрный, Ворон вещий,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда.
Он сидит, уединённый, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, — на полу дрожит всегда.
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

Перевод К. Бальмонта

* * *

Современники Эдгара По оставили о нём много воспоминаний, но все эти воспоминания написаны так, будто Эдгар По появился в тогдашней Америке как пришелец с далёкой планеты.

О нём писали с почтительным или злым недоумением. Его разглядывали с любопытством и осуждением. Его боялись, но время от времени им восхищались. Он никак не сливался с благоприспособленной скукой и добропорядочностью, составлявшими основу жизни американца тридцатых и сороковых годов.

Эдгар По был «блудным сыном» Америки. Самое существование этого поэта, фантаста и неудачника, казалось вызовом ханжеству и рутине. В трезвый век пара и торговых лихорадок появился человек, который жил только силой своего воображения и насмехался над всем, что составляло смысл жизни его соотечественников.

Этого ему не могли простить, за это ему мстили. Его заставили почти всю жизнь голодать, нищенствовать, обивать пороги редакций. При жизни ему платили равнодушием, после смерти — клеветой.

<...> Эдгар По написал много фантастических рассказов. Он написал много великолепных стихов и поэм, ставших сокровищами не только американской, но и всемирной поэзии.

Его поэмы «Ворон» и «Колокола» справедливо считаются по глубине и поэтической силе мировыми шедеврами.

ПАУСТОВСКИЙ К. Эдгар По
1946

**КОЛОКОЛЬЧИКИ И
КОЛОКОЛА¹**

1

Слышишь, сани мчатся в ряд,
Мчатся в ряд!
Колокольчики звенят,
Серебристым лёгким звоном слух наш сладостно томят,
Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят.
О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребёнка,
В ясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье,
Что волшебю наслажденье — наслажденье нежным сном.
Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят,
Звёзды слушают, как сани, убегая, говорят,
И, внимая им, горят,
И мечтая, и блистая, в небе духами парят;
И изменчивым сияньем,
Молчаливым обаяньем
Вместе с звоном, вместе с пеньем о забвеньи говорят.

2

Слышишь: к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
И блестят,
Из волны певучих звуков на луну они глядят,
Из призывных дивных келий
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упавая, брызги светлые летят,
Вновь потухнут, вновь блестят
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов.

3

Слышишь: воющий набат,
Словно стонет медный ад!
Эти звуки в дикой муке сказку ужасов твердят,
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши тёмной ночи
Каждый звук,
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг, —
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться и кричать, кричать, кричать!
Только плакать о пощаде
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!

А меж тем огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Всё горит,
То из окон, то по крыше
Мчитя выше, выше, выше,
И как будто говорит:

Я хочу

Выше мчатся, разгораться — встречу лунному лучу, —
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!
О, набат, набат, набат,
Если б ты вернул назад
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,
О котором ты вещаешь с плачем, с воплем и звеня!
А теперь нам нет спасенья,
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!
Твой призыв,
Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность, —
То растёт беда глухая, то спадает, как прилив!
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

4

Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон, —
Звук железный возвещает о печали похорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный,
Этот возглас отдалённый,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон, —
Скорбный, гневный
И плачевный —
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец небудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит.
Кто-то чёрный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает.
Гулкий колокол качает, —
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.²

Перевод К. Бальмонта

¹ Принятое Константином Бальмонтом название стихотворения «The Bells» в переводах других поэтов звучит как «Колокола». Перевод К. Бальмонта стал широко известен благодаря кантате Сергея Рахманинова. Свой перевод Бальмонт охарактеризовал как «скорей подражание, чем перевод».

² Стихи печатаются по изданию: Константин Бальмонт. Избранное: *Стихотворения. Переводы. Статьи.* /Сост., вступ. ст., коммент. Д. Г. Макогоненко (М.: Правда, 1991).

Иосиф ЦЕДЛИЦ

* * *

— Вставайте! — крикнул мне Гронский. — Цепелин над Брестом!

Я вскочил и вышел на балкон. Там уже стояли, глядя в небо, Гронский и Артёмко.

— Вот он! — показал мне Гронский. — Не видите? На ладонь левее Большой Медведицы.

Я всмотрелся и увидел тёмную длинную тень, легко и быстро скользившую по небу. Вблизи беспорядочно трещали винтовочные выстрелы. Жёлтым пламенем лопнула над нашим домом шрапнель.

— Недурно! — сказал Гронский. — Если так пойдёт дальше, то свои же просверлят нам головы. Немец бросил две бомбы и уходит. Спектакль окончен. Пойдёмте. Чай, кстати, готов.

После чая мы пошли с Гронским в офицерское собрание. Это был длинный деревянный сарай. Окна его выходили в сад. Из сада лился свежий воздух.

Мне смертельно хотелось спать. Сквозь дремоту я слышал рокочущий бас:

**В двенадцать часов по ночам
Из гроба встаёт барабанщик...**

Я открыл глаза. Пел высокий бритый офицер с прямым пробором.

— Это известный певец, — сказал мне Гронский и назвал фамилию, но я опять уснул и не слышал её. Так я проспал весь концерт.

Наутро мы выехали.

<...> Я помню сыпучие пески, разбитые широкие дороги, перепуганных насмерть жителей местечек. Навстречу нам, увязая по ступицы в песках, ползли беженские обозы.

<...> К вечеру мы добрались наконец до местечка Вышницы, где стоял отряд Романина. Жёлто-чёрный флаг этапного коменданта висел над дощатым домом. Пыль, поднятая обозами и стадами, висела сухим туманом и медленно оседала на землю.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Беспокойная юность
(Маленький рыцарь) 1954*

Ночной смотр

**В двенадцать часов по ночам
Из гроба встаёт барабанщик;**
И ходит он взад и вперёд,
И бьёт он проворно тревогу.
И в тёмных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских,
Встают с африканских степей,
С горячих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперёд,
И громко трубит он тревогу.
И в тёмных могилах труба

Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На лёгких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встаёт полководец;
На нём сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту:
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдаёт.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.

И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они тот пароль и тот лозунг:
И *Франция* — тот их пароль,
Тот лозунг — *Святая Елена*.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам
Встаёт император усопший.¹

Перевод В.А. Жуковского

* * *

Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращён русской литературе.

И он был возвращён. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкина, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и чёткостью.

¹ Баллада «Die nachtliche Herschau» («Ночной смотр») написана австрийским поэтом И.-Х. фон Цедлицем (1790–1862) после решения французского правительства перенести останки Наполеона с острова Св. Елены в Париж. Перевод печатается по изданию: Жуковский В.А. Собр. соч.: В 4 т. / Вступ. ст. И.М. Семёно; Подготовка текстов, примеч. В.П. Петушкова. — М.; Л.: Худож. лит., 1959. — Т. 1: Стихотворения. — С. 389–390.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух...» Пушкина, «Над вечным покоем» Лермонтова или «Воздушный корабль» Лермонтова¹. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов.

ПАУСТОВСКИЙ К. Золотая роза
(Иван Бунин) 1955–1961

Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением её таинственного искусства, недоступного нам, людям...

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его ещё не закрыли на зиму. Оттуда доносились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон, и я услышал знакомые томительные слова...

«Вот, — подумал я, — ещё один шедевр, печальный и старинный».

<...> Очевидно, свойство истинного шедевра — делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем.

Я сказал, что считаю шедевром лермонтовское «Завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова — шедевры. И «Выхожу один я на дорогу...», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою...», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять.

ПАУСТОВСКИЙ К. Наедине с осенью
1963

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

По синим волнам океана,
Лишь звёзды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несётся,
Несётся на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нём капитана,
Не видно матросов на нём;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочём,

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нём камень тяжёлый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаёт.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нём треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идёт и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несётся он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнём.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идёт,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовёт.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперёд
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовёт:

Зовёт он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —

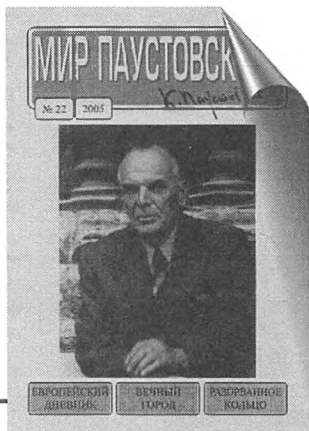
Стоит он и тяжело вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слёзы
Из глаз на холодный песок,

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идёт и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

Перевод М.Ю.Лермонтова

Составитель **Илья КОМАРОВ**

¹ Сюжет этого стихотворения взят из баллады Цедлица «Das Geisterschiff» («Корабль призраков») и значительно переработан М.Ю.Лермонтовым. Текст печатается по изданию: Лермонтов М.Ю. Сочинения /Сост., коммент. И.С.Чистовой; Вступ. ст. И.Л.Андроникова. — М.: Худож. лит., 1988. — Т. 1. — С. 192–194. Своему переложению М.Ю.Лермонтов предпослал подзаголовок: (Из Зейдлица).



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Сергей ОХРЕМЧИК

ЕЛЕЦ БУНИНА И ПАУСТОВСКОГО

*Эх, если б узкоколейка
Шла из Парижа в Елец...*

Дон-Аминадо

*Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская
Россия и завладела мной надолго. Елец был
рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотре-
ть этот бунинский город.*

К.Паустовский

В Ельце я впервые оказался полвека назад, в начале 60-х годов. В то время его облик едва ли соответствовал характеристике, данной энциклопедическим словарём Брокгауза и Ефрона: «Елец — один из лучших русских уездных городов». Словарь был издан в 1894 году. Долгие десятилетия борьбы с религией, отчасти вторая мировая война нанесли городу невосполнимый ущерб. Православные храмы, которыми издавна славился город, были частично уничтожены, в опустевших и полуразрушенных царила «мерзость запустения». А на самом городе лежала печать забвения и небрежения. Тем не менее Елец очаровал меня старыми каменными кварталами, возведёнными на левом нагорном берегу Быстрой Сосны, архитектурными жемчужинами, разбросанными по его узким улочкам, громадой пятиглавого Вознесенского собора, царившего над городом, и тишиной, застоявшейся в его садах и парках. Тишина эта сродни задумчивости. Кажется, что старый город вспоминает своё многовековое прошлое...

И сам город, и его окрестности с сёлами Патриаршее, Становое, Бутырки всегда напоминали мне об Иване Алексеевиче Бунине. Здесь я как бы погружался в мир героев его произведений. У тех, кто знает биографию Бунина, это не вызовет возражения. Но с недавних пор я стал чувствовать в Ельце присутствие и К.Г.Паустовского. Это утверждение может показаться надуманным. Но лишь на первый взгляд. Попробую показать, что это не плод моей фантазии.

Ещё в юношеские годы К.Г.Паустовским завладела, как он сам определил, «неистребимая страсть» к посещению мест, связанных с жизнью писателей и поэтов по духу ему близких. Это увлечение сопровождало его в течение всей жизни. Чаше Паустовский готовился к таким посещениям. Но иногда попадал в эти места, подчиняясь некоему неосознанному чувству, почти интуитивно. В повести «Время больших ожиданий» он рассказал, как тревожной январской ночью 1922 года в Ялте пришёл к дому Чехова на Аутке. А в «Золотой розе»

описал, как в послевоенном Ленинграде искал и нашёл, в значительной степени повинувшись интуиции, дом Александра Блока на набережной реки Пряжки.

Пребыванию в этих местах предшествовало волнующее чувство радостного ожидания, подъёма или, напротив, душевное смятение, беспокойство, крайнее одиночество, обострившееся чувство всех потерь и утрат. В такие

МП: В путевых заметках «Ветер скорости» К.Г.Паустовский писал: «Я не знаю, в чём очарование мест, связанных с памятью замечательных людей. Но оно бесспорно.

В нём соединяются гордость за силу человеческого духа, пение стихов, доносящихся как бы из глубокой полевой дали, ясное ощущение, что время теряет в таких случаях свою разрушительную силу, что забвения

нет. И, наконец, радостное сознание необыкновенного блеска и мужества мысли, оставленной нам в наследство прекрасным предшественником».

Эти слова писателя могут служить эпиграфом к новой рубрике журнала — «Литературная провинция». Вместе с нашими авторами читатель побывает во многих точках, освещённых присутствием писателей, поэтов, художников. Открывает рубрику работа нашего постоянного автора Сергея Охремчика.

моменты возникала потребность оказаться в том же географическом пространстве, где протекала жизнь значимых для него людей, быть может, найти у них поддержку. Казалось бы, поток времени, внешние обстоятельства навсегда унесли властителей его дум из тех мест, где они когда-то жили. Но там осталось, пользуясь физической терминологией, некое загадочное «поле» их личностей, мира их произведений, которое притягивало и было целительным.

Перечень литературных мест, привлекавших Паустовского, можно продолжить, вспомнив пушкинское Михайловское, гриновский Старый Крым. Встречи с ними были дороги Паустовскому. Холм у стены Святогорского монастыря он считал лучшим местом на земле. Его влекли и лермонтовские Тарханы. Посетить их ему не удавалось, и это вызывало сожаление. Но путешествия Паустовского по местам, одухотворённым литературными именами, следовало бы начать с бунинских мест Средней России — Ефремова и Ельца.

Среди писателей, книгами которых Константин Георгиевич зачитывался ещё в гимназии, был Иван Алексеевич Бунин. Что привлекло на всю жизнь романтика Паустовского в творчестве строгого реалиста Бунина? Может быть, его очарованность жизнью, редкое и трудное искусство относиться к ней как к случайному, но бесценному дару? В конце 20-х годов, находясь в эмиграции, И.А.Бунин написал роман «Жизнь Арсеньева», очень автобиографичный в том, что касалось становления трепетной бунинской души. В романе есть эпизод, в котором Арсеньев-старший размышляет о будущей взрослой жизни своего сына Алексея, за которым угадывается сам Бунин. Не без колебаний признавая истинный удел сына, он говорит о нём: «... призвание Алексея не гражданское поприще, не мундир и не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать-то, слава Богу, уже не над чем. А тут, кто знает, может вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет?..». Именно эта поэзия «души и жизни», очарованность жизнью зарождались в юноше Паустовском. В повести «Далёкие годы» содержится такое признание: «В детстве я представлял себе далёкую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревья и города. Когда скорые поезда пересекали равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца. Я рассказывал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «фантазёр». Отец будущего писателя Георгий Максимович заступался за сына. Он оставлял ему полное право на выбор жизненного пути, предостерегая, впрочем, лишь от одной опасности — быть «проклятым киевским обывателем».

Знакомство Паустовского с Россией началось с Брянских лесов. С какой щемящей сердце любовью он вспоминал о них в повести «Далёкие годы»: «Я впервые видел среднюю Россию. Она мне нра-

вилась больше Украины. Она была пустынее, просторнее и глуше. Мне нравились её леса, заросшие дороги, разговоры крестьян». Книги Бунина укрепили это чувство. Потом были дороги первой мировой войны: «В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые ощутил себя русским до последней прожилки. Я как бы растворился в народном разливе, среди солдат, рабочих, крестьян, мастеровых» («Беспокойная юность»). Притяжение Бунина в конце концов привело Паустовского в Елец.

Константин Георгиевич считал Елец родиной Бунина. Здесь требуется уточнение. В действительности Бунин родился в Воронеже в октябре 1870 года, в Воронеже прошло и его раннее детство, первые 3–4 года. В памяти о воронежском детстве сохранилось немного. Последующие годы детства и юности он провёл в Орловской губернии, в окрестностях Ельца.

Елец был первым городом в жизни взрослого Вани Бунина. Город поразил его гулким звоном колоколов многочисленных церквей, городским оживлением, сверкающими витринами магазинов, музыкальными машинами в трактирах, цирком-шапито, обильными праздничными базарами и многим-многом другим, хорошим и дурным, на что столь щедро была и остаётся таковой провинциальная Россия. К тому времени, когда родители привезли своего отрока Ваню Бунина в Елец для учёбы в гимназии, железные дороги соединяли его с севером и югом России. Он был одним из самых бойких торговых городов.

Гимназиста Бунина интересовала седая старина, богатое событиями прошлое города. Упомянутый в летописях на год раньше Москвы, Елец был построен на пограничной черте Древней Руси. Он неоднократно подвергался набегам половцев. В XIII и XIV веках его разрушали Батый и Тамерлан. В 1618 году городом хитростью завладел малороссийский гетман Конашевич-Сагайдачный и уничтожил его до основания. Здесь, в Ельце, Бунин почувствовал себя русским, малым звеном в цепи сменяющих друг друга поколений. Утончённая бунинская душа была открыта для красоты, которой город и его окрестности лишены не были. Пожалуй, наиболее привлекателен он был весной, когда зацветала «уездная сирень», а с высоких елецких колоколен, казалось, было видно пол-России. Здесь юноша Бунин испытал чувство влюблённости, прикоснувшись к той сфере человеческих отношений, которая стала темой очень многих его произведений. Призвание увело его в другие города: Орёл, Харьков, Полтаву, Москву — туда, где бурлила литературная жизнь. Происходил естественный процесс — провинция питала талантами столицы. Но в Елец он время от времени навещался. И в последний раз был в нём 23–25 октября 1917 года.

В годы вынужденной эмиграции в Париже русский писатель и поэт, писавший под редким псевдонимом Дон-Аминадо (настоящая его

фамилия — Шполянский), не без мягкой самоиронии мечтал об узкоколейке, ведущей в Елец, как о чём-то незаметном, ускользающем от недремлющего ока ГПУ. У Дон-Аминадо был свой родной уездный город на юге России и своя «уездная сирень». Близкий к Бунину в годы эмиграции, он, возможно, таким образом выразил бунинскую тоску по его родному городу. Узкоколейка в Елец, конечно, не шла, и Бунин-эмигрант, отрезанный от родины железным занавесом сталинского режима, лишь мысленно и в снах возвращался в город своей юности. Из этих снов и тяжёлой ностальгии вышли роман «Жизнь Арсеньева», рассказ «Поздний час», многие стихи. В них город не назван, но, описанный Буниным почти с «топографической точностью» (выражение К.Паустовского), он узнаваем для тех, кто бывал в Ельце. Они, эти произведения, проникнуты любовью и щемящей грустью по городу, в котором он когда-то жил, любил и открывал для себя мир. Так вспоминают только родину. Елец для Бунина стал тем местом на земле, где взрослеющий мальчик, затем юноша сросся множественными связями с прошлым и настоящим, природой и людьми и обрёл вторую мать — российскую землю. Называя Елец родиной Бунина, Паустовский был по существу прав.

Впервые К.Г.Паустовский увидел бунинскую Россию в Ефремове. В этом уездном городке Тульской губернии он начал бывать с конца декабря 1915 года, когда впервые посетил дом Елены Степановны Загорской — старшей сестры своей невесты Екатерины, или Хатидже, как он часто называл её в письмах. Это имя Екатерине дали татарские девушки в последнее предвоенное лето, которое она проводила в Крыму, в татарской деревне. Летом 1916 года Константин Георгиевич и Екатерина Степановна обвенчались.

Ефремов, этот, казалось бы, унылый провинциальный городок, буквально преобразился в глазах Паустовского, когда он узнал, что в нём у брата бывает И.А.Бунин. Ещё более бунинским городом был близкий к Ефремову Елец. Константин Георгиевич не мог не посетить его. К опубликованным к настоящему времени документальным свидетельствам посещения Ельца Паустовским относятся его дневниковые записи, сделанные в начале января и в сентябре 1917 года, и ещё небольшое письмо, написанное во время первого посещения города. При краткости, с которой они сделаны, записи эти отличаются выразительностью и содержательностью. Приведу их почти полностью.

«Новый — 1917 год.

Иду в Елец — родина Бунина. Встал ночью. Густо-синяя. Глубокие снега, слепые стёкла в избах. Станция. Спал за столом до рассвета. Янтарная заря. Снега слепят. Полярный пейзаж. Фиолетовые тени.

Елец. Паршивенький вокзал Сызрано-Рязанской дороги. Берёзки. Широкая площадь, элеваторы. Крепкий мороз. Город на горе, оливковый монастырь, кричат извозчики. На извозчике в город. Тор-

говая улица. Что-то от западных городов. Много шинелей. «Коммерческий» трактир в розовом старинном доме, покрытом барельефами тонкой и редкой работы. Девуцы-«кельнерши». Грязно. Пара чаю. Чай с вином. Папиросы. Снова воздух скитаний затягивает меня. Письмо Эммы и Хатидже. Белые особняки. Базар. Вокруг поля, внизу река Сосна. Гимназия, где учился Бунин. Красная, кирпичная, провинциальная. Афиши. «Шлойме-шарлатан». Белая, красивая церковь. Освящение воды. О, Боги всего мира — голубиные стоны, ласковый тенор священника.

Собор. Звонница. Величавость. Церковь — голубые эмалевые часы на колокольне. Дома и колокольни с деревянными балюстрадами. Что-то ещё есть азиатское. Австрийцы-офицеры. Кафе. Жалко... На вокзал пешком.

К этой дневниковой записи позволю себе сделать небольшие комментарии, на полноту не претендующие. А лучше сказать, мысленно поброжу по Ельцу с Паустовским. Начну, естественно, с вокзала. И без Бунина здесь, пожалуй, не обойтись. Всякий раз, когда рассказываешь о Ельце, хочется цитировать «Жизнь Арсеньева». Однако ограничусь лишь одним фрагментом этого романа, который обычно не цитируют. Как-то Алёша Арсеньев окидывал мысленным взором погружающийся в осень город, как бы проходя по нему от въезда со стороны Орла и Ливен через центр, и, остановившись над рекой, смотрел на новую засосенскую часть города. Он видел её такой: «А за рекой, за городом, широко раскинулось на низменности Заречье: это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой вдаль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студёном, звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами — жареных пирожков, самоваров, кофе, — смешанных с запахом каменноугольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России...».

Вот с этого «железнодорожного царства» и началось знакомство Паустовского с Ельцом. Чтобы попасть в старый город, надо было от вокзала пройти три версты. И когда Константин Георгиевич подошёл к площади перед Быстрой Сосной, его не мог не захватить широкий размах старого города. На высоком противоположном берегу среди заиндевевших садов замерли одноэтажные мещанские дома, а над ними возвышались колокольни шестнадцатипяти церквей, двух монастырей и царил — гордость города — Вознесенский собор (в дневниковой записи «оливковый монастырь»), построенный в русско-византийском стиле. Стены собора, перешагнувшего уже в наши дни вековой рубеж, и ныне по традиции окрашивают в оливковый цвет... Ещё дальше, за ними был центр города и главная городская улица — Торговая. Своим названием она напоминает, что основной профессией и излюблен-

ным занятием города издавна является торговля. Эту улицу в её центральной части образуют узкие по фасаду двухэтажные дома с аттиками плавных линий над карнизами. Их архитектура напомнила Паустовскому Польшу («что-то от западных городов»). К тому времени за плечами Паустовского был военный опыт службы в санитарном поезде, на котором он прошёл через опалённые первой мировой войной многие польские провинциальные городки и местечки с их архитектурными стереотипами. В облике Торговой улицы он справедливо отметил налёт западной архитектуры. Именно такое впечатление оставляет улица и в наши дни. Видимо, богатые ельчане, бывая по своим торговым делам в различных уголках России, привозили проекты своих будущих домов. Город и сейчас, уже многое утратив, удивляет разнообразием архитектурных стилей. А в то время немало красивых зданий, построенных на любой вкус, было и на других улицах города.

Архитектура одного из домов Торговой улицы удостоилась особого внимания Константина Георгиевича. Стены этого розового дома были декорированы «барельефами тонкой и редкой работы». В первом этаже помещался трактир. В нём можно было согреться, тем более, что день стоял морозный, а путь от Ефремова — неблизкий. Уездный сервис с претензией на западный стиль вызывает иронию Паустовского (девицы-«кельнерши», но вот грязно...). Здесь, в этом доме было написано письмо, очень небольшое, с короткой зарисовкой зимнего уездного города. Оно не по косвенным признакам, а вполне определённо и точно позволяет датировать посещение Ельца Паустовским. Письмо было написано близкому человеку на почтовой карточке. Вот его фрагмент:

«5/1-17 г., Елец, 1 час дня. Елецкий трактир на Торговой улице. Играет машина... Мороз. Город уютный, улочки узенькие, оливковые церкви, звоны, дома в стиле етриге».

Итак, 5 января 1917 года, морозный день, как и подобает в канун Крещения.

В Ельце Паустовского привлекали бунинские места. Для человека, впервые посетившего Елец, самое очевидное из них — мужская гимназия. Строгое двухэтажное краснокирпичное здание с узкими высокими окнами и литыми фигурными опорами навеса над входом. Оно интересно даже не самой архитектурой, а тем, что по его широким коридорам и ажурной чугунной лестнице когда-то ходили трое юношей: Иван Бунин, Сергей Булгаков, Михаил Пришвин, а также их учитель В.В.Розанов. Их имена навсегда остались в отечественной культуре. Каждое из них прославило бы и гимназию и город. Жившему сугубо прагматическими заботами городу эти писатели и мыслители придавали духовное наполнение. Даже мимолётное упоминание Ельца в чеховской «Чайке» сообщает ему неуловимое обаяние.

В Ельце было немало и других мест, связанных с Буниным. Но о них Паустовский знать не

мог — «Жизнь Арсеньева» ещё не была написана. В двух-трёх небольших кварталах от трактира на Торговой, в котором Паустовского согрел чай с вином, на углу Рождественской улицы и Шарова переулка стоял одноэтажный дом. Построенный на фундаменте из желтоватого известняка, бревенчатый, светло-коричневый, с кружевными белыми наличниками, дом этот принадлежал мещанам Ростовцевым. Гимназист Бунин жил у них в нахлебниках. До его комнаты доносился бой голубых эмалевых часов с колокольни. Теперь в этом доме музей писателя, заслуживающий отдельно и обстоятельного рассказа. Скажу только, что, бывая в музее, чувствуешь, как далеко за пределы России простирается магнетизм творчества И.А.Бунина.

Однажды судьба свела меня с уроженцем Шарова переулка. В январе 1997 года на почве общего интереса к елецкой старине я познакомился с воронежским профессором Константином Васильевичем Скуфьиным. Я подарил ему карту Ельца, составленную в конце XIX века, он мне — несравненно большее: общение с интеллигентным собеседником, на памяти которого почти весь XX век. Константин Васильевич родился в 1908 году. Его родители были соседями Ростовцевых. Всю свою долгую научную деятельность он посвятил энтомологии, но на склонах лет отдал дань своему второму дару — литературному, взращённому на богатейших книжных собраниях елецкой гимназии. Он написал повесть «Бедный листок под ржавым камнем» о детстве и юности, проведённых в Ельце. Отчасти благодаря его повести я мог зримо представить себе город на рубеже 1916–1917 годов. Сейчас рукопись этой повести вернулась к родовым корням её автора и хранится в фондах елецкого музея И.А.Бунина. Однако я несколько отвлёкся.

Мужская гимназия была на противоположном конце долгой даже в масштабе провинциального Ельца Рождественской улицы. А на полпути, рядом с женской гимназией, расположен городской сад. Он, как и фамилия Ростовцевых, вошёл в «Жизнь Арсеньева» и был местом прогулок и встреч гимназистов. Задумчиво-величавый, он особенно хорош в дни золотой осени — уже не слепящей небесной лазури и просвеченных солнцем янтарных крон высоких деревьев. В них как бы остались тепло и свет ушедшего лета. Они и сейчас сохраняют тайны юношеских увлечений Бунина.

Бунинские места Ельца — это и православные храмы, в которых бывал юноша Бунин. Их было немало в центральной части города. Даже в очень лаконичных записях Паустовского упоминается несколько. В одной из церквей он был на освящении воды. Фраза — «голубиные стоны, ласковый тенор священника» — вносит в изобразительный ряд дневниковой записи звуковые ассоциации, и картина уездной давно ушедшей жизни оживает... Что привело Паустовского в церковь? Был ли он религиозным? Думаю, что да. В письме к Екатерине Степановне Загорской в апреле 1916 года он писал: «Ещё о

многим я хотел бы написать тебе, о том, как близок и человечен стал для меня образ Христа...». Быть может, отношение Паустовского к религии в течение жизни менялось, однако несомненно то, что всё его творчество проникнуто верностью христианским заповедям.

Красота и стройность елецких храмов казалась незыблемой и вечной. Однако тревожный воздух грядущих социальных потрясений уже заполнял улицы города. Шёл третий год первой мировой войны. Некогда шумный торговый Елец заметно опустел. Многие мужчины призваны в армию. На улицах встречаются непривычные фигуры пленных австрийских офицеров. Они появились в России после наступательной операции войск Юго-Западного фронта 1916 года, когда в мае-июле были разгромлены четыре австрийские армии. В Ельце пленные австрийцы жили в лагере со свободным режимом. Офицеры имели возможность даже посещать кафе и рестораны. Нижние чины ходили по дворам и предлагали себя в качестве рабочей силы. Появились и беженцы из западных областей России. Среди них было немало евреев. Быть может, афиша, упоминаемая Паустовским, принадлежала еврейскому театру, актёры которого стали беженцами, спасаясь от бедствий войны.

Как много закреплено в этих коротких дневниковых записях, сделанных по свежим впечатлениям лишь одного дня (от поезда до поезда) в канун крещенского сочельника! В них — уездный город с изменённым войной привычным укладом жизни в самом начале рокового для России 1917 года. В этих записях чувствуется зоркость, умение отметить существенное в окружающем — качества, которые очень понадобятся впоследствии начинающему ныне литератору. Поэту или прозаику? Он и сам ещё не определил свой путь в литературе. Быть может, после посещения Ельца он утвердился в решении послать стихи на суд И.А.Бунина. Через месяц в Москве он сделал запись в дневнике: «Послал стихи Бунину. Холодно, одиноко. Вечер 7 февраля». Паустовский внимательно следил за развитием событий в стране и умел давать им точную оценку. 25 апреля 1917 года он пишет в Киев гимназическому товарищу, начинающему художнику Эммануилу Шмуклеру (в дневниковых записях — Эмма): *«Началась борьба. За что — я сначала не понимал. Теперь я знаю — за власть. За то, чем раньше обладал Николай. На пустое место хотят сесть рабочие, нет, не рабочие, а кто-то неведомый, тёмный, косный и узкобый, воплощённый для меня в образе одного из товарищей председателя в Совете Рабочих Депутатов, ходящего в калошах на босу ногу, кричащего иступлённые слова: «Товарищи, Временное правительство вас обманывает», распоясанного».*

В августе-сентябре 1917 года Константин Георгиевич и Екатерина Степановна были в Киеве. Обратный путь в Ефремов проходил через Брянск, Орёл и Елец. И вот ещё одна запись, в которой также отразилось время:

«Поезд на Орёл. Пьяные солдаты. Всё гудит матерной бранью — рождается большевизм. <...> В теплушке в Елец. Пьяные солдаты. Ругань, холлод, грязь. Громили станции, жгли костры среди вагона. Омерзенье. К рассвету добрались до Ельца. Загаженный, унавожженный вокзал. Сон. Днём — в Ефремов. Сумерки».

Сколь неоднозначно здесь слово «сумерки»! Но вернёмся к дневниковой записи от 5 января. В ней запечатлелась и романтическая настроенность Паустовского («Снова воздух скитаний затягивает меня»), без которой он немислим. Молодость, «воздух скитаний», наконец, внешние обстоятельства увели Паустовского в 20-е годы на юг, который дал сюжеты его новым произведениям, окрашенным экзотикой. Но «прививка» бунинской Россией, полученная в юности, в конце концов дала о себе знать, определила тему творчества писателя в зрелые годы. Эта тема — Россия, её природа, её люди. Впрочем, и в зрелые годы Паустовский не изменил поэзии «души и жизни», до конца оставаясь романтиком.

Посещение Ельца в январе 1917 года, вынесенные тогда впечатления получили спустя более чем четыре десятилетия художественное воплощение в прозе К.Паустовского. В 1961 году он включил в ранне изданную повесть «Золотая роза» новую главу «Иван Бунин». Эта глава открывается историей сильного литературного впечатления, пережитого героем в Ельце в апреле 1916 года и связанного с творчеством И.А.Бунина. Позволю себе лишь в сжатом виде напомнить события того апрельского дня. В Елец герой приезжает из Ефремова, чтобы посмотреть бунинский город. Весь день он бродил по городу, по его мостовым, выложенным ноздреватыми известняковыми плитами. Долго стоял во дворе мужской гимназии, в которой некогда учился И.Бунин, прошёл через рынок и кладбище. Холодный день с запоздалым снегом, пустыньность улиц города, связанная с военным временем, лишь усиливали чувство одиночества и неприкаянности, которые он испытывал. К вечеру он пришёл на елецкий вокзал, чтобы вернуться в Ефремов.

Всякий железнодорожный вокзал — это овеществлённый символ человеческих радостей и горестей, встреч и разлук. Эти полярные эмоциональные состояния суждено было пережить и герою повествования в тот вечер на елецком вокзале. На немногие оставшиеся деньги он заказал чай и купил в вокзальном киоске ещё сырой от типографской краски номер газеты «Русское слово». В нём был напечатан рассказ Бунина «Лёгкое дыхание». Казалось, сам город, до того наглухо закрытый для нового человека, открыл ему в награду за внимание одну из своих тайн — историю короткой жизни и смерти Оли Мещерской, гимназистки из уездного города. Этим городом вполне мог быть Елец, столь схож его пейзаж с пейзажем из «Лёгкого дыхания»: длинная Соборная улица, ведущая к выезду из города, а в самом

конце её, где уже начиналось поле, — мужской монастырь, острог, кладбище и закопчённые кузны. Оля Мещерская, эта очаровательная девушка, жившая ожиданием любви и счастья, была убита на этом же вокзале обезумевшим от ревности казачьим офицером. Рассказ Бунина заставил героя содрогнуться от «непоправимости её судьбы». Эта история завершена исповедью: «Пожалуй, в ту ночь в холодном вагоне среди чёрных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, ещё не распустившихся берёзовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила». Рассказ «Лёгкое дыхание» был напечатан в газете «Русское слово» 10 апреля 1916 года в Светлое Христово Воскресенье.

Я сознательно написал «герой», а не называл фамилию автора, как это делал выше. История эта рассказана от первого лица, то есть от лица Паустовского, и возникало искушение считать, что всё рассказанное произошло именно с ним в Ельце в апреле 1916 года. Вначале я так и думал. Построенный мной по хронологическому принципу ряд текстов, имеющих отношение к пребыванию К.Паустовского в Ельце, независимо от их жанра, начинался главой «Иван Бунин». Но затем я стал читать письма К.Паустовского к Екатерине Загорской, написанные в апреле 1916 года, и они разрушили мои построения. Напомню, что в феврале-мае 1916 года Константин Паустовский служил браковщиком снарядов на оружейных заводах юга России, жил в основном в Таганроге, но бывал в Екатери-

нославе и Юзовке. Он сознательно выбрал Таганрог, чтобы быть ближе к Севастополю. Там в то время жила Екатерина Загорская. Она преподавала французский язык в мореходном и коммерческом училищах. Мысленно Константин устремлялся в Севастополь к Хатидже. Как следует из его дневника, в начале апреля она приезжает в Юзовку, и они вместе проводят её пасхальные каникулы. Вследствие этого в их переписке устанавливается перерыв с 11 по 17 апреля. На страницах дневника этих дней о поездке в Ефремов к её сестре нет ни слова. Так значит Константин Георгиевич не был в Ельце в апреле 1916 года? Выходит, что не был. Сделав такой вывод, я испытал чувство крайнего смущения и неловкости, как будто бы без разрешения вторгся во внутренний мир писателя, в его творческую мастерскую. Возникло и другое опасение: не разрушит ли такое «открытие» восприятие начала главы «Иван Бунин»?

Сам Паустовский не раз писал о творческой силе воображения, о праве писателя смещать во времени и пространстве авторские впечатления и события своей жизни. Отвечая на вопрос предполагаемого собеседника, что такое воображение, Паустовский писал в «Золотой розе»: «... Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями». И далее Константин Георгиевич пишет о том, что жизненный опыт отдельного человека ограничен, а жизнь многообразна и бесконечна в своих проявлениях. «И вот воображение, — продолжает он, — даёт ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни». Совместив в главе «Иван Бунин» два ярких эпизода своей жизни — потрясение рассказом «Лёгкое дыхание», который он читал ско-



Открытка, посланная К.Г.Паустовским из Ельцы жене Е.С.Загорской в Ефремов 5 января 1917г. Текст написан карандашом:

5/1.17. Елец, 1 ч. дня
 Елецкий трактир на Торговой улице.
 Играет машина. За стеной еврейская
 труппа релетирует «Шлойме Шарлатан».
 Мороз. Город уютный, улочки узенькие,
 оливковые церкви, звоны, дома в стиле
 empire.

Котъ



рее всего в Юзовке в дни встречи с Хатидже, и посещение Ельца, — Паустовский достиг большой выразительности и достоверности прозы. Однако, на мой взгляд, в такой композиции не было холодного расчёта. Героем этой истории был тот же Паустовский, живущий в пространстве не только своего жизненного опыта, но и своей романтической мечты!

Перечитывая вновь и вновь начало главы «Иван Бунин», я каждый раз чувствую подлинность происходящего. Вижу провинциальный среднерусский городок с его прямо пахнущим базаром, тонкими язычками свечей в сумраке церкви, перезвоном кузниц на окраине городка под высоким серым небом уездной России. Но главное — проникаюсь чувством, которое породил в душе молодого человека, также открытой для счастья и любви, рассказ Бунина и судьба его героини Оли Мещерской. Да нет же! Быть может, это я ошибаюсь в своих рассуждениях и Паустовский действительно был в Ельце в холодном апреле 1916 года?

Бывал ли Паустовский в Ельце в последующие 20-е и 30-е годы? Пока не опубликованы его дневники тех лет, ответить на этот вопрос определённо нельзя. Но в 1924 и 1931 годах Паустовский жил в 70 километрах от Ельца на той же Быстрой Сосне, в Ливнах. В рассказе «Старик в потёртой шинели» есть фраза: «Через десять лет случилось мне проезжать по железнодорожной ветке из Тулы в Елец мимо Ефремова». Время, когда происходили события, положенные в основу сюжета рассказа, обозначены автором как лето 1924 года. Является ли эта фраза свидетельством посещения Ельца в те годы или в ней проявилось всё то же право беллетриста свободно пользоваться запасом своих жизненных наблюдений — сказать пока нельзя. Как бы там ни было, среднерусский Елец оставил по себе память в душе Паустовского хотя бы посещениями 1917 года. Иначе как объяснить, что в 60-е годы он поставил в один ряд с прославленными литературными местами России как будто бы скромный Елец?

Черновая рукопись второй книги «Золотой розы» сохранила для нас такие строки:

«Я заметил, что присутствие того или иного человека налагает какой-то оттенок на места, где вы с ним жили или даже случайно встречались хотя бы на час.

Иной раз присутствие такого человека ощущается, хотя его уже давно нет в живых.

Так я ощущаю Блока на набережных и мостах Невы, Тургенева в Спасском-Лутовинове под сенью

дуба-патриарха, о котором Тургенев писал Флоберу <...> На тихой Аутке в Ялте, кажется, только что проехал на извозчике Чехов, глядя вниз и думая о чём-то своём, как всегда печальном. А на стареньком балконе переделкинской дачи слышен глухой, мучительный, пробивающийся сквозь навалы слов и вместе с тем поющий голос Пастернака.

Иногда эти места совершенно ничем не отличаются от сотен таких же мест. Взять хотя бы город Елец, родину Бунина. Елец отчасти похож на Рязань, на бывший Козлов, на Липецк. Но в Ельце особенно сильно чувствуешь сотни раз описанные Буниным уголки России, её прелесть, дыхание её безграничных ржаных полей. Выедешь за город и тотчас услышишь тот милый и сладкий запах полевых цветов, растущих на всех межах. И невольно вспомнишь стихи Бунина: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...».

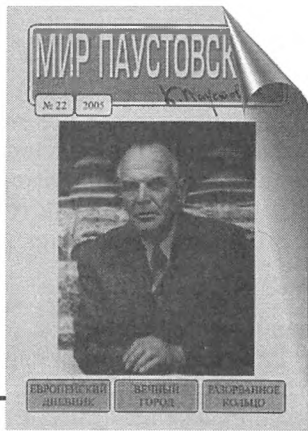
И далее Паустовский продолжает:

«Человек, проходя по земле, оставляет невидимый и неосознаваемый, но отчётливый след пребывания. Только память по своей немощи может стереть этот след, но, конечно, с трудом.

Город, не связанный ни с каким человеком, ни с каким воспоминанием, даже литературным, мёртв для меня. И, очевидно, для многих из нас».

В одном хочу возразить К.Г.Паустовскому: Елец очень своеобразен. Несомненно другое. Имя Паустовского продолжает тот ряд, который наметил он сам: Блок, Чехов, Пастернак... Продолжает по притягательности тех мест, о которых он писал или в которых жил. Их в России очень много... А с недавних пор к ним прибавился в моём сознании ещё и Елец — город, в котором наряду с Брянском и Ефремовом начиналась привязанность Паустовского к русской провинции. Посещая эти места, испытываешь на себе обаяние его внутреннего мира, красоту и выразительность его прозы и ту «поэзию души и жизни», верность которой он пронёс через всё своё творчество.

Временами меня неудержимо тянет в этот город на Быстрой Сосне — то в пору золотой осени, чтобы посидеть под кронами деревьев городского парка, то весной, чтобы посмотреть ледоход на реке. Прав был Дон-Аминадо: «Столицами торгуются, восхищаются, гордятся. Умиляет душу только провинция». Несколько лет назад, будучи в Ельце, я заглянул в книжный магазин на Торговой. В нём я купил первый том юбилейного издания «Повести о жизни». Открыв его наугад, прочитал: «Новый — 1917 год. Еду в Елец — родина Бунина...».



ИССЛЕДОВАНИЯ

Софи ОЛЛИВЬЕ

*доктор славистики,
профессор Университета Бордо III
(Франция)*

ЖАН ЖАК РУССО И КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — ПЕВЦЫ ПРИРОДЫ И СВОБОДЫ

Нам предстоит в этой работе сравнить Константина Паустовского с писателем, которого он высоко ценил, — с Жан Жаком Руссо. Сравнение крупных представителей литератур двух разных стран позволит углубить понимание русской и французской культур.

«Прогулки одинокого мечтателя» наложили свой отпечаток на творчество целого ряда писателей, в том числе и на Паустовского. Недаром он упоминает о Руссо в одном из последних своих рассказов — «Ильинский омут».

Оба писателя — страстные мечтатели. Мечтания сплетаются в их творчестве с восприятием, созерцанием природы, размышлениями, научным исследованием и приводят к подлинным мгновениям счастья.

Наедине с природой Руссо наслаждается ощущением её величия и чувствует себя подобным Богу. Для него человек только в лоне природы обретает своё истинное «я», свою свободу и тем самым осознаёт своё родство с другими. Индивидуализм сливается у Руссо с универсализмом. Но ему было неизвестно признание на родной земле, которое пришло к Паустовскому.

Паустовский, как и Руссо, отстаивал право писателя свободно выражать свои чувства, но он отличается от Руссо тем, что, выражая свой внутренний мир, он одновременно и невольно выразил духовную особенность своей страны, её красоты, которую он воспринимал не как вневременной идеал, а просто верил в её безграничные возможности. На сложный вопрос о связях России с Западом Паустовский отвечал, что Россия найдёт своё место в Европе, не считая себя при этом выше Запада, не

сливаясь с ним, а осознавая особенности и сущность обеих культур.

Оба писателя изображают такие ситуации, в которых сложное общение человека с природой помогает ему углубить своё «я» — во многом и зачастую противоположное социальному миру — и ощутить свою принадлежность к идеальному гармоническому миру. Отношение к природе служит у них «инструментом» выхода в сферу таких общественных отношений, в условиях которых каждый человек может быть свободным.

Каждый по-своему находится в поисках золотого века, где конкретная мимолётная жизнь слилась бы с сутью жизни вечной.

В отношении Западной Европы позиция России постоянно колеблется между двумя крайностями: взять ли с неё пример, подражать ли ей или отвергнуть её и искать свою русскую самобытность, замкнувшись в самой себе. Герцен думал, что только Россия может судить о прошлом Европы, понимать её. Питавший к Европе любовь-ненависть и глубоко разочарованный в ней, Достоевский сказал в знаменитой речи на Пушкинском празднике, что настоящая Европа находится в России.

Вопрос о связях России с Западом и западной культурой задавал себе на протяжении всей своей жизни и К.Г.Паустовский. Его, как и многих русских, Франция притягивала особенно.

Паустовский пишет о Руссо, вспоминая посещение парка в Эрменонвиле на острове Тополей, где Руссо был похоронен, но где, увы, нет его праха — прах «давно перевезли в Пантеон». Представляется, что Руссо недаром стал последним французским

писателем, о котором упоминает Паустовский. Упоминает наряду с родным и любимым Чеховым. Это не случайно. Можно догадаться, что привлекало Паустовского в Руссо: склонность к мечтаньям, любовь к природе и внутренняя свобода.

Для сравнительного изучения чувства природы у Паустовского и Руссо — представителей двух разных стран, культур и времён — мы будем опираться на их последние произведения: это «Прогулки одинокого мечтателя» Руссо, написанные в 1776–1778 годах, и рассказы Паустовского 1960-х годов.

В «Прогулках одинокого мечтателя», написанных незадолго до смерти, Руссо защищает своё право быть одиноким, право утвердить тем самым свою независимость от общества, где человек вынужден следовать мнениям других и испытывать при этом радости как бы поверхностные, неглубокие. Руссо считал себя несправедливо оболганным и незаслуженно преследуемым обществом. Действительно, он постоянно подвергался гонениям как со стороны государственных, так и церковных властей. (Церковь предала анафеме книгу «Эмиль»; парламент запретил роман-трактат о воспитании и грозился сжечь всё, что Руссо написал, в том числе «Письма с гор»; власть отдала даже распоряжение об аресте Руссо.) Все его бывшие друзья-энциклопедисты, за исключением Вольтера, отвернулись от него и стали относиться к нему враждебно. Чувство преследования приняло у Руссо угрожающие размеры, вплоть до предположения, что он стал жертвой заговора. Таким образом, в сложившихся обстоятельствах уход в природу стал для Руссо единственным и естественным способом спастись от врагов, от преследователей и в то же время стал для него своеобразным социальным протестом. Среди своих современников, придававших большое значение общественному мнению и принятым условностям жизни, Руссо занимает особое место. Ценностям общественной жизни он противопоставляет ценность одиночества, своих личных чувств, духовной жизни.

Уход Паустовского в природу во второй половине 30-х годов тоже можно считать социальным протестом. Да, он не был преследуем, но всё же был какое-то время в опале. Его резко критиковали даже за повесть «Мещёрская сторона», за рассказы 40-х годов... Вскоре после публикации повестей «Кара-Бугаз» и «Колхида» Паустовский начинает восставать против слепой веры в науку, в индустриализацию, против «покорения» природы. Но, заметим, что и в этих повестях он отстаивал роль мечты, чувственного, эмоционального взгляда на мир, отстаивал право на воображение. И если Руссо предвосхищал романтизм, то Паустовского можно по праву считать последним романтиком.

Отношение Руссо к одиночеству не однозначное. С одной стороны, он пишет, что его принудили к одиночеству, и горько сетует на то, что он одинок: «И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга, без иного собеседника кроме самого себя». С другой стороны, он рад, что живёт наеди-

не с собой и природой. Одиночество позволяет ему познать свою настоящую сущность и созерцать Вселенную. Похвала одиночеству приводит его к критике общества, которое мешает проявлению нравственных добродетелей человека. Происходит резкий перелом. Его страдания превращаются в счастье; отчаяние: «Всё кончено для меня на земле» — в надежду и покой.

Оказавшись в уединении на лоне природы, Руссо отдаётся мечтаньям. Если посмотреть в словаре значение слова «мечтать» («rêver»), увидим, что оно означает — «играть воображением, представлять себе то, чего нет в настоящем, воображать, думать». В Академическом словаре (Dictionnaire de l'Academie) сказано, что «мечтать» означает и «бредить», и «глубоко думать, размышлять».

Первоначальный импульс для своих мечтаньях Руссо получает от простого созерцания окружающего мира. В этих мечтаньях он или свободно размышляет о своей судьбе и своей жизни, стремясь к познанию самого себя и мира, или заинтересованно наблюдает за жизнью растений, или устремляется мыслью в вымышленные миры.

Руссо с детства любил представлять воображаемый мир более прекрасным, чем окружавшая его действительность.

Паустовский также посвятил много прекрасных страниц роли мечты в своей жизни: «В этих снах, в этих выдумках была чистота, было благородство, и отблеск этих качеств лёг на всю жизнь людей. Каждый, кто обладал этим свойством в юности, согласится со мною, что он был владельцем неисчерпаемых богатств. <...> Этот второй мир обогащает человека и отзывается на его мыслях и поступках в жизни». Эта склонность наложила свой отпечаток на всё творчество Паустовского, но он, особенно в контексте 20-х и 30-х годов, чувствовал себя одновременно как бы виноватым в том, что любил погружаться в мир воображения. Руссо в «Исповеди», в «Диалогах» и «Прогулках» отстаивает право человека создавать воображаемые миры.

Лишённый общения, отвергнутый обществом, Руссо нашёл утешение в беседах с самим собой: «Отдадимся же целиком отраде собеседования с собственной душой, раз она — единственное, что люди не могут у меня отнять».

Значительная часть «Прогулок» посвящена экстазу — возвышенному состоянию души, вызванному мечтаньями. Автор это состояние анализирует и поэтично передаёт, внимательно проникая в глубину своих воспоминаний, как бы вновь переживает прошлое, записывает те ощущения, которые он испытывал раньше. Строки его о счастье — это строки о прошлом, к которому возвращается мечтатель перед смертью.

Описывая второе мечтание, Руссо передаёт ощущения своего индивидуального существования. Во время одной из прогулок собака сбила писателя с ног, он упал в обморок, затем всё же пришёл в себя: «Надвигалась ночь. Я увидел небо, несколько звёзд,

какую-то ветку. Это первое восприятие было чудным мгновением. Я ощущал себя тогда только через это. В этот миг я рождался к жизни, и мне казалось, что я наполняю своим лёгким существованием все воспринимаемые мной предметы. Всё сводилось для меня к данному мгновению, я не вспоминал ни о чём, у меня не было никакого отчётливого ощущения своей личности...». Он почувствовал, что связан со стихийными силами природы и неотделим от Вселенной. Он теряет свою индивидуальность, но не своё «я». Мир наполняется предметами, автор не теряется в мире, а осознаёт своё единство с ним.

Мечтания Руссо разнообразны: они и экспансивны, и сосредоточены на самом себе. В процессе их его душа как бы вырывается из тела, возвышается над миром и теряется в нём: «...душа моя блуждает и парит в мироздании на крыльях воображения — в восторгах, превосходящих все иные утехи». «Я» исчезает, когда человек чутко воспринимает жизнь деревьев, растений, слышит пение птиц... «Все отдельные предметы ускользают тогда от него; он видит и чувствует всё во всём». По сравнению с системой йогов он не впитывает внешний мир в себя, а наоборот, теряется в мире благодаря своей чувствительной душе.

Имел место и ещё один тип мечтаний, третий, доставлявший Руссо наивысшее наслаждение. Так, сидя на берегу романтического Бьенского озера в Швейцарии или плавая в лодке по реке, он ничего не испытывал, кроме ощущения своего существования: «...шум и перекаты волн, приковывая к себе мои чувства и удаляя из души моей всякое другое волнение, погружали её в сладостное мечтание... Прилив и отлив воды и протяжный, время от времени усиливающийся шум её, непрерывно поражали мой слух и зрение, заменяя то внутреннее движение, которое угасало во мне; их было достаточно, чтобы я с наслаждением ощущал своё существование, не давая себе труда мыслить».

Руссо чувствует, что его дух соответствует духу мира и что это — не слияние его «я» с миром, а настоящий симбиоз. Это состояние, когда остаются только визуальные, зрительные впечатления. И они доставляют такую полноту эмоций, рождают такое блаженство, такие «нежные экстазы», что, «пока длится это состояние, ты доволен сам собой, как Бог». Это не мистический экстаз, так как автор не теряется в Боге и экстаз не вызывает желания убежать от земной жизни. Исходя из таких ощущений, Руссо доходит до представлений о пустоте сознания, которую он ощущает как наивысшее счастье, как утверждение своей независимости.

У Паустовского мечтания тоже тесно связаны с одиночеством, с размышлениями, с изучением природы. Уход от общества, от городов, где преобладает стереотипный взгляд на мир, лживые отношения между людьми, где человек теряет свою духовную чистоту, в природу, в уединение позволяет Паустовскому испытать то успокоительное и счастливое со-

стояние, которое иногда напоминает именно те состояния духа, о которых писал Руссо. Например, у Паустовского: «Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье». Это он писал в 1939 году в «Мещёрской стороне», а вот строки из более позднего «Ильинского омута»: «Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце поднималась какая-то радостная любовь к каждому колоску. Я думал, что все эти доверчивые стебли и травы, конечно же, мои безмолвные друзья, что мне спокойно и радостно видеть их каждый день и жить с ними в этой тихой степи под свободным небом». Обращаю внимание на важное слово «свободным». Как и Руссо, Паустовский восстал против общественных принудительных правил и стремился освободиться от их груза на лоне природы и обрести в общении с ней свою собственную натуру, самостоятельность.

Хотя Паустовский и не анализирует столь детально свои мгновения счастья, но он, как и Руссо, придаёт им первостепенное значение. В его рассказах на первый план выступает не объект, а субъект, или, если так можно сказать, глубинный контакт между ними. Паустовский смотрит на мир глазами внимательного наблюдателя и очарованного юноши. Он поражён, ошеломлён красотой природы и как художник хочет проникнуть в законы этой красоты и передать её в слове.

Как затем и Паустовский, Руссо любил наблюдать природу, больше всего растения и цветы, сравнивать особенности каждого. В 5, 6 и 7-й прогулках он вспоминает, как возникла у него страсть к ботанике, говорит о том, как бескорыстное изучение законов природы углубляет эстетическое наслаждение и доставляет ему огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Мир растений у Паустовского так же более благороден, чем мир социальный. Растения у него предстают живыми существами, помогают ему ощутить своё одинокое счастье, которому не угрожает общество. Интересно заметить, что Паустовский часто сожалел, что не стал ботаником. Однако, в сравнении с Паустовским, Руссо в подобных описаниях больше сосредоточивается на самом себе. Паустовский же, вскользь замечая, что Ильинский омут вызывает у него «состояние глубочайшего мира» «по своей прелести и сиянию простых полевых цветов», приступает затем к главной своей задаче — описать «величественные дали», описать всевозможные цвета, запахи, формы, движение, все перемены, совершающиеся в природе.

У Паустовского эти описания также неразрывны с мечтаниями-размышлениями о красоте природы и о бренности земных реалий, о стремительности движения времени — особенно в сопоставлении нетленной красоты природы со скоротечной человеческой жизнью. Как и у Руссо, взгляд на красоту у

Паустовского облагораживает человека, а духовный контакт с нею свидетельствует, что внутренний мир человека соответствует окружающему миру.

Однако Паустовский существенно отличается от Руссо тем, что описываемая им природа — родная природа. Остров Сен Пьер среди озёрных вод Швейцарии, где Руссо родился, воспринимается им не как родной край, а как прелестное убежище, благодатное место, где он может открывать своё «я». В своих последних рассказах Паустовский определяет своё особое отношение именно к русскому пейзажу, выбирая в качестве примера «одно из неизвестных, но великих мест» — Ильинский омут. На первый взгляд, «величие событий» не «накладывает» «свой отблеск» на Ильинский омут, однако размытый дождями череп, рассечённый мечом, напоминает писателю о седой старине этих мест, о татарских нашествиях. Вдали за омутом, вспоминает писатель, находится усадьба Чехова, где тот написал «Остров Сахалин» и бессмертный рассказ «Дом с мезонином». В новелле «Наедине с осенью» Паустовский, рыбака на Оке-реке, размышляет о Лермонтове, вспоминает стихи Баратынского, Пушкина, рассказывает о стихах Пастернака, Заболоцкого, говорит о Нике Самофракийской и Лувре, о Бунине и Твардовском... Русская природа насыщена страданиями, радостями русских людей, русским духом. Руссо же неведомо подобное слияние с родными местами. Стихи, которые цитирует Паустовский, отражают осенний русский пейзаж; они сами — неотъемлемая часть русской природы и занимают в ней своё особое место. Русская культура не отделима от русской земли.

Паустовский, обращаясь к своим современникам как проводник красоты природы и искусства, желал донести до русского человека понимание того, что созерцание красоты сделает его добрее, неспособным ненавидеть других, утончит нравственное содержание личности.

В первой прогулке, излагая свой замысел (изучение самого себя), Руссо так определяет его по отношению к замыслу Монтеня: «...он писал свои «Опыты» только для других, а я пишу свои «Прогулки» только для себя». Однако он ошибается в случае с Монтенем и говорит неправду о себе. Стараясь осознать самого себя, он, будучи писателем, обогащает невольно и других. Своей знаменитой фразой: «Я знаю моё сердце, и я знаю других» Руссо как бы хочет сказать, что изучение самого себя — не эгоцентрическое занятие. В этом оправдании есть своя доля истины и противоречий. Он не хочет быть похожим на других из чувства нонконформизма, но, передавая моменты величайшего наслаждения, переживаемые на лоне природы, он осознаёт, что выражает и что-то универсальное, что прикоснулся к человеческому сердцу вообще. Поэтому нельзя утверждать, что Руссо целиком замкнут в самом себе и что он не обращается к потенциальному читателю. В нём борются две противоположные силы: одна, центростремительная, приводит его к самому себе, другая, центробежная, — к обществу, к про-

странству, Вселенной, и он всё время колеблется между ними. Он хочет удовлетворить свои эмоции и затеряться в природе. Но, хотя он и наслаждается одиночеством, всё же радуется, когда встречается со стариками, с детьми (правда, убегает от нищего ребёнка).

Подобные противоположные стремления проявляются, например, в «Общественном договоре». Обычно считают, что теория «всеобщей воли» приводит к тоталитаризму, что у Руссо «всеобщая воля» выше «индивидуальной воли». Правда, абстрактному человеку природы он противопоставляет социальное существо. Первый — не добрый, не злой, не воспитанный. А если второй — порочный, то только потому, что он плохо воспитан обществом. Руссо мечтает о таком общественном мироустройстве, при котором бы каждый индивидуум соединялся с другими и оставался бы одновременно лично свободным, где общая воля была бы неразрывна с индивидуальной и где человек осознал бы себя индивидуумом в общем социальном организме.

Паустовский также хочет соединить социального человека с отдельным индивидуумом. Его волнует вопрос о необходимости сохранить коллективную память. Подобно Д.С.Лихачёву, он предостерегает людей от двойной опасности: забвения своей национальной культуры и культурной автократии, отстаивает секуляризацию культуры. Современность для него означает расцвет индивидуальных качеств человека в рамках своей национальной культуры, но без пренебрежения к другим культурам, которые надо также познавать и усваивать.

Два века после Руссо, в другой стране, при других исторических условиях (Руссо писал за несколько лет до Французской революции) Паустовский мечтает о гармонии между людьми и о гармонии человека с природой, которая должна составлять его естественную среду обитания. Паустовский в своих рассказах показывает, что человек способен к этой гармонии. Хотя Паустовский, по сравнению с Руссо, сдержанно пишет о самом себе, но за его объективированными описаниями природы скрывается духовное «я» писателя, добавляющего природе те качества, которых ей не хватает, и в то же самое время выражающего свои чувства, своё стремление к счастью, чуткость к красоте и утверждающего свою близость к другим людям, к читателю.

Многое ещё сближает Паустовского и Руссо. Паустовский любит писать свободно, не следуя традиционному причинному порядку, а повинуюсь течению впечатлений и мыслей: «Каждому писателю, — говорит он в начале рассказа «Во глубине России», — нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в учебниках литературы». Манера, безусловно, полемическая: Паустовский подчёркивает,

что писатель имеет право выбирать свой стиль и не повиноваться правилам, заказам, которые не соответствуют внутренним его потребностям. Артистическая манера Руссо, присутствующая в тексте второй прогулки, близка к манере Паустовского и также обладает полемической окраской. В отличие от Декарта, который стремился ясно думать и ясно излагать свои мысли, Руссо отказывается от логических мыслей, он просто... следит за их неясным течением. Многие исследователи (Р.Рикат, М.Рэмон, Р.Труссон...) доказали, что у «Прогулок» есть своё внутреннее единство (и внутри каждой прогулки, и между прогулками) и что они отнюдь не составляют «беспорядочный» дневник, как утверждал сам Руссо. Можно сказать подобное и по поводу рассказов и повестей Паустовского, манера которого уже давно определена как импрессионистская.

Писать свободно означает у обоих писателей стремление не только передать свободу мечтаний и мыслей, а фиксировать их посредством слов и тем самым фиксировать воспоминания — о настоящей минуте, о разных мгновениях, когда они испытали наслаждение при созерцании природы. Искусство передаёт мгновенные впечатления, мысли, далёкие воспоминания и их увековечивает. То, что было пережито писателями в прошлом, воспринимается читателями как настоящее.

Размышления Руссо об искусстве отличаются от размышлений Паустовского тем, что, если верить первому, писательство является лишь приёмом усилить моменты наслаждения и доказательством, что он может отдалиться от всех. Но разве только наслаждения, продления счастья ищет Руссо? У Паустовского более развито чувство ответственности писателя перед своим народом: эта черта типично русская. Кроме того, мы не находим у Руссо ту интересную параллель, которую Паустовский проводит между искусством природы и искусством писателя или художника. И то и другое таинственно, трудно постигнуть их тайну («Наедине с осенью»), но каждое из них представляет совершенное творение. Тем самым Паустовский хочет показать, что, создавая красоту, человек проявляет своё родство со Вселенной, что жажда совершенства движет жизнью.

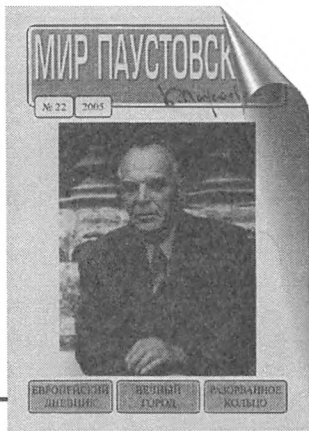
Принято считать, что Паустовский не любил и не хотел изображать страдания или не мог. Однако, как и Руссо, но более скрытно, он весь в поисках счастья, в преодолении. И, кстати, более открыт в этих поисках, чем Руссо в «Прогулках». У Руссо мы читаем: «Я познал... что источник истинного счастья в нас самих и что не во власти людей сделать несчастным того, кто хочет быть счастливым». Оба писателя были убеждены, что человек неизменно стремится к счастью, но, к сожалению, никогда его не обретёт. «Но где счастье, — пишет Руссо в 4-й прогулке, — кто его знает? Каждый его ищет, и ник-



Софи Олливьева на празднике 105-летия со дня рождения К.Г.Паустовского. Таруса, у дома писателя, 31 мая 1997 г. Фотография С.А.Кузнецова. Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского

то его не находит. Целую жизнь мы стремимся к нему и умираем, не добившись его. Надо открыть счастье в самом себе и в любви к другим». Весь рассказ «Наедине с осенью» Паустовского говорит о мимолётности счастья, о невозможности остановить время и о людских страданиях. Писать о счастье — значит не столько испытывать его, сколько создать его воображением и словом, предложить его другим — через искусство — и верить в его возможность в самой жизни.

Руссо и Паустовский создают внутри своего поэтического текста эстетический центр, где сложное общение человека с природой позволяет ему углубить свой внутренний мир и осознать свою принадлежность к идеальному, гармоничному обществу. Отношение к красоте природы служит им приёмом, помогающим представить такое общество, где человек не будет угнетённым. Открыть своё «я», открыть совершенство человеческого духа означает для них обрести свою свободу. Паустовский и Руссо каждый по-своему стремятся к золотому веку («он не завтра», — пишет Руссо), в котором мимолётная жизнь, феноменальная жизнь сольётся с сущностью вещей, люди будут братьями, и будет не одинокое, а всеобщее счастье. Вера в гармонию Вселенной породила у них мечту и о возможности человеческой индивидуальной и общественной гармонии.



ОБРАЩАЯСЬ К МИРОВОМУ НАСЛЕДИЮ

Константин ПАУСТОВСКИЙ

...ОНИ НАШИ ИСТИННЫЕ СОВРЕМЕННОКИ

* * *

Я слышал Дебюсси. Ты знаешь, Хатидже, я весь дрожал, так это было красиво. Nuages¹ — впервые я услышал, как поют облака. Сквозь неясные голоса ночи, пенистый шорох прибоя долетала тонкая, звенящая песня облаков. Фаготы пели задушевно и нежно, как далёкие ветры в корабельных снастях — вдалеке над морем медленно падали ночные золотистые дожди, словно тысячи жемчужин причудливой вязью сыпались на упругие всплески волн, сыпались и звенели, звенели... И как ночами над морем свиваются капризными узорами и вновь развиваются облака, так радостно и просто сплетали скрипки и флейты свой прихотливый напев.

Словно я видел золотящийся мир, танец ночи.

*Из письма Е.С.Загорской 12 января 1916 г.
Москва*

* * *

Я хочу написать об одном художнике (он похож на Ван Гога), который увлекался Японией, трепетными контурами Хокусаи, любил цветение садов и золотеющее солнце.

*Из письма Е.С.Загорской 18 февраля 1916 г.
Москва*

* * *

Теперь мы лишь предчувствуем грядущее и преклоняемся перед искусством и любим его.

Недаром больно и тягостно восприняла Европа разрушение Реймского собора, гибель «мёртвого» Брюгге с затишьем его каналов и церковей, пожар кружевного Лувена, — ибо Европа знает, какая величайшая ценность зрела в этих городах-легендах для духовного обогащения, для эстетического воспитания масс. Они, эти города, властно говори-

ли о том, что под знаком красоты должна быть создана вся, даже будничная, повседневная человеческая жизнь.

Когда человек обратится к себе, он обратится к искусству, этому фокусу солнечных лучей, излучений человеческого гения, его интуиции. Искусство даст ему вечное беспокойство, толкнёт его ум к мучительным исканиям, снимет с него налёт бездумия и неподвижности.

*Искусство и революция
1917*

* * *

В тюремной камере Уайльд, наконец, понял, что значит горе и социальная несправедливость. Раздавленный, опозоренный, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливости и бросил этот крик, как кровавый плевок, в лицо предавшему его английскому обществу. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Реддингской тюрьмы».

*Оскар Уайльд
1937*

* * *

Но что такое по существу новелла? Я думаю, что новелла — это рассказ о необыкновенном в обыкно-

МП: К.Г.Паустовский неоднократно повторял, что «мы должны быть владельцами искусства всех времён и всех стран», что «нам нужно всё, что обогащает внутренний мир человека...». И он сам, по его же словам, «во всём искал этого внутреннего обогащения...». Все его произведения, не говоря уже о цикле статей и очерков, посвящённых писателям и художникам, убеждают нас в этом. Паустовский стал частью мировой культуры, восприняв многое из её богатств задолго до того, как его творчество узнали читатели разных стран. Ниже мы публикуем фрагменты из писем и произведений писателя — малую толику из драгоценных россыпей его строк, касающихся зарубежной культуры.

¹ Облака (фр.).

венном и, наоборот, об обыкновенном в необыкновенном. В данном случае определение, которое дал Дидро вообще литературе, искусству (искусство — это способность находить необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном), относится целиком к новелле. И первые русские новеллы — это повести Пушкина. Анализ этих рассказов нам с полной очевидностью показывает все основные свойства новелл. Это — короткий рассказ о необыкновенных происшествиях или случаях обыкновенной жизни. Это образцовые новеллы, с таким блестящим неожиданным концом, которому позавидовали бы многие новеллисты Запада, стремившиеся к этому изо всех сил, тогда как у Пушкина это сделано совершенно непосредственно и просто, без всякого нажима.

Я не говорю о новеллах Гоголя, Лермонтова, о лермонтовской «Тамани». Чехов сказал, что можно прочитать «Тамань» и умереть.

Чехова не совсем правильно считают новеллистом, потому что новелл у него мало. Он мастер рассказа, а что касается новелл, то можно перечислить очень многих и наших писателей, и писателей Запада, которые работали в этой области, но я остановлюсь всего лишь на нескольких.

Из западных новеллистов — Эдгар По, великолепнейший новеллист и поэт, создатель этого жанра на Западе, создатель детективных новелл, загадочных, фантастических. На нём стоит остановиться, потому что он оказал огромное влияние на всю литературу Запада и на нашу тоже. Если проследить новеллистическую нашу литературу, то очень много корней уходит к Эдгару По.

Можно сказать о Мериме как о блестящем новеллисте.

<...> Затем, конечно, Мопассан, о котором говорить тоже не приходится, настолько это ясно, какой это блестящий и гениальный новеллист. Мопассан был учеником не только Флобера, но и Тургенева, и в данном случае трудно определить, кто из них сильнее влиял на него и кто из них был его настоящим учителем, потому что, по словам самого Мопассана, Тургенев дал ему гораздо больше, чем Флобер.

Я заговорил... о западной новелле и вспомнил одного нашего новеллиста, который приближается к западным новеллистам и в то же время сильно от них отличается. Это — Грин.

*О новелле
1946*

* * *

Очень многому в области пейзажа научили меня художники. Тут есть один интересный вопрос — это живопись и поэзия в связи с прозой. Когда Моне написал свое «Вестминстерское аббатство в тумане», после этого лондонцы начали говорить, что они впервые увидели лондонский туман. Вот вам открытие мира.

То же самое сделал Левитан, который совершенно по-новому открыл русскую природу. Её подосоз-

нательно ощущали многие, но с полной ясностью её до него такой не видели.

Работа художников в этой области оказывает огромное влияние на прозу. Возьмите Тернера, который открыл совершенно новый морской пейзаж, очень грозный, тревожный, зловещий, или того же Уистлера, английского художника, выросшего в Петербурге. Этим самым, очевидно, объясняется, что все его пейзажи во мгле белой ночи очень задушевные, с очень мягкими красками, как будто подёрнуты лёгким туманом. Также Васнецов, который открыл совершенно новые качества наших степей, или тот же Кустодиев.

*О новелле
1946*

* * *

Прибравшись у себя в операционном вагоне, я брал книгу Рабиндраната Тагора и уходил в костёл. Я читал её, сидя на недостроенной стене над полями. Как это иногда бывает, я подменял мысли Тагора своими мыслями и был вполне доволен этим.

*Беспокойная юность
1954*

* * *

Я впервые рассмотрел эту женщину и удивился счастливому и трогательному выражению её лица. Тогда ещё я не знал, что почти у всех только что родивших женщин лицо становится, хотя бы ненадолго, красивым и спокойным. Должно быть, эта красота материнства пленила великих художников Возрождения — Рафаэля, Леонардо и Боттичелли, — когда они писали своих мадонн.

Беспокойная юность

* * *

Я был окружён толпой поэтов. Я беседовал с ними. У меня кружилась голова от множества их мыслей и образов, литых и драгоценных. Откуда всё это бралось, из каких глубин ясной и горячей души!

Я чувствовал себя владельцем богатств. Со мной говорили Леконт де Лиль и Гейне, Верхарн и Бернс. И при этом они говорили мне всё лучшее, что они могли сказать. Разве это не было счастьем? Меня удивляли тогда ещё, в молодости, и удивляют сейчас люди, которые не понимают или не замечают этого.

Я был твёрдо уверен, что иностранные поэты лучше звучат в русских переводах, чем на своём родном языке.

Беспокойная юность

* * *

Чюрленис был замечательным живописцем. Многие его картины, правда, фантастичны, как сны. Но если отбросить их, то у Чюрлениса останутся удивительные вещи.

Пожалуй, никто из художников не передавал с таким мастерством ночь и звёздное небо, как это сделал Чюрленис в серии своих картин «Знаки Зодиака».

Я запомнил ещё одну картину Чюрлёниса — «Сказка».

Волшебник держит в ладонях хрустальный гра-
нённый шар. Вокруг — ночь. Шар излучает напря-
жённый магический свет. Он прозрачен. Внутри
шара виден старинный город, переливающийся, как
алмаз, всеми красками радуги.

Почти все картины Чюрлёниса хранятся в Ка-
унасе.

Ветер скорости
1954

* * *

Эрмитаж берёт в плен крепко, на всю жизнь.

Пушкин писал о «священном сумраке» царско-
сельских садов. Это определение — «священный
сумрак» — можно с полным правом отнести и к за-
лам Эрмитажа.

Их торжественный полусвет заполнен велико-
лепием красок. Кажется, не хватит жизни, чтобы
проникнуться этим живописным богатством, изу-
чить россыпи мастерства.

Блестящая галерея героев 12-го года, лоджии
Рафаэля, осенние краски Тициана, средневековые
харчевни фламандцев с их гулом волюнок и трес-
ком колбасы на раскалённых жаровнях, вырванные
из мрака лица на полотнах Рембрандта, мерцающий,
как старое стекло, воздух Венеции у Каналетто, зло-
вещая сила Эль-Греко, дым, изгибы развешенных
одежд, румяные итальянские зори, мрак кудрявых
лесов, девичья печаль мадонн Леонардо! Нужны
сотни страниц, чтобы перечислить всё, что так мгно-
венно входит в память и потом вновь и вновь на-
стойчиво возвращает к себе.

Ветер скорости

* * *

На острове Джерси в Ла-Манше, где Виктор
Гюго жил в изгнании, ему сооружён памятник. <...>

Гюго изображён идущим против сильного вет-
ра. Он согнулся, плащ на нём развевается. Гюго при-
держивает шляпу, чтобы её не снесло. Он весь в
борьбе с напором океанской бури. <...>

В годовщину смерти Виктора Гюго жители
Джерси кладут к подножию памятника несколько
веток омелы. <...> Омела, по местным поверьям,
приносит счастье живым и долгую память умершим.

Поверье сбывается. И после смерти мятежный
дух Гюго бродит по Франции.

Это был неистовый, бурный, пламенный чело-
век. Он преувеличивал всё, что видел в жизни и о
чём писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для
него складывалась из великих страстей, приподня-
то и торжественно выраженных. <...>

Музыка его книг была такой же могучей, как
гром океанских прибоев. От неё содрогалась земля.
И содрогались слабые человеческие сердца. <...>

Он был не только рыцарем свободы. Он был её
глашатаем, её вестником, её трубадуром. <...>

Он ворвался в классический и скучноватый век,
как ураган, как вихрь... <...> Он просквозил засто-

явшийся воздух Европы и наполнил его дыханием
неукротимой мечты...

Золотая роза
1955

* * *

У меня на столе лежит старая книга — биогра-
фия Шиллера. На первой странице этой книги чьей-
то дрожащей, очевидно старческой, рукой написа-
но: «Чудный благородный человек!».

Когда я смотрю на эту надпись, я не могу изба-
виться от мысли, что тот, кто написал эти простые и
верные слова о великом немецком поэте, наверное,
оплакивал его.

Я невольно ишу на страницах следы слёз. Но
книге больше семидесяти лет. Слёзы давно высох-
ли, а их следы — выветрились. Их заменили в на-
ших сердцах благоговение к поэту и горечь за него,
умершего так рано, измученного жестокостью и са-
момнительной глупостью «старой доброй Герма-
нии» — этого «питомника рабов», как выразился
один из друзей Шиллера.

Никто из биографов Шиллера даже не пытается
объяснить, каким чудом из среды скучного немецко-
го мещанства, из образцовой казармы наглого герцо-
га Виртембергского вышел этот блистательный, сме-
лый и пленительно простой поэт. Он по полному
праву стал в ряды тех людей, которых мы называем
«украшением человечества».

Фридрих Шиллер
1955

* * *

Трудно найти пример большего отречения от
себя во имя искусства, чем жизнь Ван Гога. Он меч-
тал создать во Франции «братство художников» —
своего рода коммуны, где ничто не отрывало бы их
от служения живописи.

Ван Гог много перестрадал. Он опустил на
самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках
картофеля» и «Прогулке заключённых». Он считал,
что дело художника — противостоять страданию
всеми силами, всем талантом.

Дело художника рождают радость. И он созда-
вал её теми средствами, какими владел сильнее все-
го, — красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы
промыл её чудотворной водой, и она осветилась крас-
ками такой яркости и густоты, что каждое старое дере-
во превратилось в произведение скульптуры, а каждое
клеверное поле — в солнечный свет, воплощённый во
множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену
красок, для того чтобы мы могли проникнуться их
красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван
Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему
лучшее, чем обладал, — свою способность жить на
земле, сияющей всеми возможными цветами и все-
ми их тончайшими переливами.

Золотая роза

* * *

У Флобера в высокой степени было выражено то свойство писателя, которое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря проще — способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что всё происходящее с героем (по воле писателя) переживается самим писателем необыкновенно болезненно.

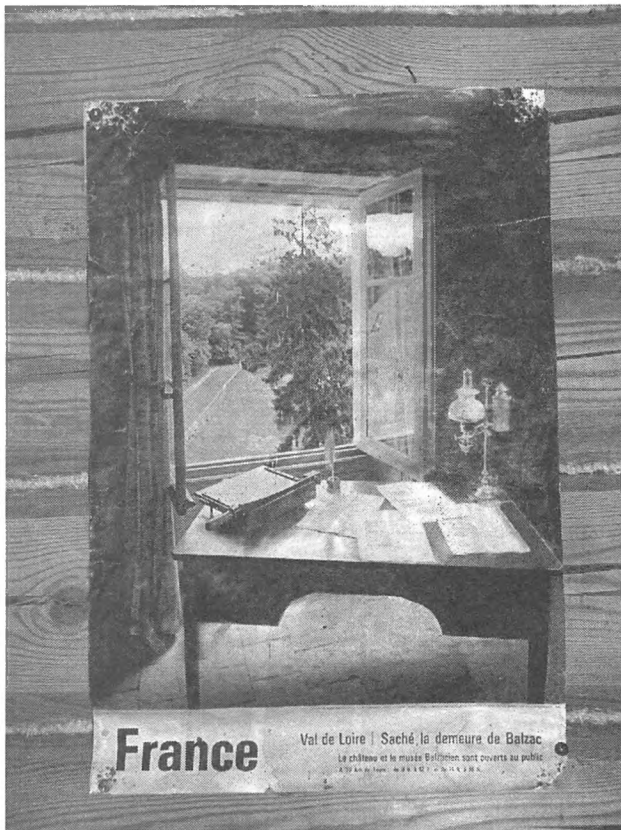
Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача.

Флобер был мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу».

Жил он в Круассе, на берегу Сены, около Руана. Окна его кабинета выходили на реку.

Всю ночь в кабинете Флобера, заставленном экзотическими вещами, горела лампа с зелёным абажуром. Флобер работал по ночам. Лампа гасла только на рассвете.

Её свет был постоянен, как огонь маяка. И действительно, в тёмные ночи флюберовское окно стало служить маяком для рыбаков на Сене и даже для капитанов морских пароходов, подымавшихся по реке из Гавра в Руан. Капитаны знали, что на этом участке реки надо было, чтобы не сбиться с фарватера, «держаться на окно господина Флобера».



Вид из окна кабинета Бальзака.
Пересъёмка рекламного плаката из тарусского кабинета
К.Г.Паустовского

Изредка они видели плотного человека в пёстром восточном халате. Он подходил к окну, прижимался к нему лбом и смотрел на Сену. Это была поза уставшего вконец человека. Но вряд ли моряки знали, что за окном стоит великий писатель Франции, измученный борьбой за совершенство прозы, этой «проклятой жидкости, которая никак не хочет принять необходимую форму».

Золотая роза

* * *

Для Бальзака все его герои были живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодяями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье.

Вера в существование своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастическая.

Золотая роза

* * *

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

<...> Тогда я ещё не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.

Это я понял гораздо позже, понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, долго хлопали друг друга по плечу и хохотали.

*Сказочник (Христиан Андерсен)
1955*

* * *

Вполне законный вопрос: Пушкин — наш современник по духу или в этом отношении он нам совершенно чужд? Наши ли современники Шекспир и Гейне, Сервантес и Стендаль?

Надо думать, что они наши истинные современники. Дело писателя — силой таланта, силой творческой своей окрылённости воскресить великих людей любого времени и любой страны, чтобы они стали нам бесконечно близки и понятны, чтобы мы слышали дыхание Стендаля и иронический смех Гейне. Дело писателя — дать им настоящее бессмертие. С этой поры они начнут жить не только как творцы, но и как близкие друзья и помощники каждого из нас. Они начнут жить и обогащать нас. Тем и величественно наше время, что оно берёт из многовековой человеческой культуры всё самое ценное. Оно не хоронит эти ценности, сверкающие сквозь века, под пыльной пеленой забвения.

*Бесспорные и спорные мысли
1959*



*The Frenzied
Vincent*



Gauguin



Гоген

Ван Гог

*Isaak
Levitan*



Нико Пиросманашвили



Исаак Левитан



Орест Кипренский

Рисунки Т.В.Толстой:
Иллюстрации к изданию сборника К.Паустовского «Книга о художниках» («A Book About Artists») на английском языке (М.: Прогресс, 1978).
Из архива Музея-центра К.Г.Паустовского
(Фонд Е.И.Мишиной, г.Москва)

БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ ПАМЯТИ ХЕМИНГУЭЯ

Из далёкого американского городка Сан-Вэли пришла горестная весть: погиб Эрнест Хемингуэй. Он был не из тех людей, которые кончают свой век в постели. И тем не менее отказываешься верить в то, что торреро и боксёра, солдата и охотника и прежде всего великого писателя Хемингуэя нет больше в живых. Сколько раз телеграф приносил весть о его смерти; то терпел аварию самолёт, на котором он летел, то он исчезал в дремучих джунглях Африки. Но слухи о смерти неизменно опровергались. Мы уже начинали свыкаться с мыслью, что беспощадная смерть обходит его стороной. И вдруг такое...

Впрочем, есть люди, бессмертие которых начинается сразу же с момента их смерти. К их числу принадлежит Хемингуэй. Он был большим художником и большим человеком. Всё его творчество было борьбой, ибо у человека и писателя Хемингуэя было много врагов.

Быть может, самым злейшим его врагом была война. Он ненавидел её всей своей душой, всеми клеточками своего тела, в котором оставили след двадцать восемь осколков артиллерийских снарядов. Он ненавидел тех, кто сделал войну своим бизнесом. В предисловии к переизданию романа «Про-

щай, оружие!», написанном в 1948 году, Хемингуэй говорил, что войну затевают люди, наживающиеся на ней, и предлагал в первый же день войны расстрелять её зачинщиков по приговору народа.

Хемингуэй ненавидел фашизм. «Фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами, и писатель, примирившийся с фашизмом, обречён на бесплодие», — говорил Хемингуэй.

Он никогда не примирился с фашизмом. Он боролся с ним пером и штыком. Война против фашизма была единственным видом войны, который он признавал.

Хемингуэй ненавидел цивилизацию Жёлтого дьявола, ненавидел общество, охваченное безумной жадной «иметь». «Это была хорошая страна, но мы её сильно изгадили», — с болью в сердце говорил он о своей родине. Тяжело давалась ему эта суровая правда, но он не мог иначе.

Жизнь и творчество Хемингуэя нельзя изображать в качестве эвклидовой прямой. И у него были минуты слабости. И тем не менее он оставался непоколебимым, как матадор Маноло, как рыбак Сантьяго.

Перестало биться сердце Хемингуэя. Но то, чему он отдал всю свою жизнь, нельзя уничтожить. Вот почему писатель Хемингуэй будет жить вечно в нашей памяти, в книгах, которые он оставил людям.

Известия, 3.07, 1961¹

* * *

С ранней юности я люблю рассказ Киплинга под несколько странным и даже загадочным названием «Мы здесь!». В рассказе говорится о плавании рыболовной бригадины в водах Нью-Фанленда.

Называлась эта бригадина «Мы здесь!». И по этому её наименованию и назван рассказ Киплинга. В имени бригадины есть что-то и печальное и радостное.

«Мы здесь!» — значит, мы живы и ждём свидания с вами. «Мы здесь!» — значит, мы помним родных, друзей и всех людей нашей страны, помним в этих печальных пространствах туманного северного океана.

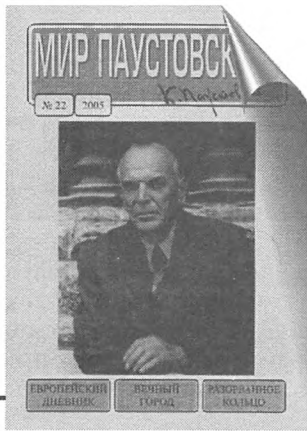
«Мы здесь!» — значит, мы вернёмся.

*Несколько слов о «Бригадине»
1966*



Фотография Эрнеста Хемингуэя на рабочем столе К.Г.Паустовского (г.Москва)

¹ В газете этот некролог появился без подписи, но редакции «МП» известно, что автор его — К.Паустовский.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Амброз БИРС

СЛУЧАЙ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ

1

На железнодорожном мосту, в северной части Алабамы, стоял человек и смотрел вниз, на быстрые воды в двадцати футах под ним. Руки у него были связаны за спиной. Шею стягивала верёвка. Один конец её был прикреплен к поперечной балке над его головой и свешивался до колен. Несколько досок, положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей — двух солдат федеральной армии под началом сержанта, который в мирное время скорее всего занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том же импровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме, при оружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьём «на караул», то есть держа ружьё вертикально, против левого плеча, в согнутой под прямым углом руке, — поза напряжённая, требующая не-

естественного выпрямления туловища. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило в обязанности часовых; они только преграждали доступ к настилу.

Позади одного из часовых никого не было видно; на сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открытая — пологий откос упирался в частокот из вертикально вколотых брёвен, с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло наведённой на мост медной пушки. По откосу, на полпути между мостом и укреплением, выстроились зрители — рота солдат-пехотинцев в положении «вольно»: приклады упирались в землю, стволы были слегка наклонены к правому плечу, руки скрещены над ложами. Справа от строя стоял лейтенант, сабля его была воткнута в землю,

МП: Среди многих характеристик, данных К. Паустовским в статье «О новелле» русским и зарубежным мастерам рассказа и новеллы, есть и такая:

«Особенно мне хотелось отметить Амброза Бирса, его новеллу «Случай на мосту через Совиный ручей». Это рассказ, это новелла. Это одно из блестящих и наиболее ярко выраженных явлений в литературе новелл. С таким блеском и с такой силой передано ощущение смерти в этой новелле, что других таких примеров в западной литературе я не встречал».

Думается, нашим читателям будут небезынтересны некоторые факты из биографии Бирса. Амброз Бирс — американский писатель, родился в 1842 году в маленькой деревушке штата Огайо, в семье обедневшего фермера.

Он был десятым ребёнком и очень рано начал работать, сменив со временем множество профессий. Но настоящим его жизненным университетом стала война. Гражданская война между Севером и Югом, на которой он провёл четыре года, сражаясь в рядах северян. Спустя много лет все ужасы войны, пережитые им, рядовым пехотного полка, отозвались в его рассказах...

После войны он сотрудничает в газетах и журналах, в 1872 году выходит первый сборник его рассказов «Самородки и пыль». Затем следуют другие сборники, в частности, сборник новелл «Возможно ли это?» (1893), «Словарь Сатаны» (1911) и даже собрание сочинений (1909–1912) в 12 томах тиражом в... 250 экземпляров. Но даже этот тираж не расходуется... Тогда Амброза Бирса мало кто знал. В 1913 году Бирс

уехал военным корреспондентом в Мексику и пропал. Смерть его окружена легендой, как и вся жизнь этого человека, старого вояки, ходившего по улицам Сан-Франциско с револьвером в кармане и палкой в руках...

Лучшее из созданного Бирсом уцелело. Хемингуэй, рекомендуя начинающему писателю, что читать, назвал и Амброза Бирса, этого самого яркого последователя Эдгара По. Бирс сумел развить жанр «страшного рассказа», его новеллы — это скрупулёзный анализ причин смерти человека, тайны, скрытой в нас.

Русский читатель познакомился с А. Бирсом в 20–30-х годах прошлого века. Рассказ, который публикуется на страницах «Мира Паустовского», взят из сборника «10 смертей Амброза Бирса» (Тверь, изд-во ОК КПСС, 1991).

руки сложены на эфесе. За исключением четверых людей на середине моста, никто не двигался. Рота была повернута фронтом к мосту, солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращённые лицом каждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшения моста.

Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчинённых, не делая никаких указаний. Смерть — высокая особа, и если она заранее оповещает о своём прибытии, её следует принимать с официальными изъявлениями почёта; это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военного этикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение.

Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид лет тридцать пять. Судя по платью — такое обычно носили плантаторы, — он был штатский. Черты лица правильные — прямой нос, энергичный рот, широкий лоб; чёрные волосы, зачёсанные за уши, падали на воротник хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и бороду клином, но щёки были выбриты; большие тёмно-серые глаза выражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлёй на шее. Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени не скупится на смертные приговоры для людей всякого рода, не исключая и джентльменов.

Закончив приготовления, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащил доску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут же встал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. В результате этих перемещений осуждённый и сержант очутились на концах доски, покрывавшей три перекладки моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти — но не совсем — доходил до четвертой. Раньше эта доска удерживалась в равновесии тяжестью капитана; теперь его место занял сержант. По сигналу капитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска — качнуться и осуждённый — повиснуть в пролёте между двумя перекладинами. Он оценил по достоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и не завязали глаз. Он взглянул на своё шаткое подножие, затем обратил взор на бурлящую речку, бешено несущуюся под его ногами. Он заметил пляшущее в воде бревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как медленно оно плыло! Какая ленивая река!

Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. До сих пор вода, тронутая золотом раннего солнца, туман, застилавший берега, ниже по течению — маленький форт, рота солдат, плывущее бревно — всё отвлекало его. А теперь он ощутил новую помеху. Какой-то звук, назойливый и непонятный, перебивал его мысли о близких — резкое, отчётливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне: в нём была та же звон-

кость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит; он одновременно казался бесконечно далёким и очень близким. Удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. Он ждал нового удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились всё мучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчётливость они приобретали. Они, словно ножом, резали ухо; он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов.

Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. «Высвободить бы только руки, — подумал он, — я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоко нырнуть, пули меня не достанут, я бы доплыл до берега, скрылся в лесу и пробрался домой. Мой дом, слава Богу, далеко от фронта; моя жена и дети пока ещё недосыгаемы для захватчиков».

Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились в сознании обречённого, точнее — молнией сверкнули в его мозгу, капитан сделал знак сержанту. Сержант отступил в сторону.

2

Пэйтон Факуэр, состоятельный плантатор из старинной и весьма почтенной алабамской семьи, рабовладелец и, подобно многим рабовладельцам, участник политической борьбы за отделение Южных штатов, был ярким приверженцем дела южан. По некоторым, не зависящим от него обстоятельствам, о которых здесь нет надобности говорить, ему не удалось вступить в ряды храброго войска, несчастливо сражавшегося и разгромленного под Коринфом, и он томился в бесславной праздности, стремясь приложить свои силы, мечтая об увлекательной жизни воина, ища случая отличиться. Он верил, что такой случай ему представится, как он представляется всем в военное время. А пока он делал, что мог. Не было услуги — пусть самой скромной, — которой он с готовностью не оказал бы делу Юга; не было такого рискованного предприятия, на которое он не пошёл бы, лишь бы против него не восставала совесть человека штатского, но воина в душе, чистосердечно и не слишком вдумчиво уверовавшего в неприкрыто гнусный принцип, что в делах любовных и военных дозволено всё.

Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у ворот своей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться. Миссис Факуэр с величайшей охотой отправилась в дом, чтобы собственноручно исполнить его просьбу. Как только она ушла, её муж подошёл к запылённому всаднику и стал жадно расспрашивать его о положении на фронте.

— Янки восстанавливают железные дороги, — сказал солдат, — и готовятся к новому наступле-

нию. Они продвинулись до Совиного ручья, починили мост и возвели укрепление на своём берегу. Повсюду расклеен приказ, что всякий штатский, замеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или составов, будет повешен без суда. Я сам читал приказ.

— А далеко до моста? — спросил Факуэр.

— Миль тридцать.

— А наш берег охраняется?

— Только сторожевой пост на линии, в полмили от реки, да часовой на мосту.

— А если бы какой-нибудь кандидат висельных наук, и притом штатский, проскользнул мимо сторожевого поста и справился бы с часовым, — с улыбкой сказал Факуэр, — что мог бы он сделать?

Солдат задумался.

— Я был там с месяц назад, — ответил он, — и помню, что во время зимнего разлива к деревянному устью моста прибило много плавника. Теперь брёвна высохли и вспыхнут, как пакля.

Тут вернулась миссис Факуэр и дала солдату напиться. Он учтиво поблагодарил её, поклонился хозяину и уехал. Час спустя, когда уже стемнело, он снова проехал мимо плантации в обратном направлении. Это был лазутчик федеральных войск.

3

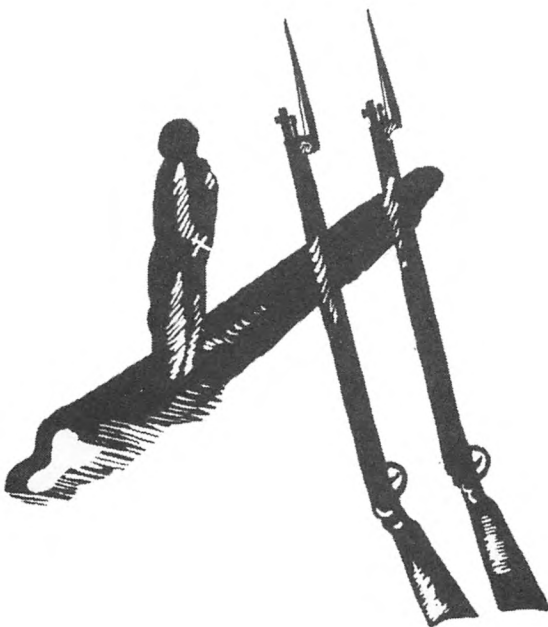
Падая в пролёт моста, Пэйтон Факуэр потерял сознание и был уже словно мёртвый. Очнулся он — через тысячелетие, казалось ему, — от острой боли в сдавленном горле, за которой последовало ощущение удушья. Мучительные, резкие боли словно отгалкивались от его шеи и расходились по всему телу. Они мчались по точно намеченным разветвлениям, пульсируя с непостижи-

мой частотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело до нестерпимого жара. До головы боль не доходила — голова гудела от сильного прилива крови. Мысль не участвовала в этих ощущениях. Сознательная часть его существа уже была уничтожена; он мог только чувствовать, а чувствовать было пыткой. Но он знал, что движется. Лишённый материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр свещающегося облака, он, словно гигантский маятник, качался по немыслимой дуге колебаний. И вдруг со страшной внезапностью замыкающий его свет с громким всплеском взлетел вверх; уши ему наполнил неистовый рёв, наступили холод и мрак. Мозг снова заработал; он понял, что верёвка оборвалась и что он упал в воду. Но он не захлебнулся; петля, стягивающая ему горло, не давала воде заливать лёгкие. Смерть через повешение на дне реки! Что может быть нелепее? Он открыл глаза в темноте и увидел над головой слабый свет, но как далеко, как недосыгаемо далеко! По-видимому, он всё ещё погружался, так как свет становился слабей и слабей, пока не осталось едва заметное мерцание. Затем свет опять стал больше и ярче, и он понял, что его выносит на поверхность, понял с сожалением, ибо теперь ему было хорошо. «Быть повешенным и утопленным, — подумал он, — это ещё куда ни шло; но я не хочу быть пристреленным. Нет, меня не пристрелят; это было бы несправедливо».

Он не делал сознательных усилий, но по острой боли в запястьях догадался, что пытается высвободить руки. Он стал внимательно следить за своими попытками, равнодушный к исходу борьбы, словно праздный зритель, следящий за работой фокусника. Какая изумительная ловкость! Какая великолепная сверхчеловеческая сила! Ах, просто замечательно! Bravo! Верёвка упала, руки его разъединились и всплыли, он смутно различал их в ширящемся свете. Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другая ухватилась за петлю на его шее. Они сорвали её, со злобой отшвырнули, она извивалась, как уж.

«Наденьте, наденьте опять!» Ему казалось, что он крикнул это своим рукам, ибо муки, последовавшие за ослаблением петли, превзошли всё испытанное им до сих пор. Шея невыносимо болела; голова горела, как в огне; сердце, до сих пор слабо бившееся, подскочило к самому горлу, стремясь вырваться наружу. Всё тело корчилось в мучительных конвульсиях. Но непокорные руки не слушались его приказа. Они били по воде сильными, короткими ударами сверху вниз, выталкивая его на поверхность. Он почувствовал, что голова его поднялась над водой; глаза ослепило солнце; грудная клетка судорожно расширилась — и в апогее боли его лёгкие наполнились воздухом, который он тут же с воплем исторгнул из себя.

Теперь он полностью владел своими чувствами. Они даже были необычайно обострены и



Рисунки художника Г.А.Даумана к книге Амброза Бирса «Избранное» (М.: Прогресс, 1982) на английском языке

восприимчивы. Страшное потрясение, перенесённое его организмом, так усилило и утончило их, что они отмечали то, что раньше было им недоступно. Он ощущал лицом набегающую рябь и по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нём, всё вплоть до насекомых в листве — цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионах травинок. Жужжание мошкеры, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышек стрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую вёслами, — всё это было внятной музыкой. Рыбёшка скользнула у самых его глаз, и он услышал шум рассекаемой ею воды.

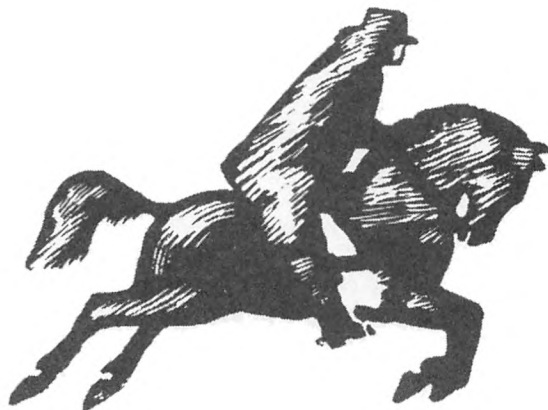
Он всплыл на поверхность спиной к мосту; в то же мгновение видимый мир стал медленно вращаться вокруг него, словно вокруг своей оси, и он увидел мост, укрепление на откосе, капитана, сержанта, обоих солдат — своих палачей. Силуэты их чётко выделялись на голубом небе. Они кричали и размахивали руками, указывая на него; капитан выхватил пистолет, но не стрелял; у остальных не было в руках оружия. Их огромные жестикулирующие фигуры были нелепы и страшны.

Вдруг он услышал громкий звук выстрела, и что-то с силой ударило по воде в нескольких дюймах от его головы, обдав ему лицо брызгами. Опять раздался выстрел, и он увидел одного из часовых, — ружьё было вскинуто, над дулом поднимался сизый дымок. Человек в воде увидел глаз человека на мосту, смотревший на него сквозь щель прицельной рамки. Он отметил серый цвет этого глаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими и что будто бы все знаменитые стрелки сероглазы. Однако этот сероглазый стрелок промахнулся.

Встречное течение подхватило Факуэра и снова повернуло его лицом к лесистому берегу. Позади него раздался отчётливый и звонкий голос, и звук этого голоса, однотонный и певучий, донёлся по воде так внятно, что прорвал и заглушил все остальные звуки, даже журчание воды в его ушах. Факуэр, хоть и не был военным, достаточно часто посещал военные лагеря, чтобы понять грозный смысл этого нарочито мерного, протяжного напева; командир роты, выстроенной на берегу, вмешался в ход событий. Как холодно и неумолимо, с какой уверенной невозмутимой модуляцией, рассчитанной на то, чтобы внушить спокойствие солдатам, с какой обдуманной раздельностью прозвучали жёсткие слова:

— Рота, смирно!.. Ружья к плечу!.. Готовсь... Цельсья... Пли!

Факуэр нырнул — нырнул как можно глубже. Вода взревела в его ушах, словно то был Ниагарский водопад, но он всё же услышал приглушённый гром залпа и, снова всплывая на поверхность, увидел блестящие кусочки металла, странно сплю-



щенные, которые, покачиваясь, медленно опускались на дно. Некоторые из них коснулись его лица и рук, затем отделились, продолжая опускаться. Один кусочек застрял между воротником и шейей; стало горячо, и Факуэр его вытащил.

Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, он понял, что пробыл под водой долго; его довольно далеко отнесло течением — прочь от опасности. Солдаты кончали перезаряжать ружья; стальные шомполы, выдернутые из стволов, все сразу блеснули на солнце, повернулись в воздухе и стали обратно в свои гнёзда. Тем временем оба часовых снова выстрелили по собственному почину — и безуспешно.

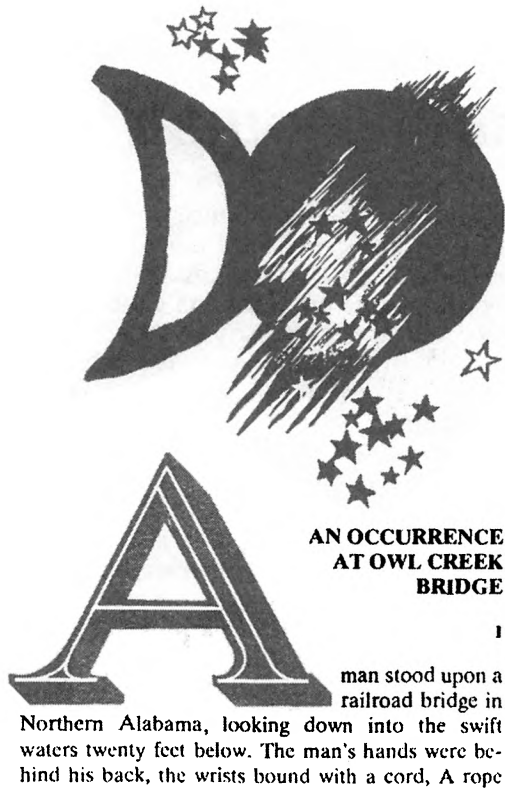
Беглец видел всё это, оглядываясь через плечо; теперь он уверенно плыл по течению. Мозг его работал с такой же энергией, как его руки и ноги; мысль приобрела быстроту молнии.

«Лейтенант, — рассуждал он, — допустил ошибку, потому что действовал по шаблону; больше он этого не сделает. Увернуться от залпа так же легко, как от одной пули. Он, должно быть, уже командовал стрелять вразброд. Плохо дело, от всех не спасёшься».

Но вот в двух ярдах от него — чудовищный всплеск и тотчас же громкий стремительный гул, который, постепенно слабея, казалось, возвращался по воздуху к форту и наконец завершился оглушительным взрывом, всколыхнувшим реку до самых глубин! Поднялась водяная стена, накренилась над ним, обрушилась на него, ослепила, задушила. В игру вступила пушка. Пока он отряхивался, высвобождаясь из вихря вспененной воды, он услышал над головой жужжание отклонившегося ядра, и через мгновение из лесу донёлся треск ломающихся ветвей.

«Больше они этого не сделают, — думал Факуэр, — теперь они пустят в ход картечь. Нужно следить за пушкой; меня предостережёт дым — звук ведь запаздывает; он отстаёт от выстрела. А пушка хорошая!»

Вдруг он почувствовал, что его закружило, что он вертится волчком. Вода, оба берега, лес, оставшийся далеко позади мост, укрепление и рота



солдат — всё перемешалось и расплылось. Предметы заявляли о себе только своим цветом. Бешеное вращение горизонтальных цветных полос — вот всё, что он видел. Он попал в водоворот, и его крутило и несло к берегу с такой быстротой, что он испытывал головокружение и тошноту. Через несколько секунд его выбросило на песок левого — южного — берега, за небольшим выступом, скрывшим его от врагов. Внезапно прерванное движение, ссадина на руке, пораненной о камень, привели его в чувство, и он заплакал от радости. Он зарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал его на себя и вслух благословлял его. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, изумруды: они походили на всё, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями, он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственный розоватый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение золотой арфы. Он не испытывал желания продолжать свой побег, он охотно остался бы в этом волшебном уголке, пока его не настигнут.

Свист и треск картечи в ветвях высоко над головой нарушили его грёзы. Канонир, обозлившись, наугад послал ему прощальный привет. Он вскочил на ноги, бегом взбежал по отлогому берегу и укрылся в лесу.

Весь день он шёл, держа направление по солнцу. Лес казался бесконечным; нигде не видно было ни прогалины, ни хотя бы охотничьей тропы. Он и не знал, что живёт в такой глуши. В этом открытии было что-то жуткое.

К вечеру он обессилел от усталости и голода. Но мысль о жене и детях гнала его вперёд. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведёт его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли её, не видно было и строений. Ни намёка на человеческое жильё, даже ни разу не залаяла собака. Чёрные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расщелины в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звёзды — они соединялись в странные созвездия и показались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых — раз, второй и снова — он ясно расслышал шёпот на незнакомом языке.

Шея сильно болела, и, дотронувшись до неё, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней чёрный круг — след верёвки. Глаза были выпучены, он уже не мог закрыть их. Язык распух от жажды: чтобы унять в нём жар, он высунул его на холодный воздух. Какой мягкой травой заросла эта неезженная дорога! Он уже не чувствовал её под ногами!

Очевидно, несмотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем другая картина, — может быть, он просто очнулся от бреда. Он стоит у ворот своего дома. Всё осталось как было, когда он покинул его, и всё радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шёл всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье; его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья, — вся изящество и благородство. Как она прекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать её к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею; ослепительно-белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него — затем мрак и безмолвие!

Пэйтон Факуэр был мёртв; тело его, с переломанной шеей, мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей.

*Перевод с английского
Раисы ОРЛОВОЙ*

Филипп БЕРМАН
(США)

КОСЫНКА В БЕЛЫЙ ГОРОШЕК

Так всегда бывает в этих местах, да и не только в этих, до поры сухо, а потом заладят дожди, захлестнут всё, а дел ещё непочатый край. И так по неделе частят, с утра, с небольшими дневными или вечерними перерывами, под сплюснутым небом. И вроде бы не сильный, а мелкий и хворый дождь. Расползутся дороги, станут мылкими. И машины крутит из стороны в сторону, и те зря бензин жгут. И тогда вернее транспорта, чем лошадь, нет.

Теперь Антонов пожалел, что свернул на эту развилку, потому что геодезиста он так и не нашёл, хотя проехал уже много, а теперь и вовсе не знал, куда сворачивать.

Лысый плёлся понуро, копыта его часто разезжались, он припадал, но быстро восстанавливал своё первоначальное положение, как человек, поскользнувшийся на льду. Однако телега выскивала свою колею сама и тем облегчала Лысому путь.

Антонов сидел на мокром сене. Ехать ему было далеко, и, собираясь, он положил побольше сена. От долгой и валкой дороги он устал и потому иногда ложился в телегу, уставившись в мхурое, будто заспанное небо. Дорогу ему никто не указывал, дали лошадь, да он и сам думал, что найдёт, потому что степь не лес, и в степи он бывал. Он вспомнил всю свою дорогу, по которой с утра тянулся, и подумал, что обратно возвращаться уж резона нет, а дорога должна была всё-таки привести к какому-нибудь жилью, потому что обратно, в этой одинаковой кругом степи, можно опять поехать не туда.

Дорога действительно привела его в деревеньку из нескольких дворов, расположенных, однако, далеко друг от друга, а возможно, это был только отшиб даже большой деревни, скрытой отсюда сопками.

Он въехал в первый же ближний шаткий двор, стал там и пошёл к чёрному от воды, старому срубу. Сперва попал в небольшие сени, а потом толкнул дверь и оказался в основной, наверное, и единственной комнате, где было темно.

— Можно? — спросил Антонов, шагнув уже за порог и ожидая.

— Ктой-то, незваный? — отозвался резкий женский голос из-за ситцевой, от пола на всю комнату, занавески. Антонов оглядел комнату, дощатый пол с щелями в палец, прямо перед ним открытую без дверцы печь, которая едва топилась и давала небольшой жар и свет. Справа под низким и не-

широким окном, вдоль стены, стояла длинная лавка. Из-за занавески вышла женщина, босая, застёгивая юбку. Сверху на ней была белая и чистая из грубого полотна рубашка под самое горло, не остающая ничего открытым.

— Чего глаза пямишь, — сказала она Антонову, прикрыв грудь ладонью, — дверь затворите, небось, холод.

Антонов неловко прикрыл дверь и теперь стоял, ожидая, что она скажет. Она скрылась за занавеской, чтобы прибрать волосы и набросить платок на плечи, и вскоре вышла опять.

— Идите к лавке, чего пнём стоять-то, — сказала она.

Антонов прошёл к лавке, стараясь меньше слезить, сел и положил руки на колени. Он подумал, что, может, у неё нет мужика, и ночевать у неё будет неловко, и потом начнут говорить, что привела к себе заезжего командировочного.

— Чего надо-то, чего мне с вами делать-то? — спросила она, осматривая Антонова.

— Геодезист мне нужен, — сказал Антонов, — дома надо ставить. Сейчас не успеем, зимой поздно будет.

— До Степаныча далеко будет, — сказала она, — куда ж теперь-то до него. С утра надо.

— С утра и еду, — ответил Антонов.

Он посмотрел в окно, снял свой намокший брезентовый плащ и, не найдя на стене гвоздя, положил в угол.

— Как звать вас? — спросил Антонов.

— Настей звать, — ответила она. — А зачем вам?

Он не знал, что сказать, они помолчали немного, и, решившись, Антонов сказал:

— Переночевать мне надо, Настя, вот что.

Она встала, прошла босиком до печки, вынула из духовки неостывшую ещё и неочищенную картошку и дала Антонову.

МП: Филипп Берман — писатель-эмигрант третьей волны. Он был изгнан из СССР в 1981 году за то, что готовил к печати не разрешённый властями сборник московских писателей «Каталог».

К сожалению, наш читатель не знаком ни с романом Бермана «Регистратор», ни с его рассказами. А между тем, критик Пётр Межирицкий так оценивает прозу этого русскоязычного писателя:

«Проза Ф. Бермана умна и философична. Но прежде всего она сти-

хийна. Она не выстроена, не взвешена, она излита, как изливается лава из жерла...»

Проза Ф. Бермана — жёсткая мужская проза. Справедливо не доверяя современному рассеянному читателю, Ф. Берман не гнушается повторов, и ему удаётся, преодолевая утомлённость перегруженного информацией современника, вколлотить в него, словно гвозди, ключевые понятия и образы, и поверьте, проникнув под кожу, они уж остаются там навсегда, ужасая больше, чем даже впечатления собственной жизни...»

— Нельзя мне. Двое у меня детишек от разных мужиков за занавеской. А своего нету.

Антонов посмотрел и вспомнил, как она прикрыла ладонью грудь, и подумал, что было ей не больше двадцати шести.

Он разломал картошку и, очищая шкурки, раскладывал их на лавке, чтобы потом класть на них чистую. Потом достал из полевой своей сумки, от Парамоныча, выданный им же спирт для геодезиста и чёрную буханку хлеба, купленную в Харлове. Антонов решил, что стоит уж сегодня выпить, раз уж неизвестно, где будет ночевать сегодня и будет ли вообще, хоть и был спирт для геодезиста.

— Что ж я соли-то не подала? — сказала Настя.

Она быстро встала, ушла за занавеску и принесла оттуда банку соли.

— Давайте выпьем, Настя, — сказал Антонов. — Только стаканы нужны, а потом я пойду.

Она принесла стаканы. Он налил по полстакана ей и себе, и они выпили. Она сидела тоже на скамье, между ними была чистая картошка на разложенной им шелухе, и банка соли, и начатая неполная бутылка спирта, и два стакана.

Антонов разломал хлеб. Подал половину Насте, густо посыпав солью.

Они съели по куску хлеба с солью и по картошке. Картошка была даже тёплая.

Лампа стояла на подоконнике, и им было светло.

— И лук есть? — спросил Антонов.

— Есть, — обрадованно сказала Настя. Она достала лук, очистила и теперь сама, макнув целую головку в соль, подала Антонову.

— Люблю смотреть, как мужик ест, — засмеялась она.

Она и сама взяла луку, и теперь они оба ели картошку и хрустели луком с солью и чёрным хлебом.

После спирта Антонову стало тепло, и он подумал, после того как Настя засмеялась, что хорошо бы остаться здесь и никуда не ходить.

И Насте тоже стало тепло, она радовалась, что может посидеть тихо, поесть картошки и выпить с мужиком. Вся её дневная маета исчезла сейчас, и она подумала, что хоть и нескладная её жизнь, но бывают и у неё хорошие дни.

Антонов налил ещё, и они выпили снова.

— Хорошо пошла, — сказал Антонов.

— И у меня тоже, — ответила Настя, и они оба рассмеялись.

Они съели ещё картошки и луку, и теперь они ели только отломанные от хлеба запечённые корки, а мякоть оставляли, потому что голод уже притаили.

— А как вас звать-то? — спросила Настя, теперь уже не смущаясь этого незванного мужика.

— Антонов, — сказал он, привыкнув к фамилии своей в институте.

— Значит, Антоша, — сказала Настя.

— Можно и так, — сказал Антонов, улыбаясь.

Кто-то из ребят задвигался за занавеской, и Настя встала посмотреть. Потом она вернулась. Они доели картошку, теперь уже без лука и хлеба, просто с солью. Потом они посидели ещё.

Антонов молчал и не знал, что сказать. Он подумал, что, может быть, это и есть счастье.

Лампа на окне погасла. Антонов вздрогнул.

— Кончился керосин, — сказала Настя тихо, — иди за ним далеко, аж за сопку.

Антонов ничего не ответил. В комнате было уже совсем темно.

Между ними, на лавке, стояла банка соли, лежали расстеленная по лавке шелуха и плохопропечённый мягкий хлеб.

Он отломал кусок этого хлеба.

— Пойдёмте, — сказала Настя.

— Я останусь здесь, — сказал Антонов. — Я никуда уже не пойду.

Настя встала и принесла ему его брезент из угла, и он начал медленно натягивать его.

Она вышла поглядеть на улицу.

Она открыла дверь, и её обдало дождевым шумом. Теперь лил серьёзный настоящий дождь надолго. Она глянула в темноту и ничего не увидела, ни двора ни кола, даже своего валкового забора.

И ей стало горько оттого, что нигде не было света, что гостил у неё чужой незванный мужчина, что Антонову надо уходить и что ей теперь уже придётся оставить его у себя. Она прислонилась к косяку и тихо заплакала. Но ничего не было слышно, потому что лил серьёзный настоящий дождь надолго. Потом она вытерла глаза и вошла в дом.

Пока она так стояла, будто вся жизнь её уже прошла и закончилась, Антонов уже оделся и ждал её, чтобы проститься. Он уже не думал о погоде, о домах и о том, где ему придётся спать.

— Раздевайтесь, Антоша, — сказала Настя. — Положу спать у себя.

Он снова начал раздеваться и побросал всё в угол. Она подметала там, где готовила ему постель.

— Вы не беспокойтесь, сумею, мягко будет, — сказала Настя, постилая на пол цветастое, из разных кусков, ватное одеяло.

Она забыла про свою горечь, когда распахнула в дождь дверь, про свои горькие бабьи слёзы и про нелёгкую свою жизнь. И ей снова стало хорошо, будто они сидели с Антоновым на лавке, ели вместе хлеб и говорили.

— Только бы с полу не дуло, всёж-ки холод, — сказала она.

Потом она принесла подушку, взбила её и сама легла испробовать.

Она примостилась и так и эдак, перевернулась с боку на бок, а потом легла на спину.

— Хорошо будет, — сказала она довольная и встала.

— Спасибо, — глухо сказал Антонов. Он снял с правой ноги ботинок и, когда она поворачивалась, смотрел на неё. Он подумал, что вид у него, наверное, несурзанный, в военных отцовских ботинках, в распушенной поперх гимнастёрке.

Настя ушла за занавеску, и Антонов услышал, как заскрипели под ней доски, когда она укладывалась.

Потом он слышал, как она встала, хлопнула дверьми в сенях и долго не возвращалась. Когда она

вошла, он оглянулся к ней. Она стояла в мокрой телогрейке и платке.

— Что ж вы лошадь-то забыли, Антоша, — рассмеялась она, — а сами-то улеглись, ботинки сняли. Сразу видно, что городской.

— Вы меня простите, Настя, про лошадь я забыл.

Ночью Настя не спала, она думала об Антонове, о том, что плохо всё-таки постелила, как бы не дуло. Она вспомнила, что ей было хорошо с ним, когда они сидели и ели картошку с солью и луком и чёрный хлеб. И она забыла, что на улице лил настоящий дождь надолго, и что скажут завтра соседи, и про двух детишек от разных мужиков, которые спали теперь в ряд, вместе с нею, на досках.

Антонов тоже не спал ночью, ворочался с боку на бок и думал о Насте, о том, что до холодов надо поставить домá, что его ожидают в заготпункте и что зря он, наверное, сбился на эту развилку и попал в Настин дом и теперь мается. Потом он услышал, что она встала босая. Она вышла из-за занавески в рубашке и быстро пошла к тому месту, где он лежал на полу.

— Дай хотя бы полежу возле тебя, возле мужика-то, — сказала она виновато и, присев, быстро юркнула к нему, укрываясь его брезентом и прижимаясь к нему вся. Антонову сделалось жарко, и, обнимая её, он подумал, что вместе с ними, здесь же, были её дети, в одной с ними комнате, и что живёт она на отшибе, может, даже большой деревни.

— А мужика, ой как хочется, — быстро говорила она, целуя его лицо и глаза, — и все мужики по деревне по своим бабам. А кто был, так кто в городе пропал, другой в армии остался. И такого бы мужика, как ты, Антонушка.

Антонов был на Алтае полгода. В посёлке стояли выложенные из бутового камня склады, ожидая, когда пойдёт зерно. Камень-то били где-то у Колыванского хребта, на границе с Монголией.

Кроме складов ничего не было. Сам он жил в землянке, обитой сосновой доской.

Сначала он варил в котлах асфальт, делали у складов тока под зерно. Потом пошло зерно.

Когда машины буксовали, они сбрасывали его под колёса.

Были только грунтовые дороги.

Ночью небо было чёрным, без просветов с боков, но без туманов и облаков, чистое, с большими яркими звёздами.

От них только и шёл ночной свет. И от этого виделась чернота неба.

Дождевой шум вдруг разом стих. Так бывает в этих местах. Можно ехать часами по мылкой дороге, машину будет вести из стороны в сторону, дождь падает плотной завесой, промокнешь до костей, наберёшь на сапоги пуд глины и надорвёшь мотор, и вдруг, будто чудо, будто Бог тебя услышал, на две половины разделится дорога, прочертится как ниткой на две половины, и там, где ты был, там тебя уже нет; и машина рванёт по сухому на все свои сто двадцать лошадей, пойдёт сухая без дождей дорога,

а потом, глядишь, через сто метров, уже жарко палит солнце.

Когда дождевой шум стих разом, Антонову вдруг пришла шальная мысль. Он вспомнил долгую и валкую дорогу, как он подъезжал к её дому, горы горячего после просушки зерна, асфальт, который он варил в котлах ноль семьдесят пять куба.

— А самолёт ты видела? — неожиданно спросил Антонов.

— Откуда ж мне было видать-то его, — сказала она шёпотом, сбивая дыхание своё и снова обцеловывая Антонова. — Ни самолёта, ни мужика близко нету. А так-то они летают, иногда пролетит какой. Протрачусь только. Да куда я от ребятишек, с ними-то я на всю жизнь. Да и зачем мне самолёт-то, Антонушка? Разве что с тобой куда улететь, милый.

Потом она сказала Антонову: если бы однажды было синее небо.

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишнёвую.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришёл, это было бы её счастье.

Остался бы, милый, сказала Настя утром, сладко мне с тобой.

Антонов ничего не сказал, только крепче обнял её.

Тогда Настя ему сказала: я же воду из-под тебя пить буду, Антонушка. И дома всё выскребу. И печку побелю. Я ж не злая и на работу скорая. От жизни это всё.

Вот такая у неё была жизнь, а сейчас станет другая.

— Учиться мне надо, Настенька, — сказал Антонов.

— Сколько же учиться? — спросила Настя тихо.

— Три года, — сказал Антонов.

— Как в армии, — вздохнула Настя, — долго.

— Долго, — сказал Антонов.

Утром Настя собирала его в дорогу, как своего мужа.

Пока он спал, она постирала всю его одежду. Развела огонь в дворовой печке и раскалила чугунный утюг. Потом просушила под утюгом всю его одежду: гимнастёрку, военные штаны и рубашку.

Антонов смотрел на неё, как она принесла чистые его брюки и гимнастёрку. Глаза её и лицо просветлели после ночи. Он вспомнил её дрожащее тело, и ему стало горько.

— Приедешь в город если, — сказал Антонов, — заходи.

На клочке бумаги он написал ей адрес общежития.

Настя вышла вслед ему, но не пошла дальше сеней.

Антонов сел в телегу и, не оглядываясь, дёрнул Лысого.

Настя не смотрела ему вслед. Она закрыла глаза, чтобы всё, что было у них, увидеть снова и оставить в своём сердце навсегда.

Когда она открыла глаза, Антонов был уже далеко, дорога изогнулась крюком на подходе к сопкам, и Лысый шёл будто теперь к ней, выискивая

колею колёсами, и лицо Антонова будто бы было тоже обращено к ней, и он тоже шёл к ней, и он что-то говорил ей, близко, в самые губы.

Она же говорила ему: если бы однажды было синее небо.

Людмила АГЕЕВА
(Германия)

МЫ ЖИЛИ В САМАРКАНДЕ

Никогда с тех пор я не была в том городе, в том золотом, жарком городе, грязном и пыльном, в том чистом и горестном городе моего детства. И никогда уже не буду.

Но порой я так ясно вижу наш двор, наш неряшливый дом, нашу комнату с жалким уютом, крошащиеся, разваливающиеся ступеньки нашего крыльца, на котором стоял Игорь.

— А я уже живу на свете девять лет, — с грустью сказал он.

— А я живу на свете сто лет, — радостно закричала я и подпрыгнула на месте.

Тоскливое презрение появилось на лице мальчика.

— Как же ты можешь жить на свете сто лет, когда тебе всего шесть? Ты шесть лет всего и живёшь.

Это была невероятная новость — я была уверена, что существую вечно.

Я застыла в онемении посреди пыльного самаркандского двора, под пронзительно синим, не имевшим облаков самаркандским небом.

Я оглядела этот нищий самаркандский двор, неказистые домики, набитые эвакуированными, я увидела мою бабушку, прислонившуюся к тёплой глиняной стене, маму, стоящую перед ней, — они о чём-то разговаривали.

Начало моей жизни терялось во мгле, и потому, казалось, она была всегда.

И никогда она не была более вечной, чем в то время, когда могла кончиться, будто и не начиналась, от совершенного пустяка. Например, на пирсе карантинного Баку, где холера доедала истощённых ленинградцев. Или от дифтерита в огромной дифтеритной палате, где каждую ночь кто-нибудь умирал. Рядом со мной долго умирал узбекский мальчик, из тоненькой шейки его торчала металлическая трубка, в которой булькала и хрипела его кончающаяся жизнь.

Я лежала на спине, повернув голову в его сторону, в сердце моём был тёмный страх.

Или от укуса бешеной собаки в день моего четырехлетия. Одета в прекрасное голубое платье из парашютного шёлка, я сидела в тот день на низеньком заборе, отделявшем наш двор от собачьего питомника Медицинс-

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишнёвую.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришёл, это было бы её счастье.

кого института, когда вылетело на меня безумное животное и, застыв на мгновение в диком оскале, крепко вцепилось в мою четырёхлетнюю ногу. На следующий день, кстати, голубое платье мне надеть не разрешили. Оказывается, следующий день, к моему удивлению, уже не был днём моего рождения. Так мне дали понять, что всё проходит.

Но почему же так быстро?

Особенно то, что радует нас и составляет наше счастье?

Этого я не знаю и сейчас.

Да мало ли от чего можно было перестать жить в то время, даже если не вспомнить про блокаду, бомбёжки и голод в Ленинграде.

И вот хрупкая, но неистребимая жизнь моя продолжалась, как продолжились и другие везучие жизни, часто кошунственно прошедшие мимо многих смертей, редкая из которых была особо замечена в то время. Может быть, поэтому меня поразили чьи-то мирные похороны в Самарканде.

Была у меня коробка для сокровищ.

Там лежали цветные бусины, шарики от никелированной кровати, стекло для наблюдения затмений Солнца, сломанная брошка, золотое медное кольцо, маленький фарфоровый носорог с отбитыми ногами, а также блестящая серебряная ложечка.

Однажды после долгих выпрашиваний мне разрешили взять серебряную ложечку в детский сад, и с напутственными словами бабушки — всё равно потеряешь — я понесла своё сокровище в кармане, придерживая карман ладонью. А во время кормления песком страшного, облитого марганцовкой зайца ложечка просто провалилась в песок. Только что она была здесь, но вот блеснула скользкой рыбкой между пальцев, канула в песок — и нет её нигде.

Отчаянье моё было безмерно. До вечера я просидела в этой огромной песочнице, безнадежно разрывая и просеивая серый песок, и лицо моё, мокрое от слёз и труда, было всё в этом колючем и душном песке, как в панировочных сухарях.

МП: Людмила Агеева родилась на Васильевском острове в Ленинграде (С.-Петербурге). Окончила физический факультет университета. Участвовала в Международном конкурсе на

лучший женский рассказ, по итогам которого была издана книга «Чего хочет женщина...» (М, «Линор»; «Амрита», 1993).

В настоящее время живёт в Мюнхене.

Когда же совсем наступил вечер, я была взята за руку и выведена за ворота на тёплую и пыльную улицу старого города, где, тихо постанывая, осталась стоять, упрямо упёршись лбом в нагретую жарой стену.

И вдруг в конце этой улицы послышалась фантастическая горькая музыка, в закатном свете засияли золотые трубы, и тёмная река торжественного плача пронесла мимо меня красивый коричневый гроб.

Я побежала вдоль этой реки, зачарованная сиянием и музыкой труб, уханьем барабана, воплями плакальщиц и жуткой загадкой смерти, так рано начинающей терзать живые души.

На моё залитое слезами лицо глянули, перешёптываясь, какие-то худые женщины в чёрных платках. Ко мне протянулись руки, обняли и повели, глядя по голове, потом подняли над толпой, и я снова увидела покачивающийся впереди гроб.

— Подумать только, такая крошка... всё понимает...

Людские сердца потряслись выразительностью и глубиной детского страдания.

На расспросы, жалко ли бедного дедушку, я отвечала длинным стоном, закидывала голову и опять вдохновенно заливалась слезами.

Словно кристалл плача в насыщенном, но слегка уставшем уже слёзном растворе, блуждала я среди толпы, вызывая на своём пути новые приступы шумной скорби.

Карманы мои быстро наполнялись конфетами, печеньем, блестящими узбекскими лепёшками, грецкими орехами, урюком.

Поразительно, сколько еды несли с собой люди, провожающие в последний путь неизвестного мне старого человека, чья смерть была так непонятно выделена, так мирно и вызывающе отмечена длинной дорогой через весь город на кладбище, сверкающим оркестром, траурными одеждами, моим плачем, памятью и улыбкой через многие годы.

Домой я вернулась, когда было уже совсем темно, и ничего не могла объяснить перепуганной бабушке, непрерывно повторявшей надо мною одну и ту же загадочную фразу:

— Не доводи меня до белого колена.

Кстати, эта странная фраза ещё долго была мне совершенно непонятна и вызывала лишь смутное представление о сильном побелении колена, появляющемся у взрослых в минуты крайнего раздражения.

— Я, между прочим, помню, когда война началась, а ты этого помнить не можешь, — сказал Игорь.

— Могу, почему это не могу, — закривляясь я, перескакивая с ноги на ногу.

Этого он уже не выдержал и пошёл от меня прочь, нарочно пыля босыми ногами.

Я догнала его, забежала вперёд и протянула слегка уже облизанный кусок хлеба с вареньем, который давно держала в отставленной руке, как держат узбеки пиалу с чаем.

— Хочешь, кусни.

Он скривил губы, пожал плечами, хотел отказаться, но я уже разломила кусок и протянула ему, не без некоторого усилия, большую часть.

Отказаться от еды в то время, тем более от хлеба, можно было только обладая сверхъестественным упрямством, как, например, моя мама, вернувшая своему верному поклоннику Валерьяну Брониславовичу незабвенную буханку белого хлеба, которую принес-то он именно мне; или в тяжком бреде во время болезни — несъеденного в скарлатину печенья мне было жаль всю последующую жизнь.

— Только мне поменьше, — сказал Игорь, уставившись на свои пыльные ноги, — тебе поправляться надо.

Я, по-видимому, только что вышла из очередной больницы.

Вообще количество и разнообразие моих болезней было столь чудовищно, что вызывало не жалость, а, напротив, даже некоторое почтение.

Никто из соседей и их детей не избежал бабушкиного рассказа о том, как мне удалось заболеть самой странной корью, невиданной в Самарканде со времён Авиценны. А история о моём необыкновенном дифтерите превращалась в небольшой спектакль, лично для меня, правда, несколько однообразный. Бабушка по очереди изображала различных медицинских знаменитостей, тоскливо гундосивших надо мной что-то о «крупозном воспалении лёгких», когда же рассказ доходил, наконец, до старичка-профессора «из местных», она вскакивала, на несколько метров отбегала от зрителей, вскидывала свои худые руки, показывая, какая была у профессора папаха и какой завиток каракуля на воротнике, и как одной рукой профессор схватился за узенькую бородку, а другую выбросил вот так — вперёд и вверх, и с порога, не раздеваясь, закричал:

— Дифтерит! Она уже хрипит у вас! Далее шла сцена скандального выдворения бабушки из той самой дифтеритной палаты, из которой она ушла лишь через месяц вместе со мной, выхаживая весь этот месяц не только меня, но и всех этих тощих хрипящих детей.

Ничто не могло устроить мою бабушку, если мне нужна была её помощь, даже суровая карантинная охрана в Баку, сквозь которую она непостижимым образом проникала в город и обратно, принося молоко, хлеб и лекарства. Если бы она могла сохранить мне отца, она ушла бы вместо него в ополчение.

Мой отец тогда ещё не был «пропавшим без вести», просто от него давно уже не приходили письма, и сердце моей молчаливой мамы разрывалось от тревоги и надежд.

Самой большой надеждой остался так и не встреченный ею высокий военный человек, который пришёл к нам ранним утром, когда она ещё не вернулась с дежурства, а бабушка уже ушла за хлебом.

На загорелом лице этого человека были белые морщины и добрая улыбка.

Он присел передо мной, привлёк меня к себе, с интересом заглянул мне в глаза и вдруг протянул коробку цветных карандашей. Откуда он знал про карандаши? Я захохоталась, взяла его шершавую руку:

— Хотите, я вам покажу свои рисунки?

И кажется, в этот момент он поцеловал меня, и я очень близко увидела его глаза, полные слёз.

Отчего были эти слёзы?

Тень горького предчувствия легла мне на сердце.

Он так и не дождался взрослых и, грустный, ушёл, оставив на столе сахар, несколько банок тушёнки, шоколад, галеты и что-то ещё такое же необыкновенное.

От меня он принял в подарок только один рисунок, на котором дом, дерево и девочка ростом с дом стояли в ряд под бледно-жёлтым солнцем в густой синей траве, и девочка была похожа на песочные часы.

Давным-давно уже кончилась война, с которой не вернулся мой отец, давно умерла моя мужественная бабушка, давно идёт моя взрослая жизнь, но иногда я ещё стою там, посреди нищего и пыльного самаркандского двора.

Денис ГУЦКО

ТИНТО РЕТТО

Всего их было триста два: по фасаду, внутри по всем потолкам. На перилах крыльца красовались четверо — правда, с обколотыми до основания крыльями. Особнячок был облеплен амурами, как брошенный бутерброд мухами. В народе, к слову сказать, он и назывался Домом амуров.

Но нет, ничего такого... Конечно, дебютировал дом как гнёздышко Парамоновской содержанки Лидии Леру, но сразу вслед за тем (ещё и паркет не во всех комнатах натёрли) стал штабом 24-го Летучего Красноармейского полка, потом конторой Рыбхоза. «Молодой Республике — свежую рыбу!» Долго пробыл дурдомом. А когда построили новый многоэтажный психдиспансер на северной окраине, Дом амуров ни с того ни с сего превратился в художественную студию. (Обучение детей рисованию гипсовых яиц и кубов, лепке лошадок, а во втором этаже — несколько мастерских местных художников.)

Теперь всё ушло: сложноногие мольберты, сквозной запах олифы, сами художники, задумчивые и небритые, их прекрасно образованные жёны и пре-

В руке у меня кусок хлеба с вареньем. Мы уже не голодаем и ждём конца войны. Передо мной девятилетний мальчик, рука его взметнулась в поучающем жесте, и весь он застыл в моей памяти, как в детской игре «замри».

Я слышу восторженный визг моих друзей, строящих плотину через наш мутный арык, и прерывистое стрекотанье швейной машинки из окон апы-молочницы, плач младенца, перебранку женщин, лай собак.

Справа от меня за глиняным дувалом стоит такая же глиняная, непонятного мне назначения, башня, а за ней растёт дряхлое морщинистое туговое дерево, а ещё дальше, среди песка и колючек лежат ржавые рельсы старой железной дороги.

Скоро я побегу туда, простившись со своим умным девятилетним другом, чтобы побыть там одной и потренироваться на ржавом рельсе в столь необходимом мне чувстве равновесия.

А пока я всё ещё стою в пыли под солнцем, посреди шумного самаркандского двора, посреди моего бедного детства, не подозревая ещё, что расстанусь в этот момент со своим жизнерадостным бессмертием.

красно сложенные натурщицы — а Картина осталась. Чумазые потолочные купидоны плятятся сверху. Искрятся пыльные утренние лучи. В нарезанных рамой окнах тлеют куски заката. Она же не ведаёт ни перемен, ни тлена. Всё те же суматоха и столпотворение битвы. Архангел Михаил против Сатаны: «наши» ломают, гад извивается... Копия, конечно.

Имела она странную славу. Служители кисти носились с этой легендой, как дворовая детвора со своими страшилками. Якобы, если надолго остаться возле Картины *один на один* — они всегда так произносили, с большой буквы, — начинается чертовщина... то ли «туда» засасывает, то ли наоборот «оттуда» нисходит некто. Увы, при звуке русской речи сей некто улетучивается.

Происхождение Картина имела соответствующее — жутковато-расплывчатое.

В ту зиму бесчинствовали северные ветра, и небесная фабрика перекрывала столетние нормы по выработке снега. Тускловатым вьюжным утром Петрович по прозвищу Хмурые Брови (сокращенно ХэБэ), сторож во втором поколении, вышел на крыльцо — и прямо перед ним, укрытые дымящимся по ветру сугробом, лежали большущий прямоугольник, обёрнутый в брезент, и замёрзший человек.

Человек так и остался безымянным (кто, откуда сам, как

МП: Денис Гуцко живёт в Ростове-на-Дону. На просьбу редакции журнала рассказать о своих литературных делах он ответил коротким письмом: «Вот список моих достижений (он весьма скромный). Печатался в приложении к «Литературной газете», в настоящий мо-

мент уже не существующем — «ЛГ — ЮГ России»; в журнале «Знамя» (№ 8, 2002) была опубликована документальная повесть «Апсны Абукет» («Букет Абхазии») о грузино-абхазской войне.

Предлагаем читателям «МП» познакомиться с новыми рассказами молодого автора.

очутился-окочурился у крыльца студии?). Под заду- бевшим брезентом (Петрович содрал его в холле) оказалось то самое... «Тинторетто. Битва Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона. Копия К.К.Семёнова» — латунная табличка на резной раме.

ХэБэ простоял перед картиной час и пошёл звонить в Органы.

Приехали, сказали:

— Етит твою... в нашем коридоре и не развернёшься с ней. Как он её тащил, жмурик-то?

Сфотографировали, заперли, опечатали, поручили Петровичу хранить пока, до особых указаний.

За человеком ближе к вечеру приехала «Скорая».

Говорят, на отправленный в Государственный Эрмитаж запрос пришёл чёткий ответ: в последние четыре года никто Тинторетто не копировал, выполненные копии находятся там-то по адресам таким-то, К.К.Семёнов (прилагалось фото совсем другого субъекта) состоял в штате гардеробщиком, но прошлой зимой замёрз пьяный на улице.

Зал, где по разрешению Органов обрёл пристанище Архангел, добивающий дракона, художники единогласно невзлюбили. Не заладилась у них здесь работа. Ленины выходили кислые, смотрящие вдаль металлурги напоминали начинающих мытарей.

— Н-да, энергетика у этой штуки убийственная, — определил Чилингарида, дока в полтергейсте и астрологии.

Из зала сначала сделали выставочный, стаскивали сюда готовое, расставляли, развешивали. Водили восторженных девушек — ах, как красиво! — и прочих, менее ценных гостей. Но восторженные девушки уходили — и как-то бочком расползались вдоль стен полотна, жались сиротливо друг к дружке, терялись как-то. Однажды Бессоновский натюрморт сорвался со стены и прорвал пейзаж Заволженского. Чуть не подрались. Заволженский назвал Бессонова плакатчиком, Бессонов Заволженского — примитивистом.

— Н-да, — молвил Чилингарида, изучая гвоздь, с которого сорвался натюрморт, — разнозарядность.

Постепенно помещение опустело... так, сбросят рулоны холстины, коробки с красками. И со временем потекли туманные тёмные выдумки. Посиделки за «Анапой», на закуску дольки яблока, разговоры о жизни после смерти, чакрах и тарелках — и в один прекрасный вечер заговорили о главном:

— У тебя уже было?

— Нет. Боюсь, знаешь ли... А вдруг... мало ли... совсем с катушек... Боюсь.

— Эх... а у меня было. Эт-то брат, скажу я тебе... Тогда никто и не знал ещё. Ну, остался я на ночь. Как обычно, надо было срочно что-то закончить... кажется — «Миру — мир». Ага... Начифирился, тружусь-корячусь и вдруг слышу: клац, клац. Что такое? Думал — крысы. Смотрю — нет, ничего. Опять: клац, клац — будто птицы разговаривают. Посмотрел я туда... и всё поплыло, поплыло... бр-р... Внутри чувство какое-то распирающее. И будто лопнуло что-то. Будто извилины в голове спокойно лежали себе, упакованные как килограмм со-

сисок, — а тут их развернули. И после такая слабость, ничтожность такая...

— Да-а...

— Вот так вот... Не зря боишься...

— Занесло же к нам заразу потустороннюю!

Бывало, стакана после пятого-шестого, кто-нибудь бурно переливался через край:

— Представляешь, и он появляется... такой... понимаешь... такой яркий, такой... у-у... Другой. Не такой, как ты и я, совсем другой. Как инопланетянин... хуже...

— Зелёный?

— Что?.. Тьфу, дурак! Сам ты зелёный!

— Тинторетто, Тинторетто, а я маленький такой...

Могло бы стать, так и трювили бы они друг другу эти байки, но вдруг грянула драма. И главным героем на авансцену вышел персонаж незаметный, неожиданный, до этого обитавший в пристройке с недоразвитым, размером с тарелку, окном и здоровенным плюшкинским сундуком, заменявшим ему и кровать и стол. Да-да, Хмурые Брови, угрюмый молчун Петрович.

Седунин, спивающийся областной мэтр (выставка в Москве, цикл «Любовь» — но давно, по молодости), после очередного семейного скандала явился в студию под крепким градусом, пробрался к себе и сладко уснул там, прямо на своём заброшенном «Портрете с полнолунием». Ночью ему заглохло. Седунин поднял свой страдающий центнер, вышел в коридор... ему нужен был воздух, он ввалился в зал — там в полутьме стоял некто в цветастых одеждах, в пышном берете с острым пером. Полтергейст распахнул рот, в котором зрел, да так и не вызрел крик, — а Седунин тихонько рухнул с инфарктом.

Петрович потом несколько раз приходил к нему в больницу с дефицитными апельсинами на дне выцветшего рюкзака, вздыхал, чесал брови. Оказалось, он давно уж свихнулся на живописном вопросе. «Замстило мне, только об одном и думаю». ХэБэ культурно кашлял в кулак, озирался на соседние койки. Во всём признался: одежда из Музкомедии, украл он её, подпоив своего собрата, тамошнего сторожа. «Видел, как Шурка по пьяни наряжался». Наслушавшись (подслушав) художников, разработал свою собственную каббалу и пытался, переодеваясь, перевоплотиться в самого, как он называл его, Тинтарета.

— Вот смотрю я и понимаю: это какая ж сила в нём, а... душевный кураж, так сказать. Думаю, хоть раз бы почувствовать. Побывать бы, думаю, хоть раз в его шкуре, Тинтарета этого. А то ведь всю жизнь червяком... Ну и придумал вот так, переодеться если. Как на живца, знаете ли... Одежда эта, главное дело, не наша, старинная, как раз мне впору пришла, как по мне сшитая. И тут ведь ещё слухи всяческие про привидение. Вы уж простите меня, дурака необразованного.

— Эх, Петрович, — скрипел в ответ Седунин. — Да разве ж тебя я так перепугался... Я сразу тебя узнал. Ты хоть в акваланг оденься, а тебя я узнаю. Каж-

дый день ведь встречаемся, изучил. И... ты уж не обижайся, Петрович, но какой к чёрту из тебя сеньор Робусти! Посмотри на себя... ты же ходячая слава человеку труда. Штука-то в том, что стоял кто-то у тебя за спиной, кто-то стоял, да... Как это называется... статный такой, красивый, такой какой-то... Смотрит на нас и тонко так, тонко, гад, улыбается...

Седунин глотал горький больничный воздух и, глядя на мушиный хоровод под потолком, тянул:

— Да-а... надо же, всего-навсего копия, а поди ж ты... вот ведь не должно так быть, копия ведь. Техника, что и говорить, довольно точная... — И, нездорово оживляясь, отрывался от серого блина подушки:

— Хотя дело, конечно, не в технике!

Седунин после инфаркта оклемался, бросил пить. А вот Петрович помер. Сильно затосковал старик, согнулся, запаршивел. Больше не притрагивался к одеждам из сундука. Всё лежал на нём, свернувшись сухим калачиком. Так в скорости и отчалил от никчёмного, обманного бытия. Хоронили в складчину. Зинаиду, дочь покойного, так и не разыскали. Говорили, явилась через месяц после похорон — опоздала, стало быть.

Тайный сундук прибрал Седунин. Студия под его руководством пожила ещё какое-то время — так, как все вокруг: позёвывая в ожидании аванса. Но однажды мир пополз по швам, авансов не стало, заказов не стало, не стало на некоторое время даже «Анапы». «Анапа», впрочем, вскоре вернулась.

И вот уже особнячок, засиженный амурами, продан Лёшке Брюлику, готовится стать ООО «Бриллиант». Художники — кто в ларьках, кто в рекламных агентствах, скульптор — счастливчик — в ритуальной конторе. А Седунин — о, ирония кармы — сторожит Лёшкину недвижимость, живёт после развода тут же, в той самой пристройке с недоразвитым окном. Спит, правда, на туристической раскладушке. «Забирай! Твоего здесь разве что пустые бутылки да эта дурацкая раскладушка. Может, сходишь куда — в поход!» Сильно похудел, вдвое от прежнего.

Кисти забросил. Старые свои работы распродал кое-как на художественном рынке возле парка. Покаялся начать как-нибудь всё заново и тогда уж наверняка создать что-нибудь грандиозное. И ещё поклялся, что клянётся себе в этом в последний раз.

Частенько он вытаскивает из сундука мешок с одеждой...

Закинув мешок на плечо, выходит во двор и ныряет в провал чёрного хода. Долго идёт по слепой кишке коридора, дважды лязгает ключом, визжит дверями. Поднимается на второй этаж, в зал, включает свет. Он стоит — и настороженно, чутко, стоит вокруг тишина... Прямоугольным протуберанцем вскипает в дубовой раме над ним битва. Пантократор, зависший в облаках с какой-то излишней, авиационной достоверностью. Рубленное спиралью хвоста, светом, древками копий и крыльями про-

странство. Седунин как-то особенно прислушивается к тишине.

Он совсем уже старик, бывший мэтр Седунин. Морщины исчеркали его лицо как отвергнутый набросок. Снимает очки, с костяным звуком щёлкает дужками. Пенсионёрские обноски — себе под ноги, и он становится совсем жалким в пожёванном бесцветном белье на таком же пожёванном теле. Переодевание.

Вот она, смешная, утратившая достоверные имена, одежда выныривает из мешка... Каждую вещь — почтительным, хорошо прорисованным жестом. Коричневые, похожие скорее на два сшитых вместе чулка, «штаны». Он влез, шатко переступая с ноги на ногу, стянул верёвочки на бёдрах. Навверх что-то густого гранатового цвета, отороченное по низу красным. (Камзол, что ли?) Этот самый «камзол» ещё на весу, пустой, кургузко выпячивал петлично-пуговичную грудь, рукава-гусеницы моргали фиолетовым из частых разрезов. Надел, привязал что-то к чему-то, отогнув полы. Бегло застегнул бесчисленные пуговицы — и напряжился, затвердел. Обулся в мягкие сандалии, и затем пышное «гофрированное» кольцо, белое, шуршащее, обвило его шею. Отчёркнутое белым, его лицо выветилось и огранилось. Как драгоценность на фарфоровом блюде: полюбуйтесь-ка. Последним — объёмный гранатовый берет с длинным пёстрым пером... Всё, церемония окончена. Переодетый Седунин закрывал глаза, заглядывая в воображаемое, и его картофельный нос покрывался испариной.

Дождавшись какой-то особой фазы тишины, старик начал ритмично приборматовать:

— Тин-тин... тон-тон...

Подбородок пошёл вверх, правая рука согнулась в локте. Поза оперных солистов и пеших статуй героев. Те, кто знал Седунина в прошлой жизни — художника Седунина — толстого, смешливого, талантливого, с жестами, похожими на падающие калачи, удивились бы, увидев его таким. Те же, кому он предстал уже спившимся — засаленным, скомканным, сонным, — и вовсе бы его не узнали... Да и то сказать, эти капризные линии, а главное — эти цвета! Поди узнай человека в таком вот тряпичном салюте.

Вдруг он сорвался с места, возле самой картины распахнул руки, будто собираясь влететь вовнутрь. Рывок в сторону, остановка — и опять.

Бред его уже сыплется безостановочно:

— Ах, этот тощий народишко! Никогда гражданин Венеции, ни-за-что!.. Слышите, ни за что!

Он вскидывает руку, сначала это напоминает мазок кистью, но жест вытягивается, тяжелеет и делается похож на удар копьём. И ещё раз, ещё!

— Тинторетто... — бормочет, переведя дух, Седунин. — Тинторетто...

Но что-то ему не то, не так. Семенит пальцами у висков, то ли перебирая что, то ли подгоняя на пути в свой мозг нечто упорствующее. Видимо, и на этот раз маскарадный спиритизм подводит его.

— Мне не кажется сложным до неба дотронуться! — гремит он.

¹ Робусти — настоящая фамилия Тинторетто. (Ред.)

Да куда там! Росту в нём метр шестьдесят, и к слову сказать, даже поездка в автобусе, в котором нет поручней на спинках сидений, даётся ему с трудом: всю дорогу приходится тянуться.

Жмурится, постанывает. Снова, с надрывом, запрокидывая голову так, что берет съезжает на затылок:

— Мне не кажется сложным до неба дотронуться!

На два счёта, будто ему не хватает дыхания, выталкивает из себя одно и то же заклинание:

— Тинто ретто... Тинто ретто... Тинто...

Но ничего, конечно же, не происходит.

Амурчики с потолка таращат слепые гипсовые очи, по чердаку ходят голодные крысы, из густеющих ночных чернил проклёвываются звёзды. Словом, ночь как ночь.

ЛЮ...

Нинка чистит картошку над однорукой кастрюлей. Очистки — на пол. Чистит суетливо, наспех обвязав порез обрывком кухонной тряпки: Сом сегодня не в духе.

Сом развалился на стуле у стены, слушает сквозняк. Взгляд воткнул в таз на противоположной стене. Нижняя губа разбита, левое лиловое ухо огромно. Локти разбросаны по столу и подоконнику так широко, будто он пытается в буквальном смысле — развалиться.

Васька в прихожей зашивает кед. Делает вид, что зашивает, — давно уже управился. Не хочет попадаться на глаза Сому. Васька видел, что произошло за гастрономом. Угрюмое Сомово «схлестнулся там с одним» на самом деле выглядело так, что этот «один», рыжий коротышка, дал Сому в ухо, сбил на землю и ещё немного попинал ногами. Теперь Сом наверняка сорвёт злость на нём с Нинкой. Васька вообще ушёл бы на сегодня, но... Две бутылки «Столичной» и три пива на кухонном столе... Наверняка, гад, сорвёт на нём с Нинкой. Заранее морщится. Хотя... может оторваться на малом. В последнее время взъелся на малого всерьёз.

Алёшка сидит на корточках в комнате за занавеской, щёки расплющил о кукольные коленки. Он с самого начала спрятался и сидит тихонько, не шелухнётся. Ноет сквозняк. Под окном собаки, которых стравливают дворовые мальчишки, лают взахлёб, икают, лопаются.

Сначала пришла одна Нинка, и он выбежал к ней, потому что хотел есть. Но Нинка принялась ругать его за то, что он покакал на пол.

— Я тебе, сучонок, что говорила? а?! В горшок, в горшок! — И хлестала. Алёшка понимал насчёт горшка, просто он не успел. Хлестала, но не очень сильно, Алёшка молчал. Потом она вытерла пол, вымыла ему попу.

Походила, поворчала и достала банан.

— На... ешь...

Он заспешил к положенному на угол софы банану, но тут дверь хлопнула — появился Сом. Алёшка убежал за занавеску и так и сидит здесь тихонько на корточках, сопит. В щёлочку ему видно гладильную доску, баллон с солёными огурцами, свёрнутый ковёр и софу с жёлтым бананом на самом углу.

На кухне кричит Нинка. Она всегда кричит. У неё голос — как арматуриной по жестяной бочке.

— Прикинь, — обращается к Сому. — Хромая вконец оборзела. Я сёдня Хромой в бубен дала.

— В бубен? — вяло отзывается Сом.

Она рассказывает, замедляясь вместе с растуши-ми книзу очистками, замолкает, когда очисток обрывается или когда нужно взять новую картофелину.

— Сука, бутылки мои попёрла. Я спрятала за жбаном... ну не во что было сложить... Ага... Пока нашла кулёчек, вернулась — нету. А я же, сука, видела — Хромая за углом лазила...

Сом слушает, не отрывая взгляда от таза, и в общем-то непонятно — слушает или нет. Закуривает, осторожно щупая фильтр битой губой. На запах приходит Васька. В одном кед, второй несёт за вытянувшийся шнурок, словно дохлую крысу за хвост. Косится — явно хочется курить, но попросить он пока не решается.

— Во, зашил.

— Куда на хрен в обуви! — рвывает Нинка.

Послушно разворачивается и уходит в прихожую. Возвращается он уже вовсе босой, но по-прежнему с кедом на вытянувшемся шнурке и с прежней репликой:

— Во, зашил.

— Ну давайте, давайте, — Нинка суетится. — Садимся.

Изображает хозяйку, для чего, отключив зад, вращается туда-сюда вокруг оси, мечет на стол хлеб, лук, помидоры, селёдку на почерневшей от жира газете.

— Картошка уже скоро.

Но раздаётся звонок, и, гулко матюкнувшись, она бежит открывать.

Евлампиша.

Подходит к кухонной двери, но на кухню не заходит, останавливается у порога. Пять бутылок — две светлых повыше, три тёмных пониже — торчат как башни. Нинка повёрнута по биссектрисе между ней и накрытым столом. Стоит, молчит — мол, ну чего, чего?

— Я ж, Нин, узнала... насчёт логопеда-то, — начинает Евлампиша. Сбивчиво, тягуче: — В понедельник, вторник и четверг... с утра до двух.

— Ясно.

— Нет, в четверг до пяти.

— Ясно.

— А то... если хочешь, я свожу, — старушка, решившись, уже саму себя подгоняет, строчит сло-

вами. — Мне всё равно туда, ногу лечить. Хорошие там процедуры, помогают здорово. Ну и Лёшку свою, а то что ж он так...

— Не надо, — обрывает её Нинка. — Сама свою. В четверг. Сама.

Евлампиша стоит, качает головой. Хозяйка хмурится — туда же, по той же биссектрисе между ней и столом. Васька, пощёлкивая большими пальцами ног, смотрит на баб. Сом начинает нервничать. Евлампиша:

— Может, пусть Лёшка у меня переночует, — в этих её словах ни тени надежды. — А? Хорошо? Я его чаем напою, искупаю... Вы ж всё равно... это... — делает многозначительные глаза на натур-морт, — ужинать собираетесь.

— Иди, мать, — гремит Нинка. — Иди, ради бога!

— Нин, ну ей-богу, пусть...

— Иди!

Она начинает движение к выходу, но потом возвращается, одной ногой решительно переступив порог кухни, трясёт корявым пальцем в сторону Сомы:

— А ты смотри, чтоб малыша пальцем не трогал! Смотри, не смей, милицию вызову!

— Ну что вы, Екатерина Евлампиевна, — широко осклабясь, тянет Сом. — Ну что вы, — тянет

слова, как жёваную карамельку. — Ну, раз сорвался, с кем не бывает...

Узнав голос Евлампиши, Алёшка радостно вздрогнул — моментально вспомнил про мишку, которого та подарила ему позавчера. Мишка хороший. Он прячется за шкафом, чтобы не попасться Сому. Жёлтый мишка с одним выпуклым чёрным глазом, у которого есть зрачок и ресницы, и плоской чёрной пуговкой вместо другого глаза, пришитой крест-накрест. Мордочка со стороны пуговки слегка сплющена — он подмигивает.

Пока бубнила Евлампиша и рокотала Нинка, Алёшка вынырнул из-под занавески, вытянул его из тайника, прихватил банан — и вот теперь сидит с ним в обнимку, тычет бананом в красный лоскут языка. Укутавший их тюль, горелый с одного края, дрожит на сквозняке. Алёшка прижимается к мишке щекой.

— Лю... — повторяет он и с серьёзной нежностью заглядывает в его выпуклый глаз и плоскую пуговку.

— Лю... — и кормит его бананом (ждёт как раз столько, чтобы тот успел откусить и только потом отводит руку).

— Лю...

Это его первое слово, но ни Нинка, ни Сом, ни Васька, ни даже Евлампиша об этом, конечно, не знают.

Юлия ВИНЕР

(Израиль)

ЖОЖО И БОЖИЙ ПРОМЫСЛ

Жожо не любил окружающих, а окружающие не любили Жожо. Тем не менее к сорока годам он обзавёлся и женой, и тремя детьми и сумел выстроить процветающее дело — булочную-кондитерскую с выпечкой на месте. Дело окупало себя и давало сносный доход. Хрустящие булочки и влажные, пропитанные сахарным сиропом пирожки и пирожные, выпекаемые у Жожо, нравились прохожим, они не могли удержаться, надкусывали мягкое жирное тесто, не отходя от прилавка, и уходили, жуя и облизываясь. И у Жожо была мечта. Если бы удлинить помещение метров на пять в глубь дома, пекарню можно было бы задвинуть туда и очистилось бы место, чтобы устроить стойку и несколько столиков, подавать кофе с булочками; вложения невелики, а дело приняло бы совсем иной оборот. Прохожие очень любили стойки с кофе-эспрессо и булочки покупали бы больше — и на месте съесть, и с собой взять.

Но углубиться внутрь никак было нельзя — там, за стеной пекарни, в безоконном тёмном углу, образовавшемся неясно как при строительстве дома, жила упрямая одинокая старуха. Угол этот раз-

решил бы все проблемы Жожо, в нём были даже кран и унитаз, значит, имелись водопровод и канализация. Но старуха, жившая там незаконно, но очень давно, предъявляла Жожо за свой угол совершенно непомерные требования. Тысячу долларов — новыми сто долларовыми бумажками! — она оттолкнула не глядя. Либо однокомнатную квартиру, либо место в хорошем доме для престарелых! Смешно.

Жожо попробовал действовать через муниципалитет. Там старуху знали и, хотя и соглашались, что живёт она без всяких прав, но выкинуть не позволили. «Женщина уже очень старая, — примирительно сказала социальная работница, — потерпите немного, время сделает своё».

Время, однако, не торопилось сделать своё. Старухе было на вид лет семьдесят, она была сухая и быстрая и при теперешней моде на долгожитие свободно могла протянуть ещё и пять, и десять, а то и двадцать лет. Жожо не раз встречал её в районной больничной кассе — она заботилась о своём здоровье.

Жена уговаривала Жожо не мучиться так, поберечь нервы, им хватало и того, что он зарабатывал сейчас. Но Жожо и не ждал от

МП: Юлия Винер родилась в Москве. С 1971 года живёт в Израиле, в г.Иерусалиме. По профессии Юлия Винер — сценарист. Её повести, рассказы, эссе публиковались как в израильской прессе, так и в русской. Недавно повесть Юлии Винер была напечатана в журнале «Новый мир».

жены понимания и, зная, как бояться его взгляда все его работники, каждый день с надеждой направляя луч ненависти на заднюю стену пекарни.

Однажды Жожо приснился сон. Ему явился Бог Саваоф в виде красного горящего куста и спросил его:

— Ты хочешь, чтобы я убил эту старуху?

— Я никому не желаю смерти, — угрюмо сохворал Жожо.

— Но ведь старуха никчёмная, а ты делаешь полезное дело, кормишь людей, обеспечиваешь будущее своим детям.

— Это уж тебе виднее, — уклонился Жожо.

— Я помогу тебе. Сделаю так, как тебе нужно.

— Даром? — подозрительно спросил Жожо.

— Практически даром, — ответил куст и изменил красное пламя на синее. — Давай только иногда старухе какие-нибудь остатки твоей продукции, пусть полакомится напоследок. И всё будет, как ты хочешь.

Это действительно было практически даром. В булочную Жожо раз в два-три дня приезжал на мотороллере человек из бесплатной столовой для бедных и забирал оставшуюся позавчерашнюю выпечку (вчерашнюю Жожо умел сохранять в течение ночи так, что она выглядела как свежая, и пускал в продажу). От фруктов для французистых корзиночек из песочного теста, залитых разноцветным желе, тоже часто оставалась всякая заваль. Немного отдать старухе было не жаль. Но мысль эта была противна Жожо.

Тем не менее утром он взял пластиковый пакет, покидал туда самые чёрствы́е булочки и пирожки, прибавил горсть потемневших абрикосов и постучался в полуподвальную железную дверцу старухина угла. Не то, чтобы он поверил в свой сон, хотя в Бога почти верил, — но чем чёрт не шутит? Пусть ест, вдруг да подавится.

Увидев Жожо с пакетом, старуха засмеялась, покачала у него перед носом отрицательно пальцем и сказала: «Ферфлюхтер френк!» Но пакет взяла. И после этого стала каждый вечер заходить в булочную, получала своё и принимала это как должное.

На глазах у Жожо старуха добрела и свежела. Быстро сгладилась угловатая сухость тела, на щеках вместо серых впадин появились небольшие глад-

кие подушечки, особенно явственные, когда старуха улыбалась. А улыбалась она каждый раз, пока дожидалась своего пакета.

Очень часто, скрывшись с пакетом в своей дыре, она скоро выходила снова, неся другой, меньший пакет со знакомыми булочками и пирожками, и исчезала за углом. Видимо, не только сама пользовалась, но и подкармливала кого-то. И на всё это Жожо должен был смотреть!

Конечно, сон его был чистый вздор. Когда старуха явилась в очередной раз, Жожо, не взглянув на неё, пошёл в глубь лавки распорядиться, чтобы старухе больше ничего не давали. «Захочет — пусть покупает, как все», — сказал он своему молодому помощнику, который еле заметно пожал плечами и опустил глаза.

И тут раздался раздражающий уши грохот. Жожо обернулся и увидел, что у входа в лавку расцвёл гигантский красно-синий огненный куст. Его толкнуло в грудь, бросило на помощника, всё заволочло дымом, оба они упали на пол, и на них посыпалось стекло витрины и стоявшие внутри кондитерские изделия.

В результате самоубийственного акта молодого арабского солдата священной войны (их немало происходило в ту пору в нашей стране) погибли двое покупателей, входившие в лавку Жожо, трое прохожих, которые входили и не собирались, и старуха, не зная, что ей тут больше ничего не дадут. Её нашли под большим подносом с клубничными тарталетками, край металлического подноса ударил её прямо в переносицу. Одному продавцу оторвало кисть руки и пробило в нескольких местах череп гайками и гвоздями. Жожо и его помощник отделались ушибами и порезами.

Лавка пострадала очень сильно, пришлось закрыться на целый месяц. Это был серьёзный убыток, но, благодаря страховке и пособию от государства, Жожо без труда перенёс пекарню, куда давно хотел, тем легче, что стена, отделявшая лавку от тёмного угла, неизвестно как образовавшегося внутри большого здания, растрескалась от взрыва. И он не только перенёс пекарню, но и поставил столики, и выстроил стойку с высокими табуретками, и люди сидели там и пили кофе-эспрессо с влажными маслянистыми пирожными, и не боялись, потому что, говорили они, в одну воронку бомба дважды не падает.

СОСЕД

Квартира, сдававшаяся на втором этаже над рынком, уже с полгода стояла пустая, хотя смотреть приходили.

Хозяину квартиры надоело ходить каждый раз и показывать её людям, и он стал посылать их, чтоб ходили и смотрели сами, а ключ оставил у соседа Йихья, у которого в прошлом году умерла жена.

Йихья с женой Малкой любили, чтобы в доме было красиво, и детей так воспитывали, и всю жизнь собирали красивые вещи, и всё им казалось мало. Когда же почувствовали, что достаточно, дети из

дома уже ушли, а тут и Малка умерла. И Йихья обнаружил, что одному ему смотреть на свои красивые вещи скучно.

Поэтому он охотно взял ключ и показывал пустую квартиру людям. Ему с первого же раза неловко показалось, что квартира такая запущенная и грязная. Тем более, что приходили и женщины. Йихья пристально приглядывался к каждой женщине старше сорока. Он любил свою Малку, пока она была, но теперь её не стало, и нужно было не откладывая искать другую, чтобы красивые вещи в его доме не стояли зря.

Однажды в тёплый воскресный вечер, когда народу на рынке было совсем мало, Йихья пораньше прибрал свой прилавок с орехами и семечками и, наскоро перекусив, пошёл в соседнюю пустую квартиру.

Сначала он только закрыл окно в кухне и соскрёб голубинный помёт со стола и подоконника. На следующий день выгреб из углов окурки, бутылки из-под воды и кока-колы и подмёл пол. Сделав это, он заметил, какие мутные и заросшие в квартире окна. Здесь Йихья остановился. Мыть окна в чужой, посторонней квартире?

Но на следующий день пришла осматривать квартиру женщина. Небольшая, круглая, хорошего возраста. Йихья всё ей подробно показал, обратил её внимание на удобные антресоли и ниши, объяснил, как легко переложить проваливающиеся кое-где плитки пола — он знает надёжного и недорогого мастера. Женщина неопределённо двигала губами и говорила мало, но обещала, что послезавтра придёт посмотреть вместе с дочкой. «Не знаю, не знаю, — сказала она напоследок, — девочка молодая, а тут каждый день через рынок ходить».

Ну и что, что дочка? Дочка — это ничего, даже хорошо. У него у самого их было три, но все уже далеко. Йихья вымыл и окна, и пол, и нечистый унитаз, и раковину. Теперь квартира выглядела не так скверно, но, подумал Йихья, жить в ней всё равно не хотелось. Йихья сходил домой, взял горшок с высоким многоствольным кактусом, который Малка начала выращивать лет двадцать назад, и поставил его под окном в гостиной. Сам он этот кактус не очень любил, но, может быть, он будет придавать квартире жилой вид.

Нет, не придавал. Горшок на полу выглядел чудно и сиротливо. Тогда Йихья снова сходил к себе и принёс большого перламутрово-голубого фаянсового лебедя, в спине которого была ваза для фруктов. Сбегал вниз, взял у Рахамима апельсинов и яблок. И поставил лебедя под вторым окном. Лебедь с фруктами был такой красивый, что Йихья, как всегда, невольно им залюбовался. Но теперь стало ещё более очевидно, что этого мало.

Тогда Йихья взялся за дело всерьёз. Он приволок с рынка несколько пустых картонных ящиков и расставил их по всей квартире. Накрыв все ящики разноцветными скатёрками и салфетками, вышитыми и связанными рукодельницей Малкой. И на каждый поставил красивую вещь.

На ящике посреди гостиной стоял коричневый гипсовый светильник, три полуголые девушки, изящно изгибаясь, держали три факела с переливчатым стеклянным пламенем, а в пламени скрывались лампочки. Малка сердилась, когда он привёз этот светильник из Яффы, и говорила, что он купил его, чтобы смотреть на голых баб. А Йихья и не видел в них никакой соблазнительной наготы, а видел только, как плавно линия спины переходит в руку, а рука в факел, увенчанный трепещущим розовым огнём.

В комнате, где у прежних соседей была спальня, он поставил предмет, который особенно радовал его, потому что не имел никакого полезного назначения, кроме красоты. Это был шарообразный пучок упру-

гих белых нитей, похожий на большой одуванчик, и если включить его в сеть, на концах нитей беспорядочно вспыхивали и гасли красные, синие и зелёные искры. Правда, электричество в квартире было отключено. Поэтому рядом он поставил ещё стеклянную банку, где, не смешиваясь, переливались сами по себе тягучие многоцветные слои густой жидкости. Эта банка была настоящим чудом, и Йихья немного жалел выносить её из дому, но очень уж приятно было представлять себе, как он покажет её этой женщине и её дочке и как они будут вместе на неё любоваться.

Под конец, немного поколебавшись, он снял у себя со стены портрет мудрого чудотворца Ваба Сали, не настоящий, писанный красками, а второй, вырезанный из календаря, и повесил его в спальне соседней квартиры. У него не было уверенности относительно происхождения женщины, но портрет был небольшой и чудотворец не мог помешать, даже если она его не почитала.

Однако на следующий день ему дома быть не пришлось. Сильно заболели оба ребёнка разведённой младшей дочери, и она со слезами потребовала деда к себе в Кфар-Сабу. И так получилось, что он не смог показать женщине квартиру и не был свидетелем её удивления, когда она увидела её преображённую.

В Кфар-Сабе он пробыл почти две недели. Дети выздоровели быстро, но заболела сама дочь. Йихья несколько раз звонил хозяйну соседней квартиры, но никак не мог заставить его дома, а сотовый его телефон был почему-то отключён.

Когда Йихья вернулся наконец домой, он только забросил к себе сумку с грязным бельём и подошёл к двери соседней квартиры. Дверь была всё та же — облупленная и исцарапанная, и полуоторванный звонок по-прежнему висел на одном проводке. Йихья прислушался — внутри было тихо. И он отпер дверь.

Он не успел даже понять, что за новый запах появился в квартире, как из ванной вышла молодая беленькая девушка, обмотанная большим полотенцем. Йихья приветственно заулыбался:

— Дочка? — спросил он. — А мама где?

Но девушка, испуганно глядя на небритого чёрного Йихью, крикнула что-то в сторону комнаты. Йихья много наслушался этого языка на рынке, но понимать не научился.

Из комнаты вышел молодой мужчина, потемнее волосом, но с такими же не понятными Йихье расплывчатыми чертами лица. Это и были новые соседи Йихья.

Ни имени той женщины, ни адреса её они не знали и вообще слышали про неё первый раз.

— А ваши вещи вон там, — сказал молодой человек и показал на стоявший в углу картонный ящик и рядом горшок с кактусом. — Вы очень красиво всё сделали, спасибо вам, мы ценим, но нам не надо.

Йихья извинился перед соседями, пожелал им удачи на новом месте и забрал свои вещи домой. Он полил кактус, спокойно перетерпевший двухнедельную засуху, и поставил его на место. А ящик задвинул подальше в кладовку — остальное расставлять по местам ему не хотелось.

Константин ПОПОВ
(Болгария)

СВЕЧКА

Кажется, что она появилась сразу, как только был открыт огонь, как только человек начал скорбеть и радоваться, мечтать и вспоминать о близких и далёких, о семье и роде, чувствовать себя частицей мира и пылинкой в руках всемогущей Судьбы. Свечка — это маленькое солнышко или звёздочка во мраке чувств и воспоминаний, огонёк надежды и мысль об исчезнувшем близком, который до вчерашнего дня, нет, мгновение назад был с тобой, делился своими трудностями, муками и радостями.

Вы сражались вместе с яростной пантерой или с опасным медведем, вы спали посменно, чтобы беречь друг друга, вы пахали на ниве, рубили дрова в лесу, косили высокую траву, лежали рядом в окопе. Дорогая роженица сгорела в лихорадке, сын погиб в борьбе с завоевателем, ушёл внезапно из мира сего уважаемый всеми старейшина — защитник фамилии и непревзойдённый мудрец, на войне за спасение родной земли падали от чужого меча и пули целые полки стройных мужчин, вспыхивали страшные болезни, которые уничтожали всех от мала до велика.

Разве ты останешься безучастным и забудешь их одним взмахом, разве не зажжёшь свечку, чтобы смотреть благоговейно на её колеблющийся огонёк — символ ненадёжной человеческой жизни! Разве не наполнишься чувством горя к исчезнувшему из мира пёстрых красок и звуков близкому и дорогому человеку.

Свечка — это твоя маленькая плата и благодарность тому, без которого мы осиротели и опустели. Свечка — это наш долг и облегчение, напоминание о том, что мы всё-таки что-то сделали в своей беспомощности. Но она и наша вздрагивающая надежда на более ласковую и более надёжную жизнь. Она сплачивает и согревает души близких по роду и родине, по судьбе и идее. Она — наше свидетельство, что мы сохранили свою человечность, и обет, что мы помним и следуем примеру тех достойных и прекрасных личностей, которые дали нам нечто от своей богатой душевности, которые делали добро и многим другим.

Свечка — это в одно и то же время кротость и смирение, склонённая голова и глубокое размышление. Мы не можем представить себе кого бы то ни было, чтобы он ругался, чтобы был свирепым, чтобы жаждал крови в тот момент, когда он держит свечку в руке.

Свечка имеет огромное смысловое наполнение, как бы миниатюрна с виду она ни была. Ре-

МП: Публикуем обещанные в предыдущем номере эссе нашего постоянного автора, известного слависта, профессора Софийского университета Константина Георгиевича Попова.

бёнок едва стоит на своих неокрепших ножках, но он силится задуть свою первую свечку-годик на мамино калаче или торте. Свечка — это и грустное воспоминание, и светлая надежда, и большая любовь. Она

служит, чтобы выразить самые противоречивые и противоположные чувства — от праздничных до трагических, но никогда не используется для мести и коварства, неверия и злости, подлости и клеветы. Никакая другая маленькая вещь не может иметь таких космических измерений и ассоциаций, символизировать вечную жизнь и таинственную смерть, рождение и конец жизни, свет и мрак, как перемигивающаяся и слезящаяся свечка.

Свеча вездесуща и вечна, как человечество. В церкви и на могилах, на молебнах и праздниках, в иконостасе и на молчаливом массовом бедении, в подсвечниках и на земле, при муке и побе-



Обложка книги, переведённой на русский язык Константином Поповым. (София: университетское изд-во им. Св. Климента Охридского, 2003)

дах она сопровождает всю нашу жизнь. Свечу вы увидите и на площадях, где была кровавая расправа, где тысячи людей присутствуют молча в знак протеста против неправды, но она светится и в келье, где пишется житие или история.

Мощное электричество, движущее турбины и машины, поезда и атомные ледоколы, освещающее жилища и тоннели, улицы и аудитории, школы и больницы, сёла и города, слабее маленькой свечки, когда надо зажечь чувства и воспоминания о живых и умерших. Я не знаю религии, которая могла бы обойтись без свечи. И самый злостный атеист вздрагивает перед силой свечки, беспомощной и нежной, как человеческая душа. Она — наш верный друг, тот, кто нас понимает и доверяется нам. Мы становимся на колени перед нею. Она вызывает слёзы от всплывшего милого воспоминания. Свеча заставляет нас делать что-нибудь, чтобы не сойти с ума от муки или озверения. Она говорит и нам, и другим такие слова, которые никто не может произнести. Она наша мощная отдушина от отчаяния



и жгучей боли. С ней мы мысленно говорим ушедшему от нас самому дорогому человеку то, что никакие слова не могут выразить.

Свеча побеждает или укорачивает всякие времена. Когда мы зажигаем её в память об умерших, то этим мы им намекаем в данный момент, что помним их неповторимую жизнь, что мы принадлежим им, что будем любить их и что мы люди благодаря и им. Свеча — это наша вера в бессмертие красоты и благородства, сотворённого человеком.

Для злодея и негодяя не зажигают свечу. Её надо заслужить нравственной жизнью. Свеча — наша неугасающая надежда на большую справедливость и более сносную жизнь. Свеча — это и любовь к человеческому роду, к родным и близким, к святым и радателям просвещения и человечности, к светлым личностям с исключительными заслугами в нашем прошедшем через многие страдания отечестве. Она сохранила наше самосознание и в течение полутысячелетнего чёрного рабства. Свеча вечна, как вечна наша вера в жизнь, в добро.

МОЛИТВА

Наверное, нет ничего более бескорыстного, более возвышенного и более трогательного, чем молитва. Она — и откровенное размышление наедине с собой, и покорность, и смирение, и беспомощность. Свеча и молитва счастливо дополняют друг друга. Молитву мы направляем к Богу как к самой великой и вездесущей силе. Но молитва — это и немой разговор с нашей совестью, которая является Богом в нас самих. Если у тебя в душе нет Бога, то у тебя нет и совести. Ты способен на любое зло, лишён всяких моральных тормозов. Атеист-сталинист не знает, что такое молитва, потому что его Бог в сущности — это его всесильная партия, которая отвечает за него, заменяет у него совесть, делает его бездушным и жестоким автоматом насилия.

Но и молитва может быть автоматизированной, если станет слепым навыком без чувства и размышления, без глубокого покаяния и тревоги за человечество, если она является индальгенцией для отпущения грехов, после чего можно снова идти испытанным путём старых пороков. Не очень приятен человек, который часто извиняется, просит прощения, раскаивается на словах, а в то же самое время самым наглым образом продолжает свою несправедную жизнь. Он оправдывается, что проявлял слабую волю, что другие ви-

новны в этом, а не он. Беда, когда то же самое происходит с молитвой. Особенно пуста и ненужна молитва лицемера, который неискренен даже наедине с собой, молясь.

Искренняя молитва — это и крик отчаяния при тяжёлых страданиях, при национальной трагедии, во время страшных войн, при эпидемии, при ушедшем внезапно из мира солнца и цветов самого дорогого и ненаглядного дитяти.

Молитва может быть и выражением сильной любви к самым близким людям, страха за их неизвестное будущее, горячего желания, чтобы их избегали всякие беды.

Молитва — это и утешение, если ты не смог предупредить несчастье. Она помогает быть более постоянным в твоём смирении, противодействовать злу изо всех сил. В своей последней прощальной молитве в Гефсиманском саду, прежде чем быть преданным Иудой и распятым на кресте во спасение человечества, Сын Божий советовал своим верным последователям — ученикам и будущим апостолам своего учения: «Бдите и молитесь, чтобы не впасть в искушение».

На коленях или стоя с молитвенно сложенными руками на груди, человек превращается в духовное существо, исполненное святейшими мыслями о своём предназначении на этом

божественном свете, о судьбах близких и далёких. Такая тёплая молитва согревает душу благопожеланиями и благословением семьи и народа.

Помню, как мы, пятеро детей, много десятилетий назад прижались друг к другу, к сладкому сну под большим пёстрым одеялом из козьей шерсти. А мама, исключительная по духу и доброте мама, стоит перед лампадой и шепчет горячую молитву. Мы очень хорошо знаем, что эта молитва о нас, и благоговейно наблюдаем за её освещённым верой и любовью благообразным лицом, выдавшим всякие страдания в этой жизни. Наконец мама крестится, осеняет крестом и нас — и все мы блаженно засыпаем. Этот молитвенный образ святой матери, которая давно ушла из мира сего, каждый из нас носит глубоко в своей душе всю сложную и полную всяких испытаний и соблазнов жизнь.

Лампада светится таинственно и перемигивает всю зимнюю ночь в каждом крестьянском доме, внушает святые чувства, напоминая нам, что человек — не только материя. Его призвание — радовать окружающих своими добрыми делами. В остальные времена года лампада зажигается реже по причине большой занятости на поле и в лесу. Да и ночи короче, и усталость сильнее, и праздников меньше.

В церкви молятся пожилые люди, на чьих трудных лицах поблёскивают перемигивающиеся огоньки зажжённых свечей. Они, старшие, наверное, знают, о чём надо молиться и над чем размышлять углублённо. Дети же жадно поглощают любопытными глазками священнодействия и необычайную блестящую одежду священника, загадочные иконы и внушительный алтарь. Детям не до молитвы, потому что у них нет ещё грехов, потому что к ним не пришла пора разрываться от внутренних сомнений и колебаний, от горечи и покаяния. Их самое большое желание, чтобы были живы и здоровы их любимые родители (о себе они не думают), что лучше всего выражено дедушкой Вазовым в детской молитве: «Дай и маме, дай и папе здоровье, силы и жизнь».

Молитва может быть совершена как добровольный обет о посещении далёких святых мест. Пешком идут люди в монастыри, чтобы помолиться перед чудотворной иконой о здоровье сестёр и братьев, матерей и отцов, дочерей и сынов. Такая молитва, завоёванная трудными усилиями, весьма ценна и целебна. Ведь она сопровождается верой и упованием. И когда больной выздоровел после горячих молитв, приносится жертва, даётся дар от всего сердца храму Господнему, где молились.



Золотая нагрудная икона-реликвиар, X век.

Смирненная молитва очищает нас от скверных помыслов и желаний. С ней и после неё на душе становится легче, потому что мы разговариваем прямо с Богом, с его белокрылыми ангелами, хранителями добра. В задушевной молитве мы даём слово начать жить впредь по спасительным Божиим заповедям, быть нравственно возвышенными, делать охотно добрые дела близким и далёким, бедным и больным, знакомым и незнакомым, маленьким и взрослым.

Молитва смягчает жестокосердие, смиряет гордость, очищает нас от грубых мыслей и алчности, учит отдавать себе нравственный отчёт, быть более добродетельными.

«Молитва» — более возвышенное слово, чем её сродник «Мольба». На нас могут смотреть с мольбой и ожиданием детишки и домашние животные. Мы можем обращаться с мольбой, чтобы разрешать земные дела, но молитва — это самый человеческий и святой акт, который возвышает нас до небес.

КРЕСТ

Крест — родной брат свечки по своей богатой символичности и смысловой многозначности. Неслучайно в христианской религии крест и свечка — одни из самых значимых реликвий. Они часто идут рука об руку. И если свечка — это маленькое солнце с вечным зарядом символического света и робкой веры, то крест — синоним ряда побратимов. Таких, как готовность к жертве, мука, испытание, выносливость, упование, призвание, покорность. Эти ёмкие понятия говорят прежде всего о терпении, обречённости, судьбе. О том, что надо носить всю свою жизнь.

Крест — это твой долг и твоя мораль. Ты предан ему по велению высшей силы. Но ты служишь кресту и по своей воле. Всё зависит от пути, по которому ты движешься с ним, от целей, которые ты вкладываешь в крест жизни.

Кажется, что крест искони обозначал и обозначает все четыре направления мира, то есть он обладает космической масштабностью и всеохватностью, присутствуя в той или иной форме в самом человеке с распростёртыми руками, в птице, парящей в вольном и плавном полёте, в её подобии, великом детище техники — самолёте, в перекрёстках и в народной вышивке. Крест — это основная схема строения человеческого организма и главный двигатель прогресса, наглядно выраженный в математическом плюсе.

Крест бывает личным, но также и народным, общечеловеческим, сопровождая нас всю жизнь. С его помощью крестят нас в святой воде, чтобы принять в лоно христианства и благословить на будущую жизнь. Перед крестом мы клянёмся и целуем его, чтобы дать свой твёрдый обет, ручаясь честью и головой за его исполнение. С крестом во главе люди шли на славные битвы за родину, за правду и человечность.

Перед крестом молитвенно преклоняются богомольцы и смиренно просят прощения своих вольных или невольных прегрешений. Крест возвышается над церковным куполом, чтобы осенять нас в бурной жизни и напоминать нам, что мы просто смертны, что мы не должны быть жадными и грубыми, что мы призваны возвышаться духовно, устремляться к Богу и жить по Божьим заповедям.

Святой крест ведёт верующих к доброте и любви, к народному самосознанию и духовному очищению. Он постоянно перед нами, чтобы показывать всегда, что мы временные путники на этой удивительной земле, что непременно придёт конец, чтобы опять он же долгие годы свидетельствовал, кто был этим гостем мира, как он осмыслял свою жизнь, какие следы оставил в душах людей и какой крест он нёс к своей Голгофе — деревянный или серебряный, железный или золотой...

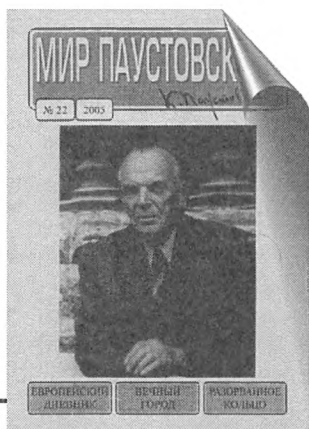
Но крест только как украшение теряет свой смысл и спасительную силу, будь он сделан из самого драгоценного металла. Крест нужен и благодетелю, когда мы верим в него, когда носим его с честью и достоинством, когда хотим показать, что мы не фарисеи и басурмане, а смиренные христиане, способные творить добро и ратовать за благо людей, живущих рядом с нами и на всей нашей неспокойной планете.

Велика беда, когда человек не имеет Христова креста в своей душе, когда он остался без веры в духовное спасение и в Божий свет. Тогда такой человек полностью скудеет, становится опасным ничтожеством для близких и далёких.

Крест — это наша могучая моральная и житейская опора. Каждый разумный и верующий человек носит свой крест, служит ему верно и сливается с ним, превращаясь в образец для подражания, в мощный источник сил для жизни всех, кто имеют счастливую возможность общаться с ним.



Бронзовый крест-реликвиар, X век



СТРАНСТВИЯ

Тяга к большим пространствам появилась у меня с юного возраста. С годами она не затихала, а разгоралась. Чем больше я видел земель, тем сильнее мне хотелось видеть всё новые и новые края. Всякая новая даль существует для меня до сих пор как огромная синеющая, великая загадка, скрывающая в своей мгле новизну.

*К.Паустовский
Бросок на юг. 1959–1960*

Лидия ЧЕШКОВА

ВЕРНУСЬ, КОГДА ЗАЦВЕТЁТ ЧЕРЕШНЯ

Признаюсь: собираясь в дорогу, я не очень-то представляла страну, куда еду. И хотя трагические события в бывшей Югославии несколько лет держали в напряжении всех и каждого, Хорватия для меня и, думаю, для многих оставалась и близкой и далёкой одновременно...

Мне предстояло побывать в одной из жупаний, то есть областей, Хорватии — Истрии. Она лежит на полуострове с одноимённым названием, который почти на сто километров вдаётся в Адриатическое море на самом его севере.

Ещё на подлёте к Истрии, когда самолёт начал снижаться, преодолев широкий фронт дождя и штормового ветра, мне бросилась в глаза необычайная изрезанность береговой линии. Я и раньше бывала на Адриатике, видела восточные берега Италии и западные Греции, извездила остров Корфу, но не замечала, чтобы берега были так искромсаны — словно гигантскими ножницами.

Уже потом я узнала, что вокруг Истрии более тысячи островов (из них только около 65 обитаемых) и что такой тип побережья именуется «норвежским», а узкие заливы здесь, так же как и в Норвегии, называются фиордами. Лимский фиорд, например, врезается в сушу на 12 километров, а на старых картах он доходит аж до середины полуострова!

Необитаемые острова, фиорды... И где? На Адриатике, на Средиземном море... Для меня это было открытием. Впрочем, открытия меня ждали и во время путешествия по Истрии, когда мы — вместе с переводчицей Мариной Томашич и шофёром Маури

Мейером — пересекали полуостров с юга на север, объезжали его западное и восточное побережья.

Оживала карта. Выплывали из небытия столетия. Кинокадрами мелькал сегодняшний день. Однако понять это «сегодня» было бы трудно, не вспомнив историю этой земли.

Ещё в I веке до н.э. Древний Рим покорил жившие здесь иллирийские племена, утвердился, казалось бы, навечно. Но в VI–VII веках сюда пришли славяне — предки нынешних хорватов. В отечественных памятниках слово «хорват» впервые записано в 852 году. История началась по новой... Хорваты заселили эти земли и освоили их. Приняли со временем католичество и латинскую письменность. Однако борьба и войны не прекращались. Судьба Истрии оказалась накрепко связанной с Византией, Венецией, Австро-Венгрией... Недавно Республика Хорватия стала самостоятельным государством.

МОТОВУН ПЛАВАЕТ В ОБЛАКАХ

Мы ехали из Пулы в Опатию — через Центральную, или Среднюю, Истрию.

Несколько слов о моих спутниках. Марина — москвичка, врач по образованию, вышла замуж за хорвата и уже давно живёт здесь. Изучила язык и очень интересуется всем, что связано с Хорватией. Более того — полюбила эту страну и в разговоре часто, совершенно естественно, роняла: «мы», «у нас», «наша история», «наши легенды» и т.п.

Маури, спокойный и доброжелательный человек, родом из города Ловран, славного своими лав-

ровыми деревьями (отсюда и название), каштанами и черешней. Моряки из Ловрана даже говорят, прощаясь с любимыми: «Вернусь, когда зацветёт черешня». Маури часто дополнял рассказ Марины, по-хорватски разумеется, та слушала с вниманием, а потом переводила: «Маури рассказывает, что...». Я ещё не раз — в дальнейшем — вспомню его рассказы.

Пронесаются мимо поля желтеющей кукурузы, виноградники, оливковые рощи. Мирный, залитый осенним солнцем пейзаж. Но что-то непривычно в нём, что-то царапает глаз... Красная земля! Её густой буро-красный цвет особенно заметен на вспаханных полях. Это говорит о том, что земля богата бокситами. Здесь растут виноградники, дающие лучшие вина Истрии.

Среди зелени полей и рощ то тут, то там мелькают домики пастухов — кажуну. Кажун сложен из серых плоских камней без связующего раствора — так возводили его во времена римлян, так строят и сегодня. Пастух и винодел — традиционные профессии хорватов, и не случайно герб Истрии — золотой козёл, а миниатюрные кажуну можно встретить ныне в любой сувенирной лавке.

Красная Истрия тянется на много километров и только за городом Пазин, где на горизонте появляется силуэт гор, начинается Серая Истрия — болотистая. Болот — на скорости — я не разглядела, но земля действительно стала серой с коричневым оттенком. А так — всё те же рощи, могучие средиземноморские сосны-пинии с тёмной раскидистой кроной и городки, городки, стоящие на холмах. Мне показалось, что эти каменные средневековые поселения, похожие друг на друга, и дали название Серой Истрии. Один городок запомнился особенно — Мотовун, что лежит среди лесов и виноградников севернее Пазина. Он возник в XII–XIII веках.

...Машина остановилась у подножия холма, и мы долго взбирались по каменным плитам мостовой на вершину, к крепостным стенам, за которыми спрятался город. Дома, прижавшиеся друг к другу, узкие улочки, на вершине — центральная площадь, собор, колокольня... Город построен с единственной мыслью — выжить. Со сторожевой башни видно приближающегося врага, крепостные стены — отвесны и неприступны, огромная каменная цистерна-кишница (киша — дождь) всегда полна воды. О том, что воевать приходилось часто, говорит и барельеф на одной из стен, где изображён лев с закрытой книгой. На языке символов это означает — идёт война...

Любопытно: у каждого городка, даже самого маленького (Хум, например, что неподалёку от Мотовуна, насчитывает два десятка жителей) есть своя легенда и свой великан-покровитель. У Пазина — великан Драгоня, у Мотовуна — великан Веле Ежи. Удивляет реальность деталей этих преданий, по ним можно судить, как некогда здесь жили люди. Великан пахал землю, таскал камни с полей, пас скот, рыбачил — и всё на благо людей. И как в жизни, с ним постоянно что-то случалось: его обижали те же люди, ему приходилось грести на галерах, он сражался с врагами. Обид добродушный великан не

прощал: то в гневе перекапывал русла рек и направлял воду на город, то уводил реку под землю... (Кстати, эти детали тоже взяты из реальной жизни: в Истрии много карстовых пещер и подземных рек.) Но в одном жители городов-крепостей и их покровители были едины: они хотели быть свободными.

И сейчас в городе Мотовун живут люди, пьют в кафе свою светлую малвазию, заготавливают трюфели, которыми так богаты окрестности (в октябре здесь даже проводится праздник трюфелей), принимают туристов, ходят вверх-вниз по горбатым переулкам, но многие мотовунцы уже спустились в долину, построив новые коттеджи вблизи виноградников.

Мы разговорились с молодым человеком, затянутым в чёрную кожу, — он остановил свой мотоцикл у дверей кафе, близ центральной площади. Иван Лучич, так назвался парень, прикатил из Пазина к приятелю. С важностью рассуждал Иван о тихой жизни Мотовуна и бурной, по его мнению, Пазина.

— У нас птицеферма, текстильная фабрика, известняковый карьер. Я в карьере работаю. Из известняка Истрии вся Венеция построена! Раньше венецианцы его просто вывозили, теперь покупают — для реставрации. В Пазине даже Жюль Верн в своё время побывал. А Мотовун что? Плавает зимой в облаках...

Верно, плавает Мотовун в облаках, храня историю, может, потому и едут сюда люди?

КРУЖЕВА ОПАТИИ

Вскоре за серокаменным Мотовуном началась Белая Истрия — горная. Нет, о снегах и ледниках говорить не приходится: самая высокая гора Истрии, Учка, — 1396 метров. Просто осенью горные леса становятся прозрачными, и отчётливо просвечивают белые известняковые бока гор. В 1981 году под Учкой, прикрывающей город Опатию от ветров, проложили пятикилометровый туннель. И этим, самым коротким путём, мы выскочили к Опатии, к заливу Кварнер, или Кварнерос, как говорили древние, то есть «Открытый на четыре стороны света».

Опатию называют «старой дамой туризма». В прошлом небольшая рыбацкая деревушка, Опатия (что значит «аббатство») в конце XIX века превратилась в модный курорт для очень богатых людей.

Статус курорта она получила в 1889 году, через несколько лет после того, как конгресс венских врачей признал её безусловные достоинства: прекрасный климат, тёплое море, сероводородные источники и т.п. Первый отель «Кварнер» вырос на берегу одноимённого залива рядом с богатой виллой, построенной неким Инжино Скарпа из города Риеки в память рано умершей жены. Скарпа разбил и прекрасный парк: капитаны привозили ему саженцы редких деревьев со всего света. И парк, и вилла, и отель существуют до сих пор, и по дорожкам парка между пальмами, пиниями и кипарисами чинно прогуливаются отдыхающие. Когда-то по этим дорожкам ходили знаменитый Густав Малер, австрийский композитор и дирижёр, и не менее знаменитые братья Люмьер, Антон Чехов; порхала прелестная

Айседора Дункан... Своим открытым купальником Айседора эпатировала курортное общество — ведь тогда купались чуть ли не в платях.

И по сей день Опатия хранит традиции респектабельности: нас, к примеру, предупредили, что в ресторан вечером пускают только в смокингах. Чопорностью и изысканностью веет и от старинных отелей, построенных на переломе веков австрийскими архитекторами. Песочно-белые тона, высокие окна, эркеры, изящные парадные... Этакий маленький осколок Австро-Венгрии. Кстати, и ближние острова здесь называются соответственно — остров Бельведер, остров Моцарт...

Днём самое оживлённое место в Опатии, пожалуй, на краю парка, спускающегося к морю, там, где стоит скульптура девушки с чайкой. Её поставили в середине XX века, и эта бронзовая девушка у кромки моря стала символом города. А Мадонну, скорбящую о погибших моряках, перенесли к стенам церкви. Уместно ли скорбеть в городе, полном солнца, цветов и богатых людей?

Вблизи памятника расположились торговцы сувенирами и кружевами. Некоторые мастерицы — дородные немолодые женщины — здесь и работают, вяжут кружева на спицах. Их товар, развешанный на тонкой невидимой бечеве, пронизанный солнцем, кажется пенным морским прибоем...

15–20 тысяч человек живут в Опатии, и многие из них обслуживают этот курорт. Едва ли они думают о своём городе как об осколке канувшей в небытие империи. Это взгляд лишь ненадолго заглянувшего сюда человека, пытающегося в настоящем различить прошлое.

Опатия почти соседствует с Ловраном, городом, где, как я уже упоминала, живёт Маури Мейер. Может, поэтому, когда мы возвращались из Опатии в Пулу — вдоль восточного побережья Истрии, Маури был особенно словоохотлив: эти места он знал очень хорошо. Маури рассказывал и про родной Ловран, где, по легенде, Дафния, спасаясь от Аполлона, превратилась в лавровое дерево; и про церковь святого Юрия, в которой сохранились надписи на кириллице, и про «кресскую» баранину — напротив побережья лежит большой остров Црес, известный своими пахучими целебными травами. А когда под городом Рабац, в долине, показался аккуратный посёлок с церковью, напоминающей вагонетку с трубой-колокольней, Маури сказал:

— Эту церковь святой Барбары, покровительницы шахтёров, построил Муссолини во время второй мировой войны. Уголь тогда добывали даже в море, до острова Црес...

Ровинь.

До Венеции рукой подать

— Ровинь, — рассказывает Марина по дороге на западное побережье Истрии, — это почти Италия. Даже сейчас там говорят на диалекте итальянского, и голоса у многих итальянские — сочные, звучные...

А Маури снова вспоминает войну:

— Когда-то Пулу и Ровинь связывала железная дорога. Сейчас в Ровини осталась лишь станция. Рельсы сняли по приказу Муссолини и отправили в Северную Африку, где шли большие бои. Но в пути поднялся сильный шторм — и теперь рельсы лежат на дне Средиземного моря. Божья кара!..

В Ровинь мы приехали накануне праздника святой Евфемии, покровительницы города. На центральной площади стояли большие парусиновые палатки; заглянув внутрь, я увидела длинные столы для завтрашней трапезы. Возле палаток ребята вместе с молоденькой учительницей соревновались в перетягивании каната. Было как-то предпразднично шумно и весело. «Подрумы» — кабачки, подвалы, кофейни, быстро — тоже не пустовали.

Мы присели за столик уличного кафе — передохнуть с дороги. Подошёл молодой черноволосый официант.

— Добар дан, — поздоровался он.

— Добрый день.

Официанта звали Джованни. Покончив с кофе и мороженым, я спросила:

— Джованни, а что завтра поставят на столы, ну, там, на площади?

Джованни, польщённый моим любопытством, почти пропел:

— Хлеб домашний, овечий сыр, пышерт, поленту, фужи, неки, домашнее вино, граппу...

Тут уж без Марины было не обойтись, и она пояснила:

— Джованни назвал всё, чем встречают гостей дома. Пышерт — это вяленая свинина, тонко нарезанная, полента — мамалыга, фужи — спагетти с мясом, неки — что-то вроде пельменей с картошкой, ну а граппа — та же лозовача, виноградная водка, граппой её называют итальянцы.

Жаль, что нас не будет завтра в Ровини...

По узкой улочке — метра два шириной — поднимаемся к собору. На каждом повороте, на каменных ступенях, сидят художники. Явно не местные. Каждый рисует свой поворот: стены домов с маленькими нишами — а в них скульптуры, жалюзи, цветы на окнах, висячие фонари, раскачиваемые ветром, ступени, улочки, сбегające вниз...

Кто они, эти художники? Откуда приехали? Маури, который тоже решил посетить собор, рассказывает:

— Когда началась последняя война¹, к нам перестали ездить англичане. А итальянцы, словенцы, австрийцы ездили, не боялись. Ведь в Истрии не было боевых действий, хотя всё равно мы жили как на вулкане. Я со своими друзьями-шофёрами возил боеприпасы в Дубровник. Четверых товарищей потерял. Будь она проклята, война! Ну что не живётся людям спокойно? Такая красота вокруг — живи, кажется, да радуйся...

¹ Речь идёт о распаде Югославии, об этнических конфликтах, обрушившихся на страну. Хорватия провозгласила независимость в 1991 году.

В соборе святой Евфемии тоже готовились к завтрашнему дню. Но нас всё-таки допустили взглянуть на саркофаг мученицы, что стоит за алтарём, под балдахином. Справа и слева от саркофага — картины во всю стену, повествующие о судьбе святой. Легенда гласит, что Евфемия была из знатной римской семьи. За веру в учение Христа её бросили на растерзание львам — то было время, когда первые христиане подвергались в Риме жестоким гонениям. Но львы не тронули девушку... Однако Евфемия всё равно поплатилась жизнью за веру.

Когда саркофаг с телом Евфемии перевозили через море, разыгралась буря. Корабль пошёл ко дну, а саркофаг прибило к берегам Ровиния. Жители города ломали головы: как поднять его на холм, где стоит церковь? И тут услышали голос с небес: его сможет перенести только мальчик на двух волах...

Так и сделали. Потом, уже в XVIII веке, построили большой трехнефный собор, где и покоится ныне святая Евфемия. Со временем её лицо закрыли специальной маской. Саркофаг открывают лишь раз в году, в праздник защитницы и покровительницы города. Это тоже будет завтра...

В углу собора висело скромное объявление: «Вход пять кун¹!». Оказалось, столько стоит подняться на колокольню. Как же устоять, если предлагают взглянуть на город с высоты 60 метров! Такова высота колокольни, которая лишь на пять метров ниже самой высокой колокольни Истрии, что находится в городке Воднян (кстати, последняя — копия колокольни Сан-Марко в Венеции, только ниже).

Ступенька за ступенькой — потеряла счёт, что-то около тысячи, — дощатых, щелястых, шатающихся... Наконец, последний марш — ветер и солнце ударяют в лицо... Передо мной Ровинь — множество красных черепичных крыш у кромки синих безбрежных вод. И — островки кругом. Раньше и город стоял на острове, но пролив давно засыпали: на материке надёжнее.

Мы спустились с колокольни, вышли из собора и смешались с толпой на пристани. Люди спешили на катамаран «Принц Венеции». Всего-то два с половиной часа хода до города, с которым столетия была связана судьба Истрии...

Помнится, когда мы возвращались из Венеции и увидели Ровинь с моря, он показался особенно прекрасным: город поднимался из волн могучей крепостной стеной, рядами светящихся окон и стре-



Пула. Древнеримский цирк

лой колокольни, устремлённой в ночное небо. И так было уже семнадцать веков.

СУББОТНИЙ ДЕНЬ В ПУЛЕ

С этого города началось наше странствие по земле Истрии, в нём и закончилось. Напоследок захотелось вновь пройтись по улицам Пулы.

Была суббота. Наш отель стоял на окраине, в сосновом лесу, на берегу моря. Ехать в центр надо было на автобусе. Я немного поплутала в кварталах новых многоэтажек, но случайная прохожая, к которой обратилась по-русски, вывела меня к автобусной остановке, хотя ей явно было не по пути. Уже в который раз я ощутила доброжелательность хорватов...

Над городом плыли высокие облака, гонимые ветром. Вчера целый день шёл проливной дождь, и город был окутан серым маревом. Однако утром, на моё счастье, выглянуло отдохнувшее солнце — и пенное штормовое море стало синим и спокойным, высветились перспективы улиц со светлыми плоскостями домов, заиграли всеми оттенками зелёного пальмы, акации, олеандры, заалела герань на балконах, запестрели тенты уличных кафе и оживилась набережная: люди спешили к своим белобоким яхтам...

Я сошла в центре и, прежде чем выйти к знаменитому Амфитеатру, поднялась по какой-то тихой зелёной улочке; в конце её, на взгорке, стояла маленькая церковь. Каменный крест был отчётливо виден на фоне неба, он-то меня и притягивал.

Церковь, сложенная из серых грубых камней, оказалась закрытой. Но на двери висело расписание служб и ближайших православных праздников.

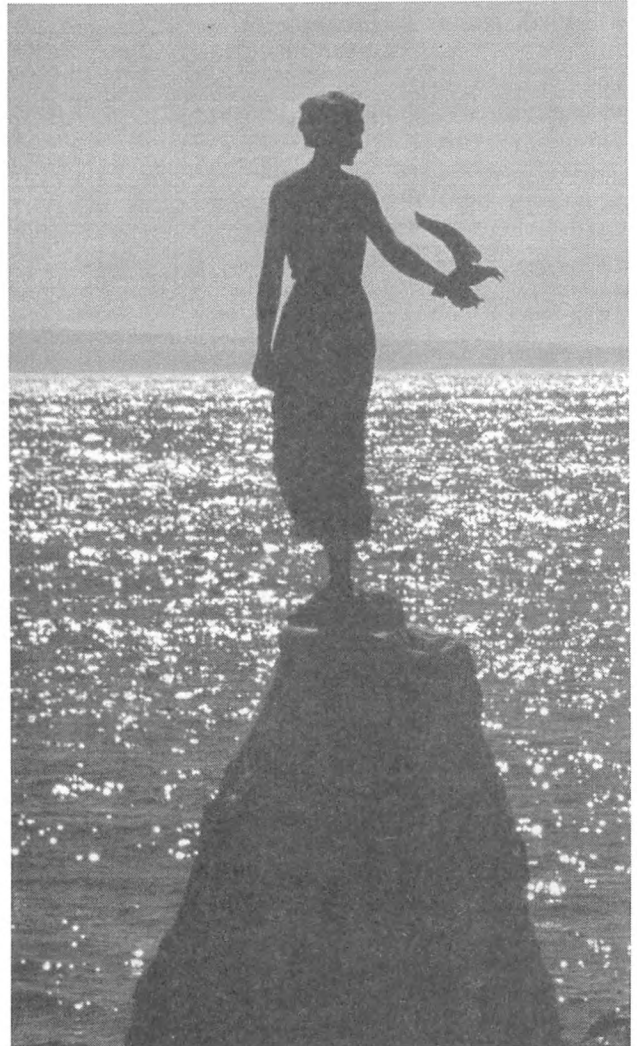
¹ Кунa — денежная единица в Хорватии. Название пошло от слова «куница»: когда-то хорваты платили дань венгерским королям кунными мехами.

Православных в Пуле, как и по всей Истрии, немного. И это не удивительно: хорваты приняли христианство от Рима в VIII–IX веках. Да и вся жизнь этой земли была неразрывно связана с Римом...

Вот оно, тому доказательство — Амфитеатр, Цирк, Арена — так называют жители Пулы этот уникальный памятник. Века назад море подступало вплотную к его стенам, а сегодня надо пересечь несколько улиц, чтобы выйти на набережную. Стены Амфитеатра повторяли формой римский Колизей и поднимались на высоту трёхэтажного дома. Помнится, Марина, когда мы ещё в первый день приезда побывали здесь, говорила, что по величине это шестой в мире древнеримский цирк. Он был построен при императоре Веспасиане, вскоре после того, как Гай Юлий Цезарь в I веке до нашей эры основал Пулу, ставшую колонией могущественного Рима.

...На этой просторной арене, посыпанной песком, бились гладиаторы; здесь же бросали львам первых христиан. 85 тысяч людей заполняли уходящие вверх трибуны, сидели на тех же каменных сиденьях, на которых сейчас сижу я. Только сегодня на арене — море зелёных пластиковых стульев, таких нелепых и легкомысленных рядом с серым камнем римских времён. Амфитеатр стал местом проведения музыкальных фестивалей. Да и сами сиденья, вырубленные из местного известняка, уже выщерблены, источены, а многие просто выломаны: было время (ныне Арена и весь старый город заповедны), когда жители Пулы растаскивали камень для строительства домов. А Венеция вообще хотела увезти всю Арену... Но, слава Богу, нашёлся человек — венецианец Габриэль Эмо, отстоявший Амфитеатр. Было то в XVI веке.

Цезарь, муж государственный, заселял захваченные земли воинами-ветеранами, и они обживали их. В подземельях Цирка, где когда-то держали хищных зверей, расположился ныне маленький музей из предметов, собранных археологами. Глиняные амфоры, давящий станок, каменная чаша для вина — метра два в диаметре, каменные доски с барельефами — человек с оливковой ветвью, человек с виноградной лозой...



Опатия. Символ города

Вообще, поступь римских легионеров слышится в старом городе отчётливо. То на городских воротах с двумя проёмами читаешь надпись, которая увековечила жителя древней Пулы, построившего в городе водопровод; то за зданием Археологического музея натыкаешься на Малую арену — Малый римский театр; то видишь восстановленный храм — сейчас там Лапидарий, где собраны древние надписи, оставленные на камнях. А Триумфальная арка, воздвигнутая ещё в I веке до нашей эры и ставшая прообразом всех будущих триумфальных арок, вызывает в памяти события у мыса Акции, где римлянами был разгромлен флот египетской царицы Клеопатры. Арку поставила знатная римлянка, потерявшая в этой битве сына, мужа и брата. Неподалёку от арки находилось римское кладбище, которое воспел Данте в песнях «Ада».



Ровинь. Вид с моря.
Фотография Л.А.Чешковой

Тёплый снаружи камень Триумфальной арки хранит внутри холод прошедших столетий. А вокруг неё — людно и солнечно...

На центральной площади, которую называют Форум, развеивается на ветру флаг Хорватии. В центре его отлично виден герб: красно-белое шахматное поле, обрамлённое зубцами короны. Пять зубцов-щитков — пять исторических областей Хорватии: Старая Хорватия, Дубровник, Далмация,

Истрия, Славония. Про щит же герба — «шаховницу» — Маури рассказывал любопытную легенду. Будто бы давным-давно, в средние века, хорватский князь предложил венецианцам разрешить очередной спор не войной, а за шахматной доской. И победил! С тех пор «шаховница» вошла в герб Хорватии. Как знак мирной победы.

Я хотела бы вернуться в Истрию, когда зацветёт черешня...

Анна МУРАДОВА

ПИРАМИДА В ОКЕАНЕ

Этот знакомый по путеводителям и открыткам силуэт в ясный день напоминает издали замок из сказки. В туманный день вид ещё эффектнее: на горизонте маячит некое воздушное, будто парящее в небе строение, которое не держится ни на чём. Всякий путник попадает под очарование волшебной горы, покоящейся то на синих водах моря, то на прибрежных зыбучих песках, и древнего аббатства с остроконечным шпилем, вонзающимся в самое небо. Виктор Гюго назвал этот остров с монастырём «Пирамида в океане».

Когда говорят о Мон-Сен-Мишель (Гора Святого Михаила), обычно имеют в виду уникальное творение многих поколений архитекторов, выросшее на горе за тысячу с лишним лет. Но архитектурное чудо лишь дополняет необычное творение природы: гора расположена на границе Нормандии и Бретани, в месте, где амплитуда приливов и отливов самая высокая в мире — около 15 метров.

Море здесь изменчиво настолько, что, проснувшись утром, можно его не увидеть: во время отлива вода отступает на 18 километров, и только где-то на горизонте смутно угадывается голубая полоса. Ближе к обеденному времени вода начинает прибывать, причём так быстро, что кажется, будто где-то открыли кран и заполняют море, как ванну. И к вечеру там, где вы чинно прогуливались после обеда по немного подсохшему песочку, уже плещутся волны и на порядочной глубине бочком-бочком бегают крабы. Скорость прибывающей воды просто фантастическая — 62 метра в минуту, то есть около метра за одну секунду!

Во время прилива гора становится островом, к которому раньше иначе как вплавь добраться было невозможно. Теперь же остров соединён с побережьем дамбой, по ней проходит асфальтированная дорога. Когда море отступает, гора гордо возвышается посреди необозримых песков. Однако от этого не становится более доступной. Пески вокруг опасные, серые и вязкие, вечно пропитанные морской водой и могут засосать,

как болотная трясина. Каждый год, несмотря на предупреждения и знаки «Осторожно: зыбучие пески!», в них гибнет по несколько туристов за лето. А что творилось в старые времена, когда не существовало ещё асфальтированной дороги?

В общем, даже при беглом взгляде становится ясно и понятно, что место это непростое: ни на море — ни на суше, на границе земли и водных просторов, нашего и чужого мира.

...Помню первое ощущение от посещения Мон-Сен-Мишеля. Это было чувство нереальности происходящего, необъяснимое мистическое чувство, которое сложно передать словами. Моё первое свидание с чудесной горой состоялось холодным весенним днём, когда толпы туристов ещё не съехались и гора хоть отдалённо напоминала то, чем была когда-то: отрезанное от мира аббатство, зависшее где-то на полпути между морем и небом. Море и небо были одинаково пасмурно-свинцового цвета, и когда мы с друзьями поднимались по очередной лестнице, находящейся на самом склоне горы, пространство под порывом солёного ветра видоизменилось: море и небо образовали одну сферу, и на секунду мне показалось, что гора (и мы вместе с ней) находится внутри какого-то полого металлического шара. Облака бежали в том же направлении, что и волны, и где они сливались, переходили одни в другие, понять было невозможно. И вот нет уже ни верха, ни низа, ничего...

Есть такое понятие — зона перехода, переправа из одного мира в другой, из одной реальности в другую, соприкосновение мирского и священного. Мон-Сен-Мишель как нельзя лучше соответствует описанию такого вот места, где человек может почувствовать, что находится вне обычных рамок времени и пространства. В таком месте нельзя определить, где право, где лево, где верх, а где низ. Именно там чувствуешь себя маленьким существом, затерянным на просторах огромного мира, цыплёнком, не вылупившимся из яйца.

Именно в таких местах во все времена возводили храмы.

МП: Анна Романовна Мурадова — лингвист, специалист по кельтским языкам. Окончила Университет Ренн-2 (Бретань, Франция). Кандидат филологических наук.

О христианском храме, существовавшем на горе, впервые упоминается в 708 году, тогда же говорится и о некоем селении, в котором был выстроен храм.

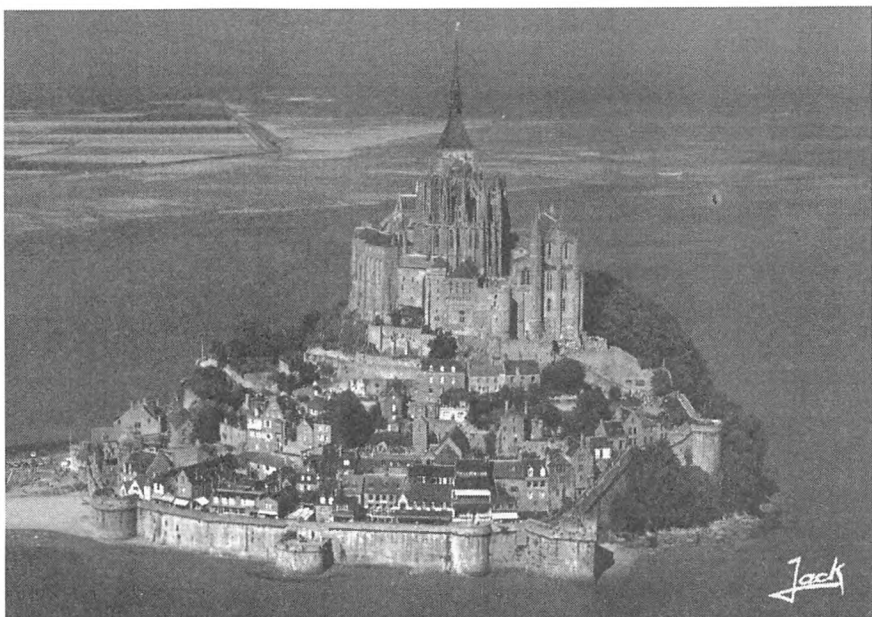
Первое упоминание, однако, не означает, что именно в это время люди впервые поселились на этой горе. Известно, что окружающая местность была заселена с незапамятных времён: в античности она была вполне обжита. До VIII века гора ещё не была островом, а возвышалась посреди лесистой равнины. Но в 709 году море внезапно стало наступать, затопило леса и отрезало гору от суши, сделав её островом.

Что находилось и что происходило на горе до VIII века, — неизвестно. Вероятно, поселение на её вершине существовало к тому времени уже давно. Принято считать, что там стоял храм старого галльского бога Беленоса, которого позже сменил римский Меркурий.

О том, как впервые на горе появился христианский храм, повествует красивая легенда: будто бы место для его постройки указал сам архангел Михаил. Он обозначил на вершине горы круг, на котором не было утренней росы. В середине этого круга лежали два огромных камня, которые следовало убрать и на их месте выстроить храм. Что за круг? Что за камни? История об этом умалчивает. Тем не менее, предание повествует о том, что Обер, епископ Авраншский, которому архангел указал место для храма, не сразу решился начать строительство, потому что место это было связано с какими-то языческими обрядами.

Скорее всего, всё было почти так, как в легенде: речь идёт о замене языческого культа христианским — два камня могли остаться от языческого капища, на месте которого, как это часто бывало в то время, была возведена небольшая молельня. Эта молельня, построенная в 708 году, частично сохранилась, причём известно об этом стало сравнительно недавно — её открыли в 1961 году за стеной одной из более поздних церквей. К сожалению, увидеть можно лишь одну стену молельни, сложенную из больших, плохо пригнанных камней. Кажется, что они набросаны как попало: большие лежат на маленьких, острые углы торчат...

Кроме этого фрагмента, не видно ничего, но остальное можно представить, причём большим воображением для этого обладать не надо: в восьмом веке не строили ничего особенно сложного и изысканного. Храмы были неказисты и представляли собой нечто среднее между гротом и сараем, сложенным из разнокалиберных камней. В те суровые времена люди вообще мало думали об украшении жилища, а священники и монахи — в особенности.



Мон-Сен-Мишель

Однако со временем одной молельни оказалось мало: на горе возник монастырь. Монахи стремились полностью посвятить себя духовной жизни, но... В IX веке на побережье обрушилось страшное бедствие — печально знаменитое нашествие викингов. Остров с укрепленным монастырём за одну ночь оказался под властью норманнов, сдался без боя, потому что капризная пограничная река Куэзнон изменила своё течение (этим и вошла в историю и поговорку).

Викинги, или норманны, со временем стали полноправными хозяевами севера Франции, так как французский король вынужден был признать их предводителя Роллона герцогом новой страны, которая стала называться «Нормандией». Роллон крестился и принялся наводить порядок в церквях и монастырях. Потомки Роллона продолжили его дело. По приказу его сына, Ричарда Первого, канониками в монастыре на горе стали бенедиктинцы.

Уже тогда на остров шли паломники, люди отважные и смелые, глубоко и искренне верующие: ведь для того чтобы попасть сюда, нужно было преодолеть три опасности: стремительно наступающее море, зыбучие пески и плотный морской туман, скрывающий из виду первые два препятствия. Однако риск, по-видимому, и притягивал тех, кто воспринимал это путешествие как испытание. Место становилось всё более известным, и в 966 году монахи-бенедиктинцы всерьёз занялись обустройством острова. К несчастью для них, в 992 году случился большой пожар и многие здания пришлось перестраивать или отстраивать заново. К чести монахов надо сказать, что отстроились они добротнo.

...Внутри старинной церкви сыро, прохладно и полутемно. Низкие своды, сложенные из камней: больших и поменьше, плоских и круглых, серых, коричневых и красных. Так строили в десятом веке. Уже тогда появились первые украшения: арки, низ-

кие приземистые колонны. Новые строения не были похожи ни на пещеры, ни на сараи, в них появляется какая-то грубоватая красота. Однако паломники — не туристы, они идут сюда не для того, чтобы получать удовольствие. Их цель ощутить то единение с Богом, которое возникает у верующего человека именно в этом странном месте: ни на суше — ни на воде, ни на острове — ни на материке.

Количество паломников увеличивалось год от года, они стекались отовсюду — из ближних и дальних стран. По всей Франции можно было увидеть людей, идущих по дорогам с перемётной сумой и посохом и вышитыми на одежде ракушками. Иногда целые деревни вдруг срывались с насиженного места и отправлялись к чудесной горе. Позже организовывали даже отдельные детские паломничества: так, в XIV веке, к горе отправились маленькие пастухи и пастушки со всей Франции, а двумя веками позже дети от восьми до двенадцати лет собрались сразу из нескольких стран — Бельгии, Германии, Швейцарии — и двинулись в далёкий путь, чтобы воочию увидеть гору архангела. Распрощавшись с родителями, неся хоругви родных приходов, они отправились в путь. Путешествие было долгим (длилось оно около двух лет) и опасным: на дорогах было беспокойно, многих на пути подстерегали болезни, и всё же дети шли к священной горе наравне со взрослыми.

Не только простые люди стремились поклониться святыне: короли и принцы составляли особую категорию паломников. Особенно жаловали монастырь короли Франции. Людовик XI учредил королевский орден Рыцарей Сен-Мишеля. Рыцари получали из рук самого короля цепь, звенья которой были сделаны в форме ракушек. На цепи висела медаль, изображавшая архангела, поражающего дракона. Это тем более удивительно, что гора находилась тогда в другом государстве, на территории герцогства Бретань, на самой границе с Нормандией, да к тому же неподалёку от Англии, и постоянно оказывалась в центре политических страстей и событий.

Эти и многие другие события серьёзно меняли и жизнь монахов, и даже сам облик аббатства. В 1024 году в результате военных действий на горе возник большой пожар. Только спустя сто лет монахам удалось заново отстроить аббатство, которое изрядно похорошело. Новый монастырь был возведён в готическом стиле и считается одним из лучших образцов готики.

Каждая деталь в этом необычном строении имеет свой смысл. Монастырский сад, находящийся на высоте 77 метров над уровнем моря, под самым небом, — это не что иное, как средневековый Мистический сад, уютная тихая площадка, окружённая колоннадой. Это место было предназначено для отдыха: именно здесь монах мог уединиться и погрузиться в думы. Колонны невысокие — в человеческий рост, причём расположены не симметрично, а двумя рядами в шахматном порядке, так что монах, чинно прогуливающийся по периметру сада, мог

наблюдать, как колонны будто бы тоже шагают, прячутся одна за другую. Впрочем, во всех готических зданиях на горе есть своя загадка, своя учёная игра.

Игра света и тени, изменения пространства, происходящие благодаря сводчатым потолкам и аркам, колоннадам — всё подчёркивает необычность, почти нереальность этого места. Входишь в трапезную — и застываешь в недоумении: справа и слева — сплошные стены с колоннами. Откуда льётся свет? Проходишь вперёд — и видишь, как одно за одним тебе открываются узкие высокие окна, которых сперва за колоннами не видно. Ещё пройдёшь — те окна, что позади тебя, опять спрятались, те, что впереди, — ещё не показались. Видно окно справа и окно слева — и всё. Так и ходишь в мире иллюзий, солнечные лучи играют с тобой в прятки, наводя на мысль о том, что истинный свет иногда бывает скрыт от нас.

Бенедиктинцы любили символы и загадки. Не только свет, но и звук изменялся в этой необычной трапезной. У монахов существовал особый закон: ели они молча, говорить было запрещено, общаться дозволялось только с помощью специально установленных жестов. Всё это время один из братьев читал с каменной кафедры душеспасительные тексты. Стены и свод усиливали его голос, и он был слышен даже в самом дальнем конце трапезной.

Не менее удивительно другое помещение: скрипторий, то есть место для переписывания. Здесь монахи корпели над рукописями. Просто диву даёшься, как это им удавалось: помещение, в отличие от светлой трапезной, — мрачно-серьёзное, свет проникает сюда еле-еле и тут же теряется под сводами между колоннами. И тем не менее это помещение было самым приятным во всём аббатстве: скрипторий отапливался (обычно в бенедиктинских монастырях огонь разводили только на кухне и в лазарете). В скриптории имеются аж два огромных камина, таких, что туда отправляли целиком стволы огромных деревьев. Теперь, конечно, так не делают, тем более что окрестные леса давно сведены на нет. Можно зайти внутрь камина и оказаться в небольшой комнате с огромной трубой вместо потолка.

Не стоит думать, что монахи обогревали скрипторий для того, чтобы побаловать себя. Конечно же нет! Здесь хранились книги, которые не выносят сырости, а воздух в этой местности настолько влажный, что определить, где кончается море, а где начинается туман, где кончается туман и начинается воздух, просто невозможно. Нежные пергаментные книги, в отличие от монахов, к таким условиям не приспособлены. И для того чтобы просушить — а не прогреть! — воздух в помещении, оба камина работали на полную мощность. Местный скрипторий был знаменит, именно из-за него Мон-Сен-Мишель в XII веке называли «столицей книг». В то время главой монастыря был аббат Ториньи, учёный с широчайшим для того времени кругозором; он наполнил скрипторий не только богословскими

книгами, но и сочинениями греческих, римских и византийских авторов, историческими и медицинскими трактатами.

...А пока монахи корпели над учёными книгами, приближающаяся война между двумя сильными противниками — Францией и Англией, знаменитая Столетняя война, заставляла жителей многих прибрежных городов готовиться к защите от врагов. Во время этой войны укрепления на территории аббатства возводились несколько раз, и постепенно монастырь стал похож на феодальный замок, над которым возносился к небу величественный собор. За крепостными стенами расположился целый гарнизон. Аббат на время стал кем-то вроде главнокомандующего. Архангел не оставил свою гору в беде: несколько раз крепость была атакована англичанами, но всякий раз враги терпели поражение.

После войны к Святому Михаилу стали относиться с особым пиететом: ведь он был одним из тех архангелов, которые явились Жанне д'Арк в её родной деревушке Домреми и приказали ей стать спасительницей Франции. Число паломников заметно увеличилось. Пожалуй, это время можно назвать расцветом аббатства.

К сожалению, монахам было не чуждо всё земное, и, купаясь в лучах славы архангела, они стали забывать о том, для чего, собственно, находятся на острове. Аббаты, пользуясь некоторой вольностью устава, перестали постоянно жить на горе, и оставшаяся без надзора братия постепенно перестала отказывать себе в мирских удовольствиях. А во время религиозных войн монастырь и вовсе впал в немилость, так как один из его аббатов участвовал в заговоре против кардинала Ришелье. В 1632 году бенедиктинцы вновь пытались навести порядок в монастыре, но, вероятно, былой престиж был потерян навсегда.

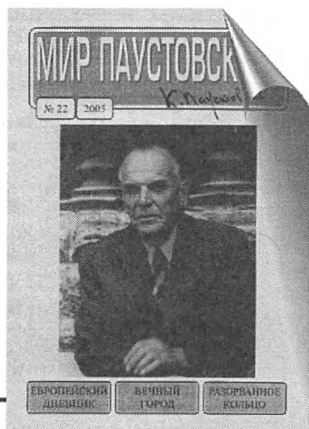
Однако окончательно монастырь был уничтожен позже, во время Французской революции. Революционный смерч пролетел по стране, сметая на своём пути по возможности всё, что связано с религией. И монастырь, переживший наводнение, пожары, атаки викингов и англичан, был впервые побеждён. Сначала его объявили «свободным храмом», выгнали оттуда монахов, а потом сделали из него мрач-

ную тюрьму для политзаключённых. Кельи превратили в камеры, в монастыре были установлены орудия пыток и ужасные железные клетки. Здания постепенно ветшали, приходили в запустение.

Лишь в XX веке всё вернулось на круги своя: монастырь был отреставрирован, и в 1965 году монахи-бенедиктинцы заняли там своё законное место.

Однако он перестал быть почитаемой святыней, и, хотя по-прежнему людской поток не иссякает, стремятся туда уже не паломники, а туристы. Ныне Мон-Сен-Мишель объявлен памятником Всемирного наследия. Туристам не нужен архангел, им нужно полюбоваться на величественное здание собора, на парадоксальные архитектурные изыски, побродить по отвесным улочкам средневекового города, бросить на счастье монетку в глубокий колодец и загадать желание. Обливаясь потом, летние туристы карабкаются по каменным лестницам, толкаются в сувенирных лавках. А вечером, когда огни расцветивают гору, все ресторанчики забиты до отказа: туристы предаются чревоугодию — поглощают морских моллюсков, крабов и прочих чудищ, глядя, как вода стремительно окружает гору...

Приехав сюда летом, я не увидела ничего особенного: сверху картинно-рекламное голубое небо, бодренькое бирюзовое море, вокруг — туристы, туристы, туристы, потные лица и мокрые спины. Побродив по кромке зыбучих песков и увязнув в них по щиколотку, я собралась было расстроиться, но мне посоветовали остаться на горе до полуночи. Ночью во всём здании монастыря играла тихая музыка, а стены оживали под мягким светом разноцветных прожекторов: на полу возникали узоры витражей, на стенах плескались волны... Выйдя на площадку, я глянула вниз. Далеко внизу виднелась башня с острыми гранями, вокруг которой шумели тёмные волны, далеко вверх устремился шпиль собора с золотым архангелом и будто упирался в тёмно-синее небо. В небе были звёзды, и в море были звёзды. Где кончалось небо и начиналось море — никто не мог видеть. Ясно можно было ощутить лишь то, что земля далеко, а небо — гораздо ближе. И снова я очутилась внутри сферы, где низ и верх могли поменяться местами, где не было ни права и ни лева, только теперь эта сфера была обита изнутри синим бархатом с золотым шитьём.



ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ

Наталья ГЕНИНА
(Германия)

ПОКУДА В ПОДНЕБЕСЬЕ ТЯНЕТ...

* * *

Не понимаю, что со мной происходит.
То ли кровь, давно застывшая, бродит,
то ли тоска совсем меня доконала —
видно, горя и вправду мне было мало.
И вот на обочине, в тёплой пыли июня,
сiju я сиднем, не в силах пошевелиться.
И поделом тебе — смиренница, лгунья —
не перелистывай полузабытые лица.
Эту книгу больше не в силах читать я.
И пустоты сегодняшней не одолеть мне.
Нет у меня, мой милый, чёрного платья,
чтобы в нём брести по дороге летней.

* * *

Ните Табидзе

Упругий звон да серый блеск...
А время-то идёт.
Не пилится упрямый лес —
из-под пилы растёт.
Его стволов не сокрушить,
пока — один за всех —
он защищает право жить,
как самый смертный грех.

* * *

Свинцовый отблеск, медный свет...
Терпи, покуда сил достанет,
покуда в поднебесье тянет —
уводит — этот лёгкий след.
Терпи, тебе ещё зачтётся,
любой по силам станет крест.
Из чаши пей — в один присест —
до дна — и небо отзовется.

* * *

И дремлет жизнь, как пыль под лавкой,
и за окошком снежный ком
растёт, и льдиной тугоплавкой
лежит рассвет под языком.
За всё воздастся нам сторицей,
и всё окупится с лихвой.
И звёзды Рождества с корицей
засветятся над головой.

* * *

Под мюнхенский лепет и шёпот усни,
меня не кляни и себя не вини.
Мы глухи и немые, но можем притом
словесную воду ловить решетом.
Тщедушные стены, и вздор, и тщета.
Я знаю, никто никому не чета.
Здесь Тютчев однажды шагнул за порог
затягивать туже любви поясок.
Я знаю, никто никому не родня.
Не так уже сладок дым без огня
в Отечестве зыбком, где все мы живём.
Ты спишь, как бездомный в доме моём.

МП:

Наталья Михайловна Генина родилась в 1951 году в Москве, окончила филфак пединститута, преподавала русский язык и литературу в школе и в вузе. Работала в библиотеке, в журналах «Техника кино и телевидения», «Юность», в газете «Московский комсомолец». Член Союза литераторов России. Много лет переводила грузинскую поэзию. Книга стихов вышла в Москве в 1996 году. С 1995 года живёт в Мюнхене, преподаёт в русской школе, работает в газете «Русская Германия».

* * *

О.М. Спиваковой

Там питерский густой
и терпкий говорок,
там кот, хорош собой,
читает между строк,
там крепость на стене —
свинцовая душа.
Там ходишь, как во сне,
и ждёшь едва дыша,
когда хозяйка — вмиг
умея сбиться с ног, —
в гнездовье, полном книг,
взлетит под потолок —
и снимет с полки том.
Забывая родня,
он в городе чужом
стоит и ждёт меня.
И если повезёт,
он вновь в моей руке
задышит, заживёт
на вечном языке.

ПТИЦА ПЕГАС

Пока мы живы, нас никто не слышит.
След на снегу крестом привычно вышит,
небесное раскрылось шапито.
Известно всем, что правды нет и выше,
а что там наварили нувориши,
они нам не доложат ни за что.
За стайей стая — небо разомлело.
И непонятно: где душа, где тело.
И даже если песни щебетать —
причудливо, бездарно, неумело,
о воздух спотыкаясь то и дело,
не выйдет повернуть с арены вспять.
И зрители в беспальные ладони
захлопают, и голос мой потонет
в сугробах и под купол не взлетит.
В благообразном пряничном притоне,
в тяжёлой позолоченной попоне,
как ни крути — а дышится навзрыд.

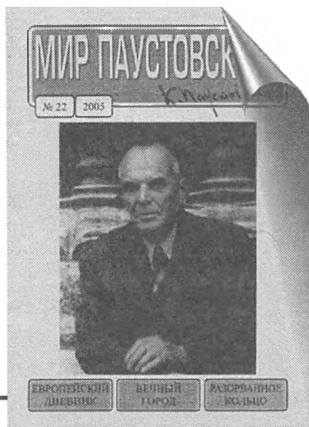
* * *

Перевожу на славянский тоску с санскрита,
самый последний грош за душою прячу.
Всё отпираю дверь, что давно открыта,
связкой ключей гремлю и беззвучно плачу.
Что я ищу? Не веру, а может статься,
только её предгорье, её предтечу.
Сколько можно доверчиво улыбаться?
Сколько можно лицо открывать навстречу?
Нет, ничего, увы, не стерпит бумага.
Чиркну спичкой — руки над ней согрею.
Я, всеильная, сделать не в силах шага.
Я, бесстрашная, глаз приоткрыть не смею.
Перевожу с беспамятства и молчанья,
перевожу со всех языков на свете —
на бессмысленный, грешный язык отчаянья,
за который я вечно буду в ответе.

* * *

Под грузом вер, любовью и надежд,
под ветром их неровного дыханья —
в Москву, в Москву!

Пусть через Будапешт
или Бомбей. Урок чистописанья
давно закончен. Вольность не порок.
Зачёркнуто всё то, чем дорожила.
Вот Бог, я повторю, а вот порог,
а вот, гляди-ка, золотая жила.
Споткнёшься о неё на склоне лет —
на ягодицах скатишься со склона,
совсем как тот вечнозелёный шкет,
что весел и бесстрашен. А с амвона
небесного — бегущую строкой —
за словом слово и за птицей птица.
И, кажется, едва взмахнёшь рукой...
А не летится больше, не летится.



ЮБИЛЕЙ

Владимир КОКОНИН

НА ХОЛМЕ ТРОЛЛЕЙ

Говорят, что с музыкой норвежского композитора Эдварда Грига знакомятся в раннем детстве. С книгами русского писателя Константина Паустовского знакомятся обычно в юности. И уже от самого человека зависит, останутся ли с ним на долгом жизненном пути эта музыка и эти книги. Или же со временем и детство, и юность, и всё, что с ними связано, уйдут, растворятся, исчезнут и не оставят следа.

Из этого, конечно, не следует, что Григ — детский композитор, а Паустовский — юношеский писатель. Всё сложнее, как мне кажется. Есть, очевидно, в душе каждого человека потаённые уголки, связывающие его со светлыми, романтическими сторонами жизни, не дающими ему огрубеть, очерстветь и сохранить в себе то лучшее, с чем он появляется на свет.

Есть художники, которые в своём творчестве обращаются именно к этим сторонам нашей натуры, к таким, на первый взгляд, наивным и в то же время столь загадочным и хрупким.

Странное сочетание, казалось бы, Григ и Паустовский. Не правда ли?

Недавно мне довелось побывать в Норвегии и, конечно, посетить знаменитый Трольхауген близ Бергена, где провёл свои последние годы Эдвард Григ, где его похоронили в глубокой нише отвесной скалы, нависающей над озером.

По давней привычке в поездку я захватил с собой томик рассказов Паустовского, где среди прочих был один известнейший его рассказ — «Корзина с еловыми шишками». Те, кто читал его, конечно же, помнят, о чём там речь.

Уже молодой композитор Григ, встретив в лесу маленькую девочку Дагни — дочь лесника Хагерупа Педерсена — обещает сделать ей подарок, но не сейчас, а тогда, когда ей исполнится восемнадцать лет. Через многие годы, уже после смерти композитора, Дагни случайно попадает на

концерт и слышит музыку, посвящённую её совершеннолетию. Вот, собственно, и всё.

Надо признаться, что история, так чудесно рассказанная писателем, с молодых лет не давала мне покоя. Была ли на самом деле такая девочка Дагни? Или это плод романтической фантазии писателя? Что это было за сочинение Грига? Существовали ли на самом деле лесник Хагеруп Педерсен, дядюшка Нильс и другие персонажи этого короткого рассказа?

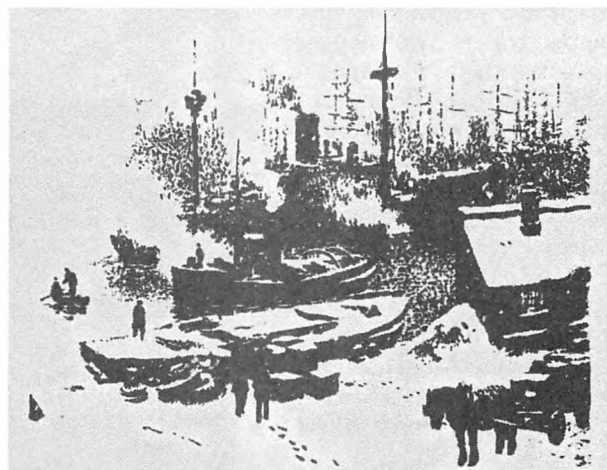
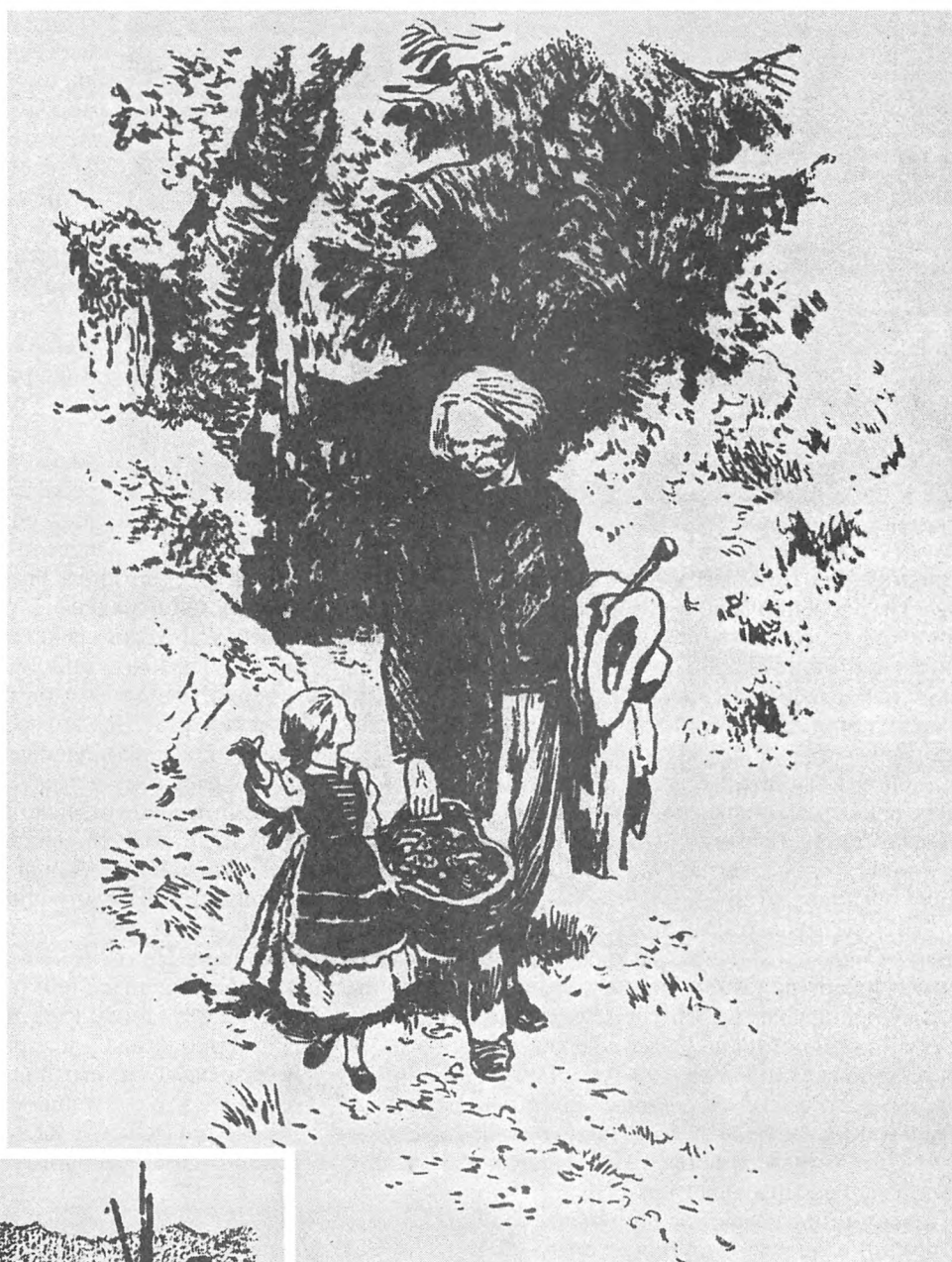
Он, конечно, был большой фантазёр, Паустовский. Но фантазировать тоже надо уметь. В одной из его новелл рассказывается о том, как некий критик, боровшийся за мелкое правдоподобие в литературе, попытался уличить писателя Марка Твена во лжи. Марк Твен рассвирепел: «Как вы можете судить, соврал я или нет, если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления, как это делается?! Чтоб так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле, а у вас его нет и быть не может. В этой области вы — невежда и профан».

Короче говоря, мне не удалось найти ни следов Дагни, ни музыки, посвящённой её совершеннолетию, ни тех, кто хотя бы знал эту историю. Да и не нужно это, конечно. Но зато воображение подсказало писателю совершенно точное описание места, где происходит действие. Помогло увидеть никогда не существовавшего лесника Педерсена по имени Хагеруп. И это имя также оказалось не случайным. Оно взято от фамилии матери композитора, урождённой Хагеруп. А ещё воображение помогло писателю увидеть обстановку, в которой жил и творил Эдвард Григ, — всю, вплоть до мельчайших деталей. Все леса

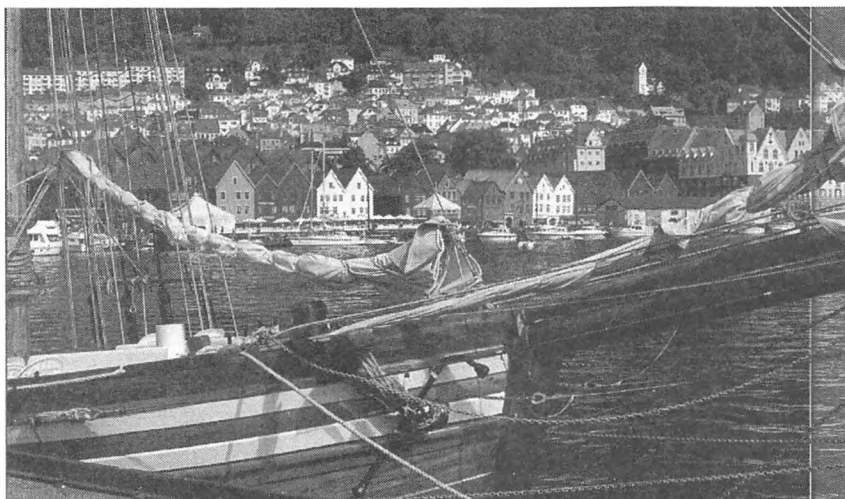
МП: Владимир Михайлович Коконин одно время возглавлял Большой Театр СССР, в последние годы он ведёт на «Радио Россия» авторскую программу «И всё это — музыка».

Передача о композиторе Эдварде Григе и новелле Константина Па-

устовского «Корзина с еловыми шишками» прозвучала в эфире три года назад. Текстом этой передачи редакция «МП» решила отметить 50-летний юбилей новеллы: впервые она была опубликована в январском номере журнала «Огонёк» в 1954 году.



Рисунки Ореста Верейского к первой публикации новеллы К.Паустовского



Берген

хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев... Но особенно хороши горные леса около моря — в них слышится шум прибоя. С моря постоянно наплетает туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Мох свешивается с веток зелёными прядями до самой земли. Это точное описание природы Трольхаугена — такой, как видел её, наверное, и Григ.

Однажды летним днём, стоя высоко над фиордом, радуясь местечку, облюбованному, наконец, для своего дома, чувствуя, что здесь будет спокоен и останется тут навсегда, Григ произнёс: «Холм троллей — Трольхауген».

Фиорд глубоко врежется в сушу, образуя большое озеро. Озеро спокойное, красивое. Особое очарование ему придают поросшие деревьями островки, как бы плывущие цепочкой. Береговые скалы оголены лишь с обрывистой стороны, а верх берега порос лесом, и берёзы образуют множество тенистых уголков, правда, немного сыроватых. Везде мох и папоротник. А сколько здесь птиц! С весны они полны забот, деловито снуют в траве и ветвях. Но, главное, это тролли, которые, конечно, прячутся сейчас в скалах и наблюдают за одинокой фигурой человека, задумчиво стоящего на берегу: «Что он задумал?».

Тролли эти — духи норвежских гор — хитры и, по народным поверьям, коварны. Уродлив их вид, отдалённо напоминающий человеческий. И, любопытно: троллей, казалось бы, нужно бояться, но почему-то испытываешь к ним нечто вроде симпатии. Григу вся эта жизнь была близка и интересна. Он не раз воссоздавал в звуках танцы эльфов, шествие гномов, полёт сильфид. Описывал воронью свадьбу или изображал троллёнку. И, пожалуй, по-своему даже любил троллей.

Вот раздался подземный гул, и мимо вас пронесится компания

троллей: свист, хохот, треск ломаемых сучьев. Шум этого дикого марша сменяется неожиданно нежной мелодией, такой характерной для мечтательного нрава северян, и снова — стремительный вихрь — шествие этих загадочных существ. Всё стихает, и лишь верхушки старых сосен покачиваются под налетевшим ветром.

Григ постоял ещё немного, прислушиваясь к летним шорохам, и направился к дому, чтобы записать услышанное.

К дому нужно подняться чуть вверх, пройти по извилистым дорожкам, мимо кустов ярко цветущих роз. Дом двухэтажный, но он невелик. Две комнаты внизу: гостиная,

в которой стоит рояль, и маленькая столовая с крошечной передней. И две небольшие комнатки — наверху. Двускатная крыша, сбоку — квадратная башенка с высоким шпилем. Шпиль этот виден далеко в округе. Иногда на нём развевается большой норвежский флаг. Всё это громко называется виллой. Но сейчас Григ, пройдя мимо главного дома, направляется к рабочему домику, стоящему у самой воды на другой стороне залива. Здесь — владения композитора, где строго запрещено появляться посторонним. Домик недавно выкрашен коричневой краской. Он такой маленький, что в нём уместились только письменный стол, два стула, пианино и старый потёртый диванчик. На одном из стульев, возле пианино, лежат листы исписанной нотной бумаги. Григ садится за старое пианино и начинает играть.

«Григ думал... и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависше-



Дом Грига



Э.Григ и Н.Григ. 1886

го неба, и Золушка в заштопанном платье». Это слова Паустовского.

В действительности неприкосновенная граница иногда нарушалась. Всякий раз, когда, услышав подозрительные шаги и шорохи, возмущённый Григ появлялся на пороге домика, он обнаруживал, что к нему пришли дети, живущие поблизости. Несмотря на запрет, они приходили сюда слушать музыку. И композитор смирялся — детей он любил. Он готов был бродить с ними по горам, собирать цветы, рассказывать сказки, но... никто не смел мешать ему во время работы!

Особенно часто приходила к маленькому домику маленькая девочка Агга. Она боялась помешать Григу и вела себя очень тихо, часто сидя у самого порога. Здесь однажды и увидел её Григ. Устав сидеть не двигаясь, она уснула. Девочка была так трогательна, что композитор даже не смог рассердиться на неё. Проснувшись, Агга очень испугалась, но Григ принялся её утешать: «Ну, хорошо, хорошо, если ты так любишь музыку, я позволяю тебе приходить сюда когда вздумается. Только смотри, сиди тихо и не смей об этом рассказывать другим детям». Девочка действительно очень любила музыку. Через много лет она стала известной норвежской певицей. Её звали Агга Фриг. Может быть, это и была девочка Дагни, описанная русским писателем полвека спустя.

Можно даже себе представить, как Агга Фриг в год своего совершеннолетия слушала музыку Грига, такую знакомую с детства: «она... услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами... Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке... <...> музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светились звёзды.

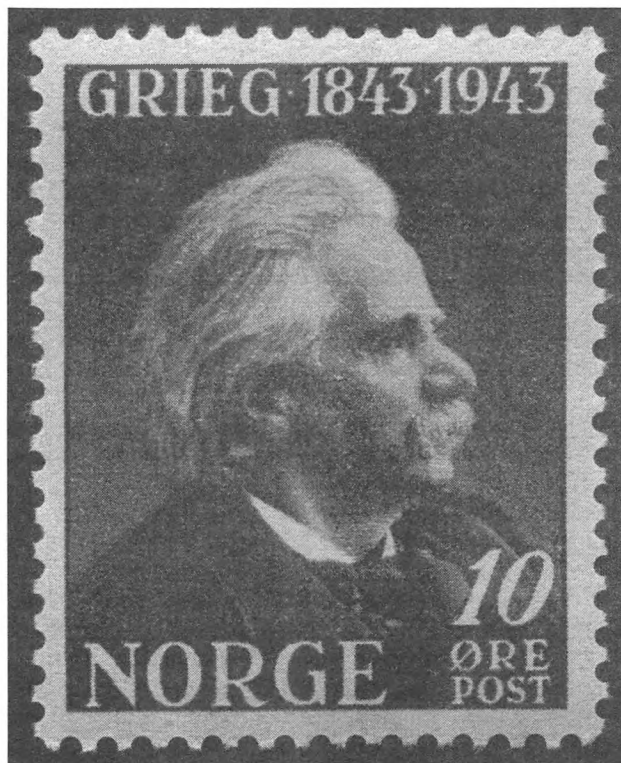
Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы». Так написал о музыке Грига Паустовский.

Всё-таки не зря дети так часто приходили к дверям домика послушать, как играет Григ. Давайте немного послушаем и мы. Ведь сохранилось несколько записей исполнения Григом своих произведений на старых пластинках, сделанных во время первых фонографов почти сто лет тому назад.

Его манера исполнения была своеобразной. Слушателям казалось, что они присутствуют при рождении нового произведения, что Григ импровизирует, выражая настроение, которое охватывает его в эту минуту. И образ Грига-артиста сливался с образами его музыки, так рождалось маленькое чудо. Пьеса «Бабочка», например, в исполнении Грига всегда вызывала восторг — бабочка у него в самом деле порхает. Чудится, что пальцы пианиста не касаются клавиш, а летают над ними.

Закончив играть, Григ закрыл крышку старенького пианино и надолго задумался.

Они были такими разными — Эдвард Григ и его жена Нина Хагеруп, также известная певица. Он —



Почтовая марка, выпущенная к 100-летию со дня рождения Э.Грига

сдержанный, немногословный, склонный к мечтательности и созерцанию. Она — весёлая, любящая общество, артистические проказы, успех. Со своим волшебным голосом она могла бы стать знаменитой певицей, но сознательно ограничилась исполнением только его музыки. И вот они уже почти сорок лет вместе. Эти далёкие годы, юношеская влюблённость и один из лучших его романсов: «Люблю тебя».

Григ снова сел за инструмент и стал наигрывать эту давнюю мелодию, которую знает теперь весь мир. И скоро сверху, со скалистого холма, из окон дома донеслось пение. Её пение.

«Мне кажется, — подумалось, быть может, Григу, — что я обладаю большим талантом к сочинению песен, чем других произведений. И именно песни заняли исключительное место в моём творчестве. Как это случилось? Да просто. Всё дело в том, что я, как и прочие смертные, однажды в жизни оказался гениальным. Гениальность эта была — моя любовь. Я полюбил девушку с удивительным голосом и с такой же изумительной манерой исполнения. Эта девушка стала моей женой и спутницей жизни. И остаётся ею по сей день».

Романс «Лебедь» — музыкальное объяснение в любви — был и её любимым романсом.

Михаил ХОЛМОГОРОВ

СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА

Песней колыбельной, на каждый вечер, были тогда «Соловьи» — те самые:

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят...

И это понятно: раннее детство пришлось на войну. Примета времени, как салюты посреди дня в честь освобождения городов, аэростаты во дворе Музея революции и Института Склифосовского, двухэтажные троллейбусы на улице Горького. Потом это всё исчезнет. В отличие от вечного, от того, что всегда. Как новогодняя ёлка. А у неё — своя песня, и тоже, наверное, вечная, — из тех веков, когда предки приняли христианство и вместо пальмы, каковая в наших широтах не растёт, украшали ель:

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла...

Вот с этой песенкой — одно из ярчайших удивлений детства. Оказывается, её вовсе не Пушкин сочинил. И вовсе она не народная, как сказка про медведя на липовой ноге. Её написала тётя Рая. И к тёте Рае мы завтра пойдем в гости.

В гости к тёте Рае мы поехали на метро до станции «Сталинская» (мало кто, наверное, помнит, что так называлась «Семёновская»), потом плутали по каким-то переулкам и вышли к обшарпанному четырёхэтажному дому, похожему, как близнец, на три других, что выстроились с ним в один ряд. Тётя Рая походила скорее на бабушку, чем на тётю, ей

Мой лебедь белый, всегда молчаливый,
Ты без песен скользишь в заливе.
И запел вдохновенно последнюю песню —
Ведь лебедем был ты, мой лебедь.

Нина, как никто другой, понимала и чувствовала не только музыку Грига, но и его самого. Несмотря на внешнюю открытость и, казалось бы, весёлый нрав, она, вероятно, была всё же сдержанным и внутренне очень строгим человеком. Во всяком случае, её фотографии, которые можно видеть сейчас в Трольхаугене, оставляют именно такое впечатление. Впрочем, может быть, это и не так. Ведь жизнь этой незаурядной женщины, прошедшая в тени её знаменитого мужа, наверное, тоже полна загадок. Как и судьбы других женщин, имена которых навсегда овеяны именами великих людей. И низкий поклон им за то, что они были...

Нина Григ пережила мужа на двадцать восемь лет и скончалась в 1935 году. Ниша скалы, в которой покоится прах композитора и его жены, закрыта каменной плитой с надписью: «Эдвард и Нина Григ».

Прошло почти столетие, как Григ покинул стены Трольхаугена. А здесь внешне всё осталось по-прежнему. Только время уже не идёт, а, по словам Грига, бежит вприпрыжку.

было тогда около семидесяти. Жила она вдвоём с сестрой, тётей Маней — такой же тихой, аккуратной старушкой. Их комната, скорее, походила на чулан, разве что окно имелось. От пола к подоконнику из стопок книг, каких-то подставок была сооружена лестница.

Обстановка тихой, аккуратной и бедноватой старости взывала к трепетной робости и почтению, что на первых минутах и было мною исполнено, пока... Мы уже сели за стол, пили чай, и взрослые вели скучный разговор, но неведомо из какого угла явилось тощее существо с облезлой шерстью — кот. И как часто бывает, среди внезапной паузы раздаётся немислимо громкий шёпот:

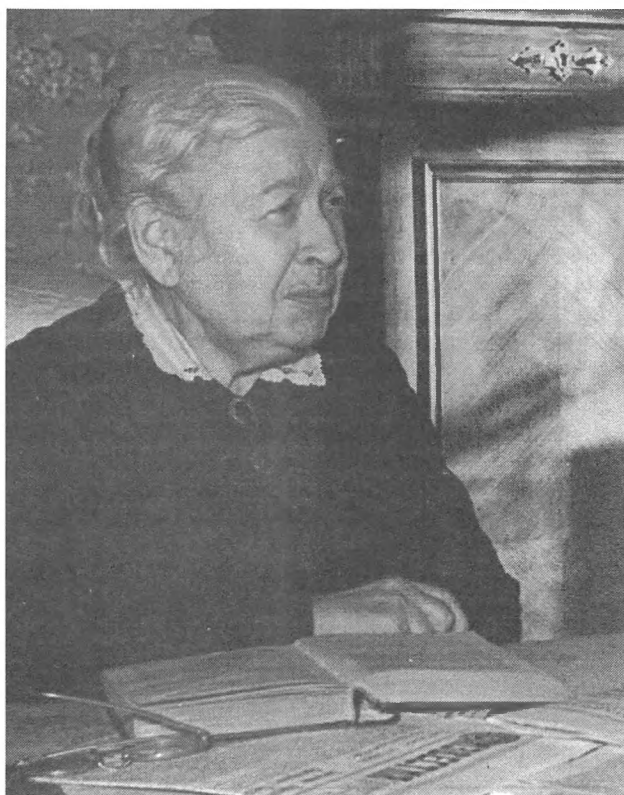
— Мама, а эта кошка из Страны дураков?

Так бы и забылось посещение доброй и скучной родственницы, если б не шёпот, ставший семейной легендой. Заодно помнилось и то изумление, что «Ёлочку» написал живой человек, тётя Рая. И даже зависть была к старшему брату — ему было посвящено специально написанное тёти-Раино стихотворение. К моему же детству она стихов писать не могла, да и едва ли б её вдохновило оскорбление любимого кота: тот был дряхл, прыгать уже не мог, и всё сооружение у подоконника было воздвигнуто для него. Все остальные посещения тёти Раи из памяти вылетели, хотя последний раз я её видел уже в студенческие годы, то есть достаточно взрослым.

Зависть к старшему брату со временем прошла: стихи по заказу, пусть даже и родственному, хорошими не получаются. «Ёлка» же родилась как бы сама собой, не по заказу, хотя и была напечатана в 1903 году в декабрьском — рождественском — номере журнала «Малютка». Поскольку автор — Раиса Адамовна Гедройц зарабатывала на хлеб насущный тем, что была гувернанткой в семьях богатых, где сочинение стихов почиталось делом легкомысленным, пришлось укрыться за псевдонимом, стихотворение было подписано инициалами «А.Э.». По отцу Раиса Адамовна принадлежала старинному польско-литовскому роду, но той её ветви, что к исходу девятнадцатого века заметно обеднела. Отец её служил на Московском почтамте и женился на Софье Семёновне Холмогоровой, дочери начальника 1-й экспедиции Семёна Васильевича Холмогорова — моего прадеда. И соответственно приходилась двоюродной сестрой моему отцу.

В 1906 году Раиса Адамовна, не ведая будущих тягот, очень по тем временам удачно вышла замуж: за овдовевшего князя Кудашева, в доме которого она была гувернанткой. До революции ни воспитанник Раисы Адамовны, ни князь не дожили и не застали того момента, когда дом их реквизируют, а хозяйку революционные отряды выкинули на улицу. А дом её стоял долго, и я его хорошо помню. Он находился в Воронниковском переулке, лицом к той части Староприменовского, что вела на Тверскую (переулки в Москве норовят изгибаться коленами). Это был жёлтый особняк с мезонином, и четыре могучие липы росли перед ним, с кронами, всегда отягощёнными вороньими гнёздами. В 1970 году особняк снесли, чтобы выстроить многоэтажную башню жёлтого облицовочного кирпича, окрещённого с лёгкой руки Булата Окуджавы «коккупантским» («И ходят оккупанты в мой «Зоомагазин»). Впрочем, теперь и башня прославилась: здесь прошли последние годы великого диктора Юрия Левитана.

Стихотворение же жило своей жизнью, приятно изумив однажды его автора тем, что какая-то девочка в поезде пела на слова «Ёлки» песенку. Спустя годы, когда ровесник песенки, чудо XX века — радио покинуло глухие стены лабораторий и вошло в повседневный быт, песенка зазвучала и по радио. Оказалось, что на музыку положил её Л.К.Бекман, но кто автор стихов, не сообщалось, полагали, что народная. И можно было бы объявиться, сказать, что я автор. Я, княгиня Кудашева... А годы на дворе стоят — тридцатые. И с таким титулом недолго и на Лубянку загреметь. В этой связи вспоминается эпизод из сравнительно недавнего времени. В издательстве «Московский рабочий» готовилась к выходу в свет книга повестей и рассказов Фёдора Фёдоровича Кудрявцева, человека знаменитого в кругах московских лошадиников. Он и дебютировал в печати рассказом о лошадях. Ко времени издания книги автор уже умер, и в редакцию приходила его вдова. Оказалось, что Фёдор Фёдорович не про одних только лошадей писал. Биография его была весьма романтической, он служил и в кавалерии, и в разведке Генштаба и даже



Раиса Кудашева, 1950-е годы

в Париже побывал. А в разгар Сталинградской битвы, где он командовал ротой свежесброшенных лейтенантов, обучая их искусству воевать в непосредственном бою, его посадили. И есть у вдовы целый цикл его лагерных рассказов. А поскольку уже гласность настала в стране, умолили скованную страхом вдову показать и лагерные рассказы. Разумеется, напечатали. И вот когда уже книга с потаёнными рассказами вышла в свет, вдова поведала самую страшную тайну: настоящий Фёдор Фёдорович Кудрявцев умер в 1918 году, а по его документам до самого 1976 года доживал жизнь его кузен граф Алексей Викторович Канкрин, прямой потомок известного министра финансов при Николае Первом. Он бежал из-под ареста, двинулся на Дон, но попал к красным; выпускник Пажеского корпуса проявил себя блестящим знатоком военного дела и командиром... Но всю долгую жизнь прожил под чужим именем.

И это боевой офицер, прошедший все испытания нашего века. Что ж спрашивать с бывшей гувернантки. Притаилась в тихих заводах районных библиотек, где при нищенском жаловании не очень интересовались происхождением. А в 1940 году всё по тому же радио услышала, что не только музыка, но и слова принадлежат Бекману. Возмущение пересилило страх.

Леонид Карлович Бекман вовсе не профессиональный композитор. Он был ученым-агрономом, кандидатом естественных наук, но, как многие интеллигентные люди начала века, не чужд был и музицированию, благо жена его Е.А.Бекман-Щербина была известной пианисткой, и это она записала мелодию, поскольку сам автор музыки нотной грамотой не вла-

дел. Да и песенку он написал даже не к Новому году, а в подарок дочери, у которой в день её рождения в октябре 1905 года появилась на свет младшая сестрёнка. При жизни Бекман на авторство стихов и не претендовал, и уже после его смерти по ошибке музыкального редактора на радио ему было приписано авторство слов. Так или иначе это обстоятельство возмутило Раису Адамовну, и в семье заговорили о ее авторских правах. А другое обстоятельство заставило не оглашать воздух возмущениями, а приступить к делу. Один наш родственник путем обмена въехал в писательский дом в Лаврушинском переулке, аккуратно в соседний подъезд с чрезвычайно важным для пишущего человека учреждением — Управлением по охране авторских прав. И моя мама зашла туда просто посоветоваться.

Встретил её азартный молодой тогда адвокат Марк Александрович Келлерман, который с жаром



Раиса Кудашева (на переднем плане).
Из семейного архива М.К.Холмогорова

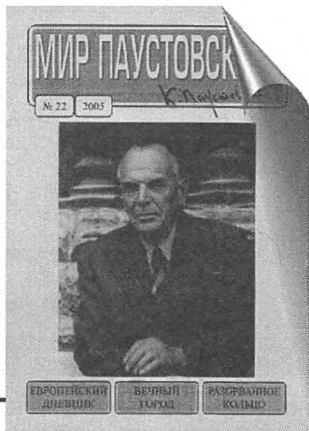
взялся за дело, казавшееся, на первый взгляд, весьма тусклым: журнал был малоизвестный, давно закрылся, подпись под стихами стояла с чужими инициалами, автор к тому же и фамилию сменить успел... Но Марк Александрович принадлежал к числу тех людей, у кого именно трудности и разжигали азарт. Кинулись по библиотекам — нигде нет, даже в Исторической. Всё же в Ленинской библиотеке отыскался экземпляр «Малютки» за 1903 год, в домашних архивах — первоначальная рукопись «Ёлки», а по запросу Управления по охране авторских прав в ЦГА-ЛИ удалось найти документы о выплате гонорара. Дальше был суд, который М.А.Келлерман выиграл в пользу Раисы Адамовны. Всё это заняло много месяцев, зато накануне 1941 года по радио объявили об исполнении песенки композитора Л.Бекмана «В лесу родилась ёлочка» на слова поэта Р.Кудашевой. Благодаря этому ей удавалось сводить концы с концами и при мизерной пенсии, а потом издать и другие свои детские стихи. С её книжкой «Петушок» уже много лет спустя после смерти автора росла моя дочь.

Неутомимый исследователь детской литературы Владимир Глоцер успел встретиться с тётёй Раей при жизни, разыскал все имевшиеся к тому времени документы и в биографическом словаре «Русские писатели. 1800–1917» напечатал о ней статью и даже поместил фотографию. Как раз тех времен, когда я её помню.

Наше воображение не всегда уживается с упрямой памятью. Для меня Раиса Адамовна — всегда тётя Рая с внешностью бабушки. Но вот, собирая материал для романа о русском интеллигенте Серебряного века, пережившим насквозь весь XX век, я забрался в глубину домашних архивов... Занятие, доложу вам, и сладостное, и горькое. Десятки неподписанных фотографий — и это всё твоя родня, а кто изображён, где? Нет ответа. И спросить не у кого. Зато и находочки! Портрет Василия Васильевича Розанова с дарственной надписью моему родному дяде. Несколько дядиных гимназических фотографий, где запечатлён старший брат Марины Цветаевой Андрей. Копии отдал в музей Марины Ивановны, а одну, сделанную дядей Шурой: «Андрей Цветаев на велосипедной прогулке в Сокольниках», — даже в оригинале. И вот среди этих семейных реликвий обнаруживаю фотографии сестёр Гедройц 1907 года. Молодая элегантная дама с горделивою насмешкой — тётя Рая. Княгиня. Современная техника позволяет так увеличить старый снимок, что выражение лица, еле заметное в оригинале, проясняется со всеми психологическими тонкостями.

Когда-то столетие казалось каким-то немислимо огромным временным расстоянием. Сто лет Короленко, Чехову, Валентину Серову — целая пропасть отделяла моё поколение от тех юбиляров. А неслышное время подкатило — и вот: под новый 2004 год исполнилось ровно 100 словам песенки «В лесу родилась ёлочка» и целых 125 — их автору. И это никак не укладывается в голове у мальчика, пившего чай у тётки Раи и нечаянно оскорбившего её любимого кота.

Мальчик, посмотри в зеркало! Твоё собственное столетие ближе дня появления на свет.



ЗАПИСКИ ПОЛЕНОВСКОГО ДОМА

Фёдор ПОЛЕНОВ

ВОРОТА В ВЁЛЕ

«**М**ой милый друг, Василий Дмитриевич! Не могу удержаться от восторга! Так хорош Вёль. Места во всяком роде восхитительные. Наша квартира — прелесть, что такое! Речка чистойшей ключевой воды — наш забор; деревья, зелень и этот убаюкивающий шум мельничных колёс — точно в сказке. А море! Просто чудеса! Нет, десяти Итальян с Неаполем я не променял бы на этот уголок». Это — выдержка из письма Ильи Ефимовича Репина Василию Дмитриевичу Поленову, написанного в июне 1874 года из небольшой деревни Вёль, находящейся на берегу Атлантического океана, между Гавром и Дьепом.

Следующее письмо, написанное через месяц, Репин начинает не столь парламентарно: «Варвар ты, варвар! Злодей ты, злодей! До сих пор тирань себя в одухотелом Париже!.. У нас тут благодать: жары совсем не было ни разу, приятная теплота днём и прохладные вечера. Поспешай сюда, ибо кое-что из красот полей уже сжато и они стоят скучные, боюсь, что к твоему приезду всё будет убрано с полей и ты не увидишь этой благодати».

И вот Поленов в Вёле. «Теперь я нахожусь в Нормандии, на берегу моря, — пишет он родным, в Россию. — Живу вместе с Репиным в домике, находящемся в лесу, то есть в лесу не в лесу, а между деревьями, на берегу быстрой и прозрачной как кристалл речки; она течёт не более чем полторы версты, а на ней находятся три фабрики и восемь мельниц, постоянно работающих».

Знаменитый художник Алексей Петрович Боголюбов, следивший за работой выпускников Академии художеств и направлявший эту работу, настоятельно советовал им провести летние месяцы на севере Франции. До конца своих дней сохранил Поленов благодарную память об этом месте. Строя дом-музей на окском берегу, он не раз обращался памятью к Нормандии, к

счастливому лету 1874 года. Родник за деревней Бёхово он пробовал приспособить под так называемый крессоньер для выращивания кресс-салата (художник был вегетарианцем). Усадебное ограждение из камня в Борке (первоначальное название современного Поленова) было им задумано по типу невысоких каменных изгородей, характерных для севера Франции. Изгородь была начата ещё при жизни художника. Потом, в начале тридцатых годов, она была разобрана на фундаменты строящихся зданий соседнего дома отдыха. Закончить возведение каменной ограды, ограничивающей территорию Борка, удалось лишь в 1982 году.

Современные искусствоведы, изучающие художественное наследие Поленова, обычно выделяют «вельский период» в его творчестве. Он знаменателен тем, что именно в Вёле художник нашёл своё призвание. И нашёл его в пейзажной живописи, в том, очень характерном для него сочетании пейзажа с жанром, которое отметил у Поленова в своей «Стрекозе» Антон Павлович Чехов. Сам же Василий Дмитриевич писал на родину из Франции так: «Тут я пробовал и перепробовал все роды живописи: историческую, жанр, пейзаж, марину, портрет головы, образа, животных, натюрморт и так далее и пришёл к заключению, что мой талант всего ближе к пейзажному бытовому жанру, которым я и займусь».

Память лета 1874 года — великолепные этюды «Прибой в Нормандии», «Вёль. Старая мельница», «Ворота в Вёле», «Нормандская лошадь на фоне белой стены» и другие; они находятся в экспозиции

МП: Уже несколько лет, как нет с нами Фёдора Дмитриевича Поленова... А журнал продолжает печатать его очерки, которые он, как член редколлегии «Мира Паустовского», оставил читателям. Морской офицер в юности, хранитель «Поленова», музея-

усадьбы своего знаменитого деда — художника В.Д.Поленова, талантливый литератор, Фёдор Поленов был человеком светлым, красивым, ярким. Он очень многое сделал для русской культуры. «Записки поленовского дома» — лучшая память о нём и его работе.

поленовского музея, «Бухта Эстрета» — в Государственной Третьяковской галерее. Свыше ста лет гордится Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге эгегическим полотном Поленова, изображающим двух лошадей у старых кирпичных ворот в Вёле. Там, за желтеющей осенней листвой деревьев какого-то парка, угадывается морской простор. Две привязанные у ворот лошади уведут нас ко времени почтовых дилижансов, к фиакрам на улицах Парижа и Руана, ко временам Бальзака, Золя, Флобера, Доде и Мопассана. Когда писалась эта картина, ещё не остыло горячее дыхание сражений при Седане, а Парижская коммуна была событием современности, почти сегодняшним днём. Свыше ста лет... И каких лет! Много бед, катастроф, социальных сдвигов, войн и иных



Ф.Д.Поленов у ворот в Вёле, 1992 г.

катаклизмов повидала Европа за это время. Повидал их Русский музей, повидала Нормандия... А картина с вельскими воротами висит по-прежнему в поленовском зале Русского музея, в репродукциях знакома она людям, ни разу её не видевшим в музейной экспозиции.

Наверное, давно уже нет ворот в Вёле, которые ещё в семидесятых годах XIX века именовались «старыми», — скорее всего они были построены ещё в XVIII столетии. Значит, кирпичные столбы этих ворот были свидетелями войн наполеоновской Франции, быть может, помнили эпоху Великой французской революции. Многое ушло безвозвратно за минувшие сто с лишним лет. Нужны ли сейчас кому-нибудь эти ворота и сама память о них? Разве что кропотливому и дотошному исследователю.

Самое любопытное в этой истории то, что старые ворота в Вёле стоят до сих пор. Правда, найти их было нелегко. В марте 1988 года судьба музейного работника привела меня в эти места, на северное побережье Франции. Искать рыбацью деревню Вэль даже на самой подробной туристской карте бесполезно. С 90-х годов XIX века она получила права города и была переименована. Теперь это — приморский курортный городок Вэль-ле-Роз. По случаю ранней весны здесь пустынно. Видимо, в разгар лета место это становится очень бойким и многолюдным: морские купанья.

Стою на берегу речушки Вэль, впадающей в бухту. Той самой, «быстрой и прозрачной как кристалл» речки, течением которой вращались мельничные колёса свыше ста лет назад. На главной площади города на гранитном постаменте лежит громадный адмиралтейский якорь — живое свидетельство близости моря. Такие якоря несли корабли эскадр Вильнёва и Нельсона в сражении у мыса Трафальгар. На этой же площади — небольшой

книжный магазин. Юноша-продавец любезно предоставляет мне историческую хронику своего родного городка с многочисленными старыми фотографиями. Увы! Ничего похожего на нужные мне ворота не нахожу. Не нахожу и сведений о пребывании здесь русских художников: Боголюбова, Репина, Беггрова, Поленова, Савицкого, Дмитриева-Оренбургского. Досадно...

Видя моё разочарование, юный француз пытается прийти мне на помощь: «Обратитесь к мсье л'Ами. Он знает здесь всё, что только можно знать о прошлом Вэль-ле-Роз». Кто же этот загадочный мсье л'Ами (в переводе на русский — «друг»), знающий всё? Местный историк, коллекционер или, может быть, чудаковатый энтузиаст-краевед? Всё оказывается проще — мэр города. По случаю воскресенья мэрия закрыта, и мне тут же даётся домашний адрес господина л'Ами, знающего всё.

Маленький, очень аккуратный белый двухэтажный особнячок на боковой улице, вблизи набережной. Черепичная кровля и белые жалюзи на окнах. Весь домик обвит вечнозелёным плющом и окружён пышными кустами роз. Сейчас они не цветут, но если представить себе это место в середине лета, то неминуемо возникнет образ «утопания в розах» под шум близкого морского прибоя. Словно подошёл к соловьиному саду Блока.

Опять неудача — хозяина нет дома. Шансы теперь ничтожно малы. Остаётся уехать, что называется, не солоно хлебавши. На всякий случай спрашиваю пожилого прохожего, по виду — местного жителя, не знает ли он в Вёле чего-нибудь похожего... Француз долго всматривается в открытку с репродукцией музейной картины и что-то напряжённо вспоминает. Да, где-то он видел нечто подобное... Надо бы спросить у коренных местных жителей, а он живёт здесь всего лишь четвёртый год.

Следы ворот опять теряются. Неожиданно приходит на помощь парень, по виду шофёр. Взглянув на открытку, он говорит, что знает это место. Парень говорит на каком-то незнакомом мне местном диалекте. Моих познаний во французском языке всё же хватает на то, чтобы понять: ехать надо по пригородному шоссе в сторону города Фекан, а потом свернуть направо.

Пригородное шоссе с обеих сторон обсажено платанами. Проехав километра полтора, вижу съезд и поворот на просёлок. На всякий случай надо бы свернуть. «Всякий случай» обернулся неожиданной удачей. Просёлок загорожен грузовиком-самосвалом. В кузов его автопогрузчик, напоминающий наш стогометатель, подаёт аккуратные кубики пресованной прошлогодней соломы. За рулём самосвала — пожилой француз. На автопогрузчике молодой голубоглазый парнишка, совсем мальчик. Как вскоре выяснилось, они — местные фермеры, отец и сын. Посмотрев на открытку из Русского музея, оба с уверенностью говорят, что знают это место с кирпичными воротами, неизвестно когда и кем построенными. Это въезд на старую пригородную ферму, которой давно уж нет, но ворота, ворота... Надо проехать ещё километра два по полю, миновать овечий загон фермы их соседа, а потом спросить кого-нибудь — там все знают. Так и делаю. Не доехав до овечьего загона, встречаю машину марки «Пежо». Целое семейство — молодой плотный водитель с очень живыми карими глазами, его жена, трое мальчиков от шести до двенадцати лет и добродушный рыжий сеттер. Все проявляют живейший интерес к моей открытке и цели моих поисков. Глава семейства оказывается автослесарем, приехавшим на воскресенье к родственникам из Дьепа. Его тётка — уроженка Вёля, и хотя ей свыше девяноста лет, она прекрасно всё помнит и может всё рассказать. Надо съездить к «ма тант», это тут недалеко. По собственному почину водитель разворачивает свою машину, и мы едем по просёлку в поисках всё тех же ворот.

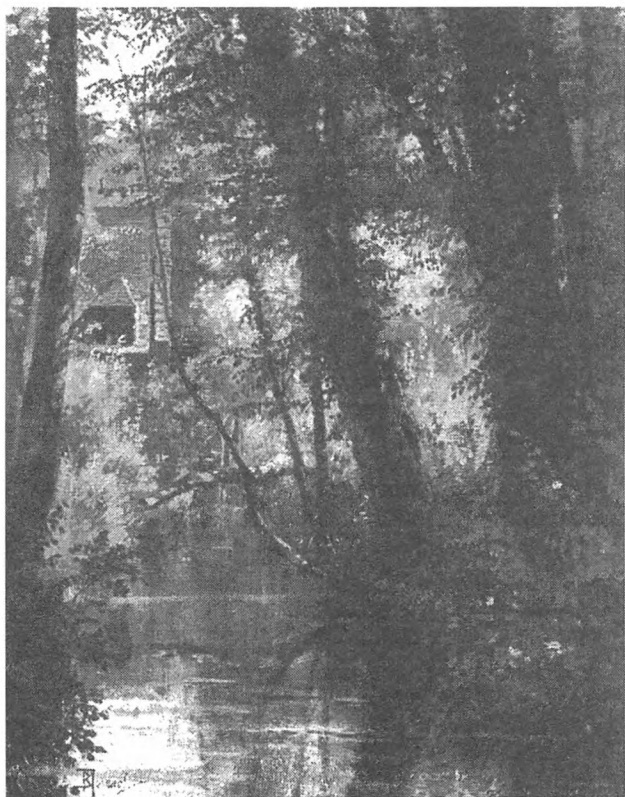
Я увидел их первым. Их ни с чем не перепутаешь. Слева от полевого просёлка, ведущего в Вель с запада, в начале какого-то подобия аллеи стоят кирпичные ворота, до сих пор стоят! Франко-прусская война, первая мировая, Версальский мир, трагичные для Франции события Компьенского леса, немецкая оккупация Нормандии, создание гитлеровцами печально знаменитого Атлантического вала, открытие второго фронта в Европе... Кипели человеческие страсти, меняя облик мира, а ворота всё так же стояли, как стоят сейчас. Их обвивает вечнозелёный плющ, и несколько его побегов я срвал и увёз с собой в память о Вэле.

У ворот расстаюсь с симпатичными французами. Расстаёмся как старые друзья. Я дарю мальчикам по календару, на которых изображены здание поленовского музея и его филиал — Бёховская церковь. Самому младшему достаётся московский

памятник первому человеку планеты Земля, шагнувшему в космос. «О! Гагарин!» — реакция самая что ни на есть восторженная. Французы уехали, и я остаюсь наедине со старыми воротами.

Если внимательно присмотреться к поленовскому этюду и к картине из Русского музея, можно заметить на внешних плоскостях четырёхгранных столбов каменную кладку. Кирпич здесь шёл только на облицовку, на архитектурное, так сказать, завершение облика столбов. Понятно, камень и долговечнее и дешевле. Тем удивительнее, что кирпич не пострадал от времени и держится, как видно, не первое столетие. На этюде ясно видны конические оголовки, которыми завершаются столбы. Они пострадали от времени. А в общем, можно сказать, ворота в ремонте не нуждаются. Кованная из массивного железа арматура петель для навески двух полотнищ (вероятно, они были деревянными) полностью сохранилась — хоть сейчас вешай полотнища на каменные верёи.

Ворота продолжают стоять как деталь здешнего пейзажа, как память о старом Вэле, в котором, по словам Ильи Ефимовича Репина, «поля как в России». А для меня — как некий символ стойкости и ценности человеческого труда в любом его проявлении. И ещё — как символ начала многолетнего пути Поленова в большой живописи. Эти ворота помогли художнику открыть дорогу в самом близком ему жанре. Пусть же стоят дальше и дольше в память о его творчески прожитой жизни.



В.Д.Поленов. «Пруд в Вэле», 1874 г.
(Ульяновский областной художественный музей)

КВАШКА-ЭКВАТОРИАЛЬ

Этот маленький домик с традиционной французской мансардой на берегу Атлантического океана запомнится навсегда. Уверен, что больше такого домика в жизни не встречу. Здесь слышен свист ветра, шум морского прибоя и... стрёкот сверчков. Никак не ожидал их здесь встретить, да ещё в таком количестве. Весь дом буквально звенит... Их здесь десятки, если не сотни. Откуда? Оказывается, сверчков специально выращивают в специально же изготовленных садках (нечто среднее между миниатюрным аквариумом и террариумом) и присылают из Парижа, из национального зоологического музея. Зачем? Не ради же их несмолкаемых песен? Нет, сверчки идут на корм лягушкам. Лягушек здесь тоже великое множество. Сидят они в настоящих террариумах, то и дело подавая голос. Единственная хозяйка домика, стоящего на самом краю Европы, — известная французская художница-иллюстратор. Зовут её Дениз. У Дениз очень добрые лучистые карие глаза и обаятельная улыбка. Издали её можно принять за мальчика — хрупкая фигурка и короткий ёжик стриженных волос. Только волосы совершенно седые. Дениз живёт в каком-то фантастическом, удачно придуманном ею самой мире, в котором далеко не каждый согласился бы жить. Этот мир художественной выдумки, способный поначалу вызвать недоумение, по мере знакомства с удивительным домиком, становится все симпатичнее и симпатичнее, а под конец — совсем покоряет.

Многие недоуменно пожимают плечами — как хватает мужества у этой маленькой хрупкой женщины жить совершенно одной на пустынном океанском берегу, на самой окраине небольшого приморского городка в обществе лягушек и сверчков? Однако суровый пейзаж северной Нормандии, близость моря и полное одиночество не подавляют хозяйку домика. Впрочем, Дениз не одинока. Помимо бесчисленных сверчков, лягушек и тритонов, обитающих в аквариумах, у неё есть чёрно-бело-рыжая кошка и... австралийский ящер длиной около метра. Ящера зовут Александр. Нужно ли говорить, что это имя произносится с чисто французским прононсом, через характерное носовое «эн». Чешуя у него светло-песчаного цвета, переходящего в тёмно-коричневые тона панциря на спине и на черепе. По-видимому, этот самый Александр неважно чувствует себя на севере Европы. Ему явно не хватает тепла: всё время спит под батареей парового отопления. А в жаркие дни лета, по словам хозяйки, бегаёт в саду, ловит мух и бабочек. Имени своего он не знает, но реагирует на тихий свист.

А кошку зовут Васька. Дениз бывала в Советском Союзе, жила в Москве и Ленинграде, где, по заданию французской Академии наук, работала в наших зоологических музеях — рисовала животных. Она еле-еле говорит по-русски, а кошку на-

звала Васькой, наивно полагая, что это — женское имя. Кошка носит специальный эластичный ошейник, на изнанке которого обозначены её «координаты» — адрес и телефон хозяйки — на случай, если Васька потеряется. Дениз трогательно заботится о своих подопечных, но особой симпатией пользуется уникальный экспонат её коллекции — какая-то редкостная экваториальная лягушка-квакша, происхождением из Центральной Африки. Выговорить русское слово «квакша» для Дениз затруднительно. Она говорит «квашка», делая ударение на первом слоге. Не без гордости демонстрируя мне «квашку-экваториаль», она объявила, что эта лягушка способна менять цвет, как хамелеон. Сейчас лягушка светло-зелёная, под тон листы в террариуме. Размеры её внушительны — что-то около двадцати пяти сантиметров в длину. Никогда не приходилось видеть таких крупных представителей лягушечьего царства. Можно сказать, царевна-лягушка из детской сказки, не хватает только короны. Вскоре пришлось убедиться в том, что квакша оправдывает своё название. Квакает она очень громко. Морда у неё симпатичная. Но на окружающий мир взирает горделиво, с явным чувством царевниного превосходства над ним.

Специальность Дениз — иллюстрировать зоологические атласы, справочники, каталоги. Скорее даже не специальность, а призвание. Почему-то свой незаурядный талант художницы-акварелистки она посвятила рептилиям, амфибиям, пресмыкающимся. Любовно и мастерски выполненные «портреты» экзотических крокодилов, удавов и ящериц в этом домике на морском берегу создают впечатление богатого зоологического музея. Раньше в домике жил небольшой питон, тоже страдавший от холода и спавший на отопительной батарее. Не редкость здесь и змеи.

— Послушайте, Дениз, вы их не боитесь?

— О нет, они ведь такие беззащитные! Не могут даже ходить! И не говорят совсем...

— Да, но ведь среди змей бывают очень ядовитые.

— Это не их вина. Такими их создала природа. Значит, так было нужно. Ведь как-то они должны обороняться. И потом запомните, Федька (так Дениз произносит моё имя), — ни одна змея не нападёт на человека первой. Никогда! Пока ей не сделают плохо. Допускаю только трагическую случайность. А обидеть змею... Нет, на это способен только плохой человек.

Н-н-да... Странно всё-таки... И вовсе не женское это занятие — любить пресмыкающихся. А у меня-то, грешным делом, на «боевом счету» наберётся три-четыре убитых гадюки. Французское слово «серпан» (змея) Дениз произносит прямо-таки с нежностью. И я невольно задумываюсь — во всём

ли права древняя восточная мудрость, гласящая, что человек зря прожил жизнь, если не посадил ни одного дерева, не выкопал ни одного колодца и не убил ни одной змеи. Насчёт дерева и колодца — да! А вот змея? Пожалуй, если каждый из людей убьёт хотя бы одну, то и змей-то не останется! А они, в общем-то, созданы Природой не зря, Дениз права. В Законе Весов, законе экологического равновесия, они тоже ведь играли какую-то роль. Зачем их трогать? Сами исчезнут, как исчезли постепенно и бесследно под натиском человеческой цивилизации многие виды животных на планете Земля. Как исчезли, например, на моей памяти многочисленные волчьи выводки в лесах Подмосковья. Как исчезла в Оке стерлядь. Да мало ли...

А Дениз — человек с очень добрым сердцем. Несколько лет назад она овдовела и до сих пор тяжело переживает смерть любимого мужа. Он был инженером, крупным специалистом в области радиоэлектроники. Она получает пенсию, но не так-то просто прожить на одну пенсию, не имея дополнительного заработка. К счастью, спасительный мир любимых животных и большой талант художника дают ей возможность заработать. Сейчас она увлечена идеей передачи в технике акварели всех цветов, в какие только может окраситься экваториальная квакша. Пожалуй, тут будут все семь цветов солнечного спектра, не считая десятков вариантов возможных оттенков. Работа, надо сказать, грандиозная! Но, увидев произведения художницы даже бегло (ах, эти ритмы нашего века! В моём распоряжении слишком мало времени!), — увидев их, я твёрдо уверен, что Дениз с этой работой справится.

... Домик на берегу океана открыт всем ветрам. Небольшой садовый участок с несколькими обязательными для Нормандии яблонями. Живая изгородь из жимолости и боярышника, а снаружи, с внешней стороны, натянута корабельная якорная цепь. Такое возможно лишь в Нормандии. А за оградой начинается царство камней. Второе призвание хозяйки дома — камни. С безошибочным вку-

сом подобранные по цветам камни являют собой ещё один фантастический мир. Ковры из камней. Каменные мозаики. Просто камни, использованные для создания и оформления совсем крохотных альпинариев. Много камней и в самом домике. И много зелени. Зелёным комнатным плющом обвиты стены, лестница, ведущая на мансарду, прямо-таки утопает в зелени. А стены ещё увешаны картинами — акварель, масляная живопись, рисунок, офорты. Нигде не осталось пустого места. Пребывание в России оставило свой след — зимние пейзажи ленинградских пригородов, зимние московские улицы. Хозяйка домика явно тяготеет к русскому искусству, с увлечением говорит о творчестве передвижников, о живописных коллекциях Русского музея и Третьяковской галереи. Говорить можно долго, хочется говорить ещё, но мне пора спешить на вечерний парижский поезд. На прощание я дарю Дениз настенный календарь «Поленово», выпущенный тульским издательством «Коммунар». Восторгу её нет предела. Оценив великолепное полиграфическое исполнение, она как-то по-детски хлопает в ладоши, увидев заснеженные крыши старой Москвы на Средней Кисловке:

— Больше всего на свете люблю снег!

Я тоже уношу отсюда драгоценный подарок: отлично изданный зоологический атлас с изумительными иллюстрациями Дениз. И ещё — целлофановый мешочек с пёстрыми камешками нормандского побережья. Мешочек перевязан красивой красной лентой.

— Адьё, Федья, нет, как то сказать по-русскому? А вот — до свидания!

— Именно так, Дениз! До свидания.

Привлечённый или разбуженный нашими голосами приоткрывает глаза полусонный ящер. Хочется пожелать ему тепла.

— Адьё, о'рвуар, Александр! До свидания!

И я покидаю этот милый домик с его многоголосым хором сверчков и заглушающими порой этот хор руладами «квашки-экваториаль»...

ГОЛУБИ В БОЙНИЦАХ

Кривые уютные улочки старого города уводят в глубину времён. Здесь нет слова и понятия «переулок»: даже самая короткая и неприметная улица гордо несёт собственное имя. Гордость понятна: далеко не каждый может сказать про себя, что живёт в доме, построенном в тринадцатом столетии. А здесь живут. Живут непрерывно, одни поколения сменяют другие, уходят в прошлое исторические эпохи, а дома, построенные ещё до открытия Колумбом Америки, стоят.

Тридцать лет назад я впервые пришёл в этот город с моря. Всегда радостно и увлекательно впервые ловить в узкую щель штурманского пеленгатора встающие из-за горизонта шпили островерхих

кирх, ранее знакомые только по описаниям лощи. Не менее радостно встречать сейчас старых знакомых, читая на каменных страницах их наивные характеристики, все эти «Соли Дэо глория», «Мисерикордиас Домини ин азтернум канбато»... И вспоминать строчки Блока:

Лишь медь торжественной латыни
Поёт на плитах, как труба...

Каждая страница увенчана заставкой — городским или цеховым гербом с башнями, львами и скрещёнными ключами от города под рыцарским шлемом с поднятым забралом. Искусно выполненный в кирпичной кладке стены кораблик под

парусами — свидетель и символ ганзейского прошлого города — плывёт по гребням кирпичных волн. Их завитки напоминают капители колонн ионического ордера.

Я впервые в этом городе зимой. Непривычные сугробы и морозный полдень заставляют взглянуть на него иначе. Гимном строительному гению человека звучит для меня симфония черепичных кровель, чередование башенок с неизменным флюгером над острыми шпилями, чёткий ритм повторяющихся фахверковых конструкций.

Под снег ушли разводы булыжной мостовой старой ратушной площади. Мостовая помнит, как высекали из неё искры подковы рыцарских коней во времена Ливонского ордена: у камней долгая память. Они одинаково хорошо помнят стук колёс карет с геральдикой гербов на дверцах, грохот кованых колёс полевых орудий, лязг танковых гусениц и шелест резиновых покрышек штабных автомобилей. Хранителями легенд застыли камни в кладке древней крепостной стены — чем старше камень, тем больше легенд. Тысячелетиями ревниво стерегут они память веков и молчат. Что нужно, чтобы они заговорили? Присутствие человека. Стражи полузабытых легенд — люди.

И вот я хожу по средневековым улочкам. Со мной — моя память и желание, чтобы она была богаче. Глаза широко открыты сегодняшнему дню. На каждом шагу узнаю приметы моей юности, когда впервые прошёл по этим улицам в матросской форме. Кирпичный кораблик под всеми парусами уверенно плывёт по гребням кирпичных волн. Куда? В какие дали времени?

Знакомая улица выводит меня к крепостной стене. Проем ворот, через который свободно могли въезжать в ряд четыре всадника, открывает остатки бывшего крепостного вала. У ворот врыты жерлами в землю стволы пушек семнадцатого века. Сейчас они играют мирную роль уличных тумб.

История войн — история злой воли. Её свидетельство — каменные и чугунные ядра, со времён Густава-Адольфа засевшие в каменной кладке крепостной стены. Не говоря уж о сотнях тонн мелинита и тротила, обрушенных на город во времена двух мировых войн. У разрушения нет пафоса. И нет триумфа. Есть тот рубеж, на котором теряется понятие «человек». Об этом подумал я, глядя на ядра в крепостной стене.

Сквозь узкие вертикальные бойницы, так много повидавшие на своём веку, видно ослепительно-голубое январское небо. В бойницах сидят нахохлившись, непривычные к морозу голуби — стражи чистого неба. Веками стерегут голуби светлую мечту людей о мире. Веками сидели они в бойницах крепости — в двенадцатом веке так же, как в двадцатом. Стерегли вместе с людьми этот город с его симфонией черепичных кровель, с геральдикой его гербов и острыми шпилями кирх. И с кирпичным корабликом.

Милый ганзейский кораблик, оставленный в кирпичной кладке мастерами прошлого! Паруса трёх его мачт от фока до бизани полны ветром времени. Он уверенно бежит по гребням кирпичных волн, напоминающим завитки на капителях ионических колонн. Плывёт в будущее...

ТАКОВСКИЙ КРЕСТ

Он лежит в «семейной витрине» поленовского музея свыше ста лет. Этот золотой крест — «Такова-орден», по терминологии семидесятых годов XIX века (с обязательным ударением на «а»), — занимает среди экспонатов витрины почётное место.

12 ноября 1876 года его вручил «добровольцу эскадрона Тернска» Василию Поленову сербский воевода Маш Врбича. Незадолго до этого, 3 ноября, Поленов был награждён черногорской медалью «За храбрость». Она находится тоже в «семейной витрине», рядом с медалью в память русско-турецкой войны и университетским значком: одновременно с окончанием Академии художеств В.Д.Поленов окончил юридический факультет Петербургского университета.

Итак, 1876 год. «Вчера получил письмо от Поленова из Крушеваца от 10-го ещё октября! Он пристроился к летучему отряду полковника Андреева, который составляет крайнюю позицию правого фланга Моравско-Тимокской армии. Какие бедствия, пишет! Боюсь, что его нет в живых уже», — писал И.Е.Репин В.В.Стасову 26 октября

1876 года. В сентябре этого года, захваченный общим патриотическим подъёмом и идеей единения славянских народов на Балканах, Поленов добровольцем ушёл на фронт начавшейся сербско-турецкой войны. В 1877 году его записки «Дневник русского добровольца» опубликовал в Петербурге столичный журнал «Пчела». Вот отрывок из его «Дневника»:

«Утром рано приехали в Делиград. Я отправился в штаб. Главнокомандующий ещё не принимал. В девять часов дежурный ординарец доложил. Я был принят Черняевым и передал ему поручения. Он произвёл на меня противоположное впечатление первому, очень некрасив, но необыкновенно симпатичен. Что-то внимательное и доброе светится в его глазах. Вас охватывает какая-то теплота и безотчётное доверие к этому человеку, вы для него готовы идти в огонь и воду... Вечером был позван главнокомандующим к себе и пробыл у него более часа. Редко приходилось мне встречать такого симпатичного человека, как Михаил Григорьевич Черняев. Ни фатовства, ни позировки, а, напротив, — необыкновенная про-

стота и скромность во всех словах, приёмах и действиях. При этом глубокая преданность идее, которая сообщалась и вам, совершенно вас побеждала и заставляла чуть что не боготворить его. Подробно расспрашивал меня о России, о настроении общества и правительства, есть ли надежда получения помощи? «Стыдно и нерасчётливо нашему правительству держать себя в таком официальном холодном отношении к горячему движению, охватившему всю Россию...» — Я вышел от него совершенно им обворожённый, мне припомнился Кутузов в «Войне и мире».

И далее: «После обеда Андреев предложил мне поехать с поручиком Ведринским в разъезд на аванпосты. Надо было передать медаль одному офицеру, находящемуся там, и посмотреть на неприятельское расположение. Чудесные картины, дорога вела сначала по берегу горного потока, потом взошла в старый буковый лес оригинального колорита, толстые стволы деревьев были пепельно-седого цвета, а земля устлана тёмно-красным обвалившимся листом. Перевалив через гору и проехав сербскую границу, которая ведёт по самой вершине Ястребаца и отделяет Сербию от Турции низеньким каменным забором, мы увидели обширный вид долины Сербской Моравы, по ней рассыпаны беленькие полуразрушенные деревни. Исполнив поручение, мы миновали передовые посты и спустились в долину. Турок нигде не было, но следы их остались. Проезжая по разрушенной деревне, мы увидели несколько сербских голов на кольях, между ними была одна женская. Когда мы взобрались опять на гору, было уже темно, пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Сделав заворот, мы увидели весь турецкий лагерь, как на ладони, он ярко пылал кострами, в середине находился правильный освещённый четырёхугольник, вероятно, главная квартира... Доносились звуки военной музыки...»

Вопреки опасениям Репина, Поленов остался жив. Полковник Андреев, в отряде которого проходил службу Поленов, выдал ему свидетельство о храбрости в боях и кавалерийских атаках 7, 8 и 9 октября. Позже, перед отъездом на Родину в ноябре 1876 года, он получил боевые награды, бережно хранящиеся в «семейной витрине» поленовского музея.

«Поздравляю тебя, дорогой мой Василий Дмитриевич, от всей души!!! Вот когда ты уже герой в полном смысле и во всех отношениях!!!» — писал ему Репин из Чугуева. Он поздравлял своего друга с двумя событиями: получением боевых наград и присвоением звания академика живописи.

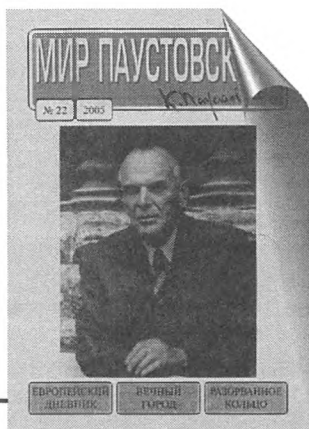
Ровно через год Поленову снова пришлось быть на театре военных действий. На этот раз — в Болгарии, где он принимал участие в освободительной войне. Помимо многочисленных рисунков, выполненных им для журнала «Пчела», он привёз с фронта несколько значительных живописных полотен. Будучи принципиальным врагом всяческого насилия и кровопролития, человеком искавшим — и находившим! — в искусстве лишь гуманное начало, он не любил изображать войну. Он говорил, что это настолько ужасно, что иной раз не хватает духа изображать только людские страдания. А брать оружие в руки следует только в самой крайней необходимости. Кстати, оружие это — кавалерийская сабля — тоже находится в музее Поленова рядом с сербскими саблями, турецкими ятаганам, рядом с кремнёвыми пистолетами, средневековыми доспехами и оружием французского воина.

Осенью 1984 года в Софии была большая выставка во время торжеств, посвящённых сорокалетию освобождения Болгарии Советской Армией. Государственный музей-заповедник В.Д.Поленова был представлен на ней обширным разделом, посвящённым творчеству художника и его пребыванию в Болгарии. Рядом с этюдником, палитрой и набором кистей экспонировалась и его кавалерийская сабля. Ведя экскурсию по разделу советских музеев, я заметил заинтересованность в глазах тогдашнего болгарского лидера Тодора Живкова, когда мы подошли к стенду с поленовскими картинами «Золотая осень» и «Ущелье вблизи Брестовца».

— Кем же он был — художником или военным? — спросил Живков. И удовлетворённо кивнул, когда я ответил:

— Он был и всегда оставался только художником. Боевое оружие он взял в руки только один раз в жизни. И поднял его в защиту народа Болгарии от османского ига.

А Такова-орден и сейчас лежит в «семейной витрине». Орден был учреждён и основан в XIX веке известным реформатором Милошем Обреновичем, первым верховным руководителем независимой Сербии. Орден лежит в этой витрине, напоминая об осени 1876-го и осени 1984 годов. Той благодатной и незабываемой южной осени, когда становится прозрачным воздух балканских предгорий, никнут жёлтые травы в долинах Савы, Дуная, Марицы и на обочинах дорог стоят громадные корзины с виноградом — урожаем года. А на мостовые и тротуары Софии, Пловдива, Крушеваца, Казанлыка и Бургаса то и дело роняет спелые каштаны щедрая осень...



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Алексей ЗУЕВ

ГОРОД ЗОЛОТОЙ РОЗЫ

Я живу в Тарусе относительно недолго и, может быть, поэтому всё ещё продолжаю смотреть на этот прославленный искусством талантливых русских людей городок как бы со стороны.

В 70–80-е годы мне пришлось изездить почти всю Россию: от Камчатки до Калининграда, жить или часто бывать на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, Черноморском побережье, в Прибалтике. Позднее, уже в 90-х, занимаясь международными побратимскими связями с городами США, Японии, Китая, а затем и работой в Союзе Балтийских Городов, посещал и зарубежные страны. Разумеется, я не хочу сравнивать Тарусу с Эдинбургом в Шотландии, Орхусом в Дании, Килем в Германии или с Гданьском в Польше, хотя бы ввиду различий в численности населения и уровня развития промышленности.

Я не сравниваю Тарусу и с маленькими городками на восточном побережье Балтийского моря — ввиду специфических, если не сказать больше, различий в менталитете жителей Средней России и Прибалтики. И, пожалуй, лишь только в американском городке Фэрбенксе, в самом центре некогда Русской Аляски, довелось мне увидеть так же густо сконцентрированные человеческие таланты, как в маленькой Тарусе.

Жители многонациональной и многоликой Аляски (там и сейчас в селе Николаевка живут русские староверы) с любовью называют свой Фэрбенкс «Городом Золотого Сердца», с одной стороны, как бы напоминая этим о далёких годах золотой лихорадки (помните повести Джека Лондона?), а с другой — о гостеприимном характере горожан и, конечно же, о золотом фонде города — людях искусства: писателях и поэтах, композиторах и музыкантах, художниках и артистах. И надо отметить, что за последние 30 лет благодаря взвешенному и в то же время рациональному подходу городских властей к старой и новой истории своего города маленький Фэрбенкс стал одним из известнейших и популярнейших центров туризма и отдыха в стра-

не. Круглый год многие жители Америки устремляются через всю Канаду лишь для того, чтобы прикоснуться к истории, своими глазами увидеть, как жили и выживали их предки в жестокой борьбе со стихией... В чём же здесь секрет? Да в том, что дополнительно к некогда знаменитому и, может быть, намеренно окружённому некоторым ореолом таинственности «Духу Аляски» («Spirit of Alaska»), то есть её имиджу, добавился прагматизм городских жителей и их неискоренимое желание жить хорошо. Жить плохо — пьянствовать и не работать — просто неприемлемо для аляскинцев. Многочисленные магазины и кафе, малые частные гостиницы, музеи, картинные галереи, сувенирные лавки, мастерские керамики, прогулочные катера и яхты, самолёты и вертолёты, воздушные шары, индивидуальная рыбалка, охота, прогулки на лошадях, гонки на собачьих упряжках, горячие источники — всё это в любое время года готово служить на благо туристов и отдыхающих. Я не говорю уже о просто огромном по нашим российским меркам количестве местных сувениров на любой вкус и кошелёк: изделий из дерева, кости, меха, камня, металла, карт и значков, футболок и кепи с городской символикой и т. д. и т. п.

Во многом благодаря поддержке местных властей за эти годы сюда съехались талантливые представители культуры и просто предприимчивые люди со всей Америки. Так, моя добрая знакомая Донна Вуд приехала на Аляску в 18 лет и устроилась работать официанткой в старое ковбойское кафе, а сегодня, в свои 70 лет, она — основательница и владелица лучшей в Фэрбенксе частной картинной галереи, очень уважаемый человек в городе, поистине представитель его золотого фонда.

Другая женщина, Хуанита Хелмс, коренная жительница Аляски (в прошлом — мэр городка), делала и делает сейчас очень много для развития местных народных промыслов и их продвижения на внутреннем рынке. Учитель Джон Лэйл создал огромную коллекцию фотографий природы Аляски.

Золотые руки Джинджер Волберг создают великолепные цветные мозаичные витражи (в том числе и на темы русских народных сказок), а керамист Шерли Одсайдер возит со своей родины из Канады белую глину и свои изделия продаёт на Аляске. Перечислять можно долго... Вот очень характерный пример: Ховард Люк занимает весьма значимую и почётную должность председателя Союза Аборигенов Аляски, а для туристов — он просто гостеприимный хозяин индейской деревни-музея под открытым небом. Когда мимо деревни проплывает очередной пароходик с туристами, он (по звонку сотового телефона!) выходит на берег реки Чены в национальном наряде и чистит большую рыбку (может быть, просто купленную в магазине). Вы можете смеяться, но это не только поддерживает созданный здесь неповторимый «дух Аляски» и производит впечатление на публику, но и... худо-бедно, пополняет деньгами его карман!

Все эти люди, коренные и некоренные аляскинцы, объединены одним — любовью к тому месту, где они все вместе живут, и желанием видеть его процветающим. И только благодаря этому здесь сегодня бурно кипит торговля и туристический бизнес, проходят фестивали культуры и искусства, знаменитые гонки на собачьих упряжках, соревнования на каноэ и т.п. Как говорил председатель Законодательного Совета штата Майкл Дэвис, «власти нужна была смелость только начать». Была подключена пресса, телевидение, организован выпуск печатной рекламной продукции. Но главное, была кропотливая и настойчивая работа местных властей с населением, предпринимателями, представителями общественности. Надо отметить, горожане очень быстро поняли, что туризм приносит не только беспокойство, но и деньги в городскую казну, что, в свою очередь (при соответствующем подходе), позволяет решать многие местные проблемы, в том числе социальные, вопросы чистоты и благоустройства города. А дальше? А дальше работает тот же принцип, что и у любого русского человека, впервые увидевшего Тарусу, — увидев её один раз, люди не хотят уезжать, а, уезжая, возвращаются вновь!

При этом, и стоит это ещё раз особо отметить, местные жители извлекают из такого положения самую прямую и существенную пользу для себя, так как одна часть из них имеет возможность заниматься народными промыслами и здесь же выгодно сбывать свои изделия, а другая — работать в постоянно расширяющейся сфере туристических услуг. И лишь немногие представители коренного

населения оказываются не у дел в связи с их страстием к алкоголю, наркотикам и проч.

И вот сегодня, вспоминая Фэрбенкс, я невольно сравниваю Тарусу с этим далёким северным городком и вижу, что при всём различии в образе жизни их жителей, во многом они действительно схожи. У того и другого есть знаменитое прошлое и перспективное будущее. При этом, несмотря на то, что потенциально возможности этих городов, на мой взгляд, довольно близки, различия же в подходе к решению местных проблем весьма ощутимы. Такое впечатление, что здесь, в Тарусе, власти и жители всё ещё ждут чего-то необыкновенного, какого-то чуда. Многим ещё кажется, что какой-то волшебник взмахнёт, наконец, палочкой — и Таруса станет другой: чистой и ухоженной, богатой и процветающей! Не лучше ли самим использовать то, что лежит у нас буквально под ногами? Ведь бессмысленно предполагать, что природа и созданный десятилетиями имидж Тарусы вдруг внезапно станут малопривлекательными для россиян, а те же москвичи перестанут ездить в Тарусу. Так не пришла ли пора с выгодой для себя самих использовать этот давно устоявшийся факт? Ведь для русского человека воспоминания о древней истории старинного городка на Оке и связанных с ним именах великих и известных людей не менее драгоценны, чем воспоминания вышеупомянутых мною американцев о «презренном металле». (Кстати, среди тарусских старожилов ещё живёт легенда о найденных в конце XIX века в устье речки Песочни золотых самородках.)

Да, для получения результата надо работать и работать — много и не один год. Но иного выхода, как мне кажется, у такого городка, как Таруса, нет.



Таруса.
Рисунок Аркадия Штейнберга, конец 1950-х гг.

Здесь существует ещё одна проблема — кто сегодня едет в Тарусу? И кто будет ездить сюда в будущем? Если пустить всё на самотёк, то лет этак через пять «набеги» малообразованной и малокультурной, но любящей от души повеселиться молодёжи действительно превратят этот всё ещё красивый уголок Средней России в грязную яму. Здесь нужна продуманная программа, если хотите, политика городских властей, направленная на привлечение такого контингента гостей и отдыхающих, который едет не погулять и выпить пива, а получить удовлетворение от общения с историческим, культурным достоянием и неповторимой красотой тарусской природы. Не так давно, например, один мой родственник, приехав к нам из развитого и достаточно чистого приморского города, был просто шокирован антисанитарным состоянием Тарусы и её окрестностей. Что он сделал? Он взял полиэтиленовые пакеты в руки, и по дороге с пляжа мы битком набили их мусором, беззаботно выброшенным самими тарусянами и, конечно же, гостями города. Ведь если вдоль всего «тарусского» берега реки нет ни одного мусорного бака, то что говорить о культуре поведения основной массы приезжих? Нет в окрестностях Тарусы и ни одного указателя пешеходных маршрутов, нет соответствующих дорожных указателей направлений на дорогах. Да и карты города и окрестностей найти почти невозможно. Ну нет в городе денег на это, вот и весь разговор. Их и не будет никогда, если не понимать этой проблемы или подходить к ней с позиций пассивной констатации фактов. Ведь не создав даже элементарных условий для развития малого предпринимательства в области туризма и гостиничного бизнеса, нельзя ожидать и появления платёжеспособных отдыхающих, а с ними — рабочих мест и налогов, а значит, и денег на уборку того же мусора, благоустройство города. Это как круговорот воды в природе, и он Тарусе просто необходим.

Так с чего же следует начать? Я думаю, с поднятия имиджа Тарусы в глазах россиян. Из огромного количества эпитетов, связанных с ней, хорошо бы выбрать один, но главный, достойный её прошлого и настоящего. С перспективой на будущее. А с чем же Тарусу можно сравнить, как назвать? Может быть, «Городом Золотой Розы», вспомнив о творчестве Константина Паустовского и сравнив созданные здесь произведения талантливых людей, живших и живущих в Тарусе уже многие годы, с её золотыми лепестками?

Ещё вчера этими золотыми лепестками были произведения и деятельность В.Борисова-Мусатова и В.Поленова, М.Цветаевой и К.Паустовского, Н.Заболоцкого и А.Авдонины, А.Виноградова и П.Голубицкого, Г.Вульфа и В.Вульф, А.Штейнберга, В.Кобликова и Н.Крымова, А.Цветаевой и В.Вагагина, В.Бакшеева и Ю.Крымова (Беклемишева), И.Цветаева и И.Добротворского, Н.Гастунского и

Н.Ракицкого, С.Рихтера и А.Шеметова, М.Гумилевской и А.Трубочкиной и других.

Сегодня же эти лепестки — исторические повествования прозаика Сергея Михеенкова, чувственная и одухотворённая керамика Любови Спешинской, строгий орнамент великолепных изделий супругов Самолётовых, изысканность и простота батика Елены Калашниковой, нежность цветочных композиций Виктории Пилипенко и авторские скульптуры-шкатулки Сергея Пилипенко, неповторимая глубина окских пейзажей Эдуарда Мазнева и пастельная грусть картин М.Хвощева. Прекрасны работы маслом А.Кемурджиана и С.Павлютиной, акварели Е.Филиппова, работы по берёсте В.Скориантова, С.Жулидова, расписные вазы Л.Шелест, миниатюры Е.Семяшкиной и Г.Кондрашовой, расписная керамика Виктора Кондрашова, работы Тамары Ерохиной, Л.Корнеева, А.Афанасьева и других.

Все эти люди, воспевающие Тарусу своим талантом, влюблённые в её красоту, создавшие тот самый неповторимый «Дух Тарусы», так привлекающий в эти одухотворённые места россиян, и являются, на мой взгляд, настоящим золотым фондом города, который необходимо всемерно и действенно поддерживать и развивать.

И вот уже вступают в культурную и художественную жизнь города дети, с рождения дышавшие неповторимым воздухом Тарусы: Полина Калашникова, Миша Пилипенко, Галя Спешинская, Вася Павлов, Лиза Ерохина, Арсений Шиловский...

Ведь это тоже те самые золотые лепестки, которые необходимо аккуратно подбирать, сохранять и лелеять, создавая тем самым благоприятную почву для процветания города.

Власть, как районная, так и областная, должна быть мудра и разумна, ведь именно в этих людях, живших здесь много лет назад и живущих сегодня, заключены сегодняшняя сила и слава Тарусы и, если хотите, её будущее. И, возможно, задача состоит в том, чтобы подойти к вопросу по-новому, используя, например, опыт городов, входящих в Ассоциацию Российских Городов или Ассоциацию Малых Городов России. Зеленоградск и Светлогорск в Калининградской области, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае, малые города на Волге — повсюду есть положительный опыт, был бы интерес и желание засучить рукава и работать. Может сослужить хорошую службу и обкатанный многими городами России потенциал побратимских связей с подходящими для этого городами зарубежных стран. И не обязательно для этого забираться слишком далеко. Город Сопот в Польше, Нида в Литве — вот только два примера успешного развития малых курортных городов в ближайших к нам странах, ещё не забывших, кстати, русский язык.

А завтра это может дать свои плоды — «Город Золотой Розы» оживёт и засияет подобно городам Золотого Кольца!

Лень, что заслужена, —
 сладка.
 Легко скользит по белу полю
 С пером бесплотная рука,
 Легко дышать без принужденья,
 Легко бежать без пут и риз!
 И на крылах стихотворенья
 Парить...
 И камнем падать вниз.

Лес

Лес надвигался — влажно, многолико.
 Он отступал, как в танце — ветви врозь...
 И разбегалась, прячась, земляника
 В зелёных юбочках, промокшая насквозь,
 И папоротник медленно вращался,
 Приворожив мой взгляд тугим витком.
 И этот буйный мир едва вмещался
 В пространстве, опечатанном зрачком.

* * *

Голубая деревня подлунная
 Запечатана белым крестом.
 Никого. Лишь позёмка безумная
 Мчит по насту в разгуле пустом.
 Стукнешь в дверь, — разве что-то послышится?
 Да и кто здесь ночлег посулит?
 Тишина. Только облако движется...
 Тишина. Только сердце болит.
 И всё видится, чудится, кажется,
 Что и здесь, где лишь тлен да луна,
 Всё ещё чья-то воля куражится,
 И за гробом не ведая сна.

* * *

Устала лежать дорога.
 И вот она поднялась
 И стала дорогой к Богу.
 А значит — она сбылась!
 И я бы за ней восстала!
 Да волосы в травы вплелись,
 Да очи земные устало
 В два озера разлились.

* * *

Заречная, залесная,
 Доселе неизвестная,
 Иду, едва касаюсь я
 Ромашек подолом.
 Самой себе не ведома,
 Но счастлива заведомо —
 У лебедя, у ангела,
 У Бога под крылом.

ГОЛУБКА

М. Цветаевой

Приходила белая голубка
 Или чья-то близкая душа,
 Опереньем, будто нижней юбкой,
 По карнизу ржавому шурша.
 Всё крутила шёлковой головкой,

Всё глядела маленьким глазком...
 Было мне тревожно и неловко,
 Словно позабыла я о ком.
 О любимой, да несбережённой,
 О чужой, да всех родных родней!
 И следила я заворожённо
 За голубкой белою в окне,
 Как ей перья ветром раздувает,
 Как сечёт дождём её крыла...
 А она ждала, не улетаая,
 Будто за собой меня звала.

* * *

Золотые шары предосенней поры,
 Что так головы низко склонили?
 Может, лето в траву обронили?
 Так теперь вам его не найти.
 Не отыщешь того, что сронил, не сберёг,
 Никогда оно впредь не вернётся.
 Укатило его вольным ветром дорог!
 Только пыль золотистая вьётся...

* * *

Жизнь — дарёная Богом свеча.
 Запалю, — догорит без остатка,
 Задохнётся во тьме,
 горяча,
 От восторга и больно, и сладко.
 Но зачем ей так жарко гореть,
 Отражая нашествие ночи?
 Разве можно свечою согреть
 Этот мир,
 что согреться не хочет?

* * *

Как часто, выйдя из воды сухими:
 Не потеряв ни кошелёк, ни имя,
 Мы забываем справиться,
 спеша, —
 А вышла ль из воды сухой душа?

* * *

Жар спадёт, душа вздыхает...
 Ветер крышу обметает,
 На ведре — кружавчик льда.
 Прикушу, и мёдом тает,
 Медуницей расцветает,
 Хрупнув,
 сердце изо льда.

* * *

Я не озеро, не речка,
 Не шиповник, не сосна...
 Человек!
 Но человечья
 Оболочка мне тесна.
 В ней — блаженная, святая,
 Взаперти, душа поёт,
 В ней, вселенную листая,
 Мысль плоды свои питает
 Из несметных Божьих сот.

Виктория ГУБАРЕВА

ИСТОРИЯ ИСТОМИНСКОЙ УСАДЬБЫ

Я влюбилась в Истомино с первого взгляда, как только вышла из автобуса Таруса-Роца у деревни Похвиснево, куда приехала по делам. За спиной — бетонно-шиферный новострой. Пора было поворачивать в его сторону, а я не могла отвести глаз от высокого холма с церковью вдаль. Очень захотелось перейти через дорогу, через поле, миновать деревню Слободка, перебраться по деревянным настилам подвешенного мостика через речку Тарусу, подняться на высокий холм к храму и парку, венчавшему всю эту красоту.

«Я должна быть там!» — с такой мыслью я всё-таки зашагала по улице Похвиснева, совсем в другую сторону.

Когда вскоре мне предложили поработать в истоминской школе, я уже знала — на этот холм буду подниматься столько раз, на сколько хватит сил...

А почему Истомино? Не так часто встречаются подобные названия сёл. Ответ пришёл неожиданно, соловьиным майским утром, на самой вершине холма.

Истомино, истомушка,
Томление души.
Приди и стань на горочке,
Замри и не дыши.
Истомино, томление,
В чем имени секрет?
Взлететь здесь очень хочется,
А крыльев лёгких нет.

Вид колокольни среди густых зарослей парка на вершине холма привлекает многих. Но первый возглас, который мы слышим от гостей: «Что же вы сделали с храмом!» Уныло склоняем головы и признаём свою вину: не уберегли, не отстояли.

Хотя педагоги и ребята, своим трудом и настойчивостью возродившие усадьбу, не могут отвечать за поступки разрушителей храма. До середины семидесятых годов XX века он был действующим.

Церковь Успения Богородицы построена была ещё в 1725 году стараниями Ивана Петровича Толстого. В августе того года, в день коронации Екатерины I, его отец Петр Андреевич Толстой получил грамоту графс-

кого достоинства. За такие почести благодарили не только государя, но и Бога. Но не очень помогло это Толстым. Дворцовые интриги Меншикова всё-таки загубили их. В 1728 году отец и сын были сосланы на Соловки, где и умерли вскоре. Данная же Ивану Петровичу Толстому за службу усадьба Истомино была конфискована, как и другие поместья, став дворцовой.

Деревянный дом ветшал, хотя в нём заседал земский суд, а в глубоких подвалах храма располагался архив и казна. Именем распоряжалось казначейство.

В начале 80-х годов XVIII века владельцем имения становится Николай Иванович Маслов — сенатор, главный директор межевой канцелярии. Три тысячи десятин земли, пятьсот душ обоёго пола, «дом господский деревянный с плодовитым садом» — это хорошо, но уже недостаточно по тем временам. Благоустройство, закладка парка и каменного дома начинается именно в этот период.

Продолжить начатое и воспользоваться полученным наследством после смерти деда в 1803 году Николай Захарович Хитрово смог нескоро. Война с турками уводила его от дома и от молодой жены — Анны Михайловны. В походе был рядом мудрый и дипломатичный тесть — Михаил Илларионович Кутузов. В письмах он советовал зятю «быть осторожным, не горячиться, быть с теми познакомее, которые поближе знают службу».

В 1811 году Николай Захарович попал в немилость. Ходили слухи, что по своей болтливости, к чему был склонен, или даже из симпатий к Наполеону, он выдал военные тайны французскому послу. Так или иначе, но Хитрово был сослан в Вятку. Там он занялся изучением истории города и окрестностей, впервые описал дымковскую, вятскую игрушку и обряды, с ней связанные. Вскоре удалось переселиться в своё имение Истомино, поближе к Москве. Всё семейство, губернёры-французы и слуги переезжают на лето в усадьбу, расположившуюся в семи километрах от Тарусы.

Можно себе представить, как ожила округа при этом известии! Ещё бы, прибыли особы, близкие к государю, ко двору. Сам Николай Захарович когда-то

МП: Виктория Андреевна Губарева — учительница, заместитель директора Истоминской средней школы, разместившейся в бывшем усадебном доме, овеянном легендами и мифами.

Она всем сердцем привязана к этому краю, изучает его историю (и учеников своих приобщает), работает в архивах, продлевает славные просветительские традиции. За многие годы работы в Истомине научилась определять, ос-

танется новый человек в этих местах или нет. «Если, выйдя из автобуса Таруса-Роца, при повороте на Истомино новичок остолбевает от красоты — это наш человек. А если произносит с досадой: — Так это ещё сколько идти! — увь».

«Всё зависит от людей», — пишет Губарева в своём очерке, публикуемом выше. Вместе с директором, учителями и учениками истоминцы превратили основную часть усадьбы в райский уголок. Это единственная школа в ок-

руге, где дети в учебное время получают бесплатные горячие обеды, для некоторых из них — это всего одна еда за день... При школе учителя и ученики выращивают огород, за счёт которого и организуется питание.

— Какие же наши сельские ребята труженики! И дома всё лето — на огороде, и в школе. Пропальывают, поливают. Любят они свою землю, свой край, — говорит Виктория.

Татьяна Мельникова

состоял в свите и Павла I, и Александра I. Анна Михайловна, как и её сестры, пожалованная фрейлиной при великих княжнах, практически ежедневно приглашалась к обеду с Павлом I, да и на ужинах при Александре I бывала частенько. Красавицей её не назовёшь, но все знали, как образованна, мила, воспитанна дочь Кутузова. Было отчего взволноваться тарусскому обществу: петербургские новости, предстоящие балы ждали уездных барышень и молодых людей. Да и старикам нашлось бы о чём побеседовать с таким образованным человеком, как Николай Захарович. Всё так и вышло. Приёмы, маскарады, журналы, по воспоминаниям С.Д.Полторацкого, русского библиофила, жившего в 18-ти километрах от Калуги в Авчурине, «много действовали на уездное дворянство и чиновников».

Новая война, теперь уже с Наполеоном, потревожила привычный образ жизни. Семья Хитрово принимает участие в сборе пожертвований, снаряжении и отправке ополчения. Но уже 19 августа 1812 года из Гжатска от М.И.Кутузова получено письмо, где он настаивает на том, чтобы семья «уехала подальше от театра войны». Одна загвоздка — Николай Захарович, состоящий под надзором, должен иметь разрешение губернатора на отъезд. Получив соответствующие указания, земский исправник 30 августа докладывал начальству, что семья Хитрово отправилась в их нижегородские деревни в сопровождении заседателя уездного суда Р.Ф.Голубицкого, деда изобретателя телефонов П.Н.Голубицкого. Только в марте 1813 года Николай Захарович был взят на службу и определён в Могилёв, а Анна Михайловна вернулась в Петербург. Что и говорить, беспокойной была жизнь дворян в те годы...

Истоминская усадьба оживилась в 1814 году. Николай Захарович полон сил и настроен многое изменить в имени, да и в уезде. Ему 41 год. На десять лет моложе мужа Анна Михайловна. У них три сына. Михаилу одиннадцать, Александру девять и семь лет младшему Фёдору. Много забот у семейства по благоустройству Истомина. Церковь Успения Богородицы перестраивается, дом обретает законченный вид. Он не совсем соответствовал классическим канонам, для его планировки скорее характерна «палатность».

Основное помещение первого этажа — зал, занимающий всё пространство между ризалитами¹. Из зала двери ведут в боковые сени, гостиные с угловыми печами, на лестницу на второй этаж — с точёными балясинами.

На втором этаже — шесть небольших комнат, с такими же угловыми печами, как и в зале. Теснова-



Истомино. Усадебный дом.
Фотографии Сергея Михеенкова

то было, пожалуй, после Москвы и Петербурга, но очень уютно.

Здание Успенской церкви при перестройке прачут в новые классические формы. Это приставленные к старой основе четырёхколонные портики с треугольными фронтонами, пробитые над ними полукруглые световые люнеты с круглыми медальонами по бокам и новый карниз-антабамент восьмерика. Завершила обновление новая трёхъярусная, построенная в духе классицизма колокольня со шпилем и трапезной со скруглёнными углами.

В соответствии с модой, да и благодаря удивительно подходящим условиям местности, обустраивается пейзажный парк. Пруды, аллеи, беседки, рожицы и деревеньки на горизонте были очень хорошо видны с балкона-лоджии, выходящего из большого парадного зала в партер парка. Особо удивлял гостей грот — модная в те времена деталь сада. Ну, разве что немного поменьше того, что сооружён в Александровском саду у Кремля. Грот в Истомине был встроен в каменную ограду, это было уютное местечко для уединения в жаркие летние дни, прохладная пещерка в саду.

Свидетелями балов и маскарадов, развлечений уездного дворянства были серебристые тополя, сохранившиеся до наших дней на лужайке у дома. У тополей в парке есть сверстники: вязы, липы, берёзы. По углам парка в конце тропинок на высоких холмиках стояли беседки на кирпичном фундаменте, откуда можно было любоваться замечательным видом окрестностей. Дренажная система парка до сих пор ещё видна, хотя сам парк сильно зарос молодняком. Всё говорит о том, что хозяин усадьбы Истомино Н.З.Хитрово, живший открыто, шумно, по-европейски, много сил и средств отдал для создания образцового натурального сада, предмета гордости и престижа, отражавшего не только степень материального благополучия, но и уровень его культурного развития, духовных идеалов, представлений о прекрасном.

В 1817 году в жизни Николая Захаровича и его семьи происходили важные события. В Истомино приезжала мать Анны Михайловны. Ей, как жене М.И.Ку-

¹ Ризалит (от итальян. *risalita* — выступ) — часть здания, выступающая за основную линию фасада. Обычно ризалиты расположены симметрично по отношению к центру основного фасада. (Ред.)

тузова, были оказаны большие почести. Звонили во все колокола, духовенство в облачении ждало у входа церкви с крестами. С.Д.Полторацкий вспоминал, что народ даже выпряг лошадей и вёз на себе карету. Имя великого полководца было тогда ещё очень популярно. Поэтому не случайным было избрание Н.З.Хитрово в декабре 1817 года уездным предводителем дворянства. Главная деятельность Николая Захаровича — просветительская. Благодаря его хлопотам было открыто тарусское уездное училище. В 1820 году на экзаменах присутствовал профессор Московского университета Бекетов.

Но после неудачных выборов в губернское дворянское собрание Н.З.Хитрово оставляет Истомино, Тарусский уезд и в 1821 году переезжает в Москву, купив огромную городскую усадьбу у княгини Щербатовой. Позже на месте этой усадьбы возникла знаменитая Хитровка, или Хитров рынок. На этом можно было бы закончить историю семьи Хитрово как владельцев Истомина. Тем более, что дальнейшая судьба и поступки Анны Михайловны не очень годятся для красивой легенды, которую любят рассказывать экскурсоводы. Достаточно сказать, что в воспоминаниях современников дочь Кутузова получила прозвища «язвы общества», «несносной вестовщицы», «попрошайки». Совершенно разорившись после смерти мужа в 1826 году, но не утратив тяги к роскоши, бывшая фрейлина двора действительно постоянно кочевала из дома в дом, разнося сплетни и выклянчивая деньги даже у французского посла. В конце концов её перестали принимать все, кроме племянницы Дарьи Фикельмон, дочери Елизаветы Михайловны.

На одном из балов в 1837 году произошла сцена, которую свидетели называли важнейшей в судьбе М.Ю.Лермонтова. Показательна фраза Бенкендорфа, шефа жандармов, сказанная адъютанту после бала: «Мне не остаётся ничего больше, как сейчас же доложить о стихах Лермонтова «На смерть поэта» государю, раз о них знает Анна Михайловна». Развязка известна: арест, обыск, перевод Лермонтова в Нижегородский полк, а потом на Кавказ.

Ну а что же Истомино? В 1821 году имение купил у Н.З.Хитрово Степан Антипович Быховец.

И тут в цепочке имён появляется новое, цепь снова смыкается: Истомино — А.М.Хитрово — М.Ю.Лермонтов — Кавказ — Е.Быховец — Истомино. Прекрасная смуглянка Катенька Быховец в 1837 году с благодетельницей бабушкой Маврой Егоровной Быховец переезжает из Истомина в Москву, а в 1841 году, отдыхая на водах в Пятигорске, случайно становится свидетельницей последних часов жизни Лермонтова. В пять часов вечера, 15 июля, они ещё пили кофе и гуляли в роще у Железноводска, а в восемь Катя узнала, что Лермонтов убит на дуэли. Об этом известно как из воспоминаний современников, так и из письма Екатерины Быховец, опубликованного в 1892 году в журнале «Русская старина». Письмо адресовано «Бесценному дружочку Лизочке», которая побывала в Успенском — так в сороковые годы XIX века называли село Истомино, по церкви Успения.



Екатерина Григорьевна Быховец.
Акварель, 1848 г.

После смерти Степана Антиповича Быховца в 1826 году владельцами Истомина стали его жена Мавра Егоровна и племянник Григорий Андреевич. Долгое время они жили в Истомине одной семьёй. Жена Григория Андреевича, не остановившись на старшей Катеньке, благополучно рожала сыновей и дочерей ещё много раз. В мае 1841 года у Григория Андреевича было девять детей, из них только два сына, намечалось к декабрю появление младшенькой, Эмилии. Григорий Андреевич полон грандиозных планов, ведёт активный образ жизни. Главное его увлечение — геология. В трудах Вольного экономического общества, Московского общества испытателей природы печатаются его статьи, главным содержанием которых стало геологическое описание месторождения мрамора, открытого в Тарусском уезде Калужской губернии. Быховец не только открыл это месторождение, но и закладывал шурфы для поиска угля, разрабатывал мраморный карьер. В имении находились мастера по обработке камня, резчики. В 1840 году Г.А.Быховец преподнёс Государю вазу из истоминского мраморовидного известняка и получил в благодарность бриллиантовый перстень.

Время от времени и в «Калужских ведомостях» появляются любопытные статьи Григория Андреевича. Так в заметке «Оптическое явление или зеркальность



Истомино. Грот (слева на снимке — фрагмент церкви Успения Богородицы)

воздуха» он описывает увиденный в окрестностях своего имения мираж. Последняя статья от 1859 года называлась «Благоустройство Тарусы». В 1842 году Григорий Андреевич избирается предводителем дворянства Тарусского уезда, он активен и общителен.

Однако земли и крепостных приходится понемногу распродавать за долги. Истомино покупают князь Васильчиковы. Остаётся ещё несколько деревень, но живут теперь в новом домике в Пчеленках (ныне деревня Поливаниха), либо в Москве, вместе с Маврой Егоровной Быховец. Материальное положение семьи становилось всё хуже. В конце концов к 1870 году после смерти матери девять наследников гроздью повисли на последней деревеньке Слободка, пытаясь получить хоть какой-нибудь доход...

Но до этого ещё далеко. В конце тридцатых положение семьи достаточно благополучно. А Катенька и все Быховцы становятся свидетелями важного события у соседей. В деревне Лопатино, у богатой помещицы А.И.Нарышкиной появились гости. Её наследник и воспитанник Николай Федорович Бахметев привёз молодую жену Варвару Александровну (Лопухину), прося благословения тётушки. Ту самую Вареньку, которой Лермонтов посвятил столько стихов, любовь к которой сохранял долгие годы. Приезд молодых к соседке-помещице вряд ли остался вне переисудов соседей. Ведь Варвара Лопухина вышла замуж неожиданно за нелюбимого, пожилого Н.Ф.Бахметева. Прожила с ним несчастливо, много болела. Ревнивый муж всё, связанное с Лермонтовым, уничтожил. Но сохранился альбом Вареньки, где был рисунок Лермонтова «Благословение молодых», изображавший А.И.Нарышкину, Н.Ф.Бахметева и саму Варвару Александровну. Вот ещё одна любопытная ниточка, связывающая несколько имён и названий: Истомино — Быховец — Лермонтов — Кавказ — Варя Лопухина — Истомино. Поэтому не удивляют строки письма Екатерины Быховец из Пятигорска: «Он (Лермонтов) был страстно влюблён в В.А.Бахметеву. Он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его люби-

мый разговор был». Есть версия, что известный романс на стихи Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю» посвящён Е.Быховец. Так переплелись имена, судьбы, характеры в маленькой точке на карте Тарусского уезда.

Село Истомино хранит ещё много тайн, трагедий и любопытных историй. С середины XIX века оно переходит из рук в руки, пока его не выкупает купец Лихоманов. Захар Михайлович стал известен не потому, что имел мясной склад, лавки, кирпичный заводик. В 1895 году в Тарусе проходило шумное судебное разбирательство по делу секты хлыстов, главой которой оказался Лихоманов. Хотя буквально во дворе усадьбы находился православный храм, а через дорогу стоял дом свя-

щенника, хлыстовцы по ночам умудрялись в подвале Истоминского имения проводить свои сборища.

Назначения построек усадьбы при Лихоманове радикально изменились. Грот стал складом для мяса, под гротом был подвал с крюками для туш. Подвал превратился в хлыстовский храм, а дом стал пристанищем для всякого пришлого народа. Но сады по-прежнему приносили доход, земли отдавались в аренду, и крестьяне жили относительно благополучно. Осуждённые по хлыстовскому делу вернулись вскоре в свои деревни, вернулся и Захар Лихоманов.

А в 1919 году усадьба была передана в отдел образования. Начинается новая история. Но, как и прежде, периоды расцвета сменяют годы упадка. Всё зависит от людей. Отрадно, когда дети приобщаются к истории своей малой родины. Хотя я понимаю, что не стоит обольщаться. Примером может послужить недавний разговор педагога-краеведа с учеником школы. Мальчик, очень мало интересующийся учёбой, подошёл к учительнице с вопросом: «А правда, что наша церковь очень старая?»

— А почему ты заинтересовался?

— Да мы с Серёгой стали решётку выбивать, а кирпич не поддаётся, сколько ни долби. Сейчас так не строят.

Увы, молодое поколение больше занимается металлаломом, чем науками...

Но кто же тогда превратил Истоминскую усадьбу в райский уголок? Всё то же молодое поколение во главе с директором Екатериной Михайловной Выродовой и учителями, работниками школы, возродившими ветшавшее здание в начале 90-х годов. Благодаря им старинная усадьба Истомино ещё сохраняет свои удивительные черты.

Истомино, истомушка,
Здесь, в парке, у реки,
Когда поёт соловушка —
Нет горя и тоски.

Подготовка материала Т.П.Мельниковой

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ-2

Читатель МП помнит, что в № 13 нашего журнала публиковались наиболее интересные, на наш взгляд, материалы собранного в 1990 году второго выпуска альманаха «Тарусские страницы». Наконец книга, одолев материальные трудности, вышла в свет.

Здесь мы публикуем самое важное для ценителей творчества К.Г.Паустовского — завещание писателя.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ТА-
РУС-
СКИЕ
СТРА-
НИ-
ЦЫ

- В. ИВАНОВ,
- И. БРОДСКИЙ, Н. ПАНЧЕНКО,
- А. СОЛЖЕНИЦЫН,
- Б. ОКУДЖАВА, Б. СЛУЦКИЙ,
- К. ПАУСТОВСКИЙ,
- Ф. ГОРЕНШТЕЙН, Е. ЕВТУШЕНКО,
- А. НУЙКИН, Ю. КАЗАКОВ,
- В. МАКСИМОВ,
- Н. БЛЯДСИНСКАЯ,
- А. СИНЯВСКИЙ, Н. КОРЖАВИН,
- А. МАРЧЕНКО, Д. САМОЙЛОВ,
- Н. МАНДЕЛЬШТАМ,
- О. МАНДЕЛЬШТАМ,
- В. ШАЛАМОВ, о. А. МЕНЬ,
- Ф. ВИГДОРОВА, Н. ГОРБАНЕВСКАЯ,
- А. ШАРОВ, Н. ГЛАЗКОВ,
- А. ГАЛИЧ, В. ШКОЛОВСКИЙ,
- Ю. ДОМБРОВСКИЙ,
- Ю. ДАНИЭЛЬ, Н. САХАРОВ,
- В. БЕРЕСТОВ, А. ЛАЗАРЕВ,
- В. КОБАЙКОВ, А. ШТЕЙНБЕРГ,
- Н. ИВАНОВА, И. МИГУТКО

Галочке, Алёше, Володе, всем друзьям — Таниным и моим. Родному Виктору Абрамовичу¹ и Марку². И, конечно, Шкловскому и Саммиру³.

Когда выйдет собрание сочинений — купите для Тани мамы маленький домик около её родного моря — в родном её городе, и пусть там живёт кто-нибудь из настоящих друзей (их так мало). Не оставляйте её одну, чередуйтесь — то ты, то Алёша, то Шура Ясиновская⁴, то Боря Балтер⁵, то Володя, — но в общем, сделайте так, как она захочет. Не давайте ей отчаиваться — жизнь оборвалась у меня чуть-чуть раньше, чем могла бы, но это пустяк в сравнении с той огромной, неизъяснимой любовью, какая была и навеки останется между нами и никогда не умрёт. Золотое сердце моё, прелесть моя, я не сумел дать тебе ту счастливую жизнь, какой ты заслуживаешь, может быть, одна из тысяч людей. Но бог дал мне счастье встретить тебя, этим оправданна и моя жизнь, и моя работа, — в общем незаметная перед лицом моей любви. Благодаря тебе я был счастлив в этой земной жизни. И поверил в чудо.

Да светится имя твоё, Танюша!

Саммир, не оставляй Таню, на тебе лежит благодать Блока, всей великой русской поэзии.

Мы жили на этой земле, не давайте её в руки опустошителей, пошляков и невежд.

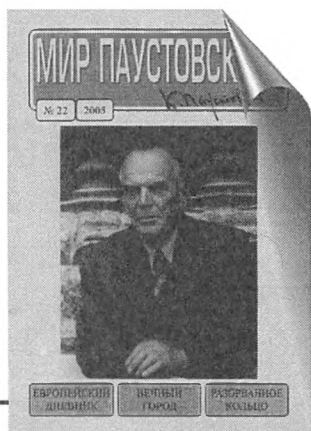
Мы — потомки Пушкина, с нас за это спросится...

Публикация Г.А.Арбузовой

Прочитано Виктору Абрамовичу (Саммиру) в Париже

Галочке, Алёше, Володе, всем друзьям, Таню и моим. Родному Виктору Абрамовичу и Марку. И, конечно, Шкловскому и Саммиру. Когда выйдет собрание сочинений — купите для Тани мамы маленький домик около её родного моря — в родном её городе, и пусть там живёт кто-нибудь из настоящих друзей (их так мало). Не оставляйте её одну, чередуйтесь — то ты, то Алёша, то Шура Ясиновская, то Боря Балтер, то Володя, — но в общем, сделайте так, как она захочет. Не давайте ей отчаиваться — жизнь оборвалась у меня чуть-чуть раньше, чем могла бы, но это пустяк в сравнении с той огромной, неизъяснимой любовью, какая была и навеки останется между нами и никогда не умрёт. Золотое сердце моё, прелесть моя, я не сумел дать тебе ту счастливую жизнь, какой ты заслуживаешь, может быть, одна из тысяч людей. Но бог дал мне счастье встретить тебя, этим оправданна и моя жизнь, и моя работа, — в общем незаметная перед лицом моей любви. Благодаря тебе я был счастлив в этой земной жизни. И поверил в чудо. Да светится имя твоё, Танюша! Саммир, не оставляй Таню на тебе лежит благодать Блока, всей великой русской поэзии. Мы жили на этой земле, не давайте её в руки опустошителей, пошляков и невежд. Мы — потомки Пушкина, с нас за это спросится...

¹ Виктор Абрамович Каневский — врач Паустовского.
² Марк Келлерман — юрист, специалист по авторскому праву.
³ Самуил Миронович Алянский — друг Паустовского, в юности — издатель «Алконоста» и друг А.Блока.
⁴ Александра Яковлевна Ясиновская — подруга Татьяны Александровны.
⁵ Борис Исаакович Балтер — друг и ученик Паустовского, посвятивший своему учителю повесть «До свиданья, мальчики».



«СЛУЧИЛОСЬ ПРИБОЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ...»

Никита ДАНИЛОВ

ДАЛЕКО ОТ ДОМА

* * *

Маленький паучок спустился с бесконечно далёкого потолка на невидимой паутинке и завис над моею рукописью. Он как будто наводит окуляр — то пониже спустится, то опять наверх. Может быть, чёрные буковки похожи на мух? Висит он вверх ногами и совершенно бестелесен, как маленькое облачко. Если я сейчас проведу рукой над паучком, паутинка приклеится к моим пальцам, и я смогу перевесить паучка, допустим, на ручку двери. И тогда он уже не доберётся до далёкого потолка, откуда спустился.

Воистину, уходя из дому, каждый раз прощайся, как будто уходишь навсегда.

* * *

Крошечная букашка, её толком и не видно, ползёт по моему столу и несёт то ли в челюстях, то ли в лапках — не понять, какой-то жёлтый кусочек — тычинку или крошку. Несёт, чтобы накормить детей или припрятать на чёрный день, а может быть, укрепить стенку своего домика. Как она оказалась здесь, на гладкой поверхности стола, среди рукописей и книг? Как же далеко должен быть её дом и сколько препятствий надо ей преодолеть, чтобы добраться до него! А она, кажется, заблудилась — то в одну сторону засеменит, то в другую.

И я вдруг почувствовал всю безмерность одиночества и отчаяния этого существа, чего оно, конечно, не осознаёт, но что видно мне сверху. Я не могу ему помочь, я не знаю, где его дом, вообще не знаю ничего о его жизни, да и прикоснуться к нему не могу, чтобы не раздавить.

Быть может, что-то подобное испытывает Господь, наблюдая человека?

* * *

Кошка пришла после ночи любви грязная, измученная, буквально на трясущихся лапах. Идёт по тропинке к террасе, её ещё даже из-за травы не вид-

но, а она уже что-то возбуждённо рассказывает, производя голосом немыслимое разнообразие звуков: громкое мурчание, скрип, тихое, как бы про себя, мяуканье. С трудом уговорил съесть кусок колбасы — всё время вздрагивает, куда-то всматривается, вслушивается, обводя локатором уха пространство. Наконец помылась и легла в кресло.

Когда я через некоторое время тихонько, чтобы не разбудить, зашёл на террасу, она тут же подняла голову и, глядя на меня, опять начала рассказывать.

Я, к сожалению, мог только догадываться об интимных подробностях кошачьей жизни.

* * *

Серый мотылёк на дверном наличнике, свежескрашенном белой масляной краской. Он не серый: коричневатые волны, как на старинной гравюре, расположены на его крыльях с идеальной симметричностью, а сверху выставлены два уса, верх этот обозначая. Он демонстрирует себя на ярко-белом фоне (долгой мимикрию!), застывший, как неживой, слегка наискосок и с краю, кокетливо — точно, что это самочка. А поверх контура, если приглядеться, прижаты ещё две антеннки — они наверняка почувствуют самца издали, а меня, свою смерть, не чувствуют, — могу раздавить пальцем.

Она не знает, как она хороша, она не боится смерти, демонстрируя себя на ярко-белой плоскости дверного наличника — она ждёт Его.

А вот он уже прилетел — слепо тыкается в белую плоскость двери, падает, опять взлетает — жалкий, серенький, невесомый комочек. Наконец сел рядом, чуть ниже и правее, а я ушёл с террасы и выключил свет.

Завтра утром они будут биться о стекло, стараясь вылететь наружу, в сад, но этих невесомых ударов и слышно-то не будет в рассветной полудрёме. И как им поможешь — в руку даже не возьмёшь.

Новый Иерусалим

Сергей ИЖЕВСКИЙ

ПЕРЕПЕЛИНАЯ ИСТОРИЯ

Моя дочь Маша выросла в деревне, куда её с месячного возраста вывозили из Москвы на всё лето. Лесные и луговые травы и цветы знала она прекрасно. И обожала всякую живность: в деревне Маша возилась с соседскими цыплятами, гусятами, котятами, козлятами. Да и у нас в доме всегда жили собаки.

Тем не менее, каждое возвращение осенью в московскую квартиру сопровождалось мольбой и упрасиванием: «Давай кого-нибудь купим. Поедем на «Птичку»...». В разное время перебивали у нас в квартире и черепахи, и морские свинки, и хомяки, и сурки, и рыбки: большой аквариум был непременно украшением нашей столовой.

На этот раз Маша потребовала перепелов. От нашего родственника дяди Вали, страстного охотника, она как-то услышала рассказ о бойцовых среднеазиатских перепелах, после чего ни о ком другом и думать не хотела. Мои аргументы, что Москва — не Средняя Азия, что бойцовые перепела непременно должны драться и погибать в бою, что это не птица для домашнего содержания, не принимались во внимание. После долгих уговоров удалось достичь компромисса: купим всё же перепелов, но не бойцовых, а певчих. На большую уступку наша дочь была не согласна. И вот мы поехали за перепелами на «Птичку».

О московском Птичьем рынке написано довольно, в том числе и классиками. Так что не буду повторяться. Скажу только, что стоило нам с Машей войти в ворота рынка, как тотчас, словно из-под земли, предстал перед нами некто неопределённого возраста, окинул нас наметанным взглядом и елеинным голосом произнёс: «Перепелов певчих не желаете?» — «Фу-ты, чёрт, — вздрогнул я. — И как они узнают, за чем покупатель пожаловал?!» — «Собственно да, хотели бы купить, — сдался я без боя. — А что, они у вас есть?» — «Прекрасная пара, только вчера из Ташкента, — торговец на миг снял тряпицу с большой клетки, — гляньте каковы. Если не доверяете, могу паспорт показать», — тут же добавил он и потянул руку к внутреннему карману своего серого плаща. «Что вы, что вы, — запротестовал я, не сомневаясь, что речь всё же идёт не о перепелином, а о его собственном удостоверении личности. — Не надо паспорта. Мы вам и так верим. Но всё же пройдёмся по рынку, возможно, к вам и вернёмся». — «Конечно-конечно. Пройдитесь, посмотрите. Но уверяю, лучше моих перепелов на всём рынке нет, — солидно произнёс продавец. — Я буду здесь, у ворот».

Наша попытка найти других перепелов, чтобы выбрать лучших птиц, не увенчалась успехом. Увы, та пара у ворот оказалась единственной парой певчих перепелов на всей «Птичке». Потолкавшись в

толпе и сделав круг, мы вернулись к «нашим перепелам», заплатили изрядные деньги и радостные отправились домой.

Первая птичка умерла той же ночью. Утром вскочившая ни свет ни заря Маша, сняв с клетки покрывало, обнаружила на её дне пушистый рыжеватый комочек. Естественная печаль о безвременной потере прошла довольно скоро. Оставшийся в живых «певчий перепел» быстро и с лихвой компенсировал горечь утраты. Через пару дней Пер, как его назвала Маша, странным, скрипучим, явно не характерным для перепелов голосом, потребовал, чтобы его выпустили из заточения, что и было сделано со всеми предосторожностями. Ведь в доме жил ирландский сеттер Мак, который просто не мог оставаться равнодушным к птице. При первом рефлексорном движении в сторону аппетитного пришельца на него прикрикнули, чего для умной собаки оказалось вполне достаточным, чтобы впредь даже не смотреть в его сторону. Естественная же подозрительность и осторожность Пера по отношению к огромному коричневому зверю улетучилась на удивление быстро. Уже на следующий день, вновь оказавшись на свободе, Пер с аппетитом уплетал кашу из миски Мака и даже явно делал попытки отпихнуть своим щуплым птичьим плечиком пытавшегося приобщиться к трапезе пса. Маку было противно; с явной брезгливостью он отодвигался от нахальной птицы и без прежнего аппетита чавкал своей любимой кашей.

Пер быстро освоился в доме и, как говорят, «вошёл в семью». Некоторое удивление вызывал его голос. Вместо классического перепелиного «спать пора, спать пора» он издавал какой-то металлический скрежет, который к вечеру становился всё пронзительнее. Только водворив его в клетку и плотно накрыв тёмным платком, удавалось заглушить этот странный скрип. Но поймать Пера вечером не всегда удавалось, и часто ночевал он где попало. Именно по вечерам его активность достигала пика. Такое поведение птицы дало повод нашей маме заявить, что «в прошлой жизни ваш странный «скрыпач», наверное, был совой».

И вот как-то нас навестил дядя Валя. Маша бросилась ему на шею и стала рассказывать о своём «певчем перепеле» и спрашивать, когда же Пер запоёт по-настоящему, по-перепелиному. Дядя Валя попросил познакомить его с удивительной птицей. Взглянув на Пера, он стал хохотать. Смеялся дядя Валя долго и до слёз. Наконец успокоившись, он объяснил своим родственникам, что воспитывают они птицу, именуемую в народе дергачом. И что только полный невежда может спутать мелкого серого перепела с крупной рыжей луговой курочкой. Тут я пожалел, что не заглянул в паспорт «птичьего

продавца». Адресок его мне сейчас как раз бы пригодился.

Но что делать! Коростель, так коростель. Я, было, предложил Маше переименовать птичку в Кора, но она запротестовала, и Пер остался Пером.

Вскоре «скрыпач» Пер наотрез отказался ночевать в клетке. И тут с ним начались неприятности. Как-то поздно вечером, проскрипев по обыкновению свои «Подмосковные вечера», он поднялся на крыло, взмыл под потолок, врезался в штору и рухнул в аквариум. К счастью, его «скрыл» разбудил меня. Услышав мощный всплеск, будто в аквариуме заиграла щука, я вскочил, зажёл лампу и, быстро оценив ситуацию, выудил мокрого жалкого Пера из «водоёма».

Не прошло и суток, как Пер решил продолжить свои полёты и, залетев в кухню, угодил в оставленную без крышки кастрюлю со щами. Почти захлебнувшегося, его на этот раз спасла жена.

Освоив замкнутое пространство квартиры, Пер решил перейти к изучению внешнего мира и, воп-

реки своей привычке, приступил к осуществлению задуманного в середине дня. Воспользовавшись нашей оплошностью, он вылетел в открытую балконную дверь и приземлился на газоне у самых ног дворника, который как раз в это время поливал из шланга клумбу с осенними цветами. Представив себе лицо Маши, которая вскоре вернётся из школы и узнает о пропаже любимца, я прыжком рыси достиг края балкона и закричал дворнику: «Петрович, струёй его сбей, струёй. Иначе улетит!». Надо отдать должное нашему Петровичу. Реакция его была мгновенной. Словно опытный пожарник, увидавший новый очаг огня, он в момент изменил направление струи и свалил беглеца наповал. Подобрать мокрого напуганного Пера было минутным делом.

Этот случай доконал меня окончательно. На состоявшемся в тот же день семейном совете мы обсудили перспективы жизни нашего пернатого родственника и большинством в один голос решили выпустить его на свободу. Что и было сделано в ближайшее же воскресенье на опушке Кусковского парка.

ПОДАРОК ИЗ КОЛУМБИИ

У соседки моей Ангелины Спиридоновны одна большая страсть — цветочные растения. Когда мы вместе пьём чай в «столовой беседке», как она именует свою кухню, Ангелина Спиридоновна частенько со смехом повторяет: «Вот меня некоторые считают одинокой женщиной. Ну, какая же я одинокая — и обводит взглядом свою «беседку», — вот сколько у меня дружков и подружек». И действительно, обращается она со своими жасминами, пассифлорами, молочаями и фиалками словно с милыми родственниками. Как только не называет их: и «мои миленькие», и «мои детки», и «радость ты моя», и «лапочка».

Однажды, оторвавшись от чаепития, не вставая, она протянула руку к чудному керамическому горшку с цикламеном — дряквой, осторожно раздвинула ниспадающие на длинных черешках круглые листья и проговорила, вероятно, совсем забыв обо мне: «Ну вот, миленький, а я смотрю, что-то ты приуныл, явно тебе нездоровится. Как же я невнимательна, к тебе, дружок мой. Ну конечно, пора дать тебе напиток. Ты совсем без воды». Извинившись, она оторвалась от стола, сняла с полки леечку, похожую на фламинго, и зашла в ванную, где, как мне было известно, в специальных пластмассовых вёдрах отстаивалась вода для полива. Вернувшись, аккуратно леечку эту наклонила над поддоном. Вода зажурчала, и я прямо почувствовал, как цикламен жадно, словно бербер из кожаного ведра у пустынного колодца, поглощает живительную влагу. «Ну, вот и хорошо, — сказала Ангелина Спиридоновна, — попил, мой милый. Извините меня, Сергей Степанович, но вы же видите, какая жестокая жара стоит, бедняга занемог».

С тех пор как мне однажды удалось освободить её комнатный жасмин от паутинного клеща, который многие годы безжалостно высасывал из него жизненные соки, Ангелина Спиридоновна стала называть меня «доктором». Ещё большее уважение в её глазах я приобрёл, когда ей стало известно, что среди многих моих занятий была и защита растений в ботаническом саду. Тут уж я был допущен к самому сокровенному в жизни милой соседки — к зелёным её питомцам. Она стала приглашать меня всякий раз, когда с ними что-то не ладилось.

Вот и сегодня, как мне показалось, Ангелину Спиридонову явно что-то беспокоило. Лево́й рукой она, не переставая, разглаживала скатерть и бросала на меня нетерпеливые взгляды. Убедившись, что я чай допил, поставила любимую свою кузнецовскую чашку с тонким цветочным орнаментом на блюде, вытерла губы тёмно-синей с жёлтыми хризантемами салфеткой и поднялась со стула.

— Пройдёмте в гостиную, Сергей Степанович. У меня несчастье. Мне, как всегда, нужен ваш совет.

Мы вошли в большую комнату с огромным эркером. После светлой кухни здесь царил полумрак. Казалось, будто с земляничной поляны мы вступили под полог леса. Такое ощущение возникало оттого, что вдоль всего эркера в три ряда были устроены полки, на которых плотно один к одному стояли горшки с растениями. Свет из окна, выходящего на проспект, с трудом просачивался сквозь их листву.

Вслед за хозяйкой я обогнул большой дубовый обеденный стол, покрытый льняной скатертью с богатым гипюровым цветочным узором. На нём сто-

яла высокая хрустальная ваза с крупными жёлтыми несколько подвядшими хризантемами. Хозяйка пригласила меня к окну.

— Смотрите. Что это?!

— Хризантемы.

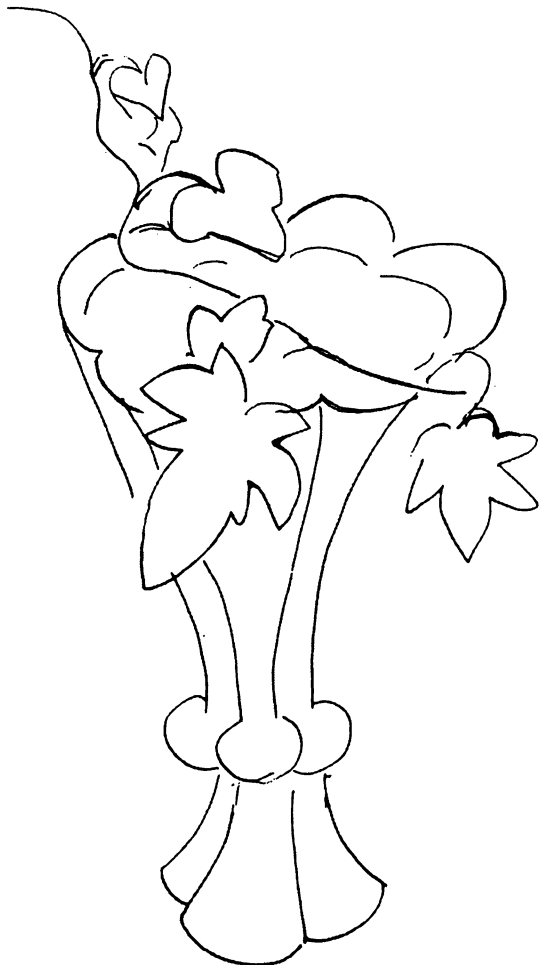
— Сергей Степанович, прошу вас, не шутите. Конечно же, хризантемы. Вы знаете — это моя последняя страсть — комнатные хризантемы. Но посмотрите, что с ними?! — не сдержалась она, чуть повысив голос.

Я наклонился над широкой полкой, которая сплошь была уставлена одинаковыми горшками с молодыми растениями. В каждом горшочке была видна аккуратная этикетка с латинским названием сорта.

Я по-прежнему не понимал волнения хозяйки.

— Да на листья, на листья глядите же! — уже совсем не сдерживая себя, воскликнула Ангелина Спиридоновна.

И тут я понял причину её волнения. Почти все нижние и средние тёмные листья на слабых ещё растениях были словно разрисованы тонким жёлтым фломастером. На повернутых к окну было видно, что зигзаги и петли, будто китайские иероглифы, просвечивают на свет.



Анри Матисс. Рисунок из серии «Темы и вариации». Чернила

— Что это, Сергей Степанович? — полушёпотом, как у постели больного, повторила вопрос Ангелина Спиридоновна.

Мне всё было уже ясно. Я сразу же нашёл объяснение странному феномену, хотя воочию столкнулся с ним впервые.

— Давно у вас хризантемы стоят на столе?

— Да постоянно. Как только я увлеклась ими, Дашенька (это была её состоятельная племянница, часто навещавшая свою одинокую пожилую тётку) раз в неделю стала приносить мне по букету. Она покупает их у метро. Говорит, колумбийские. Считайте, месяца три красавцы эти стоят у меня на столе. Но я ведь не о них спрашиваю. А об этих, горшечных.

— Всё в мире связано-перевязано, уважаемая Ангелина Спиридоновна. В том числе колумбийские хризантемы с вашими комнатными цветочками.

— Поясните, — выпрямилась Ангелина Спиридоновна. — Не понимаю.

— Дело в том, что у хризантем в Латинской Америке и в Западной Европе, хотя бы в той же горячо любимой вами Голландии, есть опасные вредители. Это мелкие мушки. Называют их минирующими. Почему? Да потому что их личинки питаются внутри листа, проделывая в его ткани извилистые ходы. Мушка откладывает в лист яйцо — словно мину закладывает. Она никому не видна — признаков внешних никаких нет. Теперь представьте. В далёкой Колумбии утром на плантацию приходит крестьянин, срезает тысячу цветущих хризантем. Аккуратно укладывает их в коробки, чтобы отправить в ближайший аэропорт. А в каждом сотом, ну, может быть, и в одном из тысячи растений заложены «мины». Ни крестьянин, ни его хозяин — владелец плантации — о них и не подозревают. В естественных природных условиях они не наносят ощутимого вреда.

И вот, вся партия свежих хризантем через день — в Голландии на аукционе. А ещё через пару дней — у вас на столе.

— Но они же, эти ваши мухи, погибнут в дороге.

— Как бы не так. В своём убежище каждое мушиное яйцо прекрасно защищено. Мало того, ещё в пути из него выходит личинка, которая даже не ведаёт, что летит над океаном: медленно с аппетитом ест и ест, продвигаясь внутри листа и оставляя за собой извилистый ход. Здесь же она и окукливается.

— Всё. Дальше можете не объяснять. Я всё поняла! — взволнованно перебила меня Ангелина Спиридоновна. — Затем противная муха вылетает из листьев роскошных Дашиных хризантем и перелетает на мои любимые комнатные. Так?

— Совершенно верно.

— Какой ужас! И что же мне теперь с ними делать, доктор? Пойдёмте-пойдёмте, сядем, и вы мне всё расскажите.

И возбуждённая хозяйка устремилась в свою любимую «столовую беседку». Я последовал за ней.

ПРОПАВШИЕ ЯБЛОКИ

Сколько себя помню, в доме нашем всегда жили собаки. Покупались щенки или подбирались бродяги, росли в семье, а затем исчезали, вызывая слёзы и печаль. Кто-то умирал от болезни, кто-то — от старости. Пропавший Джери, как мы все думаем, погиб под колёсами электрички.

Джери — наш первый пёс. Это был чистокровный доберман — редкая в ту пору в Москве порода. Отец встретил его как-то вечером у станции, когда возвращался с работы на дачу, где мы с сестрой и мамой приходили в себя после возвращения из эвакуации. Это был июль 1944 года. Мы — дети, словно скворчата, испытывали постоянное чувство голода, которое родители всячески пытались пригасить, принося своим «птенцам» всё, что могли. Но наш голод, видимо, не шёл ни в какое сравнение с голодом, который познал этот бедняга за время своих скитаний.

В тот раз в портфеле у отца был доставшийся ему «по случаю» кусок колбасы, запах которой ошеломил пса. Он ступил с обочины на дорожку, медленно подошёл к остановившемуся отцу и преградил ему путь, вытянув свою острую и скуластую от худобы морду в сторону портфеля. Вид у пса был ужасный: кожа да кости, на грязном боку виднелись явные следы недавней драки.

Но благородство кровей было сильнее голода: пёс неподвижно стоял, чуть покачиваясь на тощих лапах, не делая даже попытки коснуться носом странного предмета, источавшего столь вождеденный запах, и только беспокойно переводил взгляд с него на отца и обратно. Он был настолько истощён, что даже соблазнительный колбасный запах не вызвал появления обычной в подобном случае слюны. Как позже рассказывал отец, полуоткрытая пасть и слегка высунутый язык были абсолютно сухие.

Отец сделал то, чего делать не следовало: остановился и поставил на землю свой старый изрядно потёртый тёмно-коричневый тощий портфель, который и сам-то казался похожим на голодного пса. Затем опустился на корточки и погладил бродягу между ушами. Был бы у того хвост, он наверняка при этом хотя бы дёрнулся. Но бесхвостый доберман застыл в ожидании чуда.

Отец отщипнул кусочек от мягкого ломтя любительской колбасы и протянул на открытой ладони. Пёс взглядом, казалось, не веря себе, спросил: «Это мне?» Отец кивнул: «Можно». Кусочек исчез в пасти, словно муха. В умных глазах вновь появился вопрос: «Надеюсь, это только начало?» Но отца ждали дети, для которых колбаса тоже была вождеденным даром. Он встал, поднял портфель и двинулся дальше. Но уже не один. В калитку отец и пёс вошли одновременно.

Так у нас появился Джери.

Поначалу мама всё порывалась как-то избавиться от собаки: лишний рот (а точнее — пасть) был

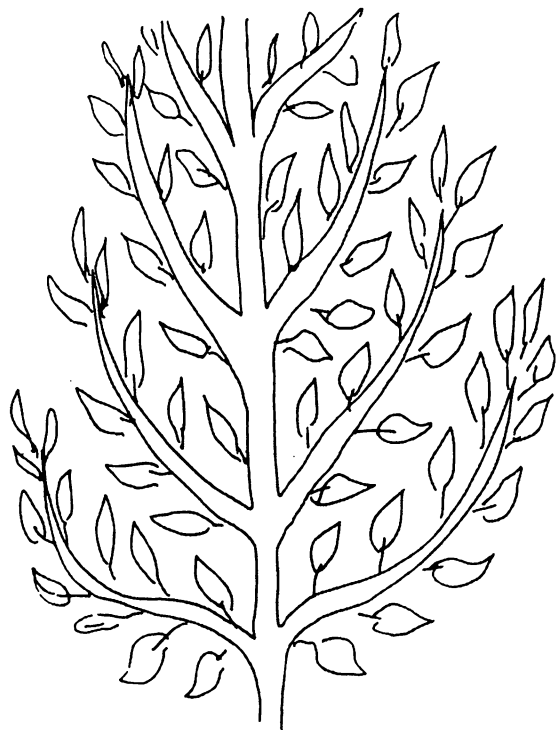
совсем некстати. Но мы с сестрой на все подобные попытки отвечали рёвом, клялись, что сыты, и всякий раз порывались отдать часть своих скудных порций новому другу. Мама, естественно, сдавалась, однако пресекала наши альтруистические попытки, находя что-то и для Джери. Но этого ему явно не хватало, и он, бедняга, постоянно был голоден.

И вот однажды произошёл случай, настолько неординарный, что впоследствии лёг в основу семейного предания.

Днём мама нередко брала нас с сестрой за железнодорожную линию в ближайший лесок собирать еловые шишки. Керосина хватало только на готовку, и растрёпанные смолистые шишки служили отличным горючим для самовара. Опасаясь, чтобы Джери не попал под электричку (а они постоянно привлекали его внимание), собаку запирали в доме.

В один из дней отец был по делам на ВСХВ (Всеобщей сельскохозяйственной выставке — так в ту пору назывался нынешний ВВЦ). Его коллеги — садоводы-мичуринцы, зная о нас с сестрой, сделали ему царский подарок — завернули в газету, взяв прямо с выставочной витрины, два огромных красных яблока-рекордсмена.

Отец хорошо представлял себе нашу трёхлетнюю без него жизнь в приуральском посёлке и знал, что за всю войну мы не ели подобного деликатеса.



Анри Матисс. Этюд дерева, увиденного из окна художника. Чернила, 25 августа 1941 г.

И он с благодарностью принял ценный дар, предвкушая радость, которую испытают его дети, вонзая свои молочные зубы в сочную мякоть.

Возвратившись до срока на дачу и не застав нас в доме, он отправился нам навстречу за железнодорожную линию, предварительно вынув из портфеля и положив на стол подаренные яблоки.

Встретив своих уставших и, как обычно, голодных детей, он подхватил нас на руки и понёс, загадочно улыбаясь, к дому.

Поставив дочь и сына на крыльцо и открыв дверь, он легонько подтолкнул нас, скомандовав: «Вперед — к столу!» Предчувствуя что-то волшебное-съестное, мы, отталкивая друг друга, бросились выполнять сладкую эту команду. Но ... на столе ничего не было. Абсолютно ничего! Такого от отца мы не ожидали.

Вероятно, он долго помнил наши недоуменно-горькие обращённые к нему взгляды. Мы тоже заметили в глазах отца что-то необычное. Некоторое время он стоял неподвижно, затем медленно подошёл к столу, положил руки нам на головы, обернул-

ся к маме и тихо спросил: «А где Джери?» — «Где-то здесь, мы его заперли», — ответила мама, не обнаружив собаки на её месте за диваном.

И только тут мы сообразили, что произошло нечто странное, обычно возвращение отца у собаки вызывало бурю восторга. Пёс бросался к нему на грудь, стараясь непременно облизать лицо. Отец при этом делал вид, что недоволен, но мы-то знали, что любовь эта взаимная, что у отца, кроме нас, есть ещё третий ребёнок. Но в этот раз пёс не вышел к нему навстречу.

Ничего не понимая, мы подошли к двери и заглянули на кухню. В самом тёмном углу, где обычно стояло ведро с половой тряпкой, напряжённо и виновато глядя на нас, притаился Джери.

Отец устало оглядел всех и молча вышел на крыльцо. А мы, обиженные и ничего не понимающие, стояли и смотрели на Джери.

О причине его такого странного поведения мы узнали от отца через пару лет, после пропажи нашего общего любимца.

Марк КОСТРОВ

СТРАННЫЙ МЕТЕОРИТ

Прошлый год весной я пробирался на байдарке вверх по Мсте, мечтая от Новгорода добраться до Опеченского Посада за Боровичами, откуда шёл мой род по матери. В деревне Княженицы Крестецкого района решил запастись картошкой, но её у недавнего колхозника Волкова не оказалось. Последние годы ему было не до неё, так как все свои силы он бросил на сбор метеоритов. Даже осенью ходит в лес не по грибы-ягоды, как остальные жихари, а по метеориты. С тех пор, как радио «Свободу» перестали глушить и он услышал, что американцы на аукционах продают эти небесные камни за баснословные деньги.

«А писать про них начал в разные инстанции с 53 года, — рассказывал Виктор Степанович. — Ловил как-то мальцом уклеюку весной в ручье Вольнице, время-то голодное, за «палочки» работали, мать из рыбёшки котлеты вертела, да ещё корова Роза выручала, вдруг вспышка с запада — я ещё подумал, не проклятые ли американцы бомбу на Княженицы сбросили? А потом уже и не до дум было, что-то такое красное огненное с хвостом шло на меня, да как хрякнется в ручей, я тоже туда со страху вслед за метеоритом нырнул. Хорошо хоть в полукилометре от меня это случилось, а не рядом, как сначала показалось, а то бы и я сварился вместе с рыбой, что потом поплыла по Вольнице. Вся деревня сбежалась сачками да поддолами её черпать, словом, на неделю обеспечил нас тогда камушек едой, а там и колосовики пошли, так и продержались в тот год до картох. А что пожары кругом полыхнули, стога загорелись, так это всё колхозное, не наше».

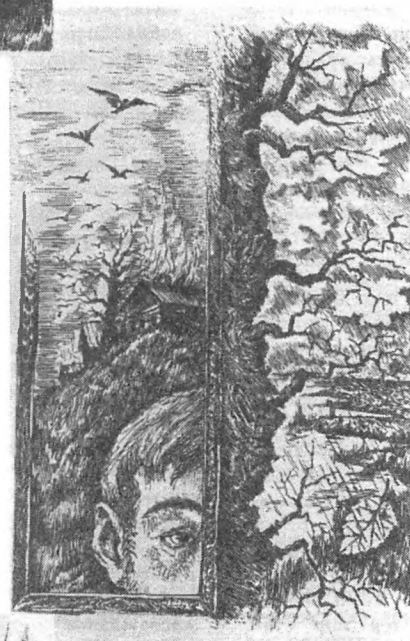
Вот он и начал с тех пор писать — сначала в обкомы-райкомы, потом краеведам, в журналы разные, да всё без толку, не до случившегося было, когда кругом шло восстановление. А потом тоже не до камушка, разные «бамы» подоспели, рытьё каналов началось, да и освободительные войны много внимания у правительства отнимали. «Бывало, выйдешь к осени, когда ручей обмелеет, к метеориту, — продолжал Виктор Степанович, — сядешь на его остатки, что в воде недоразорвались, поплачешься ему в жилетку: «Никому-то мы не нужны, инопланетянин, надо бы тебе в другие страны падать». А потом идёшь в лес осколки от него вместе с грибами собирать. И что интересно, где камни во мхи попадали, грибы возле тех мест кругами толпятся. И вода ниже камня сделалась какая-то особая, те же грибы или огурцы, запечатанные ею, годами не портятся, ждут терпеливо когда их снова в дело пустят».

Ну, а я после тех историй, получив в подарок камень вместо картошки, поплыл себе дальше, а потом встал под фарфоровым посёлком Бронница на огромной луговине на прикол: ловил карасей, жарил боровики, чай заваривал покрасневшим шиповником. Однажды были у меня в гостях поэт Лёнькин с лесным человеком Виктором Кожевниковым, так я им показывал этот камень да и забыл его на улице. До семнадцатого августа было ещё далеко, не знаю, как в других местах, у нас самодельное вино шло тогда по 8–10 рублей. Проснулся ночью от тихого странного шуршания. Вылез и обрадовался: стояла белёсая размытая ночь на дворе, и вокруг моего жилья плясали белые столбы. А произвольно

обрадовался потому, что спустя долгие годы подёнка вновь обрела своё место в природе. Дело в том, что после либерализации цен солярки-бензины солидно подорожали, катера и самоходки перестали рубить винтами малька, пестицидный аэродром в Броннице местные жители разобрали на кирпичики — и опять забормотали тетерева, занерестилась рыба в реках и озёрах, и из трав, оглядывая случившееся, завыскакивали лисы. Когда утром я снова выполз из жилья, то увидел облепленный мотыльками мой метеорит. И что интересно, подёнки шевелились только на нём. А полиэтиленовые крылья палатки, днище перевернутой байдарки, даже закопчённые котелки оставались нетронутыми. Насекомые словно чурались техногенной цивилизации, словно жаловались о чём-то небесному телу. Конечно, я сгрёб жалобщиков в кучу, чтобы они не досаждали пришельцу-«инспектору», да и приманка на язей, если намять подёнку в хлебные шарики, была неплоха. На другую ночь я уже сознательно, любопытствуя, оставил метеорит на улице, почтительно поместив его на рыбью чешую, что оставалась после чистки рыб.

Во второе утро ползала по камню огромная лилово-красная гусеница, крупный мотылёк со стрекозкой тоже что-то шептали пористой массе, а в полдень, когда основательно стало припекать, налетели на него — сначала поодиночке — исчезнувшие за десятилетие «павлиньи глаза». Они то сажались на чертополохи, то почти прикрывали своими огромными крыльями камень, за ними следом появились «адмиралы», одни из них, печально сложив крылья, навеки прилеплялись к пришельцу, другие как-то радостно упархивали прочь — и как апофеоз к вечеру посетила нас с метеоритом огромная стая траурница (вот бы Набокова сюда!). Некоторые из них даже забились под полиэтилен палатки. Одну из них я наколол на дощечку. Она сидела на игле, вяло помахая крылышками, и я не выдержал, выпустил её на свободу, тем более, что траурница была с надорванным крылышком. И что же она? Посидев на целительном камне, снова резво запорхала, заиграла в воздухе... Но слушайте дальше. На третий день (я уже под «инспектора», мало ли что, подстелил соломки) камень лизала, прямо-таки впившись в него, крупная зелёная лягушка с голубыми глазами, а серые товарки её, расположившись полукругом, тихо урчали, словно у них начиналась снова весенняя пора любви. Похоже, что с появлением метеорита возрождалась на земле жизнь...

г. Великий Новгород



Рисунки Андрея Демкина

Напомним, почему именно это место было выбрано для проведения праздника, приуроченного к дню рождения писателя. В «Повести о жизни» («Далёкие годы») К.Паустовский вспоминает, как он, десятилетний мальчик, приехал из Киева, один, чтобы провести лето в семье своего дяди Николая Григорьевича Высочанского. Дядя Коля снимал тогда дачу под Брянском, в старом заброшенном имении Рёвны, и эти места стали настоящим открытием брянской земли для будущего писателя.

Парк в Рёвнах, где когда-то стояла дача дяди Коли, к счастью, сохранился. Он и принимал участников и гостей праздника, как в прошлый год, так и в нынешний.

...Стоял по-настоящему летний день, когда мы, сотрудники Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского, приехали в Рёвны. В ожидании открытия праздника я прошла в глубину парка, чтобы выйти к реке Рёвне. Солнечный свет пробивался сквозь густую листву старых лип, падал на широкие аллеи, высвечивал тропки в густой траве. Громко щёлкали соловьи. Невольно приходили на память поэтические названия, упоминаемые Паустовским и сохранившиеся по сей день — «Соловьиный овраг», «Аллея вздохов»...

На краю парка протекала тихая, неширокая Рёвна. Во многих местах её преграждал бурелом, и мне показалось, что описание Паустовским этой реки навеяно скорее детскими впечатлениями, когда всё кажется особенно таинственным. Впрочем, время, как известно, не щадит ни природу, ни людей. Как не пожалело старый дом с колоннами, построенный, по преданию, Растрелли, где по семейным праздникам Костик и его друзья «развешивали на балконе круглые фонарики...».

Память о липовом парке в Рёвнах жила в Паустовском всегда — ведь его «Далёкие годы» были написаны спустя десятилетия после первого приезда в Рёвны. И не его ли строки об этом парке, утопающем в волнах липового цвета, о рыбалке в бурю на Рёвне, о воро-

Лидия ЧЕШКОВА

«ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ» — 2

бьных ночах вдохновляют ныне художников, участников молодёжного пленэра? Эта мысль возникла у меня, когда я, вернувшись на поляну, где должен был проходить праздник, увидела «Рёвенский вернисаж» — работы художников, выставленные на всеобщее обозрение. Вся неброская прелесть этих мест, брянской земли была запечатлена в их картинах — пусть не всегда умело, но с душой.

...Между тем гости и участники праздника уже собрались. Здесь — глава Навлинского района В.А.Каргин, глава Рёвенской администрации В.М.Гарбузова и другие официальные лица, журналисты с Брянского телевидения, гости из Москвы, Брянска, Навли, Курской области и, конечно, музыканты, певцы, поэты и писатели, актёры, учителя и их воспитанники, спортсмены — все, кому предстоит выступить на главной сцене, а также в поэтической беседе «22 липки», на «Поляне сказок» и Спортивной поляне.

Ведёт праздник Тамара Константиновна Слуцкая, директор историко-краеведческого музея в Навле. Это во многом её стараниями — конечно, при поддержке администрации — удалось собрать всех присутствующих. Откликнулись охотно: имя Константина Георгиевича притягательно и по сей день.

...На сцену вышел худенький мальчик в жилетке, с чемоданчиком в руке — все узнали в нём десятилетнего, чуть растерянного Костю Паустовского, когда он сошёл с поезда в Синезёрке, чтобы ехать к дяде Коле, — и не увидел встречающих, пока к нему не подошёл возница Никита. Роль Кости Паустовского исполнял, как и в прошлом году, Вася Мартишин, ученик 7 класса Навлинской школы, и эта «заставка» праздника оказалась столь удачной, что, похоже, будет повторяться и впредь.

Несколько часов длилось действие на главной эстраде. Особенно запомнилась литературно-музыкальная композиция, названная строкой из повести «Далёкие годы»: «Я был здесь, в Рёвнах, счастлив...» Звучали романсы, музыка, стихи, лилась поэтическая проза писателя... А он смотрел с портрета, установленного на сцене, смотрел на выступающих и зрителей, на ветку липы около портрета — символ праздника, на деревья вокруг поляны, и, наверно, душа его в этот миг была с

нами, в Рёвнах. Портрет написал брянский художник В.М.Луневский.

Две удивительные для меня встречи состоялись в этот праздничный день. Одна — с Вадимом Сергеевичем Высочанским и его женой Ольгой Александровной, приехавшими из Москвы. Вадим Сергеевич, внук «дяди Коли», родился в 1928 году, незадолго до того, как Николая Григорьевича Высочанского арестовали и расстреляли как «врага народа». Дед лишь успел поддержать внука, совсем крошечного, на руках, но гены... Вадиму Сергеевичу, инженеру, автору многих изобретений, передался не только талант деда, военного инженера, работавшего в Брянске на старинном артиллерийском заводе «Арсенал», но и истинная интеллигентность, так свойственная семье Высочанских и ныне, к сожалению, многими нами утраченная. В словах благодарности, которые произнёс Вадим Сергеевич перед финалом праздника, чувствовались и смущение, и приятное удивление размахом праздника, его искренней душевностью.

Вторая встреча, запомнившаяся мне, состоялась по окончании праздника. С внучкой возницы Никиты, уже упоминавшегося, — Анной Акимовной Ивановой. Её разыскала и пригласила на праздник всё та же неутомимая Тамара Константиновна Слуцкая. Анна Акимовна хорошо помнила своего деда — Никиту Рябова, отца матери, рассказывала, что был он работающий, аккуратный и очень уважал Николая Григорьевича; помнил дед Никита и тот вечер в Синезёрках, когда на пустынной платформе встретил мальчика с чемоданом...

Спокойно и неторопливо рассказывала Анна Акимовна и о своей жизни.



2-ой Литературный праздник, посвященный К.Г.Паустовскому

«ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ»

с Рёвны
2003г.

МП: 1 июня 2003 года в селе Рёвны (Брянская область, Навлинский район) прошёл Второй литературный праздник «Липовый цвет», посвящённый К.Г.Паустовскому. О нём рассказывают его участники. Сообщение о первом празднике, состоявшемся в 2002 году, публиковалось в 20-м номере журнала.



Интервью с Анной Акимовной

Детей в их семье было десятеро, семеро воевали, трое из них погибли. Сама она партизанила в Брянских лесах, потом, оправившись после тяжёлой контузии, дошла с армией Чуйкова до Берлина. 9 мая 1945 года сам Чуйков вручил ей орден Красной Звезды... А после войны

окончила медицинское училище в Брянске и долгие годы заведовала детскими яслями. Из села Рёвны, где родилась, давно перебралась в Брянск — к сыну, внукам и правнуку. Вот такая «простая» биография у кавалера ордена Славы, внучки возницы Никиты.

Когда-то, в начале далёких уже 60-х, Александр Твардовский, общаясь в редакции «Нового мира» с молодым (по-настоящему молодым и по-настоящему талантливым!) Виктором Лихоносовым, заметил к слову, что понимает причину его охлаждения к творчеству К.Паустовского. И добавил: «Всё-таки он (Паустовский) прошёл мимо жизни...». В устах маститого поэта, живого классика и редактора одного из самых либеральных журналов времён «оттепели» это звучало как приговор. У Твардовского и Паустовского были непростые отношения: «Новый мир» отклонил повесть К.Паустовского «Время больших ожиданий». И вообще, журнал в пору второго прихода к его руководству Твардовского (1958–1970) отдавал предпочтение социально ориентированной прозе. Рассказы, повести, мемуарные очерки Паустовского, видимо, мало привлекали редколлегия, гордившуюся (и не без оснований) новыми авторами журнала: А.Солженицыным, Ф.Абрамовым, С.Залыгиным, И.Грековой, В.Шукшиным, Ф.Искандером, В.Беловым...

Признаюсь, любя прозу К.Паустовского с детства, читая его утешающие душу, дарующие радость жизни рассказы, долгое время, уже после того, как стали «моими» и «Иван Денисович», и

Евгений ПОТУПОВ

*Заместитель начальника
Управления культуры и связей с общественностью
Администрации Брянской области*

НА ТЁПЛОЙ ЗЕМЛЕ

«Пряслины», и «Плотницкие рассказы», я соглашался с Твардовским. А нынче мог бы и поспорить с мэтром. В самом деле... «Прошёл мимо жизни». Но почему тогда читают? Издают? Пишут диссертации о творчестве? Собирают конференции? Почему так много людей приезжают в Тарусу 31 мая? Когда родственники писателя делают «день открытых дверей», единственный в году, т.е. пускают поклонников и почитателей в дом, в котором Константин Георгиевич обрёл уют и покой в последнее десятилетие своей жизни. Где ему так хорошо работалось. На этот вопрос — почему непреходяща любовь читателей к Паустовскому? — каждый неравнодушный к дивному, чарующему слову писателя может ответить по-своему. Профессор из Москвы, сотрудник Института высоких температур РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук Игорь Леонидович Мостинский шёл на праздник в Рёвны пешком из Синезёрк (двенадцать километров). Ему хотелось перекинуть мостик в столетнюю даль, вернуться к началу XX века, когда сюда, в Синезёр-

Под конец нашего разговора Анна Акимовна сказала, что до недавних пор в Ульяновске жил её брат, Афанасий Акимович — лётчик, командир эскадрильи, прошедший всю войну. Перед смертью, к юбилею своего родного села Рёвны, он прислал такие стихи:

Есть в России уголок красивый
на любимой Брянщине моей.
Там весной идут дожди косые,
трель выводит звонкий соловей.

Рёвны, милое моё родное детство,
не забыть мне вас издалека.
Помню хатку, запах хлеба, теста,
церковь нашу вроде маяка.

Синезёрки, станция родная,
Зубовка, Рябчевка на пути.
А потом Крестовка дорогая,
Лишь мостки пред Рёвнами пройти.

Годы наши быстро пролетели,
разбросало в дальние края.
Но к родным местам не охладели,
мы с тобою, Родина, всегда.

Прочитав эти незамысловатые, но искренние строчки, под которыми могла бы подписаться и Анна Акимовна, я подумала: на праздник в Рёвны собрались не только почитатели творчества Константина Паустовского, но и его герои — люди с открытым, добрым и чистым сердцем.

ки (Рёвны), впервые к дяде Коле, Николаю Григорьевичу Высочанскому, приехал десятилетний киевский гимназист Костя Паустовский.

Другой страстный почитатель К.Паустовского Пётр Яковлевич Довжук живёт поближе — в слободе Михайловка Курской области. Бывший научный работник, полтора десятка лет занимавшийся исследованиями на мысе Шмидта (окраина Чукотки), на празднике в Рёвнах второй раз. У Петра Яковлевича только что вышла напечатанная в Брянске книга исторической прозы «Русь восходящая». Несколько её экземпляров курянин привёз друзьям-паустовцам.

По приглашению администрации Навлинского района и музея партизанской славы, где в одном из залов К.Паустовскому посвящена специальная экспозиция, приехала делегация москвичей: Вадим Сергеевич Высочанский, внук Н.Г.Высочанского, главного технолога «Брянского арсенала», в смутное революционное время его директора; редактор журнала «Мир Паустовского» Лидия Александровна Чешкова и библиограф этого издания Моника Константиновна Сазонова. Излишне говорить о впечатлениях Вадима Сергеевича и его жены Ольги Александровны — они в восторге от того, что здесь, в Рёв-

нах, воскрешается одна из ярких страниц творческой биографии Константина Паустовского. Забегая вперёд, скажу, что на следующий день москвичи побывали у нынешнего руководителя «Брянского арсенала» В.Л.Сандлера и остались довольны этой встречей, хотя Владимир Львович искренне признался своим гостям: о Николае Григорьевиче Высочанском и его заслугах перед заводом он почти ничего не знает. Гендиректор пообещал: арсенальцы не останутся в долгу перед памятью человека, оклеветанного и расстрелянного в 1929 году.

На Покровской горе в Брянске сохранился большой дом, где жили Высочанские и их племянник Константин Паустовский. Об этом теперь свидетельствует мемориальная доска. Конечно, здесь давно другие жильцы и о прежней жизни мало что напоминает. Но как приятно очутиться в этих старых стенах, увидеть высокие потолки, старое крыльцо, открывающуюся панораму на заводские цеха, Десну, окрестные леса... И если, немного пофантазировав, погрузиться в былое, можно, наверное, воспроизвести и знакомые лица и услышать давно отзвучавшие голоса. Вадим Сергеевич и Ольга Александровна счастливы, что возраст и недомогания не стали преградой для их поездки на Брянщину.

Праздник в Рёвках — детище районной администрации, отдела культуры, навлинского музея, районной библиотеки, сельской администрации. В этот раз он вошёл в свою орбиту и юных художников — участников вернисажа «Рёвенские мотивы», а также музыкантов и певцов из Брянска, самоде-

На празднике были подведены итоги первого областного молодёжного пленэра «По тенистым аллеям Рёвенского парка имени Паустовского», проходившего в Рёвках с 27 по 31 мая 2003 года. Парни и девушки — учащиеся художественных училищ Брянска и Железнодорожска, и совсем ещё юные дарования — воспитанники художественных школ Брянска, Карачева, Новозыбкова и Унечи, приехали сюда вместе со своими преподавателями, чтобы запечатлеть в своих работах нашу замечательную природу. Наверно представляли ребята из кружка изобразительного искусства детско-юношеского центра.

Всю предшествующую празднику неделю более сорока начинающих художников напряжённо трудились: трижды в день — ранним утром, после обеда и перед ужином шли группами то к реке, то в поле или парк и делали зарисовки живой природы. Из-под кисти



Вадим Сергеевич и Ольга Александровна Высочанские.
Фотография Л.А.Чешковой

ятельных артистов, поэтов, физкультурников... Открывший для себя этот замечательный уголок, В.И.Шандыбин, бывший тогда депутатом Госдумы от Брянской области, подарил ученикам местной школы набор карт (биографы и близкие К.Паустовского знают, как любил старые карты Константин Георгиевич). Появилась надежда, что реликтовый парк, чудом уцелевший от порубок и уничтожения, будут «лечить»: для этой цели из областного бюджета выделяется 400 тысяч рублей. Об отрядных переменах свидетельствуют такие «мелочи», как появившийся деревян-

ный мостик у пруда, лавочки в аллеях, аккуратно срезанные сухие ветви. И посаженные на поляне по кругу, где некогда располагалась беседка, молодые липки.

В Рёвенском парке сохранилось много вековых деревьев: дубы, ясени, клёны... И, конечно, старые липы. В июне они зацветают. И неслучайно, у праздника такое простое и тёплое название «Липовый цвет». Паустовский чурался суеты и шума. Но мне почему-то кажется, что в Рёвках ему было бы хорошо и сейчас. Как в начальную пору его жизни. Век назад...

**Ирина МИХОВИЧ,
Алла СОКОЛОВА**

МОЛОДЁЖНЫЙ ПЛЕНЭР

каждого участника пленэра в эти несколько дней вышло в среднем по десятку картин, выполненных красками и грифельными карандашами на альбомных листах и ватмане. Жили в школе. По вечерам для молодёжи и детей устраивались дискотеки. Но больше всего им запомнились костры знакомства и прощания, зажжённые в первую и последнюю ночи пребывания в Рёвках, — с ароматной ухой, любимыми песнями под гитару, шутками, рассказами, открытиями.

В заключительный день работы пленэра ребята в основном занимались подготовкой и оформлением выставки своих картин.

На неё было отобрано несколько десятков наиболее интересных художественных работ. Из них профессио-

нальное жюри выделило 12 самых лучших. Все участники областного молодёжного пленэра получили благодарственные письма и мягкие

игрушки.

— У праздника «Липовый цвет» большое будущее. Недаром ему предшествует первый областной молодёжный пленэр, собравший в Рёвках юные дарования Брянщины и Железнодорожска, — подчеркнул председатель комитета по делам молодёжи и спорта областной администрации Н.Г.Мамичев. — Их художественные произведения тоже принесут славу этому парку, здешним местам. В инициативе и творчестве — будущее нашей области и России.

Он поблагодарил всех участников пленэра и их наставников за плодотворную работу и вручил благодарности начальнику отдела по делам молодёжи и спорта администрации района М.М.Барковой и директору музея Т.К.Слуцкой за

большой личный вклад в дело нравственного воспитания подрастающего поколения.

Вместе с новыми картинами и подарками будущие художники и школьники увозили массу ярких воспоминаний. Вот что на прощание написали брянские парни и девушки из художественного училища на «Доске впечатлений»: «У нас отличное настроение, побольше бы таких праздников. Сильно не расслабляемся — завтра экзамен». «Парк прекрасен, больше всего понравились картины». «Мне всё понравилось, но особенно — художники. Спасибо, было весело!»

Запомнились восторженные слова парня из Железногорска и двух девушек из Брянска: они признались, что не ожидали увидеть здесь такую красоту. «Природа восхитительна, хочется работать, творить. Неделя, проведенная в Рёвках, дала нам очень много. Это ценный багаж, который пригодится в будущем. Хорошо бы вернуться сюда через год на очередной молодежный пленэр

и вновь окунуться в чудесную природу лесного края...»

*«Под сенью лип, там,
где бродил когда-то Паустовский...»
(из репортажа)*

// Наше время. — Навля. — 2003. — 11 июня

ВАСИЛЬЕВ Е. «Я был здесь, в Рёвках, счастлив...» // Брянские Известия. — 2003. — 30 мая. — С. 2. — (Информкультура).

РОДИНА Е. Жизнь, достойная повести: О Николае Григорьевиче Высочанском — «Дяде Коле» // Арсенал: газ. ОАО «Брянский Арсенал». — 2003. — № 11: июль. — С. 1–2. — (Новости из прошлого: К 220-летию завода).

СЛУЦКАЯ Т. Дорога длиною в жизнь... // Наше время. — Навля. — 2003. — 31 мая. — С. 2: ил. — (Впечатления).

Из содерж.: *И только Рёвны среди всех жизненных перипетий, словно пугавшая звезда, грели сердце и звали его*

к себе. «Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. <...> Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревце над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу», — писал Паустовский, вспоминая свое рёвковское детство.

Как хорошо, что сохранился в Рёвках описанный им парк, обмелела, но по-прежнему резов несёт свои воды к Десне речка Рёвна, бьёт в парке родник, кричат на заре сельские петухи и так же трепещут каждым листочком деревья, радуясь теплу и свету! А ещё замечательно то, что в день рождения писателя и в этом году во второй раз в Рёвках состоится посвящённый ему литературный праздник «Липовый цвет»...

Одесса. 31 мая — 4 июня 2003. Литературный праздник, посвящённый 10-летию Одесского литературного товарищества «Мир Паустовского» и 5-летию Музея К.Г.Паустовского на ул. Черноморской

В программе праздника: вручение Муниципальных премий им. К.Г.Паустовского в Одесском государственном литературном музее. Творческие встречи в Одесском музее К.Г.Паустовского на ул. Черноморской. Обширная культурная программа, включившая в себя поездку по местам писателя в Одессе, Овидиополе, в Санжейке, посещение Оперного театра, а также морскую прогулку на катamarане.

ЮБИЛЕЙ В ОДЕССЕ

Из выступления Виктора Глушакова: *Это не была научная конференция с утомительными (в жару) докладами, рекомендациями, семинарами и прочими атрибутами учёных встреч. В Одессе состоялась встреча друзей и свободная практика общения, поездки по местам Паустовского, наслаждение морем, воздухом, ухой из черноморских бычков, грузинским хачапури, изготовленным грузинской диаспорой. Гости смогли пройтись по улицам, где хаживал Паустовский. Вдохнуть пахнувший акациями и липой воздух. Тот воздух, которым дышал Паустовский. Или, скажем, войти*

в набегающую волну Чёрного моря на Ланжероне и в Санжейке. Такого заряда воспоминаний надолго хватит всем участникам этой встречи...

ГОЛЯЕВА Ирина. Одесская обитель Паустовского /Фото А.Козюры <интервью с директором Одесского музея К.Г.Паустовского В.И.Глушаковым в преддверии 5-летия музея> // Одесские известия. — 2003. — 27 февр. — С. 4: ил.

КУЗНЕЦОВА Светлана. Он этой памяти достоин // Слово (The Word). — Одесса. — 25 июля. — С. 4, портр.

ГРЕЙНЕР Руфина. «Паустовці» в краю Овідія <на укр. яз.>: юбилей одесского товарищества «Мир Паустовского» // Наддністрянська правда. — 2003. — 18 червня (июнь).

КУШНІРЕНКО Любов. Дні Паустовського в Одесі <на укр. яз.> // Освіта України. — Київ. — 2003. — 29 липня (июля). — С. 3: ил. — (3 Одещини).

АКИМОВА Надежда. «У Ланжерона прибои пели...»: В Одессе прошли Дни Паустовского, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения писателя // Моя Батьківщина (Моя Родина). — Харьков. — 2003. — № 7: июль. — С. 12: ил. — (Раз вы в Одессе, значит, вы любите Паустовского).



В «Золотом зале» литературного музея. Вручение В.И.Глушакову — заведующему Одесским музеем К.Г.Паустовского и хозяйину-распорядителю «Дней Паустовского» — от москвичей памятного портрета писателя



Овидиополь. Памятник поэту



Санжейка, поселковая школа.
Владимир Заказников (г.Казань)
у памятной доски К.Г.Паустовскому



Встреча друзей в музее К.Г.Паустовского на ул.Черноморской.
Приветственное слово С.К.Кузнецовой



Писатель Галина Корнилова (главный редактор «МП») и Ирина Касаткина (ст. науч. сотрудник Музея-центра) на встрече в Овидиополе

Зов

Популярность писателя в России всегда зависела от двух главных факторов: таланта пишущего и народного зова, то есть востребованности его идей и образов.

После репрессивных 1930-х и жесточайших 1940-х потребность россиян в доброте, сострадании, красоте и справедливости скопилась в народе с избытком. Паустовский со своим лирическим талантом сошёл на эту почву почти как Мессия. Его военное и особенно послевоенное творчество — изумительные по стилю и ясности мысли рассказы и более крупные произведения, выполненные в щемяще-доверительной тональности — «Повесть о лесах», «Золотая роза» и, конечно же, «Повесть о жизни», — напластовали почти четвертьвековой слой его восторженных поклонников. В него, слава Богу, попал и я.

Помню, как в 1957 году, уже работая инженером в пригороде Ленинграда — Ломоносове (бывшем Ораниенбауме), я отстоял громадную очередь за квитанцией на подписку его первого собрания сочинений. Каким счастливым человеком вышел я из книжного магазина с первым томом в руках — петь хотелось! А оттого, что этот потрясающий автор был ещё и моим современником, на душе становилось тепло и уютно, как при живых родителях...

Потому-то много лет спустя, с самого первого выхода в свет уникального журнала «Мир Паустовского», ревниво слежу за его становлением. Меня — уже пожилого человека — особо волнует стремление журнала сбереечь Мир, созданный воображением писателя, в читательской среде и нынешней России.

К моей радости, журнал (вышел уже 21 номер) крепнет и хорошеет от номера к номеру, а к удивлению иных, не заражённых творчеством писателя, всё не исчерпывает и не исчерпывает своего портфеля. Им кажется, уже давно пора! Что можно сказать об одном и том же писателе?.. А открываешь очередной номер и ахаешь от новизны материалов и свежести чувств, заключённых в нём!

Несомненно, что гигантскую роль в этом играет ещё и обширнейшая география странствий Паустовского. Перечень тематических номеров, связанных с городами, которые посещал писатель, будет ещё долог. И хотя в своих рассказах и повестях он подробно описал все свои впечатления о них, однако оставил так много краеведческих и литературоведческих следов и загадок, что теперь их отыскивать, уточнять и

разгадывать хватит не одному поколению исследователей. Да и слой помнящих писателя ещё живым достаточно широк и плотен.

И всё же, всё же, всё же...

Как ни много путешествовал писатель по России, как ни широко общался он с прототипами будущих героев своих повестей и рассказов, их перечень — конечен и, следовательно, — исчерпаем. А слой его прижизненных читателей биологически истаявает год от года.

Листая страницы журнала «Мир Паустовского», неизменно встречаешь бывшую молодёжь поколения 1940–1960 годов. Теперь им за 60...

Этот грустный факт так же печален, как расставание со своим прошлым. На душе всё нарастает тревога — заселится ли Мир Паустовского новыми, молодыми читателями?

Впрочем, эти рассуждения скорее всего обычное брюзжание дряхлеющего человека — неизбежное следствие возраста, как склероз и остеохондроз...

Попробую взглянуть на эту проблему с другой стороны.

Со школьных лет моим самым любимым предметом была история. Особенно история средних веков Европы. Красивые замки и неприступные крепости, яростные Валуа и Бурбоны во Франции, Плантагенеты в Англии, те же Бурбоны и Габсбурги в Испании и Германии с их пышными (на расстоянии веков!) войнами поражали моё воображение, возбуждённое романами Проспера Мериме, Вальтера Скотта и Александра Дюма.

Учась до 7-го класса в Казахстане, о средневековой Руси я имел представление менее яркое и даже абстрактное: увлекательные книги на эту тему мне не попадались. Но когда в 1949 году моего отца-железнодорожника перевели на службу из Алма-Аты в Ярославль (он родился в деревне Плоское Ярославской губернии) и мы в отдельной теплушке со всем скарбом ехали туда, меня ошеломили, казалось бы, рядовой эпизод. После бесконечных степей наш поезд вдруг загромыхал по длиннющему мосту через невиданной широты реку.

— Широкая какая! — удивился я.

— Так это — Волга, — подсказал отец.

И тут что-то во мне дрогнуло, и я почувствовал, как в моей груди заколотилось до той поры неслышимое сердце. Почему так произошло, я тог-

да не догадывался, но когда в конце пути наш поезд покинул по небольшому мосту через Выемку (есть такой топоним в Ярославле), вдаль я увидел зубчатый белостенный кремль. Отец удовлетворённо вздохнул:

— Он и Спасский монастырь... Приехали! Теперь и мы — волжане.

Я, конечно, с любопытством и некоторым волнением ждал встречи с незнакомым городом, но после того, что увидел, и от слов отца вдруг успокоился, интуитивно поняв, что он свой, кровный...

Бродить по волжским набережным и старинным закоулкам Ярославля, лазать на стены кремля и дивиться красоте многочисленных церквей было мне не только интересно, но и сладостно. Огорчало только одно — церкви были пусты и заколочены...

В очередной прогулке по городу, дорогой от тогдашней площади Емельяна Ярославского (как потом мне стало известно, — отчаянного безбожника Губельмана Минея Израилевича) к району Красный Перекоп, обнаружил я и действующую церковь (как потом выяснил — Фёдоровскую), едва ли ни единственную в полумиллионном Ярославле. Увидев, что в неё заходят люди, я из любопытства шмыгнул за ними.

Под закопчёнными сводами туманился полумрак. В нём смутно угадывалась горстка старушек, слабеньким хором вторивших голосу ветхого батюшки. Стеснительно постояв в сторонке, всем существом ощущая тут свою атеистическую неуместность, я скоро из церкви вышел. Острое чувство жалости и глубокого сострадания к этим бедным старушкам, может быть, последним уголькам дотлевавшей православной Руси, ещё долго не покидало меня.

Институт я кончал в Ленинграде (тогда-то впервые и познакомился с творчеством Паустовского). Но всякий раз на студенческие каникулы возвращался к родителям в Ярославль. И каждый раз, неизменно посещая Фёдоровскую церковь, видел одно и то же — кучку выстаивающих службу тонкого-лолых старушек...

Лет через тридцать по служебным делам я снова попал в Ярославль — родители к тому времени скончались, в отчем доме жила сестра с мужем и дочкой, моей племянницей. Я, конечно же, не удержался и заглянул в ту церковь. И — обомлел! Неколебимо стояли в глубине её старушки! Ничуть их и не убы-

ло. Естественно, что то были не те, первые, но — как и прежде, подтягивали они своими слабыми голосами батюшке. Правда, уже молодому...

И тут я проникся уважением к этим хлипким, сменяющим друг друга сто-

ическим старушкам: ими эстафета Веры в народе не пресеклась. Ими Церковь на Руси и выстояла. Ныне в её храмах и молодёжь густится, да и храмы один за другим восстанавливаются. Зов крови жив, пока жив народ.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ИСПРАВИТЬ, ТО ХОТЯ БЫ НЕ ПОВТОРЯТЬ

О двух географических ошибках в изданиях книг К.Паустовского

«Дорога в Брянск была тогда круговая и длинная — через Льгов и Дмитриев. Только на третий день поезд пришёл в Синезёрки».

На карте Брянской области Льгов и Дмитриев (Льговский) — станции на железнодорожной линии, идущей в Синезёрки из Киева, но не напрямик через Хутор Михайловский, а делающей петлю на юго-восток, увеличивая тем самым путь на добрую сотню километров. При тех скоростях поездов это немало.

Навля — узловая станция, где сходятся оба пути. Но тогда её ещё не было. Годом основания Навли считается год 1904-й. В 2004-м году город отмечает своё столетие.

Итак, ошибка найдена. По-видимому, она была допущена редактором первого издания Собрания сочинений К.Паустовского, а корректор её не заметил. За прошедшие с тех пор почти полвека ошибка попала во многие последующие издания повести «Далёкие годы».

Такой же долгий путь (с 1955 года) прошла вторая географическая ошибка, на этот раз в повести «Беспокойная юность». Начиная с первой публикации

Эти старушки и помогли мне понять свой долг: в храме во имя Мира Паустовского — отстаивать службу памяти писателя до конца дней своих...

*Юрий КАЛИНИН
г.Ломоносов (Ораниенбаум)*

Собираясь в село Рёвны Брянской области на 2-й Литературный праздник, посвящённый К.Г.Паустовскому, я решил перечитать повесть «Далёкие годы», где описан его приезд в эти места летом 1902 года.

Беру в руки первый том книги «Повесть о жизни» (М., Современный писатель, 1993). Составителем её, автором послесловия и комментариев был сын писателя Вадим, и вот на страничке 54 читаю фразу, многократно, конечно, читанную ранее: «Дорога в Брянск была круговая и длинная — через Львов и Навлю. Только на третий день поезд пришёл в Синезёрки».

Как через Львов? Наверное, через Льгов. К тому же абзацем выше К.Паустовский пишет: «Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шёл по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, далёкий Киев и мелкий Днепр, успешный нанести около устоев моста песчаные острова». Но чтобы ехать во Львов, Днепр переезжать не надо. Сам писатель допустить такую ошибку не мог. Где и на каком этапе она появилась?

Открываю девятитомное Собрание его сочинений. В 4-м томе (1982) на странице 76 напечатано то же самое. В предыдущем, восьмитомном Собрании (т. 4, 1968, с. 76), — та же фраза. Наконец, в первом, прижизненном издании сочинений К.Паустовского в 3-м томе (1957) на страничке 86 опять — «... через Львов и Навлю...».

Очевидно, надо смотреть первую публикацию повести «Далёкие годы». Она была в журнале «Новый мир» № 10 за 1945 год. Беру журнал и читаю:

Пушкин сказал: «Воспоминание — самая сильная способность души нашей».

Мои воспоминания, о которых я хочу рассказать, связаны с творчеством Консантина Паустовского.

В 1955 году вместе с мужем я приехала в Китай, в провинцию Синьцзян. Он — на работу в советском консульстве, я в качестве жены. На моё счастье, для меня тоже нашлась работа, причём такая, что я вспоминаю о ней и по сей день только с радостью.

Через несколько дней после приезда меня пригласил консул и сказал: «Вы будете работать в Синьцзянском инсти-

туте русского языка». Именно так: «...будете работать, у вас филологическое образование». Действительно, три года назад я окончила немецкое отделение Московского института иностранных языков.

Моим руководителем стала Нина Степановна — кандидат филологических наук из Ярославля (фамилию за давностью лет я не помню). Мы должны были готовить китайцев — преподавателей первого курса этого института, чтобы они дальше могли повес-

повести в журнале «Новый мир», во всех Собраниях сочинений, в том числе в последнем семитомном, выпущенном издательством «Терра» в 2002 году (т. 5, с. 171), в небольшой главке «Предместье Чечелевка» читаем: «Я был подчинён не заводскому начальству, а представителю артиллерийского управления при Брянском заводе Вельяминову, присланному из Петрограда. Раз в три-четыре дня я должен был приходить к нему и докладывать о своей работе...»

Вельяминов жил на Большом проспекте. Из окон его комнаты был виден Днепр и сады. В садах уже набухали почки. На деревьях, как всегда ранней весной, стояла едва приметная зеленоватая дымка.

Как известно, Брянск стоит не на Днестре, а на Десне. Сам К.Паустовский перепутать не мог, хотя бы потому, что летом 1937 года он вместе Р.Фраерманом во главе пионерской «экспедиции» проплыл на весельных лодках по Десне по маршруту Бежица—Брянск—Трубчевск. Так что в оригинале, скорее всего, было написано правильно.

В вышедших книгах исправить эти географические ошибки уже нельзя. Но как предотвратить их в последующих изданиях? За помощью я и решил обратиться к вам, в редакцию ставшего уже авторитетным журнала «Мир Паустовского».

Мне представляется, что одной из таких мер могла бы быть публикация этого письма.

*Игорь МОСТИНСКИЙ
г.Москва*

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

ти своих студентов, то есть обучать их на старших курсах. Мне достались такие

предметы, как методика преподавания языка, лексикология и практические занятия по русскому языку. Я, конечно, испугалась, подумала, что не справлюсь, но Нина Степановна убедила, что всё у меня получится. Она привезла с собой много специальной научной литературы. Началась интереснейшая работа.

Почему я выбрала рассказы Паустовского в качестве учебного пособия? Там, в Китае, я купила только что вышедший двухтомник его избранных

произведений. Естественно, сразу же начала читать. Содержание рассказов, необыкновенная простота и одновременно точность и поэтичность языка навели меня на мысль работать именно на материале Паустовского. По моей просьбе институт приобрёл несколько экземпляров этого двухтомника для студентов. В те годы Институт русского языка в Синьцзяне, можно сказать, был на казарменном положении. Студенты и преподаватели-китайцы жили на территории его городка: чисто, хорошие классные помещения, спортивные площадки, железная дисциплина. С семьями встречались не чаще одного раза в месяц. Аскетичная, нелёгкая жизнь — и вдруг такое понимание Паустовского! Студенты буквально замирали, когда я читала им его рассказы. Мне кажется, два фактора сыграли в этом главную роль: во-первых, трёхтысячелетняя культура Китая заложила в души этих молодых интеллигентных людей огромную поэтическую силу, они были подготовлены к восприятию прекрасного; а во-вторых, им была не чужда патристическая направленность произведений Константина Георгиевича.

В 21-м номере «Мира Паустовского» опубликована заметка доктора биологических наук В.В.Мазина «Колокольчик приточный», в котором он попытался раскрыть смысл выражения «приточная трава» в одноимённом рассказе К.Паустовского (1953).

Автор отмечает, что в толковом словаре русского языка проф. Д.Н.Ушакова есть слово «приточный» в двух вариантах: с ударением на первом слоге — «приточный» и на втором — «притѣчный». Первое прилагательное — от слова «притча» или «притка», второе — от слов «приток» или «притѣчка».

Валентин Мазин считает, что в рассказе Паустовского речь идёт именно о «приточной траве» (от слова «притка», что означает — дурной, несчастный случай, беда, порча, сглаз). Далее автор приводит небольшой отрывок из рассказа и делает вывод, что Паустовский *без сомнения* (курсив мой. — В.К.) описывает растение *колокольчик скрученный* (*Samranula glomerata*). Цветки у этого растения тёмно-фиолетовые (в рассказе — цвета *густой синевы*), сидячие, собранные в «головку», венчики цветов обращены вверх, в то время как у других колокольчиков они опущены книзу. В народной медицине колокольчики использовались как лекарственные растения при различных хворях.

Но эта версия, на мой взгляд, противоречит смыслу рассказа Паустовского,

Я никогда не забуду, как мы работали над рассказом «Снег». Обычно сначала я читала произведение целиком, а потом приступала к его разбору. Когда я прочитала «Снег», мой класс долго сидел молча. Мне показалось, что они не поняли содержания. Лучшего ученика я попросила начать пересказывать произведение, дальше продолжил другой. *Все* они поняли! Как выяснилось, их потрясло простое по сути содержание и одновременно совсем непростая сила и романтичность человеческих отношений.

Ключевыми в рассказе «Снег» были два письма лейтенанта Потапова, и оба связаны с воспоминаниями и одновременно с настоящим.

Большой знаток китайской культуры и поэзии Л.З.Эйдлин (его книги выходили в шестидесятые годы) считает, что именно «воспоминание» является природой поэтического в китайской поэзии и живописи. Так, например, китайская живопись не знает рисунка с природы, она построена на изображениях, созданных по памяти. Эйдлин также обращает внимание на то, что время у китайских поэтов и художников теснейшим образом связано с категорией «воспоминание».

ПРИНОСЯЩАЯ ИСЦЕЛЕНИЕ И УДАЧУ

что признал и автор, спрашивая сам себя: «Но если приточная трава — предвестник беды (притки), то почему же встречные благодарили несущего её?». Мазин объясняет это противоречие отсутствием подчас «здорового смысла» в народных приметах и верованиях. Далее он делает второе парадоксальное предположение: «Возможно, что несущий приточную траву берёт притку на себя и освобождает от неё встречных? Вопрос пока остаётся без ответа. Вернее, эстафета от ботаников переходит к специалистам по русскому фольклору».

По нашему мнению, есть ответ на этот вопрос и нет нужды обращаться к фольклористам: Паустовский имеет в виду приточную траву.

Рассмотрим цепь слов: ток — приток — приточный и их логико-семантическую связь. Корневое слово *ток* — означает течение, движение (течение реки, электроток). *Приток* — означает прилив, прибавление, увеличение чего-либо. В прямом смысле это слово означает реку, которая впадает (втекает) в более крупную реку. Можно говорить, например, о притоке свежего воздуха. А в переносном смысле говорят о притоке физических, духовных сил у человека, о притоке радости. Прилагательное *притѣчный* (ая, ое) имеет значение:

То, что стало воспоминанием, уже само по себе факт не прошлого, а настоящего и будущего.

Очевидно, моим студентам, воспитанным на родной китайской культуре, нетрудно было понять и почувствовать этот рассказ.

«Снег» был написан в 1943 году. Разгар войны. В нём нет ни одного урапатристического слова, но он глубоко патристичен. Как я это говорила, моим ученикам-китайцам это тоже было очень близко. Письмо лейтенанта Потапова к отцу пронизано большой и нежной любовью к родному городку, к собственному дому. «... Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в нее. В комнатах трещат печи. Пахнет берёзовым дымом. <...> Неужели я всё это увижу опять?»

Мне кажется, это гениальный рассказ. Какая-то связующая нить протянулась благодаря Паустовскому между мной и китайскими студентами, и эта нить до сих пор жива в моей памяти.

Евгения СОЛОВЬЁВА
г.Москва

приливный, притекающий, приносящий, увеличивающий. Это слово тоже применяется в прямом и переносном смыслах.

В народе лекарственные растения называют травами целительными, или *притѣчными*, то есть приносящими исцеление от болезней, выздоровление, приток (прилив) здоровья. Об этом пишет Паустовский в рассказе «Бакенщик» (1943). Старый окский бакенщик Семён, влюблённый в природу, раскрывает детям сокровенный смысл разных растений: «... в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая прелесть заключается. Вот, к примеру, клевер. Кашкой вы его называете. Ты его нарви, понюхай — он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек и тот улыбнётся. Или, скажем, ромашка. Ведь её грех сапогом раздавить. А медуница? Или сон-трава. Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или купёна. Да вы её, видать, и не знаете. Лист широкий, твёрдый, а под ним цветы, словно белые колокола. Вот-вот заденешь — и зазвонят. То-то! Это растение приточное. Оно болезнь исцеляет».

В народной медицине использовались разные виды притѣчных (лекарственных) трав и цветов. Какую же конкретную траву упоминает Паустовский в рассказе «Приточная трава»?

Наиболее точно описанию Константина Георгиевича соответствует лекар-

ственное растение *горечавка лёгочная* (*Gentiana pneumonanthe*) из семейства Горечавковых (*Gentianaceae*). Это симпатичное растение имеет прямостоячий стебель, на длинных цветоножках которого располагаются один-три цветка в форме вытянутых колокольчиков цвета «густой синевы», обращённых кверху. Чашечки имеют бокаловидную форму. Коробочки со спелыми сухими семенами при встряхивании действительно погромыхивают, как маленькие погрешки.

Было это в середине октября 1971 года. Тридцать с лишним лет прошло, но помню всё до мельчайших подробностей...

Дождь начался ещё в Москве. Осенний, холодный. Но мы с товарищами решили: в Тарусу поедем в любую погоду. Раздобыли телефон Т.А.Паустовской. Татьяна Алексеевна стала нас отговаривать:

— Могилу Константина Георгиевича я на зиму обгородила берёзовыми жердями, у неё непритязательный вид. Но если сильно хотите — пожалуйста, езжайте.

Электричкой приехали в Серпухов. А дальше — попутной машиной.

— Сейчас будет речка Протва, — говорит шофёр, — а за ней начинается Калужская область. Километров двадцать, и мы в Тарусе.

Из окна машины впервые вижу землю, воспетую Паустовским. Выбегают к

Тот, кто хотя бы раз видел эти милые цветы, не будет сомневаться, что именно их описал Паустовский в «Приточной траве» (кстати, это один из его последних рассказов мешёрского цикла). Мне с детства знакомы места, где Константин Георгиевич собирал эти цветы — за деревней Полково (близ Солотчи), по дороге на мешёрские боровае озёра Чёрное и Сегден. Там на опушках, на влажных лесных полянах встречаются заросли горечавки лёгоч-

ной, которые напоминают маленькие синие озера.

По народным поверьям, приточная трава не только исцеляет, но и приносит удачу и счастье. Потому-то люди и благодарили писателя, встретив его с букетом этих цветов, потому озарились улыбками их лица. В этом заключается суть рассказа Паустовского.

Владимир КАСАТКИН
краевед, кандидат медицинских наук
г.Рязань

НАЕДИНЕ С ПАУСТОВСКИМ

дороге берёзки. Они блестят последними золотыми листьями, и кажется, будто через плотные тучи прорвалось солнце. Холм, ещё один. Внизу городок.

— Вот и Таруса, — говорит шофёр. — Вы к Паустовскому, я не ошибся? К нему много людей ездит.

Городок тихий, людей почти не видно — идёт дождь.

Улица Пролетарская. В самом её конце бревенчатый дом. На мемориальной доске читаем, что писатель приезжал сюда работать последние полтора десятка лет своей жизни.

Идём рощей. Дорога разбухла от дождя.

— Вы к Паустовскому? — спрашивают женщины с грибными корзинами в руках. — Вон той тропинкой вниз, потом направо.

Высокий дуб не сдётся осени, ещё много листьев на его ветвях. Под деревом скромная и потому величественная могила. На каменной глыбе — локонично: «Константин Георгиевич Паустовский. 1892–1968».

С холма видны заокские дали. Своим стареньким «ФЭДом» фотографирую всё это на слайдовую плёнку. Эта плёнка хранилась у меня тридцать один год (!), пока один добрый человек не напечатал со слайдов снимки. Несколько снимков посылаю в музей.

К сожалению, я уверенно старею, но Паустовского люблю всё больше и больше, в нём, в его книгах черпаю силы для жизни. Никогда не забуду, как с Украины ездил в Москву, а потом в Тарусу, чтобы побыть наедине с Паустовским. Такое не забывается. Вот и снимки возвращают меня в ту далёкую осень...

Владимир СУШКЕВИЧ
г.Тернополь, Западная Украина

ПОД ВЛИЯНИЕМ «ТЕЛЕГРАММЫ»

Спасибо за «Избранные страницы МИРА ПАУСТОВСКОГО». И вообще от журнала и книги исходит какая-

то благодать. Подарил дочке, она пишет для издательства об одном святом книгу, а там увидели «Русское озеро» из «МИРА», заинтересовались моим творчеством и собираются без денежных усилий с моей стороны издавать мою книгу. Второе: вскоре должна состояться моя фотовыставка в областной библиотеке — там будут и пять фотографий Юрия Казакова, и Ваша книга очень кстати будет лежать под ними. И ещё — критиковал наших картографов за множество ошибок и аббревиатур по озеру Ильмень, и вдруг ко мне явились картографы и попросили помощи в пе-

ределке карты, и скоро она пятитысячным тиражом и с моими фотографиями выходит. Может, её и в Москве будут продавать, масштаб в 1 см — 300 метров! Где я не растерялся, а обозначил один вороток из озера Рожок — Юркиным воротком...

Давно не читал Паустовского, но вот перед отправкой этого письма решил прочесть из «Золотой розы» главу «Зарубки на сердце» — как собирался материал для рассказа «Телеграмма», и сам рассказ прочёл. Да и не только я давно не читал ранее читанного-перечитанного писателя, но и книгу, кото-

рую жена принесла из бронницкой библиотеки (1976 года рождения, совсем новую), тоже, видно, никто не читал. Но верю, что её, даже если будет и далее распадаться Россия, сжимаясь до княжества Ивана Третьего, всё равно станут читать. В последнем случае — даже более...

Под влиянием «Телеграммы» снова перепису некоторые свои рассказы. Я нынче уже создал очерки «Бронница и её окрестности». Правда, не могу обращаться к спонсорам — противно, пусть материал сам себе пробивает дорогу, как «Рдейский край» под редакцией Анатолия Стреляного.

Марк КОСТРОВ
г.Великий Новгород

Книгу «Мир Паустовского» (избранные страницы) читаю с огромным интересом. Сожалею, что в ней всего 450, а не 1500 страниц или 5000.

Вы делаете огромной важности дело, сейчас вы даже не в состоянии охватить, насколько оно велико и важно. Думаю, в будущем это откроется в полном своём виде и значении.

Успехов вам всем — и пребудет с вами Бог. Я — атеист, но верю, что где-то над нами всё же есть что-то высшее, что направляет грешные наши дела к добру, а не во зло. А то бы людская жизнь на земле давно прекратилась.

Юрий Гончаров
писатель
г. Воронеж

Сейчас перечитываю «Золотую розу», «Телеграмму» и, как всегда, радуюсь жизни. О Паустовском нельзя говорить, что он был — он есть во все века.

23 февраля нам в литературно-музыкальном салоне Дома учёных — ему уже 12 лет — чтица подарила «Корзину с словыми шишками». Все мы были безумно счастливы. Вечер был посвящён юбилею Эдуарда Грига. Было прекрасно.

Екатерина Степановна Жёстикова
г. Томск

Восьмой год уже идёт, как мы впервые увиделись, фотографировались вместе в Москве, Тарусе и Талдоме на первом Фестивале Паустовского. Часто замирает сердце при воспоминании об этих трёх незабвенных днях. Светлее становится на душе, и чувство огромной благодарности музею, журналу, всем авторам, всем сотрудникам переполняет меня: вы помогаете жить.

Надежда Даниловна Мальцева
г. Новосибирск

С живейшим интересом ознакомился с 20-м номером «Мира Паустовского». Без преувеличения — с живейшим. Многие материалы мне по-настоящему импонируют. Ваш журнал впервые держал в руках — мне его дал почитать Юрий Корнилов, автор публикации «Встреча на Оке».

Мне тоже посчастливилось встретиться с Константином Георгиевичем. У него выходили книжки в «Детгизе», где в пору студенчества я был практикантом. А однажды — так вот подфартило — сопровождал Марию Павловну Прилежаеву в ЦДЛ. Паустовского чествовали

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

по случаю его 60-летия. Я стоял за спиной Марии Павловны с охапкой ландышей, которые она ему должна была преподнести в заключение своей речи. Словом, ассистировал.

Вилён Петрович Разин
очеркист, прозаик
г. Москва

Провели недавно в библиотеке-музее Максима Богдановича вечер «Встречи с Паустовским». Решили, что этим не ограничимся и подготовим тематический вечер «К.Г. Паустовский и Белоруссия».

Валентина Николаевна Иванова
г. Ярославль

Сердце полно благодарности за карельские страницы и «Пыль земли Фарсистанской» в «Мире Паустовского» № 20.

В далёкие 60-е годы, совсем маленькая девчонка, я, затаив дыхание слушала песню:

Долго будет Карелия сниться...

Песню исполняла Лидия Клемент. С тех пор у меня особенный интерес к этому краю.

Оказывается, вода в озёрах Карелии пахнет сосновой корой!

И всё-таки больше других краёв, где приходилось бывать писателю, он любил Рязанский край. Жаль, конечно, что в доме Пожалостина в Солотче нет кабинета Паустовского. Надеюсь, нет пока...

Елена Гудкова
г. Чита

В сборнике «Телеграмма» прекрасный подобран материал: и вступительная статья, и воспоминания о К.Г. Паустовском. С волнением и трепетом читала строки Марлен Дитрих, эссе Вадима Паустовского, статью Владимира Солоухина. Всё это органично сливается с рассказами Паустовского, от всего идёт мощная добрая энергия. Мне кажется, что этот поток добра, человечности и душевной щедрости переливается из книг писателя к людям, любящим его и его творчество.

Журнал № 19 вернул меня в мою юность, к Грину. Ведь именно о Грине и его «Бегущей по волнам», «Алым парусам» я писала выпускное сочинение в 1967 году. Лучше Паустовского и Грина не писал никто.

Татьяна Даниловна Воробьёва
школьный учитель литературы
г. Лебедянь, Липецкая обл.

Чтения, посвящённые очередному юбилею Макса Володина, не ограничились только и только Коктебелем. В Старом Крыму встретили гостей выставкой «Вы зрите лист и цвет на древе» (*Фёдор Тютчев в Старокрымском литературно-художественном музее*). На втором этаже музея часть интерьера отдана жизни и творчеству К. Паустовского...

Надежда Семёновна Садовская, директор краеведческого музея, оптимистично говорит о возможности создания дома-музея Паустовского в Старом Крыму...

На моём рабочем столе — «Время больших ожиданий» — тоненькая зелёная книжка писателя, с которой из Севастополя я начинал покорять Крымское побережье в 1961 году, с ней пришёл в Коктебель, на Кара-Даг, и сегодня вновь начинаю дорогу в Севастополь.

Евгений Исаакович Владимир
художник
п. Коктебель, Крымская Биостанция,
Украина

Наше время такое, что молодому поколению необходимо учиться доброте и прекрасному. Я обтаптывал «парадные подъезды» в Рязани, в Московии и на Рязанщине для того, чтобы увековечить память писателя. Что-то, но получилось. Заметки в газетах, всевозможные чтения проходят и забываются, а мемориальные доски в Рязани и в Подлесной слободе, школа имени Паустовского в Екимовке — останутся.

Свою цель, как одного из почитателей таланта Паустовского, вижу не только в инициировании дел по увековечению памяти писателя, но и в популяризации его творчества. Хотя думаю, что книги Паустовского говорят сами за себя.

Высылаю очередную газету с радостной вестью — Рязанской областной юношеской библиотеке решением главы администрации области присвоено имя Паустовского.

Виктор Михайлович Афанасьев
г. Рязань

После возвращения из Филиппи обратилась в областной и городской отделы народного образования с целью узнать, что из творческого наследия Паустовского изучается в одесских школах? В методическом отделе института усовершенствования учителей сказали, что по программе курса зарубежной литературы изучают: в 5-м классе сказку «Тёплый хлеб», в 6-м — «Рассказы о животных», а в 8-м — «Телеграмму».

В институте милые сотрудники отдела литературы объяснили, что думающие учителя успевают познакомить школьников и со «Снегом» — всё зависит от личности учителя. Учителя же, выпускники университетов и пединститутов, с творчеством Паустовского знакомятся только в обзорных лекциях «Литература советского периода». Об этом я знаю ещё с времён своей учёбы в университете на филфаке. Недавно обратилась к моему бывшему педагогу с вопросом о нынешней программе по литературе в университете: есть ли там изменения? Изменений нет.

*Светлана Константиновна Кузнецова
г.Одесса, Украина*

Возможно, какие-то доклады, прочитанные на конференции в Пилипче, имело бы смысл напечатать в «МП». Мне, к примеру, были бы очень интересны взгляды Н.П.Антипьева, В.Г.Щепкина, Л.М.Замулко по поднятым ими проблемам. С публикацией С.А.Малыш журнал уже познакомил читателей...

*Наталья Викторовна Пешкова
г.Екатеринбург*

Последние журналы «Мир Паустовского», двухтомник «Время больших ожиданий» и 2-й выпуск научного сборника «К.Г.Паустовский. Материалы и сообщения» изданы отлично — их мы читаем все по очереди. Редколлегия хорошо поработала, отобрав наиболее значимые материалы и исследования — интересные, содержательные по глубине анализа, по тематике. Многие меня заставляют размышлять, сопоставлять, близко моим интересам и изысканиям.

Если говорить откровенно, я просто «утонула» в присланных материалах.

Например, раскрываю наугад 19-й номер «МП» и не могу оторваться от рассказа «За оградой зоопарка» Давида Шраер-Петрова. Тепло, проникновенно-пронзительно, лирично.

Всегда ищу публикации Г.П.Корниловой, а статья М.К.Холмогорова о «Тарусских страницах» всколыхнула во мне ностальгические воспоминания сорокалетней давности.

В декабре месяца 1961 года я ехала из Риги в Тарусу к К.Г.Паустовскому за благословением перед защитой кандидатской диссертации по языку и стилю его произведений. Добиралась сначала

электричкой Москва-Серпухов, потом — в холодном автобусе до Тарусы. Стоял 30-градусный мороз, приехала поздно вечером, сильно промёрзла. Горничная гостиницы напоила меня горячим чаем, дала валенки («Ноги-то, небось, отмёрзли в ботиночках»), и я всю ночь готовилась к встрече с Константином Георгиевичем, листая свои, как мне казалось, никчёмные записи диссертационной работы.

А рядом лежала чудом приобретённая в Серпухове бесценная книга с названием города, куда я приехала, — «Тарусские страницы». А там — шедевры великих мастеров: К.Паустовского, М.Цветаевой, а также сильные и смелые по тем временам произведения Владимира Корнилова, Булата Окуджавы, Бориса Балтера, Николая Заболоцкого... С тех пор эта книга у нас в Риге ходит по хорошим рукам и людям, умеющим ценить настоящую литературу.

Я держала эту книгу в руках, когда поутру мы беседовали с Константином Георгиевичем в его кабинете. «Хорошая получилась книга — тут много талантливых произведений молодых авторов», — его комментарий. Очень жалею, что не попросила автограф, но на первом томе Собрания сочинений писателя (книгу привезла с собой) есть дорогие мне строки: «Н.П.Раздоровой за её тяжёлый труд, возникший по моей „вине“».

...Не теряю надежды дописать статью «Паустовский и Бунин» — в лингвостилистическом плане.

*Нина Павловна Раздорова-Гусарова
г.Рига, Латвия*

Читаю 20-й выпуск «МП», испытываю радость от общения с Паустовским, с единомышленниками — ближними и удалёнными на тысячи километров.

*Сергей Аркадьевич Охремчик
г.Воронеж*

В сентябре 2003 года я пойду в 11-й класс. Увлекаюсь историей края, подготовила две работы по истории города. Недавно из цикла радиопередач о К.Г.Паустовском узнала о его пребывании в нашем городе. Этот факт очень заинтересовал меня, тем более, что в нашем районе никто ещё, думаю, не занимается этим исследованием.

Села за письменный стол. Вначале передо мной был только чистый лист

бумаги, написала название «К.Г.Паустовский в Пудоже». Теперь по крупяцам пытаюсь восстановить пребывание писателя у нас. Не знаю, что получится. Работа моя, естественно, не будет содержать анализа творчества писателя, да я и не вправе это делать. Но попытаться восстановить этот исторически важный для нашего города факт мне очень бы хотелось. К сожалению, в школе Паустовскому уделено очень мало внимания.

Разыскала в городе истинного ценителя творчества Паустовского — Таисию Тимофеевну Ершову. Старенькая, больная женщина подробно, с любовью и нежностью рассказывала мне о его произведениях. Захотелось перечитать всё, а вторую часть своей краеведческой работы я, видимо, посвящу почитателям Паустовского в нашем районе.

Таисия Тимофеевна перечитывает собрание сочинений Паустовского каждый год.

*Настя Новак
г.Пудожа, Карелия*

В нашей семье очень любят Паустовского — особенно мы с папой. Мне 18 лет, я учусь в Рязанском медицинском институте. С рассказами Паустовского хорошо знакома с детства, но настоящей открыл для себя писателя только год назад, прочитав книгу «Повесть о жизни» — светлое, глубокое, искреннее произведение. Паустовский прочно вошёл в круг моих любимых прозаиков. Поэтому журнал «МП» читаю с большим интересом. Всегда в каждом номере узнаю для себя что-то неожиданное и новое. Так, прочитав в 19-м номере письмо учащихся Екимовской школы, была ошеломлена: оказывается, Паустовский приезжал в Екимовку! Удивительно! Летом я регулярно бываю в тех краях — работаю на даче, расположенной в деревне Матюнино (всего в нескольких километрах от Екимовки). Местечко живописное: пшеничные поля, петляющая в низинах речка Павловка и вековые одиноко возвышающиеся среди лугов дубы... Казалось странным, что эта красота ещё никем не прославлена, а нет — захватывает дух при мысли, что я иду по той же земле, а может быть, даже по той же тропинке, по которой когда-то прошёл Паустовский.

*Ирина Ивановна
г.Рязань*

Сергей ПОРОХИН

Усть-Пинега

Церковь деревни Усть-Пинега:
Маковки зело желты
Смотрятся в зеркале синем
Северодвинской воды.

Берег прекрасен воистину!
Радует зелень глаза:
Сосны — как строгие витязи,
Рядом — берёз бирюза!

Сине-зеркальные полосы
Режет невольно мой струг.
Тянутся вольные волости
С севера прямо на юг.

Этими чудными царствами,
Этоту дивной красотой
Я поделился бы запросто
С каждою русской душой!

Александровка в Потсдаме

Терем боярский из пушкинской сказки,
Окна косящаты, крыто крыльцо,
Ставни, наличники крашены краской,
А на вратах — золотое кольцо!

Даже в России поищешь такого
Крепкого, хряпкого чуда-бревна.
Сказочных теремов срублено много,
Русская церковь на горке видна!

Друг против друга такие ж хоромы —
В целую улицу, да не в одну!
Так вот и кажется, будто я дома,
Вышел на Сухону или Двину!

Шёнефельд¹

Шёнефельд. Солнце жёлтое прячется,
Скоро-скоро зайдёт за черту.
Я за ним, как за теннисным мячиком,
По безлюдной платформе бреду.
Так и хочется солнца дотронуться,
Солнце близко: за тем бугорком.
Прикоснусь я, и странствия кончатся,
Прикоснусь я, и будет легко.
И не так ли вся жизнь быстротечная
Нам ясна лишь в рассвет и в закат?!
А в зените не высмотреть вечное,
Потому что лучи ослепят.

В Вердере

А в Вердере чудная осень,
И кружится лист золотой,
И утром совсем не морозно,
И даже над самой водой.
И чайки как будто уснули:
Уселись на пристани в ряд.
Покуда мы их не вспугнули,
Притихшие, не гомонят.
Природа так ласкова взору,
И вовсе не надо тужить
О том, что окончится скоро
Дорога по имени жизнь.

¹ Пригород Берлина (аэропорт).

Милитриса ДАВЫДОВА

Бетховен

Они стоят неумолимо грозно,
Вопросы смысла жизни, бытия.
О как на эти вечные вопросы
Отвечу я?

И падают тяжёлые аккорды,
Как волны, что дробятся о скалу.
В чём жизни смысл? Я знаю это твёрдо:
В противоборстве злу!

Ты — человек. И ныне и вовеки
Трудна твоя дорога и крута,
Но отступают перед человеком
И одиночество и глухота.

Штурмуют звуки снежные вершины
В боренье — радость! Я познал её!
И отступает в трусости мышинной
Небытие.

* * *

Душу тревожную лечим — весной,
Чёрными ветками в небе недвижимом,
Смене погод неподвластной сосною,
Дальней дорогой, исхоженной трижды.

Душу тревожную лечим Шопеном,
Звуками, в зале высоком звучащими,
И утихает душа постепенно,
Вся погружённая в настоящее.

СТРОКИ О ПИСАТЕЛЕ

Маша ШАХОВА

— (Корр.) *Если подмосковные дачи снимать «общим планом», ничем особо не интересуясь, то все они окажутся примерно одинаковы и никому особо не интересны. А если, напротив, взгляды вать во все станции пятой дачной зоны — каждая окажется уникальной?*

— Конечно... Мы снимали в Тарусе, на даче Паустовского, там цвели замечательные розы, Паустовский их сам высаживал. Нашли скамейку около цветника. Но я всё-таки сказала: «Ребята, сколько можно уже снимать дачные розы? Посмотрите, какая там великолепная яблоня — корявая, грязная, мокрая! И дачный дощатый сортир. И рядом яблоки висят. И груды песка с лопатой».

В общем, почти час умоляла переставить камеру. В конце концов переставили. И изумительные кадры получились... Настоящие!

Интереснее показать корявое дерево с двумя яблоками около уборной, чем беседку, увитую розами... Розы везде похожи: и здесь, и в Ницце. А эта яблоня корявая — она только в Тарусе, возле будочки из горбыля.

— (Корр.) *А будочка из горбыля смиренно стоит у дома очень культурного и тонкого писателя...*

— Да. И от этого мороз по коже.

*Шахова М. На дачах все времена встречались за чаем...
// Новая газ., 2003, 7–9 апр.*

ЮБИЛЕИ

100 лет назад на выставке Товарищества художников появилась картина «Водоём» Виктора Борисова-Мусатова.

Он жил недолго, немногими был понят, после смерти оболган. И, может быть, лишь стараниями Константина Паустовского и его «Тарусских страниц» имя художника было возвращено из небытия.

Сегодня он — классик.

*[Без подписи] Водоёмы
// Алфавит, 2003, № 25: июль*

Об Инне ГОФФ

Она родилась 24 октября в семье врача. Летом 1941-го эвакуировалась с

родителями в Томск. Там, учась в школе, одновременно работала нянечкой, позже библиотекарем в эвакогоспитале № 1506.

Писала стихи. В 1945-м, случайно узнав про Литературный институт, послала туда рукопись на конкурс и была принята. Успешно занималась в семинаре М.Светлова и вдруг неожиданно для всех ушла в прозу, в семинар К.Паустовского. Захотелось поведать о своей жизни более подробно. Однако стихи изредка писала — для себя.

В 1960 году был напечатан большой её рассказ «Северный сон». Константин Паустовский так написал автору по этому поводу: «Читал и радовался за Вас, за подлинное Ваше мастерство, лаконичность, точный и тонкий рисунок вещи, особенно психологичный, и за подтекст. Печаль этого рассказа так же прекрасна, как и печаль чеховской «Дамы с собачкой». Поздравляю Вас, и если правда, что я был Вашим учителем, то могу поздравить и себя с такой ученицей».

*Котов Л. Я твой тонкий колосок...
// Литературная газ., 2003, 8–14 окт.*

Яков ГРОЙСМАН

— (Корр.) *Параллельно со «Встречами в зале ожидания» (первая книга воспоминаний о Булате Окуджаве) вы готовили книгу «Мир Паустовского: Избранные страницы»...*

— В прошлом году мы выпустили двухтомник повестей, дневников и писем Паустовского «Время больших ожиданий». Мы — издатели, можно сказать, пристрастные. У «Декома» такой принцип: мы выпускаем книги тех авторов, которых любим. Главный критерий — автор или герой как личность должен нам импонировать. А Паустовский — любимый писатель с детства. И здесь у нас тоже был свой подход. Двухтомник наряду с биографической прозой включает комментарии сына писателя, Вадима Константиновича, а также дневники и письма Паустовского, отражающие те периоды его жизни, что описаны в повести, то есть перед читателем действие разворачивается как на полиэкране.

Новая книга, в которую вошли избранные страницы журнала «Мир Пау-

стовского», — для тех, кто любит этого писателя, и она очень интересна. Это, конечно, не беллетристическая литература, но свой круг читателей у неё есть.

*Гройсман Я. Любовные лодки Маяковского
/Беседу вела О.Горнова
// Культура, 2003, 13–19 нояб.*

Людмила АРХИПОВА

Московские высотки заселялись по производственному принципу. На площади Восстания жили в основном представители авиапромышленного комплекса — конструкторы и лётчики, в Котельниках создали «заповедник» советской интеллигенции. Перед тем как заселять дом, списки лично просматривал Председатель Совета Министров СССР.

Сложно перечислить всех знаменитостей, живших на Котельнической набережной: Константин Паустовский, Андрей Вознесенский, Людмила Зыкина, Марина Ладынина...

*Архипова Л. Москва советская
// Аэрофлот: журнал для пассажиров,
2003, № 12*

Виктор ЛИХОНОСОВ

— (Корр.) *Учитель... что в нём для вас главное?*

— Я, допустим, люблю писателя (вспомним молодость), он поглощает меня своей мощью, красотой, музыкой, правдой, ещё чем-то, и писатель струнами своими, щупальцами своими, за которые я хватаюсь душой, «ищет» лучшее и раскрывает меня.

Таковыми учителями были для меня Шолохов, Есенин. Таким был особенно Бунин, которого я люблю до сих пор. Таким был ныне весьма забытый Паустовский, который прививал гимназическую любовь к литературе. Я никогда не учился у Бунина стилю, построению фразы и т.п., не помню такого случая. Но он влиял на меня музыкой, нежностью, выбором мотивов.

*Виктор Лихоносов:
«Литература стала изощрённо-бездушной»
/Беседу вёл Сергей Луконин
// Литературная газ., 2004, 17–23 марта*

Составитель Моника САЗОНОВА

ПАУСТОВСКИЙ К. Золотая

роза: Избранное /Сост., авт. вступ. ст. Сергей Дмитренко. — М.: Эксмо, 2003. — 512 с.: ил., портр.

Из содерж.: Несколько отрывочных мыслей.

Рассказы: Барсучий нос; Кот ворюга; Резиновая лодка; Заячьи лапы; Парусный мастер; Поводырь; Стекольный мастер; Робкое сердце; Бакенщик; Снег; Дождливый рассвет; Телеграмма; Рождение рассказа.

Сказки: Тёплый хлеб; Дремучий медведь; Растрёпанный воробей.

Повести: Мещёрская сторона; Разливы рек; Золотая роза; Из «Повести о жизни»: Гардемарин; Брянские леса; Артиллеристы.

Очерки: Сказочник; Белая Церковь.

О Константине Паустовском: [из кн. «Воспоминания о Константине Паустовском» (М., 1975)]: **КАВЕРИН Вениамин, ШКЛОВСКИЙ Виктор, ЛЕВИЦКИЙ Лев, БЕК Александр, ГЛАДКОВ Александр, БЕЛЯНИНОВ А., ФРАЕРМАН Рувим, РАХМАНОВ Леонид, СМОЛИЧ Юрий, МЕДНИКОВ Анатолий, РОМАНЕНКО Виктор, МИНДЛИН Эммануил; ПАУСТОВСКИЙ Вадим.** [из книг: Паустовский К. «Повесть о жизни» (М., 1993)], Паустовский К. «Время больших ожиданий» (Н-Новгород, 2002)]; **ДИК Иосиф.** <фрагменты воспоминаний> [из журн. «Мир Паустовского» (1995, № 6)].

Вехи жизни и творчества.

Из предисловия Сергея Дмитренко «СЛОВО ПАУСТОВСКОГО» к книге:

Известно горделивое заявление то ли англичан, то ли немцев: в Европе Паустовского знают лучше, чем в России, — ведь по его рассказам и повестям изучают русский язык. Мысль, не лишённая оснований, для нашего патриотизма даже лестная, но всё же поверхностная. Во-первых, у нас Паустовский давно входит в круг школьного чтения, а, во-вторых, наверное, он всё же писал не только для того, чтобы раскрыть иноязычным красоту настоящей русской речи.

Паустовский и в наших краях — живой писатель. Полно историю начала 1990-х годов, рассказанную одной из женщин, хлопотавших о посмертном награждении Паустовского, который был военным корреспондентом в годы Великой Отечественной войны.

Она пришла с этим к одному из военных чиновников, а он её спрашивает:

— А кто вы такая?

— Я паустовка.

Книги

— Ах, паустовка! Тогда идите, любуйтесь природой.

Услышав такое, понимаешь, что именно эта история, а не медаль — подлинная награда писателю, которого знают даже солдафоны.

Действительно, удивительная награда, на фоне которой совсем не важен тот факт, что при жизни Константин Георгиевич Паустовский не был избалован официальными отличиями. Ему не присуждали громких советских премий, не удостоивали высших государственных орденов. Когда в начале 1960-х годов он стал наиболее вероятным претендентом на получение Нобелевской премии по литературе, по легенде, после сложнейших закулисных игр коммунистических инстанций премию от него «увели». Но разве это имеет какое-то значение при том, что Паустовского читают?!

Этот писатель советской эпохи был отличен среди множества советских

писателей своей способностью оставаться свободным в несвободе. И никогда не теряющим творческой силы.

ПАУСТОВСКИЙ К. Избранные произведения /Предисл. Игоря Янина. — Калининград: Гудок, 2003. — 720 с., портр. — (Б-ка «Гудка») — 2500 экз.

Из содерж.: Романтики; Роман.

Повести: Книга скитаний; Северная повесть; Мещёрская сторона; Золотая роза.

Из предисловия главного редактора газеты «Гудок», доктора исторических наук И. Янина «Кудесник русского слова»:

Друзьям «Гудка» мы дарим особенную книгу. Она не из разряда так называемой печатной продукции одноразового пользования. Эта книга достойна почётногo места в семейной библиотеке, поскольку обладает «золотым содержанием», а значит, не потеряет ценности в обозримом будущем. К ней, как к доброму другу, захочется обращаться вновь и вновь, её не стыдно будет передать потомкам в наследство.

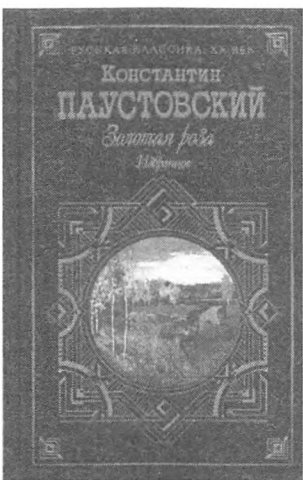
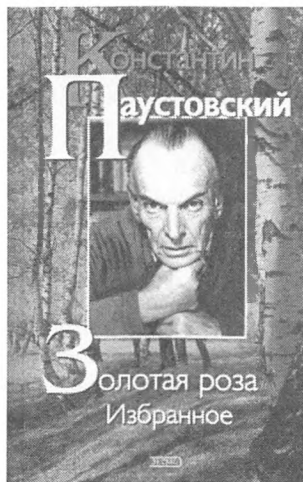
В нынешнее беспокойное, торопливое время порой становится жалко людей, которые не знакомы с творчеством Паустовского, ибо те, кто причастен, знают, что чтение его книг оздоравливает, как прогулка после грозы, когда дышать становится легче, взору открываются светлые дали и человека охватывает неизъяснимая радость бытия.

<...> Того, кто впервые открывает книгу Паустовского, ждёт необыкновенный мир, наполненный жизненными реалиями, историческими событиями и личностями с ярким воображением. Это — как путешествие на неизведанную планету, как прозрение. Появляется желание найти и прочесть другие его произведения... И такой поиск не разочарует, потому что автор необычайно разнообразен, богат и щедр...

<Рец.>. — **ПЕТРОВ Андрей.** Чародей русской речи // Гудок. — 2003. — 25 дек. — С. 7. — (Новинка).

<Рец.>. — **ВОРОНЦОВ Андрей.** Возвращение Паустовского // Учительская газ. — 2004. — 30 марта. — С. 19, портр.

Из рецензии: К наследию этого выдающегося писателя теперь обращаются не так уж часто. Утвердилось поверхностное мнение, что Паустовский — «слащавый романтик». Между тем его творческий единомышленник Юрий Казаков справедливо говорил: «Лирическая проза принесла в современную литературу не только элегию и



вздых, но и пристальное внимание к движениям души своих героев».

В этом смысле очень важно, что книгу Паустовского открывает его первый роман «Романтики» (1916–1923). Сам писатель, судя по высказываниям... не считал «Романтиков» значительным произведением. Советская критика тоже не давала роману высокой оценки. Между тем, когда в 1930-х годах в нашей стране впервые напечатали произведения Эрнеста Хемингуэя, тогдашние эстеты пришли в восторг (массовая популярность Хемингуэя была ещё впереди). Но ведь ранние произведения Хемингуэя («Фиеста», «Процуй, оружие!») были сильны теми же мотивами и характеристиками, что и «Романтики» Паустовского!

...Третья часть «Романтиков» («Волшебные будни») совпадает с «Процуй, оружие!» не только по настроению, но и фактически: герой романа, как и лейтенант Генри, служит в санитарном отряде, его тоже ранят, возлюбленная Максимова, как и Кэтрин Баркли, — сестра милосердия, и она тоже погибает. Но самое главное: «Романтики» — это не перевод с англо-американского, это написано прекрасным русским языком.

...«Книга скитаний» (1963) — вообще одна из самых читабельных книг в мировой литературе. Она интересна и подросткам, и юношам и девушкам, и людям преклонного возраста, и старикам — каждый находит в эпопее что-то важное именно для своего жизненного опыта, причём достигает писатель такого эффекта, не нанося видимого ущерба идейно-эстетической стороне произведения. Так писал некогда свою прозрачную прозу Лермонтов, один из любимых писателей Паустовского.

Влияние Лермонтова чувствуется в первой же фразе «Книги скитаний»: «Я очень долго добирался от Тифлиса до Киева». Теперь вспомните, как начинается «Бэла»: «Я ехал на перекладных до Тифлиса». Это не просто стилистическое совпадение, в «Повести о жизни» есть пленительный секрет: герой её, как

бы наследник героя Лермонтова (не Печорина, а другого, которому достается дневник Печорина), наделён таким же грустно-внимательным взглядом на мир, таким же отношением к жизни.

«Выхожу один я на дорогу...» На этой дороге встретил Паустовский и Бунина, и Булгакова, и Олецу, и Грина, и Пришвина, и Маяковского, и Платонова, и Гайдара, и Горького. Они прошли перед нашими глазами, как прошёл Печорин перед рассказчиком из «Героя нашего времени», и остались, благодаря «Книге скитаний» и «Золотой розе», в нашей памяти навсегда.

ПАУСТОВСКИЙ К. Похождения жука-носорога /Худож. С.Бордюг. — Для младш. и сред. шк. возраста. — М.: Стрекоза-Пресс, 2003. — 160 с.: ил. — (Серия: «Классика — детям»). — 10.000 экз.

Содерж.: Сказки: Похождения жука-носорога (Солдатская сказка); Тёплый хлеб; Стальное колечко; Дремучий медведь; Растрёпанный воробей; Квакша; Заботливый цветок.

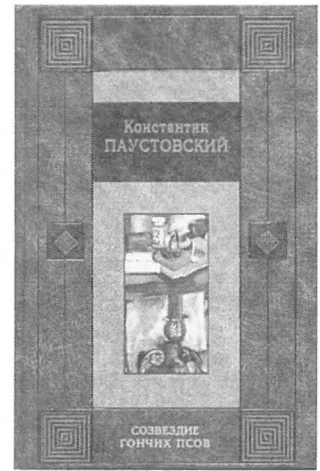
Рассказы: Барсучий нос; Кот ворюга; Резиновая лодка; Заячьи лапы; Подарок; Прощание с летом; Грач в троллейбусе; Жильцы старого дома; Доблесть; Корзина с еловыми шишками; Ночной дилижанс.



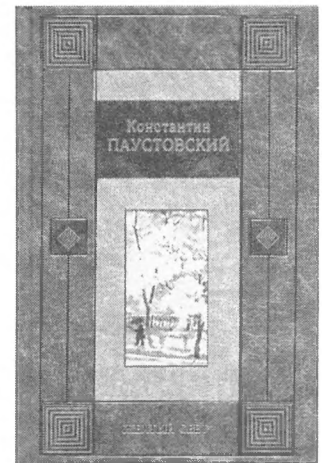
ПАУСТОВСКИЙ К. [Избранные сочинения: В 2 кн.]. — М.: Текст, 2003. — (Серия: Классика). — 2.500 экз. — Кн. 1. — **Созвездие Гончих Псов: Повести**. — 398 с.

Содерж.: Чёрное море; Северная повесть; Судьба Шарля Лонсевилля; Созвездие Гончих Псов; Орест Кипренский; Исаак Левитан; Разливы рек. — Кн. 2. — **Жёлтый свет: Рассказы**. — 398 с.

Содерж.: Этикетки для колониальных товаров; Репортёр Крыс; Дочечка Броня (Письмо из Одессы); Жара (Записки лейтенанта Жиро); Ценный груз; Медные доски; Соранг; Тост; Музыка Верди; Барсучий нос; Золотой лить; Пос-

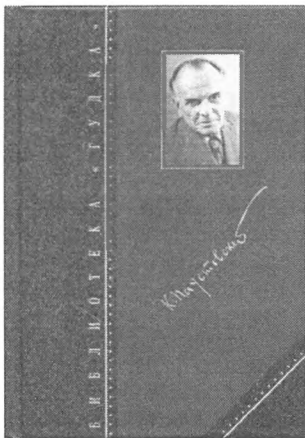


ледный чёрт; Кот Ворюга; Резиновая лодка; Жёлтый свет; Михайловские роши; Заячьи лапы; Парусный мастер; Колотый сахар; Потерянный день; Лёнъка с Малого озера; Австралиец со станции Пилево; Старый чёлн; Стекольный мастер; Ручьи, где плещется форель; Старый повар; Жильцы старого дома; Сивый мерин; Подарок; Прощание с летом; Английская бритва; Снег; Дождливый расцвет; Ночь в октябре; Собрание чудес; Воронежское лето; Молитва мадам Бовэ; Кордон «273»; Равнина под снегом; Маша; Во глубине России; Шиповник; Бег времени; Секвойя; Синева; Корзина с еловыми шишками; Белая радуга; Телеграмма; Рождение рассказа; Уснувший мальчик; Толпа на набережной; Песчинка; Амфора; Наедине с осенью; Ильинский омут; Вилла Боргезе.

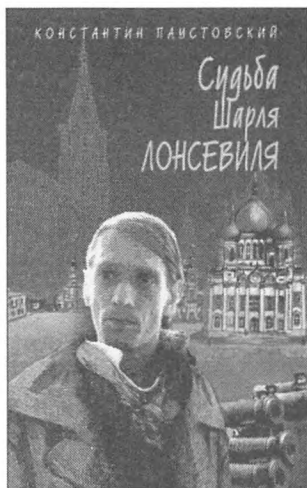


ПАУСТОВСКИЙ К. Судьба Шарля Лонсевилля: историческая повесть, очерки /Худож. В.Наконечный. — Петрозаводск: Карелия, 2003. — 128 с., портр.: ил. — 2.000 экз. — (Федеральная программа «Культура России»; подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»).

Содерж.: Судьба Шарля Лонсевилля: повесть.



Очерки: Белая ночь [гл. из повести «Золотая роза»]; Страна за Онегой; Онежский завод (отрывки из очерка).



Обложка художника В.Наконечного

АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Для детей 6 лет /Сост. Л.Яхнин, Е.Зайцев; Худож. Дарья Юдина, Евгений Мониин. — М.: Олма-Пресс, 2003. — 160 с.: ил.

Из содерж.: **ПАУСТОВСКИЙ К.** Растрёпанный воробей: с. 132–142: ил.

Из аннотации: *Шестилетнему ребёнку ещё недоступны многие шедевры русской и мировой классики. Он стоит лишь на пороге великой литературы. Но формировать его вкус следует на лучших образцах прозы и поэзии, знакомить с достойными именами писателей. В этом томе ваш ребёнок, может, впервые встретится с такими замечательными художниками слова, как Лев Толстой, Иван Бунин, Константин Бальмонт, Михаил Зощенко, Константин Паустовский, Борис Житков, Уильям Шекспир, Роберт Стивенсон.*

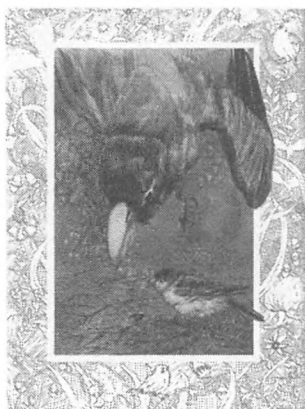


Иллюстрация к сказке

ВАЙСБЕРГ Борис. Книгоплетение. — Екатеринбург: Изд-во газеты «Штерн», 2004. — 58 с.: ил. — 200 экз.

Из содерж.: Из архива Вадима Паустовского (Журнал «Мир Паустовского» № 18).

Борис Семёнович Вайсберг — исследователь творческого архива ведущего редактора издательства «Молодая гвардия» (сектор юношеской литературы) Генриха Леопольдовича Эйхлера. Сектор с середины 1932 года выделился в самостоятельное издательство «Детиздат». Эйхлер — редактор многих книг Паустовского, в том числе повести «Кара-Бугаз», с которой писатель стал известен массовому читателю в нашей стране и за рубежом.

ГОНЧАРОВ Юрий. Верность и терпение: Повесть. Рассказы. Воспоминания. — Воронеж: ИПФ «Воронеж», 2003. — 720 с.

Из содерж.: На линии огня <о К.Г.Паустовском на Южном фронте в 1941 г.>: с. 175–188.

КАЗАКОВ Юрий. Поедьте в Лопшеньгу // Казаков Ю. Лёгкая жизнь: Рассказы /Сост., авт. послесл. И.С.Кузьмичёв. — С-Пб: Азбука-Классика, 2003. — С. 345–359.

КОТ ВОРЮГА: Стихи, рассказы, сказки о животных: Для дошк. и мл. шк. возраста /Худож. В.Бастроскин, В.Дугин, Б.Ельская, О.Костогрыз. — М.: Росмэн-Пресс, 2003. — 112 с.: ил.

В сборнике под одной обложкой представлены произведения Василия Жуковского, Льва Толстого, Афанасия Фета, Александра Блока, Константина Бальмонта, Михаила Пришвина, Виталия Бианки и рассказа Константина Паустовского «Кот ворюга». Сборник выполнен в подарочном варианте.



Обложка художника Е.Антоненкова

КУВАЛДИН Юрий. Кувалдин-критик: Выступления в периодике. — М.: Книжный сад.—2003.—384 с.

Из содерж.: Зов <о Константине Паустовском>.

МЕЛЬНИКОВА Татьяна. Жизнь как жизнь: стихи. — М.: Российский писатель, 2003.—160 с.

Из содерж.: **Что Паустовский для меня?..; Письмо из Тарусы в Бразилию; Этот тихий уголок московский...: стихи:** с. 18, 44, 122.

Помимо ранее опубликованных в «МП» поэтических подборок Татьяны Петровны Мельниковой в её новом поэтическом сборнике помещено стихотворение, адресованное профессору-русисту Ноэ Силва, защитившему докторскую диссертацию по творчеству К.Паустовского.

ПИСЬМО ИЗ ТАРУСЫ В БРАЗИЛИЮ

У нас рождественский мороз. Никола зимний. В Бразилии — стихия гроз, жара и ливни. Вот наши б холода смешать да с вашим пеклом, Была б такая благодать под небом блеклым! Вы спрашиваете, как дела и как Таруса? Стоит в снегах, чиста, бела невестой русской. Ока закована во льдах, кроме протоки. Но закипают в родниках живые токи.

Метель метёт, метель поёт — вот так погода! И страсти ярмарок кипят пред Новым Годом. С деньгами туго, а вокруг — сплошное изобилие. И жизнь трепещет, хлещет, жёт — ну как в Бразилии.

МИР ПАУСТОВСКОГО: Избранные страницы /Предисл. Г.Корниловой. Моск. литературный музей-центр К.Г.Паустовского; Редколлегия журнала «Мир Паустовского». — М.: Изд-во «Мир Паустовского»; Н.Новгород: Деком. — 2003. — 456 с.: ил.

Из содержания: **Неизвестный Паустовский: ПАУСТОВСКИЙ К.** Пыль земли фарсисканской: маленькая повесть; Далёкий свет: из 2-й кн. «Золотая роза».

Из публицистики Паустовского: **ПАУСТОВСКИЙ К.** Письмо Эм.Шмуллеру; Гражданин. Охрана памятников культуры: статьи; Киев–Одесса: путевой очерк; Из дневников (1920–1930) /Коммент. В.К.Паустовского; Письмо из Тарусы; Кому передавать оружие?: ст.

О настроениях среди писателей: записка Н.Казьмина (Из архива ЦК КПСС).

«Но кто мы и откуда?..»: **ПЛАТОНОВА Лариса.** Генеологическое древо К.Паустовского; **ПАУСТОВСКИЙ Вадим.** История семей Высочанских, Гулей и Тенно.

Размышления: **ЗАЙЦЕВ Борис.** Паустовский. Новый год; **ЧИЧИБАКИН Борис.** Слово о любимом писателе; **ХОЛМОГОРОВ Михаил.** Липовый цвет; **КОРОЛЁВ Анатолий.** Золотая книжная полка; **КЕДРОВ Константин.** Россия без Паустовского.

Воспоминания: **ПАУСТОВСКИЙ В.** Серебряное колечко. Две открытки Ивана Бунина; **СИНЯВСКИЙ Михаил.** Фрагменты прошлого; **ТЕНДРЯКОВ Владимир.** Игла дикобраз; **ДИК Исиф.** По старому русскому обычаю; **КАЗАКОВ Юрий.** Встречи; **НЕКРАСОВ Виктор.** Угольник; **ЮДИНА Мария.** Обо всём поведать потомкам.

Исследования: **БАЗИЛЕВСКАЯ Валентина.** Загадки повести «Судьба Шарля Лонсевилля».

Из поэтической антологии Паустовского: **ГУМИЛЁВ Николай.** **МАНДЕЛЬШТАМ Осип:** стихи / Сост. И. Комаров.

Школа Паустовского: **ДОСТЯН Ричи.** Чего молчишь?; **КОБЛИКОВ Владимир.** В старом автобусе; **ГОНЧАРОВ Юрий.** Однажды осенней ночью: рассказ; **КУРАНОВ Юрий.** Ветер среди самого полдня: рассказ; **ПОПОВ Евгений.** Спасибо; **ШЕВАРОВ Дмитрий.** Теплоходы.

По местам Паустовского: **КОВАЛЕНКО Анатолий.** Местечко Смела; **БЕЛЯЕВ Юрий.** Ливенский сапожник; **БЕОНОВ Юрий.** Чёрная пасть; **СТЕПАНИЩЕВ Николай.** Время рыбных страстей; **КАСАТКИН Владимир.** На мосту через Сологчу; **СТОЛЯРОВ-ОБОЛЕНСКИЙ Владимир.** Детский ГУЛАГ.

В моей благодарной памяти...: **ХОЛМОГОРОВ Михаил.** Путешествие по воде; **КОСТРОВ Марк.** Два похода; **МЕШКОВ Вячеслав.** Ода Савёловскому вокзалу.

Литературные страницы: **ПЛИСЕЦКИЙ Герман.** Михайловские ямбы: стихи / Подготовка текста Д. Г. Плисецкого; **ГАЛКИНА Наталья.** Свеча: рассказ; **ЧУХОНЦЕВ Олег.** Похвала Державину: стихи; **КОРНИЛОВА Г.** Кикимора: рассказ; **ЛЕОНОВИЧ Владимир.** Небо разгорается над бором: стихи; **НОВИКОВ Дмитрий.** Огонь вода: рассказ; **БЕК Татьяна.** Узор из трещин: стихи; **МУСТОНЕН Раиса.** Щасте: рассказ; **ТИМОФЕЕВСКИЙ Александр.** Заметки на полях: стихи.

Записки Поленовского дома: **ПОЛЕНОВ Фёдор.** Роза и крест: рассказ.

«Наш скромный Рим районный»: **ИВАНОВА Наталья.** Скрепляя порванную цепь (в сокр.); **ОКУДЖАВА Булат.** Всё ещё впереди; **ШТЕЙНБЕРГ Аркадий.** Разлётсся на семи холмах наш скромный Рим районный: стихи; **ДЕНИ Лили.** Тарусский мудрец / Предисл. Луи Арагона; Перевод Ю. Леонидова.

Поэтический венок: **ОЗЕРОВ Лев.** Есть же в России советливые...; **ХЕЛЕМСКИЙ Яков.** Переделкино и Таруса; **СЕМЫНИН Пётр.** Новелла Паустовского; **ОКУДЖАВА Б.** Люблю я эту комнату...; **ЯШИН Александр.** Переходные вопросы. Таруса; **АЛИГЕР Маргарита.** 17 июля 1968 года; **ЧИЧИБАБИН Б.** Я опоздал с любовью к Вам...

<Рец.>. — **РАДЗИШЕВСКИЙ Владимир.** Мир кумира // Библио-Глобус: книжный дайджест. — 2004. — № 3: март. — С. 5. — (Книжный гид «Библио-Глобуса»).

Из рецензии: *Мемориальные сборники, посвящённые одному писателю, не*

такая уж редкость. «Памяти Блока», «Альманах с Маяковским», «Век Пастернака» — всё это уже было. Были на протяжении многих лет и ежегодные выпуски «Пушкинского праздника». Но журнал «Мир Паустовского» продержался целое десятилетие не когда-нибудь, а в самое последнее время, расположенное скорее к сотрясательным переленам, чем к надёжному постоянству. Продержался благодаря энтузиазму пятирёх редакторов во главе с Галиной Корниловой и бескорыстием авторов, готовых в расчётливую рыночную пору печататься, не вспоминая о гонорах.

От Паустовского, помимо книг, остались уроки жизненного поведения. И остались, по-видимому, не только на бумаге и в памяти, но и в живом воплощении.

Итак, за десять лет издан 21 номер журнала, сосредоточенного на творчестве и личности Паустовского, а лучшие материалы вошли в нынешний сборник. Пожалуй, самое интригующее здесь — рассказ «Пыль земли фарсистанской» и начало второй книги «Золотая роза», до последнего времени остававшиеся неизвестными.

До сих пор не остыла публицистика Паустовского, а дневниковые записи удерживают не только детали пережитого, но и свежесть впечатлений. В книге собраны сведения о родственных связях Паустовского, о местах его жизни, об истории его сочинений, размышления о нём и посвящения ему. И самое интересное — воспоминания: сына Вадима Константиновича, учеников и собеседников — Владимира Тендрякова, Иосифа Дика, Юрия Казакова, Виктора Некрасова, Булата Окуджавы...

<Рец.>. — **КАЦЮБА Елена.** «Мир Паустовского. Избранные страницы» (2003) // Русский курьер. — 2004. — 2 февр.

Паустовского стараются забыть... Но скоро всё равно вспомнят и причислят к классикам, как причислили Бунина. Паустовский, как и Бунин, — воинствующий ретрист и консерватор. Он пытался вписаться в ХХ век, но это ему как-то не удавалось. И тогда он в последний период жизни взял да и перестал вписываться куда-либо и создал замечательную «Повесть о жизни», которую можно читать всегда.

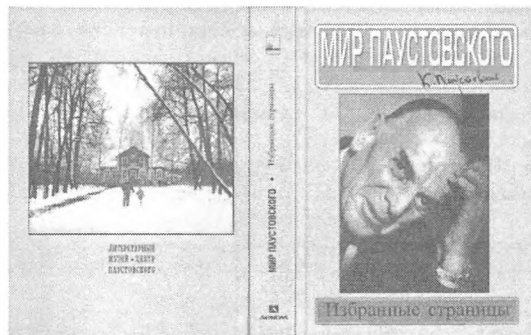
Паустовский обладал абсолютным слухом в слове...

Мы так богаты великой литературой, что не дорожим никем и ничем. Этакая купеческая расточительность. Забыть Паустовского, зашвырнуть на Соловки Флоренского, загнать в подпо-

лье Достоевского, а потом лет через сто судорожно, всем миром восстанавливать и реставрировать всё, что впопыхах разрушили и забыли.

<Рец.>. — **Дмитренко Сергей.** Мир Паустовского: Избранные страницы // Литература: Прилож. к газ. «Первое сентября». — 2004. — № 5: 1–7 февр. — С. 20. — (Книжная полка).

Из рецензии: *Педагогический опыт дал мне убеждение, что историю литературы порой лучше изучать не по учебникам, а по живым свидетельствам современников. Создателям сборника «Мир Паустовского» удалось не только разносторонне представить облик известнейшего, поистине хрестоматийного писателя, но и открыты перед читателем немало драматических страниц истории русской литературы советского периода. Хочется надеяться, что эта полезная, под стать прозе Паустовского, изящная книга не затеряется в нынешних завалах гляцевой макулатуры.*



ЩЕПКИН Вячеслав. Паустовский. Рёвенское лето: стихотворение // Радость прилива (Голоса ульяновских литераторов, наших современников): Сб. — Ульяновск: Ульяновское отделение РС профессиональных литераторов, 2003. — С. 188. — (Гости).

ЛЕСОВОЙ Алексей. Осенний оркестр. — Днепропетровск: Полиграфист, 2003. — 60 с.

Из содержания: **Паустовский:** стихотворение: с. 44. — (Из цикла «Те, кому мы обязаны»).

ПАУСТОВСКИЙ

Был предан слову и любил природу, И страстно утверждал в литературе Мечту романтика, служение культуре, Призванию и своему народу.

Он сохранил в поэзии свободу В тот час, когда в науке и культуре, В генетике, стихах, архитектуре — Всё было рабству отдано в угоду.

Терпением победив тридцатилетний мрак, Он в старости окреп, а не размяк, И передал перо идущим поколениям.

В поэзию пересоздал он прозу.
И, отковав до блеска «Золотую розу»,
Волшебнo оживил высоким
Вдохновеньем.

ЩЕПКИН Вячеслав. Тайна тайн: *стихи* / Рис. Нади Рушевой (1952–1969); Ред. Л.Н.Козлова. — М., 2004. — 184 с., портр.: ил.

Из содерж.: **Отправимся в Тарусу, милый друг!..; Паустовский. Рёвенские лета:** с. 144, 161.

«Тайна тайн» — первая книга поэта, издана при содействии Ульяновского отделения Российской Союза профессиональных литераторов. Вячеслав Георгиевич Щепкин — историк, выпускник МГУ, участник поэтической студии Игоря Волгина (1970-е годы), журналист, психолог и педагог, автор многочисленных статей в центральной печати.

Оба отмеченных стихотворения были опубликованы на страницах «МП».

Научные работы и сборники

КУДЕЛЬКО Н.А. И.С.Тургенев и русская литература XX века (Б.К.Зайцев, К.Г.Паустовский, Ю.П.Казаков) / Орловский гос. ин-т искусств и культуры. — 2-е изд., доп. — Орёл: Издатель А.В.Воробьёв, 2003. — 270 с.

Из содерж.: О своеобразии художественного метода И.С.Тургенева.

Тургенев и импрессионизм; О романтических и импрессионистических тенденциях в реализме Б.Зайцева, К.Паустовского, Ю.Казакова; О К.Паустовском.

«Тургеневское» в прозе русских писателей XX века: «Романтики» и «практики» в прозе Б.Зайцева, К.Паустовского, Ю.Казакова; О типе праведника и православной традиции в рассказе И.Тургенева «Живые мощи» и в прозе русских писателей XX века; Мир искусства в произведениях Тургенева, Зайцева, Паустовского, Казакова; Тема природы. Своеобразие пейзажа в прозе Тургенева и русских писателей XX века; О философии природы; Концепция люб-

ви, женские характеры в творчестве И.С.Тургенева и русских писателей XX века; Отражение опыта «тайной психологии» И.С.Тургенева в русской прозе XX века; О структуре прозы.

КУДЕЛЬКО Н.А. Б.Зайцев и К.Паустовский: о типологии характеров (*Опыт сравнительно-типологического исследования*) // Проблемы изучения жизни и творчества Б.К.Зайцева / Калужский гос. пед. ун-т им. К.Э.Циолковского. — Калуга: Гриф, 2001. — Вып. 3: Третьи международные Зайцевские чтения. — С. 271–283.

СЛОВО І ЧАС <на укр. яз.>: *науковий журнал Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.* — Київ. — 2003. — № 3: березень.

Из содерж.: **Григорій Кочек.** Юрій Яновський, Костянтин Паустовський, Александр Грін: *деякі паралелі:* с. 71–77.

Учебные и методические пособия

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: Для школьников и студентов / В.Е.Красовский, А.В.Леденёв, В.П.Сапников, В.В.Былова, Н.Г.Быкова. — М.: Филол. о-во «Слово»; ОЛМА-Пресс образование, 2003. — 845 с.: ил.



Журналы, альманахи

Из содерж.: [**Паустовский К.Г. Письма, записки к Л.А.Левицкому:** из Тарусы 11 нояб. 1961 г.; из Москвы (Больница) 3 мая 1962 г.; 24 окт. 1963 г.]: с. 308, 313, 320.

Редакция «МП» намерена опубликовать воспоминания Льва Абелевича Левицкого в одном из ближайших номеров.

ЧЕШКОВА Лидия. Золотая мортра // «А почему?: журнал для мальчиков, де-



Из содерж.: [**Б.п.] Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968):** с. 498–499, портр.

Авторы-составители представляют своё детище как фундаментальное, иллюстрированное, энциклопедическое издание по всему курсу литературы.

Энциклопедия содержит биографии поэтов, писателей и критиков от древности до наших дней, анализ художественных произведений всех времён и народов, основные сведения по теории литературы, развитию литературных жанров, течений и направлений в литературе, а также словарь литературных терминов.

ЛИТЕРАТУРА: *Прилож. к газ. «Первое сентября».* — 2004. — № 5: 1–7 февр.

Из содерж.: **МИНГЕЛЕНЕ Евгения.** Анализ рассказа К.Паустовского «Телеграмма» (8 класс); **ЕРЁМИНА Ольга.** Рассказ К.Паустовского «Колодный сахар» (8 класс); **БЕЛЯКОВА Людмила.** Нравственно-эстетические ценности в новелле К.Паустовского «Старый повар» (Интегрированный урок в 9 классе); **СТРЕЛЬЦОВА Людмила.** Соотношение мифологического и «реального» пространства в рассказе К.Паустовского «Тёплый хлеб» (Учимся истолкованию произведения): с. 9–14, 21–24: ил. — (Семинарий «Литературы»: Уроки по Паустовскому).

Все иллюстрации взяты из книги «Мир Паустовского: Избранные страницы».

вочек и их родителей о науке, технике, природе, путешествиях и многом другом». —

2003. — № 10. — С. 8–10: ил.

Из содерж.: Где жил гимназист Паустовский?; Оружие полтавской победы <о Брянском Арсенале>: с. 9–11: ил.

ЧЕШКОВА Лидия. Маленькая, но знаменитая // А почему? — 2004. — № 2. — С. 8–10: ил.

Свой очерк о Тарусе, проиллюстрированный фотографиями дома К.Г.Паустовского и его интерьера, Оки и цветавских мест, Лидия Александровна —

ДАВИДОВА Милитриса.

Паустовский на Украине <о прошедшей в конце 2002 года научной конференции по К.Г.Паустовскому в селе Пилипча-Городище и о юбилейных днях 10-летия Одесского литературного товарищества «Мир Паустовского»> // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2003. — № 4. — С. 90. — (Коротко о важном).

ЛЕВИЦКИЙ Лев. Голос Паустовского // Вопросы литературы. — 2004. — Март–апр. — С. 292–323. — (Публикации. Воспоминания, сообщения).

ведущий редактор «МП» — предвещает словами Константина Паустовского из «Письма из Тарусы»:

У Тарусы есть своя слава... Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу...

БОРЩ В. Он завещал нам любить Россию // Призыв. — Белгород: обл. — 2003. — 31 мая.

ГОЛОВКИН Николай. По следам «доктора Пауста»... // Гудок. — 2003. — 25 июня. — С. 8, портр.: ил. — (Разноликий мир: связь времён).

Из рецензии спецкора газеты на 20-й номер «МП»: *300-летию Петровской посвящён двадцатый номер журнала «Мир Паустовского», который уже более десяти лет выпускает Московский литературный музей-центр Константина Паустовского.*

Наш мир, люди и события виделись писателю сквозь воздух мечты и вечности. Он просто не мог иначе видеть, иначе дышать. Как же нам всем сегодня не хватает этого воздуха!

В то же время Паустовский смотрел на мир отнюдь не через розовые очки, многое сумел предугадать.

Журнал «Мир Паустовского» — редкость в отечественной журналистике. Как, впрочем, и сам факт издания музеем собственного культурно-просветительского и литературно-художественного журнала, который зовёт нас в удивительный мир писателя. В этом журнале печатаются материалы о творчестве не только последнего романтика XX века, но и близких ему по духу людей...

В 1960-е годы Константин Георгиевич был для многих советских читателей, на которых не действовали идеологические инъекции, эталоном порядочности, что и породило феномен Паустовского. Обойденный всеми государственными премиями и высшими наградами, «доктор Пауст», как его нередко называли, тем не менее оказался самым читаемым из отечественных прозаиков, поистине живым классиком.

Сбылось предсказание Бунина: поэзией Паустовского стала проза.

То же. — Под назв.: Завещание доктора Пауста: дом писателя, в котором он не был // Независимое обозрение. — 2003. — № 25: июль. — С. 8, портр. — (Культура); Русская мысль. — Париж. — 2003. — № 4467: 31 июля.

МИЛОШЕВИЧ Сергей. Бросок на юг-2: По морскому пути, проторённому ров-

зашу... Недаром ещё с конца XIX века Таруса стала городом художников. Своего рода нашим отечественным Барбиноном...

НИМФА: альм. Юрия Линника /Музей космического искусства им. Н.К.Рериха.

Рис. на обложке Тамары Юфа. — Петров заводск, 2004. — 16 с.

Из содерж.: **ЛИННИК Ю.** Паустовскому: *Венок сонетов*: с. 1–14.

Редакция «МП» намерена опубликовать венок сонетов в одном из ближайших номеров.

ГАЗЕТЫ

но 80 лет назад Константином Паустовским, прошёл корреспондент «Ведомостей» // Киевские ведомости. — 2003. — 11 июля. — С. 21: ил.

Перепечатка статьи, фрагменты из которой и информацию о которой «МП» представил читателям в предыдущем номере в разделе «Хроника-информация».

СМИРНОВ Алексей. «Русалка» открылась людям: *Таллинский ангел скорбит о всех морях* // Русский Курьер. — 2003. — 30 июля. — С. 8: ил. — (Только у нас).

Из содерж.: Константин Паустовский обманул читателя <Недобросовестный комментарий автора статьи об освещении Паустовским в повести «Чёрное море» действий ЭПРОНовцев — ред.>.

С.А. Паустовский известный и неизвестный <рец.-инф. об «МП» № 20> // НГ-ЕХ LIBRIS: прилож. к «Независимой газете». — 2003. — № 30: 28 авг. — С. 5: ил. — (Периодика: Петит).

МАМОНТОВ Владимир. Под крыльями «Феникса» /Фото авт. // Рязанские Ведомости. — Рязань: обл. — 2003. — 2 сент. — С. 3: ил. — (Взрослые — детям).

В сентябре 2003 года в филиале при семейно-педагогическом клубе «Парус» образовано эколого-краеведческое объединение «Кордон-273» — для романтиков, любителей природы и путешествий. А названо оно по одноимённому рассказу Константина Паустовского.

В программе турклуба — активные виды туризма, спортивное ориентирование, отработка навыков поведения в экстремальных ситуациях, краеведческие, экологические мероприятия, медподготовка, основы радиосвязи, элементы альпинистской техники, репортёрская и художественная фотография, многодневные походы, экспедиции, слёты, соревнования и конкурсы.

КОВАЛЬ Вероника. Паустовский — на всех один // Одесский Вестник. — 2003. — 4 сент. — С. 7, портр.: ил. — (Культура. Круг мыслей).

Статья — впечатления кандидата филологических наук В.Коваль из Одессы о

посещении Московского музея-центра Паустовского, о взаимосвязях культур.

ЧЕЧКИНА Е. Праздник книги на Черноморской: // Морякъ. — Одесса. — 2003. — 7 окт.

КЕДРОВ Константин. Русия без Паустовски <на болгарском яз.> /Преведе, вступ. ст. Константин Попов // Вестник литературен. — София. — 2003. — 5–11.11. — С. 14.

Своему переводу в болгарской литературной газете статьи К.Кедрова «Россия без Паустовского» («МП» № 19) известный болгарский славист, Почётный зарубежный член Московского музея-центра Паустовского и постоянный автор «МП» Константин Попов предпослал предисловие «Десет години уникално списание «Светът на Паустовски» (Десять лет уникального журнала «Мир Паустовского»).

БАГИРЯН Рубен. Ионные шары с космодрома Чижевского // Антенна: семейный телегид на неделю. — 2003. — 19 нояб. — С. 11. — (Великие идеи XX века).

Из содерж.: Чудо с Паустовским <о встрече академика Мигулина, изобретателя гидроионизатора с К.Г.Паустовским>.

ПЛАТОНОВА Лариса. Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского // Литература: Прилож. к газ. «Первое сентября». — 2004. — № 5: 1–7 февр. — С. 15. — (Литературная карта России).

ПЛАТОНОВА Лариса. Тёплый дом в Кузьминках <о Музее-центре Паустовского> /Фото А.Сержантова // Новая мельница. — М.: Юго-Восточн. Админ. округ. — 2004. — № 2: 1 марта. — С. 4: ил.

НИКОЛОГОРСКАЯ Татьяна. Тропой Паустовского /Фото Анатолия Коршунова // Слово. — 2004. — № 7: 5–11 марта. — С. 12–13, портр.: ил. — (Память).

Статья поэтессы Татьяны Никологорской подготовлена на основе интервью с Зоей Всеволодовной Квитко, первым

руководителем музея К.Г.Паустовского на общественных началах, основанного в клубе «Спутник-2» на Яснополянской улице в Москве. Интервью — в преддверии наступающего в конце 2005 года 30-летия музея.

К сожалению, статья не совсем точно освещает историю создания музея, которая достаточно подробно и полно была изложена в двойном номере (№ 9–10) нашего «МП» в 1996 году.

Вместе с тем автору нельзя отказать в искренности чувств к личности и книгам Паустовского. Из статьи: *Мир целого поколения — нет, мало! — двух-трёх поколений отечественной интеллиген-*

ции — сформирован и бережён книгой. И Паустовский там на одном из первых, если не на самом первом месте.

ПАУСТОВСКИЙ К. Певец народной печали /Предисл., публ. Ирины Шестаковой // Харьковский пожарный вестник. — 2004. — № 11, 12, 13. — 12 марта, 19 марта, 28 марта. — С. 6–7, портр.: ил. — (Страницы истории).

Под таким названием опубликована с незначительным сокращением повесть К.Паустовского «Тарас Шевченко». Публикация приурочена к 190-летию со дня рождения народного украинского поэта. Из вступительной статьи Ирины Шестаковой:

Повесть эта увидела свет в 1939 году. Печально, но сегодня мало кто о ней помнит, — несмотря на то, что произведение написано замечательным, ярким, свежим языком, вообще свойственным прозе Паустовского...

МАМОНТОВ Владимир. В глубине Мещёры: *Заметки краеведа-эколога <ст. руководителя эколога-краеведческого объединения «Кордон-273»>* /Фото авт. // Рязанские ведомости. — 2004. — 25 марта. — С. 4: ил. — (Встречи с природой).

Из содерж.: **Тропой Паустовского;** На кордоне. Бобры; Волки. На «номерях»; Заботы егерей и охотников.

Рязань. Музыкальная школа № 1 (здание бывшего Рязанского Детского театра), 31 мая 2003 года. Мемориальная доска К.Г.Паустовскому.

31 мая — в день рождения Константина Георгиевича Паустовского — в Рязани, на здании музыкальной школы (ул.Ленина, 28) была открыта мемориальная доска с барельефом писателя. На доске надпись: «В этом здании в августе 1938 года перед общественностью города Рязани выступил писатель Константин Георгиевич Паустовский». Автор работы — молодой скульптор Василий Горбунов. Одним из активнейших инициаторов установления памятного знака в Рязани и создания специального Оргкомитета выступил почётный член Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского краевед Виктор Михайлович Афанасьев.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

Митинг, посвящённый этому событию, собрал многих рязанцев и почитателей таланта писателя. Митинг открыл известный рязанский краевед, многие годы посвятивший изучению и популяризации творчества Паустовского, Владимир Михайлович Касаткин.

Выступившие перед собравшимися председатель Городского Совета А.А.Чайка, заместитель начальника Управления культуры В.В.Крылова, ведущий редактор московского журнала «Мир Паустовского» писатель Михаил Холмогоров, доцент Рязанского института культуры И.Н.Гаврилов и многие другие говорили о творчестве Паустовского, о том, что он значит в их жизни.

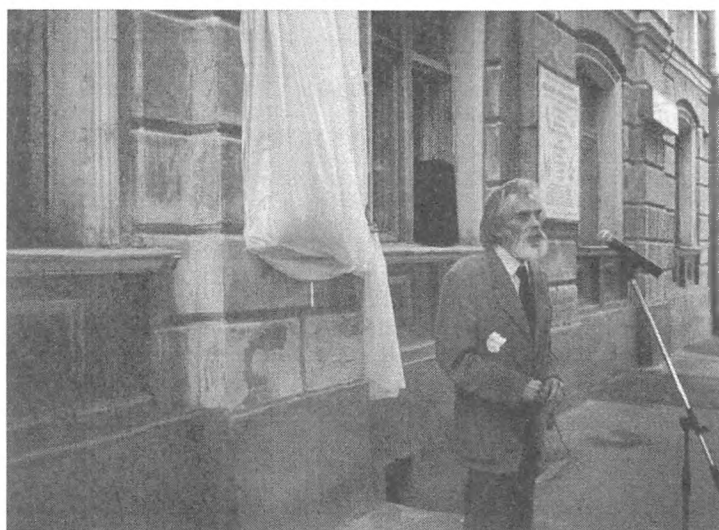
После этого к подножью доски были возложены цветы. Ещё одним памятником культуры в Рязани стало больше.

КАСАТКИН Владимир. Автору «Мещёрской стороны» / Рязанские ведомости. — 2003. — 4 июня. — С. 3: ил. — (Культурная среда: Память).

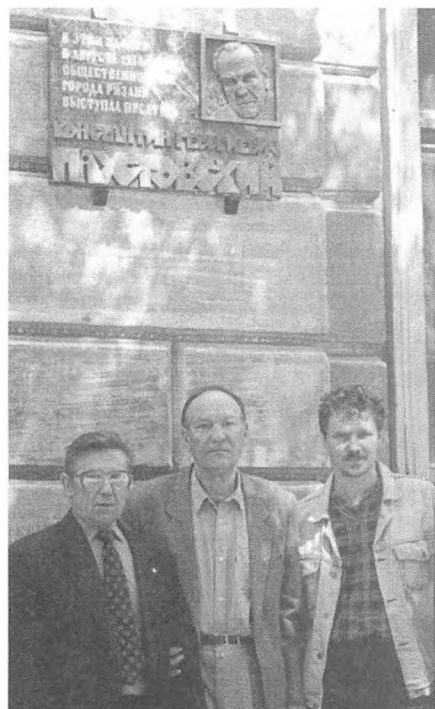
КОЛОМЕНСКИЙ Николай [МУХАРЕВСКИЙ Марк]. Памяти К.Г.Паустовского — певца Мещёрской стороны // Вечерняя Рязань. — 2003. — 12 июня. — С. 21: ил. — (Культура).

МУХАРЕВСКИЙ Марк. Возвращение в Рязань /Фото Евгения Каширина // Слово губернии. — Рязань. — 2003. — № 1: июнь. — С. 4: ил. — (Культура).

МУХАРЕВСКИЙ М. Знак благодарности рязанцев певцу Мещёрской стороны // Рязанская глубинка: газета для помнящих родство. — 2003. — № 24: сент. — С. 11: ил. — (След на земле).



Выступает писатель Михаил Холмогоров



Слева направо: заслуженный художник РФ Борис Семёнович Горбунов, краевед Виктор Михайлович Афанасьев, автор доски — скульптор Василий Горбунов

Фотографии Е.Каширина и В.М.Афанасьева

 26–29 июня 2003. Москва.
ВВЦ. 5-й Всероссийский фестиваль музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ-2003»

На фестивале в очередной раз был представлен рабочим стендом Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского.

Из приветствия Министра Культуры РФ: *Объединённые усилия музейного сообщества в последние 10 лет привели к впечатляющим результатам: более половины жителей России ежегодно приходят в музейные залы...*

Современный музей — это место, где человек и просвещается, и обучается, и отдыхает, и творит. Многообразие форм музейной деятельности, их неразрывная связь с меняющимися духовными запросами общества — всё это и является содержанием экспозиций в рамках фестиваля «Интермузей».



Сентябрь 2003. Солотча. Дом-музей И.П.Пожалостина. Выставка живописи рязанских художников

Центральное место на выставке заняли рисунки художника Владислава Шестакова, послужившие иллюстрациями к сборнику К.Паустовского «„Телеграмма“» и другие рассказы о Мещёре», вышедшему во владимирском издательстве «Золотые ворота» в 2002 году.

МУХАРЕВСКИЙ Марк. Презентация в Солотче: В Доме-музее И.П.Пожалостина выставка гравюр, рисунков и акварелей // Рязанская глубинка. — 2003. — № 24: сент. — С. 11.

Сентябрь 2003. Севастополь. Библиотека им. К.Г.Паустовского. Вечер памяти Е.М.Шварц

Узнав о кончине Евгении Матвеевны Шварц, главного библиографа Севастопольской Морской библиотеки, один из современных писателей печально произнёс: «Евгения Матвеевна — это явление, ещё не оценённое Севастополем».

На вечере памяти известного «паустовца» Е.М.Шварц выступили десятки людей разных профессий — моряки,

ВЕЧЕРА, ВЫСТАВКИ, ВСТРЕЧИ...

врачи, краеведы, библиотечные работники, архитекторы, журналисты, художники, поэты, лекторы...

Скорбим об уходе большого друга журнала «МП» и московского музея Паустовского.

ЛУБЯНОВ Андрей. Талант соединять людей // Флаг Родины. — Севастополь. — 2003. — 27 сент. — С. 2: ил. — (Имя им — севастопольцы).

26 ноября – 1 декабря 2003. Москва. Центральный Дом художника. Ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction-5»

«Мир Паустовского» в третий раз принял участие в столь представительской книжной ярмарке. На сей раз помимо своего журнала музей-центр представил публике своё последнее детище — элегантно изданную совместно с нижегородским издательством «Деком» книгу-дайджест «Мир Паустовского».



Стенд «Мира Паустовского». Ведущий редактор МП Лидия Александровна Чешкова. Фотография Э.Т.Набоковой

2003. Одесса. Государственный литературный музей. Выставка картин художника Алексея Паустовского

Картины Алексея Паустовского были представлены на выставку московским коллекционером Виктором Евгеньевичем Ланским.

ГОЛЯЕВА И. Из глубины души // Одесские известия. — 2003. — 26 июня. — (Память).

Из статьи: *Алексей — младший сын Константина Георгиевича Паустовского. Его*

уход из жизни в возрасте 26 лет (1976 г.) до сих пор окутан тайной и, как следствие, слухами. Что бы ни было, но именно таким образом Алексей разрешил трагические противоречия между собой и миром. Достаточно вспомнить, какое это время. Юность и молодость А.Паустовского пришлось на «заморозки» после хрущёвской оттепели.

В 18 лет он лишился своего замечательного отца, с которыми в последние годы отношения не были простыми. Алексей пишет стихи, увлекается живописью (но уходит после первого курса полиграфического института). Принимает участие в нескольких коллективных выставках. Круг его общения — те, кого называют представителями «андеграунда» и «диссидентами». Он вовлечён в распространение «самиздата»...

Вместе с произведениями Алексея Паустовского представлены работы его друзей — Владимира Калашиникова, Максима Осипова и других — также из собрания В.Ланского. Виктор Евгеньевич обладает большой коллекцией картин художников-аутсайдеров (официально не признанных). Работы Алексея Паустовского переданы ему вдовой погибшего в лагере диссидента Георгия Томашевского.

По свидетельству многих, кто знал Алексея, ему самому и его работам были свойственны ранняя зрелость и мудрость. Как вспоминает вдова его учителя художника Владимира Пятницкого, «темы полотен Паустовского просты, лаконичны: собственная персона в интерьере, улицы с домами, любимый и родной Арбат, где жил и погиб художник. Спокойный и ровный колорит работ выдаёт его не по годам мудрую философскую суть. Глубины его души остались почти недостижимыми для всех». Писал Алексей также романтические пейзажи средней полосы и любимой всей семьёй Тарусы.

Получился бы из него или нет «настоящий, большой художник» — сейчас вопрос в никуда. Но он «со своими камерными произведениями органично вошёл в искусство 70-х годов».

Состоялось четыре посмертные выставки его произведений (коллективные) — все в Москве. И пятая — в Одессе.

24 февраля 2004. Москва. Московский музей-центр К.Г.Паустовского. Встреча редколлегии «МП», сотрудников и актива музея с Питером Генри

Визит в Москву известного слависта из Англии, исследователя и переводчика текстов К.Г.Паустовского был

связан с присуждением ему звания Почётного профессора МГУ за многолетние заслуги перед российской словесностью — «за большой вклад в изучение русской литературы, за многолетнюю деятельность по укреплению мирового сообщества славистов и развитие научных связей между университетами Великобритании и Московским университетом». В дипломе Почётного профессора МГУ записано, что это «почётное звание

обеспечивает Питеру Генри права, почести и привилегии, установленные законом и обычаем».

В музее-центре профессор Питер Генри поделился своими воспоминаниями о встречах с К.Г.Паустовским и работой над переводом произведений писателя.

18 апреля 2004. г.Ярославль. Библиотека-музей Максима Богдановича.

веча. Вечер «Встречи с Паустовским»

В программе вечера: Хроника жизни и творчества К.Г.Паустовского. Переплетение судеб (выступление В.Н.Иванова). Выступление артистов Филармонии с чтением рассказа «Корзина с еловыми шишками». Выставка книг К.Паустовского и выпусков журнала «Мир Паустовского» из фондов Ярославской библиотеки им. М.Ю.Лермонтова.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ПИСАТЕЛЯ

Комитет по связям с общественностью и информационной политике Администрации Рязанской области сообщил: *В целях увековечения памяти К.Г.Паустовского, творчество которого неразрывно связано с Рязанским краем, учитывая большой вклад Рязанской областной юношеской библиотеки в популяризацию творчества писателя и удовлетворяя многочисленные просьбы представителей общественности, творческих союзов, учреждений образования, культуры и искусства, глава администрации области принял постановление о присвоении имени Константина Георгиевича Паустовского Государственному учреждению культуры «Рязанская областная юношеская библиотека».*



[КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ] Имени Константина Паустовского // Рязанские ведомости. — 2003. — 8 июля. — С. 1. — (День за днём: над чем работает администрация области. — Факты. Комментарии. Подобрности).

ГЕРАСИМОВА Анна. Воспитывать любовь к родному краю: *Областной юношеской библиотеке присвоено имя Паустовского* // Комсомольская правда. — 2003. — 15 июля. — С. 15. — (Картина дня: Рязань).

НАГРАДА ПРЕЗИДЕНТА

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2003 года № 1544 «О награждении государственными наградами Российской Федерации работников Вильнюсского университета Литовской Республики профессор Лилия Васильевна СУДАВИЧЕНЕ среди ряда сотрудников Кафедры русского языка награждена «Медалью Пушкина — за большой вклад в развитие и распространение русского языка и литературы».

Редакция «МП» и музей К.Г.Паустовского поздравляет с высокой государственной наградой России Лилию Васильевну — Почётного члена музея-центра, постоянного активного участника всех научных конференций по творчеству К.Паустовского, составителя 8-томного «Словаря языка К.Г.Паустовского». Тираж третьего тома только что получен из типографии; два очередных тома музей готовит к выпуску.



Профессор Л.В.Судавичене на конференции в Музее-центре К.Г.Паустовского, 1997 г. Фотография С.А.Кузнецова

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

13 марта 2003. Москва. Канал ТВЦ. 16⁵⁵–17²⁵. Передача: «Дом на Котельниках: Квартира К.Г.Паустовского». Передача была повторена на этом же канале 2 апреля 2003 в 9⁵⁵–10²⁰

На канале ТВЦ с 12 марта 2002 года выходит цикл передач под общим названием «Дом на Котельниках», созданный телекомпанией «АБ-ТВ». В течение девяти дней народный артист России Александр Ширвиндт знакомил зрителей с первым советским небоскрёбом и его знаменитыми жильцами: артистами Мариной Ладыниной, Кларой Лучко, Лидией Смирновой, Фаиной

Раневской, балериной Раисой Стручковой, композитором Никитой Богословским, легендарным кинодокументалистом Романом Карменом, поэтом Андреем Вознесенским, писателями...

На сей раз передача была посвящена К.Г.Паустовскому. В передаче принимали участие Галина Алексеевна Арбузова, Владимир Карпович Железников, были показаны фрагменты телефильма «К.Г.Паустовский. Воспоминания и встречи». Режиссёр передачи — Юрий Рашкин.

15 ноября 2003. Москва. Канал СТС. 8³⁰–9⁰⁰. Передача: «Сказки

для больших и маленьких». Мультипликационный фильм «Тёплый хлеб» по одноимённой сказке писателя

11 декабря 2003. Москва. Канал «Культура». 19⁵⁰–20⁴⁵. Передача «Остров без любви». Телефильм «Вас буду ждать я...»

Фильм создан по мотивам новеллы К.Паустовского «Снег». Исполнители — коллектив театра «Стрела» из подмосковного города Жуковский. Это уже 4-й фильм из шести запланированных передач «Остров без любви».

РАДИОПЕРЕДАЧИ

18 апреля, 2 и 16 мая 2003. Радио России. 20³⁰–20⁵⁵. Авторская программа Бенедикта Сарнова «Новости прошлого», ведущий А.Кукис

Три выпуска программы были посвящены истории издания и репрессирования альманаха «Тарусские страницы». В первом из них Б.Сарнов говорил о скандале, который разразился после выхода из печати тиража альманаха. Альманах вызвал поток осуждающих партийных документов с идеологическими и организационными выводами. Долгое время документы были закрыты и только в 1993 году были опубликованы в журнале «Вопросы литературы». По мнению Б.Сарнова, причиной скандала стал непривычный уровень прав-

ды и таланта («слишком крепкий спиртовой раствор»), которым были отмечены поэма Владимира Корнилова «Шофёр», стихотворение Николая Заболоцкого «Пророжий», повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» и другие произведения. О роли К.Г.Паустовского Б.Сарнов высказался вскользь и скороговоркой («ходил», «просил»). Между прочим в выше упомянутых партийных документах сказано: «Несмотря на то, что при обсуждении ряд произведений, намеченных к опубликованию, вызвал серьёзную критику со стороны литературной общественности Калуги, под нажимом авторов и редакции во главе с писателем К.Паустовским сборник выпущен в свет».

26 июня 2003. Радио России. 20³⁰–20⁵⁵. Охранная грамота

Подготовила и провела передачу в Феодосийском Доме-музее А.С.Грина журналист Тамара Филиппова. Выступили Алла Ненада (Феодосия) и Юлия Казначеева (Старый Крым).

В передаче неоднократно подчёркивалась неоченимая роль К.Г.Паустовского в защиту наследия писателя-романтика Александра Грина. Алла Ненада приводила отрывки из переписки Паустовского с Ниной Николаевной Грин, женой Александра Степановича.

*Раздел подготовлен по материалам
Сергея Охремчика
г.Воронеж*

НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского высылает наложенным платежом (по письменным заявкам и предоплате) выпуски журнала «Мир Паустовского», а также другие печатные издания и сувенирную продукцию по профилю музея.

Деньги просим перечислять почтовым переводом в ОАО «БАНК МОСКВЫ» г.Москва:
БИК: 044525219
К/с: 30101810500000000219
Р/с музея: 40603810400672000007
ИНН музея: 7721041687
КПП музея: 772101001
Получатель: Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского

...Меня живо заинтересовала обширная панорама, нарисованная в "Кара-Бугазе" Паустовского, в основе которой - земля или уголок земли и перемены, происходящие там с течением времени. Тут есть нечто новое, что в дальнейшем может вырасти в оригинальный эпический жанр.

Ромен РОЛЛАН (Франция)

Русскую литературу я очень люблю. Сейчас, например, вся моя семья с увлечением читает Константина Паустовского, четыре тома произведений которого недавно вышли в переводе на немецкий язык. Для меня это первое знакомство с творчеством замечательного русского писателя явилось настоящим откровением...

Генрих БЁЛЛЬ (Германия)

...В Паустовском английские обозреватели увидели продолжателя русской классической традиции, писателя, явно не «заражённого» идеями соцреализма, художника слова, занявшего заслуженное место в общеввропейском культурном доме.

Питер ГЕНРИ (Англия)

Свободой, которой мы наслаждаемся сегодня, мы обязаны и таким людям, как Паустовский, который присоединил к своему огромному таланту такое же мужество. Никогда не надо забывать ни этого человека, ни его творчества.

Жан БЛО (Франция)

Константин Паустовский имеет все основания оказаться в числе тех русских писателей, которые заслужили любовь и восхищение шведских читателей.

Артур ЛУНДКВИСТ (Швеция)

The main subject matter of the 22nd issue of our magazine is "Paustovskii and world culture". It comprises personal contacts kept by Konstantin Paustovskii with writers who lived abroad, his itinerary notes made during a cruise round the Europe, both his grasping the culture of different countries and perceiving his works, his books by foreign readers.

The issue opens with a fragment of unpublished and incomplete narration of the writer, "A golden thread".

The authors living abroad such as Jean Blot (France), Peter Henry (Great Britain), Franklyn Reeve (USA), Dun' Syao (China), Margareta Sipos (Rumania), Lennart Magnusson (Sweden) and others write about their meetings with Paustovskii, about his books and his influence on readers.

Materials concerned the fate of the amazing woman, an intimate friend of Matisse, and the interpreter of Paustovskii's works into French, Lidia Delektorskaya, will be interesting for readers.

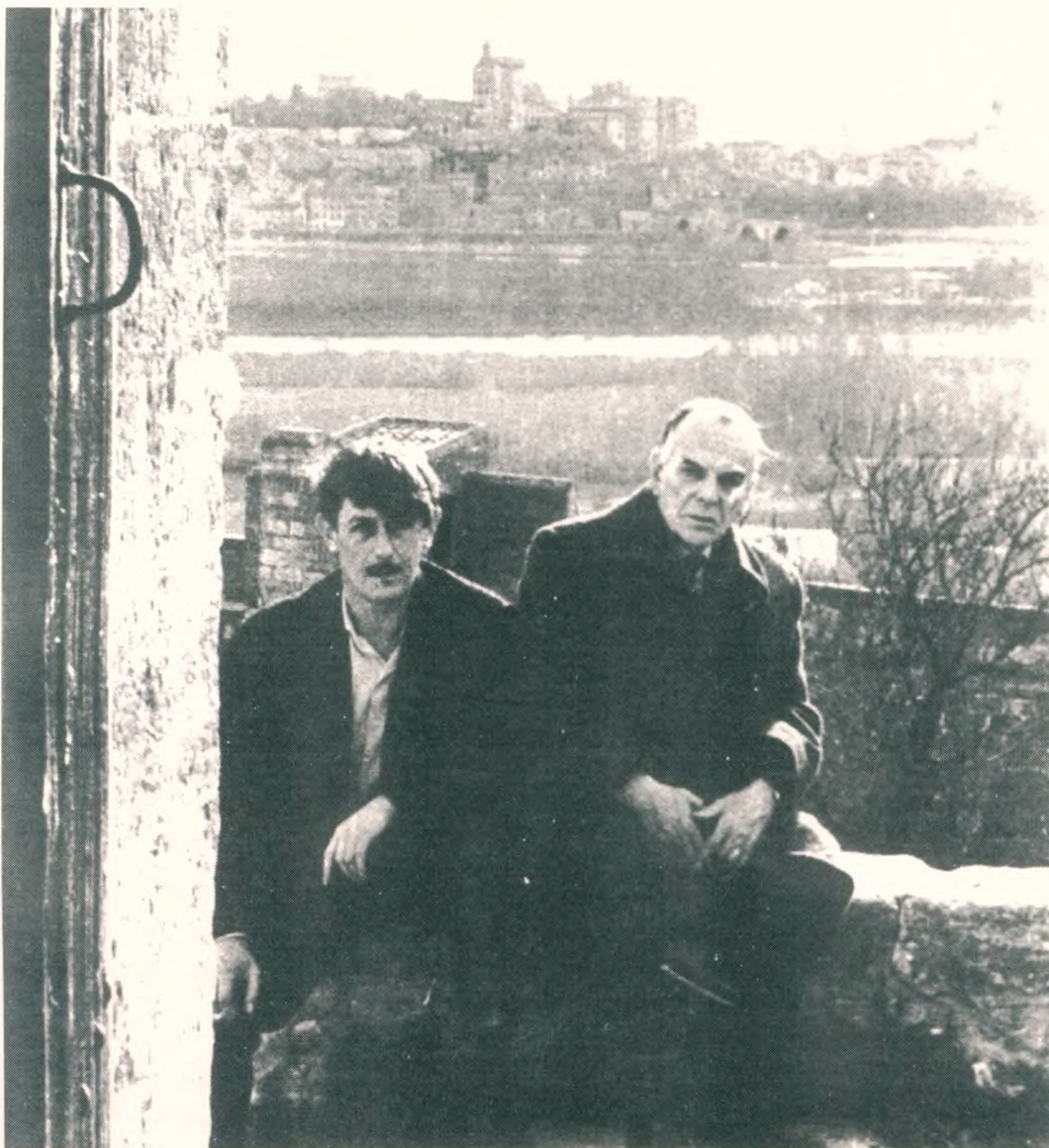
The title of one section, among those of greatest interest, is "A broken ring". A lot of selected verses of Ivan Elagin, one of the most brilliant poets-emigrants, a letter written by Boris Zaitsev to Konstantin Paustovskii, recollections of Zinaida Shakhovskaya on her meetings with Zaitsev, the article by Konstantin Shilov including an analysis of the book "Days" by Boris Zaitsev are being published here.

In "Literary pages" we publish, side by side with stories written by contemporary authors, the famous novel of american writer Ambrose Bierce "An Occurrence at Owl Creek Bridge" appreciated by Paustovskii.

Poetic anthology of Konstantin Paustovskii embraces, for this once, the poets from different countries — Robert Burnes, Pierre-Jean Beranger, Edgar Poe, and Joseph Zedlitz.

Our traditional sections — "Tarussian pages", "Join to Nature occurred", "Notes from the House of Polenovs" — are represented in this issue as well... we publish, under the new-established heading "Literary province", an article by our regular author from Voronezh, Sergei Okhremchik.

The issue is concluded with the letters from our readers, recollections on literary festival "Lime blossom - 2" held in summer of 2003 in the Ryovny village in Bryanskaya land where lived, in his youth, Konstantin Paustovskii, and, as usually, with a chronicle of current events associated with the name of Paustovskii.



Виктор Некрасов и Константин Паустовский.
Франция, Авиньон

